



Анна Матвеева

**ЗАВИДНОЕ
ЧУВСТВО
ВЕРЫ
СТЕНИНОЙ**

Роман

Анна Матвеева

**ЗАВИДНОЕ
ЧУВСТВО
ВЕРЫ
СТЕНИНОЙ**

Роман



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА
ЦУВИНОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АСТ

МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(4Рос=Рус)6-44
М33

Художник *Андрей Рыбаков*

Матвеева, Анна Александровна.

М33 Завидное чувство Веры Стениной / Анна Матвеева. – Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 541, [3] с. – (Проза: женский род).

ISBN 978-5-17-090753-3

Анна Матвеева – автор бестселлера «Перевал Дятлова», сборников рассказов «Подожди, я умру – и приду» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Девять девяностых» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер»). Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на английский, французский, итальянский языки.

В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром – по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты...

Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и – в полный голос – гимн искусству и красоте.

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(4Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-17-090753-3

© **Матвеева А.**
© **ООО «Издательство АСТ»**

Значительная часть этой книги была написана в международном приюте для писателей, в шотландском замке Хоторден. Благодарю госпожу Дрю Хайнц за гостеприимство и щедрость, администратора Хэмиша Робинсона — за вдохновение и заботу, Олега Дозморова, Дмитрия Харитонов и Бориса Ланина — за то, что помогли проложить дорогу в Шотландию.

КРОМЕ ТОГО, Я ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО:

моим родителям — за всё;
моему издателю Елене Шубиной, литературному редактору
Галине Беляевой и другим сотрудникам лучшей
в мире редакции — за профессионализм;
Виталию Михайловичу Воловичу, Марине Соколовской,
Никите Корытину и Татьяне Михайловне Трошиной —
за то, что помогли Вере Стениной освоиться в мире искусства;
Юлии Ильницкой — за то, что верила и веришь в меня;
Татьяне Алексеевне Сабрековой, моей опоре и другу;
Ройстону Тестеру — за то, что убедил меня в том,
что число «42» ничем не хуже числа «40»,
если речь идет о количестве глав;
а также Екатерине и Наташе Щербаковым, Анне Мкртчян
и Екатерине Ружьевой — за дружбу и поддержку.

Автор

Дайте мне девочку в соответствующем нежном возрасте, и она — моя на всю жизнь.

Мюриэл Спарк

Часть
ПЕРВАЯ

Глава первая

Начать славную вещицу так, чтобы любой мог заметить, что славная вещица начата, — это уже кое-что.

Гертруда Стайн

Евгения кричала так громко, что Вере пришлось положить трубку динамиком вниз. Теперь Евгения кричала в стол, как писатель без надежды на публикацию. И всё равно было слышно:

— Приезжай!

За окном — Грабарь. Берёзки — перепудренные красавицы.

«Завидовать — нехорошо», — говорила Тонечка Зотова из старшей группы детского сада. Вера попыталась вспомнить Тонечку, но память не откликнулась, да и альбом с детскими фотографиями неизвестно где. Голосок-то звучал, а вот на месте лица детсадовской подружки чернел пустой овал — как в парках развлечений. Подставь физиономию — и превратишься в принцессу, разбойника или Тонечку Зотову, мастера моральной оценки.

Завидное качество — никому не завидовать.

Вера бросила мобильник под подушку. За стеной визжала дрель. Соседи вложили в ремонт всю свою душу, и теперь эта душа колотила и сверлила там с утра до вечера. А Вера, между прочим, работала дома. Точнее, пыталась работать — обычно дрель побеждала, и Вера уходила

в кафе, как Жан-Поль Сартр, но и там было немногим лучше. Музыка, официанты, посетители. Кофеварка ворчит, ложки падают — не сосредоточишься.

Лару дрель не беспокоила — дочь спала под строительные визги чуть не до обеда, а проснувшись, смотрела на часы. Когда Вера впервые увидела, как Лара смотрит на часы, она решила, что дочь повредилась умом. Так обычно смотрят на самых любимых людей накануне вечной разлуки. А здесь — часы. Три стрелки, вечный круг, квадрат нам только снится...

— Ждёшь чего-то? — спросила Вера. Вспомнила, как сама в детстве подгоняла часы с минутами.

Лара перевела взгляд на мать — точно стрелка скользнула по циферблату:

— Смотрю, как проходит время.

Вчера Вера сняла часы со стены и грохнула об пол — вот прямо с удовольствием! Секундная стрелка жалобно согнулась, минутная показывала на дверь — как пальцем. Иди отсюда!

— Полегчало? — холодно спросила дочь. Отвернулась к стене и снова уснула — с подушкой-думочкой на голове. Она постоянно спала — другие люди разве что в поезде столько спят. Или в больнице.

В телевизоре, который Стенины слушали, почти не глядя на экран, кто-то в очках спрашивал у какой-то белокурой:

— Когда ты в последний раз была счастлива?

Вера подумала, что в её случае честный ответ прозвучал бы так: «Я была счастлива, когда проснулась ночью и увидела, что до звонка будильника ещё целый час!»

Но в возрасте Лары, в свои собственные девятнадцать лет, Вера не стала бы смотреть на часы — наоборот, это они глядели на неё ночами с укоризной. Без десяти два у часов выросли гневные испанские брови — где ты бродишь, почему не спишь?

Юные годы Веры Стениной пришлось на середину девяностых. Конечно, если бы её спросили, она выбрала бы

другое время — да и место тоже. Но её не спрашивали, поэтому в девяностых Вера жила в Екатеринбурге, училась на искусствоведа и дружила с бывшей одноклассницей и будущей журналисткой Юлей Калининой, ныне известной как Юлька Копипаста.

Память заговорила, Лара спала, дрель верещала.

Пять минут назад Вере позвонила Юлькина дочь Евгения — годом старше Лары. Кричала в трубку, плакала. Сказала, что не может дозвониться до матери — та и вправду находилась с мобильником в сложных отношениях. Теряла, забывала, не слышала, случайно перезванивала и молчала. Вера вопила: «Алло!» на дне сумки, а Юлька не отвечала. «Это тебе сумка моя звонила», — шутила потом Копипаста.

Прозвищем своим Юлька гордилась, так как заслужила его в честном бою с новым редактором родного журнала — его спустили на этот пост сверху, как Супермена. Он и был супермен, во всяком случае, с виду. Карандаш в кулаке — как зубочистка, из-за плеч не видно окна, и даже волосы такой густоты, что в парикмахерских с него брали «за две головы». А вот какие у редактора глаза, никто не помнил, потому что он постоянно улыбался и все отвлекались на эту улыбку. Глаза были всегда сощурены, цвет — на втором месте.

До того как приземлиться в редакции, Супермен работал в детско-юношеской спортивной школе — учил способных свердловских малюток основам карате. Эта профессия открывала в девяностые годы широчайшие возможности, и Супермен не стал ими пренебрегать. То есть он не светился рядом с главными авторитетами, но всегда присутствовал неподалеку. Первый справа за границей фотокарточки, он был, безусловно, своим.

Сейчас по пятам за Суперменом ходят дотошные журналисты, спрашивают — вы правда близко знали самого В.? И Мишу К.? А сами, скажите, убивали? Супермен в таких случаях отшучивается, и если журналисточка хорошень-

кая — может легонько дотронуться до её носика и напомнить о судьбе любопытной Варвары. Когда же разговоры про мафию девяностых заходят публично, в прямом эфире, Супермен улыбается так, что вот-вот — и губы порвутся. Каким от него в этот момент шибает холодом! Будто это не живой человек, а сосуд Дьюара с жидким азотом.

Супермен цивилизовался первым, это о таких потом стали говорить — «Бизнес с человеческим лицом». Имелся рядом друг-советчик, сейчас проживает в Швейцарии — а тогда вовремя втолкнул бывшего спортсмена в политику. Двери там открываются редко и ненадолго — упустишь момент, жди следующего случая. Супермен не упустил — сначала стал депутатом городской думы, потом — областной, затем ткнулся в Государственную, и вот здесь ему впервые не повезло. Один журналист, москвич с уральскими корнями, спешно решал проблему обучения сына в Великобритании. Сын был способным, но не настолько, чтобы в Великобритании согласились учить его совсем уж бесплатно. Журналист срочно искал деньги, и тут подвернулся заказ — снять с дистанции Супермена. Слишком уж мускулистым показался, таким обычно не дают даже стартовать — а вдруг победят? В ход пошли документы, фотографии, записи телефонных разговоров — Супермен был осторожен, но молод и предвидеть всего не мог. Нервус рерум¹ — видеозапись всех свердловских авторитетов, где за одним столом сидели призраки легендарных лет, и рядом с В. засветился вполне узнаваемый, хоть и с дурацкой чёлкой, Супермен. Журналист получил свои деньги, сын улетел в Англию, а Супермена сбросили с планеты «Государственная дума» на планету «Свердловский областной журнал». Аутсайдеров по традиции не спрашивают, чем бы им хотелось заниматься.

Журналистов Супермен вполне объяснимо ненавидел, хотя и не переставал улыбаться каждому своему сотруд-

¹ Nervus rerum — дословно «нерв вещей»; самое главное, суть чего-либо; главное дело; важнейшее средство (лат.).

нику. Первым делом он решил освежить пространство, уволив самые неперспективные кадры. Ими были сочтены все, кроме спортивного обозревателя Корешева, который, впрочем, предпочитал восточным единоборствам плебейский хоккей – но с этим можно было что-то сделать. Прочих работников, включая узбекскую уборщицу, новый редактор собрал в своём кабинете, обставленном плюшевой, пыльно-зелёной мебелью, и рассматривал их, качаясь с пятки на носок. Улыбка у него была страшная, как у злодея, который вот-вот прикончит главного героя, но пока лишь наматывает хронометраж, расписывая в красках вехи своего трудного пути.

– Я с трудом понимаю, зачем сегодня нужны журналисты, – сообщил Супермен коллективу. – Вся информация есть в Интернете, бери да читай.

– А там она, по-вашему, откуда берётся? – возмутился корреспондент отдела культуры. – Журналисты и пишут.

– Я думаю, – сказал Супермен, не переставая улыбаться, – что мы будем брать материалы в Интернете. И нам не требуется такой большой коллектив.

Вот тогда-то вперёд шагнула Юлия Калинина – ей не хватало только знамени в руках! Вместо знамени Юлька держала в руках свежую газетную полосу.

– То есть будем копипастить?

– Чего? – испугался Супермен. Он был далёк от компьютеров, и нужные сайты для него открывала секретарша.

– Копипаста, – объясняла Юлька, размахивая полосой, – это воровство. Вы копируете текст в одном месте, а потом вставляете его в другое.

– Вставляете... – механически повторил Супермен, и слово это, без того сомнительное, прозвучало в его устах совсем уже неприлично.

Юлька улыбнулась. Какие ямочки! А ножки! Вот кого увольнять не следовало категорически.

– Товарищи, – это обращение Супермен подцепил в Думе, как вирусную инфекцию, и всё никак не мог выле-

читься, — прошу разойтись по местам и приступить к работе.

Он решил, что освежит пространство в другой раз, и сосредоточился на том, чтобы Юля Копипаста разглядела в нём мужчину.

Между прочим, сама Юлька никогда не грешила плагиатом, но прозвище прилипло к ней намертво, как ценник — к дешёвой тарелке. А мужчину в Супермене разглядела бы всякая — даже узбекская уборщица выпрямляла спину, когда он шёл мимо. И Юлька тоже разглядела, хотя к тому времени уже побывала замужем и родила дочку Евгению.

...Евгения плакала, потом связь прервалась, а в груди Веры Стениной будто бы проснулась, расправив крылья, летучая мышь.

Завидовать — от слова «видеть».

Летучие мыши не могут похвастаться стопроцентным зрением.

Зависть Веры раскрыла глаза, они были голодные и чёрные, как у женщин Модильяни.

Почему именно ей всегда выпадает беспокоиться о Евгении?

Копипаста сама должна заботиться о дочери. У Веры — своё горюшко.

Лара.

Вера Стенина и Юлька Калинина учились в одном классе. Будущая Копипаста (тогда таких слов никто не знал, паста могла быть зубной или чистящей — как «Санита») обожала геометрию.

— Массаж мозга, — объясняла она свою слабость. Только скажут волшебное слово «дано», как Юлька уже подпрыгивает на месте. Тянет руку вверх, рукав школьного платья коротковатый, и манжетик не пришит. Вера Стенина никогда себе такого не позволяла. Свежие воротнички и манжеты с шитьем, стирать и гладить каждый вечер. И с геометрией у них было чувство взаимной ненависти. Учительница Эльвира Яковлевна (зелёная кофта на пуго-

вицах и синяя юбка — все годы, с пятого по десятый класс) говорила:

— Стенина — единственный случай полной математической глухоты в моей практике.

Вера списывала у Юльки контрольные, копировала непонятные решения, не всегда верные, но неизменно бурные доказательства. Вот кто был тогда настоящей копипастой!

Глубоко внутри себя (а там было и вправду глубоко — летучая мышь прокладывала новые маршруты каждый день) Вера считала, что делает Юльке одолжение. Списывая, она тем самым поднимала смешную, некрасивую Калинину до своего уровня. Что поделатъ, если не всем «дано».

Дрель за стеной умолкла, возможно, пошла на обед. Вера отключила мобильник. Вот бесовы машинки! Все вокруг причитают — да как мы раньше жили без них? Вера считала, прекрасно жили. Если бы Юлька не отдала ей однажды свой старый телефон, так до сих пор и обходилась бы. Зато для Лары мобильник — лучший друг сразу после компьютера.

...Юлька была некрасивой с первого по седьмой класс.

— Прямо жаль девочку, — сокрушалась Верина мама, когда Юлька выходила, широко и глупо улыбаясь, на сцену актового зала. Читала стих:

Если бы Ленин пришёл сейчас к нам,
Он бы, прищурившись, просто сказал:
Стоило драться, жить, побеждать!
Спасибо, товарищи, так держать!

Читала звонко, стояла — руки по швам, как подчасок у Вечного огня. Их так учили. В частной гимназии, которую окончили и Лара, и Евгения, была уже совсем другая мода на выразительное чтение: дети трясли головами, размахивали руками и так завывали в логическом конце фразы, как будто изображали ветер. Или волка.

Юлька была тощая, ножки торчали, как спички, воткнутые в пластилин. Одноклассник Витя Парфянко, уже покойный, к сожалению, говорил в таких случаях: «За шваброй может спрятаться». Лицо у Юльки удлинённое, нос — какой-то сложный, будто скроенный из двух разных. Девочки любили Калинину — некрасивых всегда любят. И бездарных — тоже. Если тебя вдруг все любят, имеет смысл задуматься.

Вот, например, Веру Стенину в классе терпеть не могли. На вопрос в девичьей анкете «Считаешь ли ты меня красивой?» респондентки честно отвечали: «Да, но ты слишком *высокамерная и не преступная*».

Вера была красивой с первого по седьмой класс. Во-первых, блондинка, искренне сочувствовавшая несчастным чёрненьким или пегим, как Юлька. Во-вторых, спортивная, ровнёнькая. Однажды малютку Стенину сфотографировали для ателье — портрет Веры висел в витрине несколько лет. Мама её наряжала — и портниха приезжала домой, и многое доставали по благу через тётю Таню из торго. А Юлька носила какие-то нафталиновые платья с древним плиссе или клетчатые юбки с залоснившимся подолом. Даже когда можно было уже покупать вещи на «туче», продолжала одеваться в «уралтряпку».

— И где тебе, Вера, мама такие сапоги достала? — спросила Юлькина мать в шестом, кажется, классе. Сапоги были правда сказочные. Белые, с присборочкой — и короткие, по щиколотку. Самый всплеск.

— На Шувакише, — сказала Вера.

— Боюсь спросить, сколько стоят.

— Двести.

Юлькина мать затряслась, как ребёнок-чтец из будущего.

— Двести?! Знаешь, Вера, если ты вдруг вырастешь из них или надоест носить, я бы купила для Юленьки.

— Ну мама! — взвыла Юлька.

— Я бы купила... рублей за тридцать, пусть и ношенные.

Интересно, подумала Вера, а Юлька мне тогда завидовала?

Они дружили втроём с Олей Бакулиной, и эта Бакулина дорожила Юлькой — в гости каждый день звала, взбивала в её честь молочные коктейли. У них был миксер — редкая вещь. Веру хозяйка миксера всего лишь терпела, как ежедневный труд. Бакулина была в шестом классе прыщавой и страшно по этой причине страдала. Деликатная Эльвира Яковлевна, оправляя свою зелёную кофту проверенным движением — как шинель под ремнём, — однажды сказала ей при всём классе:

— Вот выйдешь замуж, Бакулина, и всё у тебя пройдёт!

Прошло, конечно. Теперь Бакулина мало того, что без единого прыща, так ещё и живёт в Париже. Вера старалась не думать об этом лишний раз: зависть могла разгуляться от подобных мыслей, она в последние годы стала неразборчивой, бесилась от всего подряд.

Вера один раз была в Париже с Копипастой, уже взрослая. Юльке подвернулся пресс-тур, она пристроила с собой Веру, а Лару и Евгению оставили с бабками. Пресс-тур проводили какие-то авиалинии, журналистов никто особенно не развлекал — и слава богу. Юлька с Верой целых три дня ходили по городу вдвоём.

Копипаста была счастлива: Париж! На рассвете высывалась из окна — пахнет любовью, кричала, и круасанами, масленими! Вера боялась, что Юлька грохнется о мостовую, и не меньше боялась признаться даже себе самой, что может этому обрадоваться. Мусорщики гремят баками — в ритме «Марсельезы»! Крыши — серенькие, а дымоходы — рыжие, как цветочные горшки, только перевернутые! На уличном рынке посреди бульвара Распай Юлька углядела на прилавке мясника блестящие розовые мозги — и снова счастье! Представляешь, можно купить себе новые мозги! Или привезти кому-нибудь в подарок.

Угомонилась Юлька только в Лувре. Вера где-то прочитала, что, если по пятнадцать секунд стоять у каждой картины Лувра, на всё про всё уйдёт ровно пять месяцев.

Целых пять месяцев счастливой музейной жизни! В Лувре Вера могла бы много что рассказать Юльке — например, о том, как работал Тициан. Он отворачивал картины лицом к стене, а спустя некоторое время набрасывался на них, как на врагов.

Вера пыталась рассказывать, но Копипаста её не слышала. А в Большой галерее и вовсе потерялась. Вера дважды обошла галерею — Юльки нигде не было. Она составила фразу на своём корявом французском: вы не видели девушку в синем платье? Высокую, красивую?

Летом, после седьмого класса, Юлька внезапно стала красивой. Всё, что прежде выглядело смешным, стало вдруг единственно верным — как доказательство сложной теоремы. Маленькие, широко расставленные глаза Вера считала поросычьими, — но выяснилось, что они не поросычи, а как у Марины Влади. Чёрно-белый портрет Высоцкого и Марины, где он держит её за коленку, а она обнимает его за талию, будто они едут на мотоцикле, висел в спальне классной руководительницы. Та однажды попросила Веру с Бакулиной сбежать к ней домой — надо было срочно доставить в школу какую-то книжку. Квартира учительницы поразила Веру беспорядком и этой вот фотографией. В Марине Влади было нечто такое, что делает неважным возраст и успех.

— Какая красавица! — простонала Бакулина. Никто не знал, что ровно через год Бакулина будет говорить то же самое про Юльку. И не только Бакулина — все! У Юльки вдруг появились брови — такие ни за что не нарисуешь. Толстые губы, которыми Парфянко мечтал «медку хлебнуть», вдруг заняли на лице нужное место, и сложный нос внезапно стал аккуратным, как на монетке. Ну а самое грустное, что Юлькины ноги были теперь не хуже, чем у первой выбранной в стране «мисс» — Маши Калининой. Однофамилица Копипасты улыбалась с обложки журнала «Бурда Моден», и дёсны у неё были одного цвета с помадой — бледно-оранжевыми, как недозрелая хурма.

Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги должны быть длинными, но теперь беспощадная правда стояла перед ней в лице Юльки — точнее, правда была в её ногах. Первого сентября Витя Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом и просто — споткнулся. Копипаста была в тот день ещё и в очень удачной юбке — и проносила её до весны, пока не села на тополиную почку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила внутри странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, открыло глаза и осмотрелось. Для существа, только-только увидевшего мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд.

Зависть была наблюдательной — как юнга.

Тем вечером Вера измеряла собственную ногу гибким портновским метром — от бедренной косточки и до пятки, прилипшей от волнения к полу. Цифра оказалась скромной, и Вера пыталась её забыть, но, разумеется, помнила. Помнит и по сей день — а вот нащупать с первой попытки бедренную косточку уже не может.

В Лувре Вера несколько раз бросалась следом за синими платьями, но в этом году они вошли в моду, их носили самые разные женщины — не только пропавшая Копипаста. В Большой галерее посетители разглядывали картины, а картины — посетителей. Это был такой особый, взаимный зоопарк. Лишь два портрета кисти Арчимбольдо, человек-Зима и человек-Осень, смотрели друг на друга и напоминали своими невесёлыми профилями районный стенд «Их разыскивает милиция». В юности Вера изучала этот стенд как групповой школьный снимок: лица доброй половины одноклассников выцветали на дневном свете.

У холста, где Юдифь держала за волосы голову Олоферна и смотрела на неё с деловитостью мясника, уважительно молчали подростки. Скульптурная Артемида одной рукой доставала стрелу из колчана, а другой придерживала за рожки любимую лань.

Куда же делась Юлька?

— Чтоб тебя! — рассердилась Вера. Издалека Джоконда укоризненно смотрела из рамы, поджав губы. Вера смерила картину ответным взглядом. Никогда её не любила — и вообще, любить то, что нравится каждому, это как жить в Свердловске начала девяностых: привезли на Центральный рынок партию румынских кофточек с чёрными «огурцами», и весь город в них ходит, как в спецодежде.

Вот и с Джокондой так. Вера считала её славу преувеличенной. Она любила Дюрера, простодушного Конрада Витца¹, Венецию у Каналетто, любила Сарджента, Ренуара — и зрелого, и старого, с привязанной к руке кисточкой. У Ренуара всё такое мягкое, тёплое, текущее... Как будто объектив настраивается, не проявив картинку до конца. Повесьте напротив Джоконды портрет Жанны Самари — ещё неизвестно, кто кого.

Напротив Моны Лизы — «Свадьба в Кане Галилейской» Веронезе. Сто тридцать фигур, Иисус превращает воду в вино, но это чудо никого не волнует — нет, все смотрят на женщину в чёрном: сложила руки как ханжа...

За стеной, где висела «Джоконда», зал продолжался, и там у окна стояла Юлька. Рыдала в шейный платок, уже совершенно мокрый. Сопливые ниточки тянулись от него паутиной.

Верина летучая мышь дёрнулась внутри, как младенец: даже в зарёванном виде Юлька была красива. Поставь напротив «Жанны Самари» — неизвестно, кто кого.

— Да в чём дело-то? — спросила Вера.

— Не могу на неё смотреть!

— На кого? — не поняла Стенина.

— На Джоконду!

Копипаста подняла опухшее лицо, шмыгнула носом. На фоне французского окна она сама была будто портрет

¹ Конрад Витц — представитель швейцарской школы живописи, Джон Сингер Сарджент — американский художник, один из наиболее успешных живописцев *прекрасной эпохи*.

в раме. Синее платье, голубые портьеры — что-то в духе Вермеера.

— Я не могу, потому что она всё про меня знает! И всё прощает!

— Ну прямо как Христос, — рассердилась Вера.

Юлька вытерла нос платком, хотела высморкаться, но вспомнила — он шейный, шёлковый. Вера достала из сумки пачку салфеток.

— Спасибо! Но я не могу пока к ней вернуться. Она такая... беззащитная! Мне её жалко, почти как тебя, Верка!

И Юлька снова зарыдала, да так, что два берета, проходящие мимо, мужской и женский, сочувственно сказали «о-ля-ля».

Вера с трудом вывела рыдающую подругу из зала, закрывая своим телом опасный портрет.

В начале десятого класса к Ольге Бакулиной приехала старшая сестра из Москвы, взяла академический отпуск.

Сеструха — так звала её Бакулина — быстро объяснила младшей что почём. Ей, как опытной гадалке, хватило беглого взгляда на групповой снимок класса.

— Вот эта, — красный ноготок царапнул фото Веры Стениной, — выскочит замуж самой первой. Потом ты найдёшь кого-нибудь. А Юлька будет долго выбирать...

Но сеструха ошиблась. Первой замуж выскочила как раз-таки Бакулина — ещё на первом курсе юридического встретила мальчика *из области* и всего через год жила с ним в квартире на улице Куйбышева. Интересно, что на свадьбу не пригласили ни Веру, ни даже Юльку — и они довольно долго подозревали Бакулину в том, что та соврала им о замужестве. Что никакого мужа у неё на самом деле не было и нет.

Впрочем, какие-то следы его присутствия время от времени ощущались. Одно время Вера была так увлечена мыслью поймать Бакулину на вранье, что ходила к ней в гости на Куйбышева чуть ли не каждую неделю.

Ольга не особенно радовалась. Сразу же торопливо уводила в кухню, где торчал, как древний курган в пустыне, пузатый холодильник «Орск». Времена стояли голодные, угощение не подразумевалось, а Вера Стенина всегда любила *покушать*. Однажды, ещё в школе, уничтожила в гостях у Копипасты шесть пирожков с картошкой. Но здесь на пироги рассчитывать не приходилось — Бакулина наливала голый чай, ставила пепельницу на стол и садилась напротив. Руки лодочкой, голова набок — аудиенция будет недолгой.

За мутно-стеклянной дверью кухни, кажется, мелькала чья-то тень, но вредная Бакулина не только не открывала дверь, но ещё и всовывала в щель кухонное полотенце — не дай бог распахнётся!

Вера Стенина уходила прочь с полным желудком горячей воды — и успевала заметить в прихожей лыжные ботинки мужского размера или газету «Советский спорт». Самого мужа так ни разу и не увидела. Это была тайна почище йети или кругов на полях, о которых вдруг начали много и взволнованно рассказывать по телевизору.

— И я его не видела, — подтверждала Юлька. — Или он красавец, и Ольга боится, что мы его отобьём, или жуткий урод, и она его стесняется.

Копипаста предложила подкараулить супругов у подъезда, но Вера не решилась. А потом Бакулина развелась со своим йети и уехала в Париж. Чем она там занималась, тоже оставалось тайной.

Юлька замуж и вправду не торопилась. На похороны Вити Парфянко, покончившего с собой по неизвестным причинам через год после выпускного, она пришла с таким мужчиной, что он произвёл на Веру даже более сильное впечатление, чем Витя в гробу. Как бы ужасно это ни звучало.

— Да ну его, — отмахнулась Юлька от Вериных восторгов и поздравлений. — Замуж зовёт. А я, Верка, вообще не хочу замуж, веришь?

Вера криво улыбнулась. Летучая мышь внутри тогда была ещё крошечной — даже нельзя было точно сказать, есть она или нет. А сейчас её, наверное, даже на узи можно увидеть — или на рентгене. Если попадётся опытный специалист.

— Верке и полагается верить, — вяло пошутила Стенина. Сама она к тому возрасту — им исполнилось по девятнадцать — страстно мечтала о замужестве. Представляла его в виде пушистого, мягкого халата, который лежал в приданом вместе с *полсотней*, как говорила мама, льняных простыней. Там были ещё и скатерти, вышитые гладью и рипшеле, были постельные комплекты с кружевными оторочками и фестонами, ночные рубашки, кухонные и махровые полотенца, сервизы — кофейный с золотом, столовый с абстрактным узором. Были тяжёлые, как слесарный инструмент, ножи и вилки в коробочках с бархатными углублениями — когда Вера проводила по этому бархату пальцем, у неё сладко и вместе с тем противно сводило спину.

Мама *припасла* отрезы ткани с названиями, которые хотелось писать с большой буквы. Названия звучали как имена. Даже не имена, а настоящие дворянские фамилии. Виконт де Мадаполам. Шевалье Батист. Граф Крепдешин. Были там, впрочем, и простонародная фланель, и сатин, и лён, и ситец, и ткань с подозрительным названием «бязь». И ещё — собрания сочинений. Достоевский, Чехов, Лев Толстой в коричневых переплётках... Но всё же тех, кому доводилось свести знакомство с этим кладом, поражали именно простыни — своим непостижимым количеством.

— Пятьдесят? — ужаснулась Копипаста, когда Вера предъявила ей однажды потайную нишу в стенном шкафу. — Да за каким фигом столько?

— Ну не знаю, — смутилась Вера. — Мама говорит, так принято.

— Пятьдесят простыней... — осмысляла Юлька. — Ими, наверное, можно весь ваш дом обмотать!

Она с удовольствием устроила бы этот перфоманс в духе знаменитого художника Христо¹, поэтому Вера поспешно захлопнула шкаф, от греха закрыв его сверху на железный крючок.

Юлькина мать приданым не озаботилась, тем не менее Копипаста выходила замуж целых два раза — а вот Стениной так и не довелось сменить фамилию. Мама долго сопротивлялась, но потом пустила в дело и простыни, и полотенца. Разутюживая капризный лён, бедная Верина мама спрашивала судьбу, зачем она обошлась так с её дочерью? Скатерти пошли на подарки — одну, с вышитыми тамбурным швом лиловыми васильками, получила Копипаста на свою первую свадьбу. Копипаста этого, разумеется, не помнит.

Звёздный час Стениной остался в детстве: к поре расцвета выяснилось, что Вера — из переваренных блондинок, бесцветных, как размякший лук. Фигурка неплохая, но из тех, что в одежде не оценишь. Как говорил Модильяни, все хорошо сложенные женщины в платьях выглядят на редкость неуклюже.

На выпускной вечер мама собирала Веру будто под венец. Платье по выкройке из «Бурда Моден» сшила портниха. Тётя Таня из торгога *достала* чёрные лодочки на каблуке, с острым носком и лакированными вставочками. «С рук» купили чешскую бижутерию, бело-жёлтые бусы и клипсы в тон — мочки ушей гудели от этих клипсов, как при взлёте лайнера. Ещё были ажурные колготки и настоящая роза, пришитая к платью на живульку. Макияж Вера сделала себе сама — мама подарила ей набор «Ланком» с перламутровыми тенями и помадой, которая пахла вкуснее, чем любые духи. Но и духи, разумеется, были — «Исфаган». В Свердловске его называли «Испахан» — так звучало понятнее.

¹ Я в а ш е в Х р и с т о — американский скульптор, художник, представитель постмодернизма, изобретатель техники ампаке-тажа.

Юлька явилась на выпускной вечер в платье, сшитом из подкладочной ткани светло-голубого цвета, и в раздолбанных туфлях, некогда белых, а теперь испещрённых чёрными, как на берёзе, царапинами. Зато она сделала причёску — пышно взбила кудри, начесала чёлку. Улыбка, ямочки на щеках. И проклятые ноги!

— Похожа на Си Си Кетч¹, — вздохнула Бакулина.

За аттестатом Вера плыла на сцену медленно, растягивала момент, как гармошку. Юлька, которую вызвали раньше, взлетела туда в три шага, потеряв по дороге одну из своих страшных туфель — засмеялась. Опять эти ямочки! Три мальчика, вот болваны — и красавцы, на подбор, — побежали к сцене, пока эта золушка прыгала там на одной ноге, и чуть не передрались из-за её туфли. А Вера мяла вспотевшими пальцами подол платья, и роза на груди поникла, как будто только сейчас поняла, что её сорвали — и что это уже навсегда.

Зависть — самое стыдное из всех человеческих чувств.

Свои права есть у ревности и у ненависти, и даже для жадности всегда находятся оправдания. Но не для зависти! Сказать: «Я завидую» — всё равно что выставить себя голышом на всеобщее обозрение, да не во сне, а наяву, да не в красивом двадцатилетнем теле, а в том, с которым живёшь большую часть своей жизни.

Вера Стенина решила, что отныне будет ненавидеть Юльку — это звучало достойнее. К сожалению, здесь была загвоздка, непереносимая, как гвоздь в ботинке.

Ещё в средней школе Вера влюбилась в родного Юлькиного брата Серёгу. А кто бы, интересно, не влюбился? Серёга курил с шести лет, в десять впервые попал в милицию, в тринадцать ушёл из дома — сняли с поезда только в Иркутске, поскольку Серёга ехал во Владивосток. У Юльки-Серёгиной мамы после этой истории левый глаз

¹ Си Си Кетч — сценический псевдоним известной исполнительницы песен в стилях поп и диско.

долго не просто дёргался, а ещё и непрерывно мигал — казалось, что бедная женщина вот-вот перегорит, как лампочка.

Серёгу обожали и мать, и сестра. Он напоминал юношу с картины Боттичелли «Портрет молодого человека с медалью в руке». Правда, у юноши — длинные, волнистые волосы, а Серёга носил стрижку, которую в конце восьмидесятых называли «брейк». Сбоку коротко, сзади — длинно и чёлка, как на детском рисунке, сосульками, да ещё и высветленная. Как у Хью Кияс-Бёрна в кинокартине «Безумный Макс».

Вместо Юлькиных ямочек на щеках Серёге досталась одна — на подбородке. И если у юноши с медалью эта ямочка походит на маленькую задницу, неизвестно что делающую на лице, то у Сереги она была аккуратная, словно ангел коснулся мизинчиком...

В общем, Вера влюбилась и переживала эту любовь, как тяжкую болезнь. В восьмом классе убегала с уроков, чтобы постоять в подъезде с вечным прогульщиком Серёгой — он почему-то не впускал её в дом, но и не прогонял.

Юлька долго ничего не знала про эти набеги Веры Стениной, пока Серёга однажды не проболтался.

— Верка, — укоризненно сказала Юлька. — У него целых три девчонки — Наташка из десятого «А», Лариска из пятого подъезда и Неля с улицы Ясной. Зачем тебе это?

Лучше бы она ударила Веру в сердце своей длинной ногой.

Через год после школы Серёгу забрали в морфлот. Вера не пошла на проводы, у неё тогда закрутился первый настоящий роман — похожий на отрезок, где точкой А стал первый поцелуй, а точкой В — прощание с «детственностью» (так, глумясь, Вера называла своё целомудрие). Она была так благодарна, что на неё обратили внимание! Даже не задумалась, близок ли ей этот человек и нужен ли он ей... Мавр ушёл, как только сделал своё дело (халтурно, честно говоря), — и Вера заплакала целую зиму.

А Серёга отбыл на остров Русский — поехал-таки в свой Владивосток. У военкомата его провожала целая толпа друганов с Бурелома и Посада, мама в слезах, сестра с озабоченным лицом, а ещё — Лариска, Наташка и Неля с Ясной. Серёга был обрит наголо и увенчан тюбетейкой, она сидела у него на затылке, как ермолка.

Все три девицы обещали писать, а Неля Ясная — *дождаться*. Не дождалась, конечно. Три года — это ж целая жизнь!

Серёга уходил в армию из одного города, а вернулся — в другой. Даже страна теперь была другая. Впрочем, он быстро сориентировался — он вообще был быстрый во всём. Тельник Серёга Калинин надевал лишь по святым мореманским праздникам и в считанные дни вписался в высший свет местной братвы. Его застрелили на разборках ясным майским утром — в те годы рядовое дело.

В теленовостях показали окровавленное тело на газоне и удивлённое, живое лицо на фотографии «с уголком». Юные усики — как мелкая расчёска, которую за каким-то баловством приложили к носу. В кадре щебетали птички.

Вера смотрела на всё это, прижав холодные пальцы к горячим щекам. Почему-то вспоминала не то, как они стояли в подъезде — она знала там каждую ступеньку, могла на слух определить дверной звонок во всех квартирах. Память выдала другой сюжет: в шестом классе Серёга увлёкся выжиганием и сделал маме ко дню рождения разделочную доску, на которой летали коричневые выжженные бабочки. Одна, с цифрами 3 и 9 на крыльях, улетала. А другая, с цифрами 4 и 0, садилась на цветок, над которым Серёгин выжигатель потрудился с особым тщанием. Доска по сей день красовалась на почётном месте в кухоньке Калининных — никто бы и не подумал резать на ней лук или пусть даже яблоки.

Любовь к Серёге, а после его смерть научили Верину зависть затихать — на долгие месяцы. Так можно было жить.

А потом всё, конечно, возвращалось.

Вера достала телефон из-под подушки. В детстве она прятала под подушкой свои самые главные сокровища: немецкого пупсика, морские камушки (на самом деле — зализанные морем кусочки стекла, похожие на монпансье) из Лазаревского, конверт с вырезанными из журнала «Работница» рецептами тортов, которые так никогда и не испекла. А маленькая Юлька засыпала с карамелькой за щекой — её мама часто брала ночные дежурства, она была сестрой в реанимации. Оставляла Юльку с братом, и тот, чтобы «мелкая не орала», ставил рядом с кроваткой полную вазочку карамели. Должно быть, поэтому зубы у Юльки были плохие, желтоватые, как клавиши у старинного рояля, ложечка дёгтя в бочке красоты. И лечила она зубы без конца, вот и теперь ходит в стоматологию чуть не каждый день. Может, как раз сейчас и лечит, поэтому Евгения не смогла дозвониться?

Лара вышла из комнаты — в пижаме, нечёсаная — и прямиком в кухню. На дверце холодильника уже третий месяц висела приклеенная Верой записка: «Хочешь есть? Иди спать!», но на дочь это не действовало. Она была вначале пухленькой, а теперь уже толстой, раскормленной.

Дрель завелась по новой. Вера включила мобильник.

Копипаста действительно не отвечала — Евгения говорила правду. Да и с чего бы ей врать? Сидит сейчас и ждёт, что приедет тётя Вера Стенина, разведёт тучи руками и решит все проблемы. Наверняка ерунда какая-то случилась — Евгения вечно преувеличивает, и слёзы у неё всегда близко, как и у Юльки.

А холодно-то как сегодня... Грабарь за окном! Брейгель! Константин Васильев!

Глава вторая

Я любил свою темницу, потому что я сам её выбрал.

Оноре де Бальзак

Летучая мышь ходила кругами – вот ведь тварь рукокрылая! И тоже – раскормленная. Вера ещё раз набрала Юлькин номер, но на этот раз телефон оказался выключен.

Лара прошлёпала обратно в свою комнату – с банкой мёда и нарезанным батоном. Через секунду там победно завопил телевизор.

...Дружба – не любовь, её свернуть труднее – связующие нити торчат и лезут отовсюду, как в бракованных швейных изделиях, которые стали продавать в последние годы даже в дорогих магазинах. Мышь долгие годы нащёптывала Вере, что лучше бы им с Юлькой не видеться. Впрочем, однажды Копипаста сама отошла в сторону на целый месяц.

На втором курсе университета Вера Стенина, изучая историю искусства в теории, попала в компанию художников на практике. Совершенно случайно попала – кто-то привёл, познакомил, в юности это легко. Художников было пятеро, все в самом опасном возрасте – около тридцати.

О славе мечтал в этой компании каждый, о деньгах – четверо, а жить вне искусства не могли только двое. Ва-

дим и Боря. Ростом Вадим был выше всех, кого знала Вера Стенина, — макушка парила под самым потолком. Блондин, румяные щеки, тёмная щетина — он редко брился, говорил, что бережёт кожу. Терпеть не мог, если кто-то был выше его — такие изредка, но всё же встречались. Забавно, что этот взрослый дяденька, как младенец, поглядывал на руки, когда речь заходила о том, где право, где лево — видимо, мама научила его определять это по мизинцам и он до сих пор нуждался в подсказке. Боря выглядел моложе и своих, и не своих лет — бывают такие вечные мальчишки, которым даже в тридцать лет отказываются продавать сигареты. Девушкам Боря нравился, выглядел *безопасно*, будил материнские инстинкты — ему, возможно, хотелось бы пробуждать другие, но тут уж кому что дано. Боря любил деньги, и это его спасло. Своевременное формирование финансового рефлекса — гарантия того, что человек покинет опасный мир богемы вовремя. Вадим был равнодушен и к зелёным, и к деревянным — все деньги одинаково быстро превращались в краски, хлеб, вино... Ещё и девушки постоянно просили купить то одно, то другое — в магазинах тогда уже свободно продавались итальянская косметика «Рира», белё с цветным кружевом, сумки, собранные из кожаных клочков.

Вадим обожал Брейгеля, тогда как Боря молился на Пикассо. Между тем в Свердловске в то время был на пике моды Сальвадор Дали. Его альбом чудовищных размеров — настоящий увраж! — Вера и Юлька рассматривали в гостях у Бакулиной. Увраж привезла откуда-то всемогущая сеструха, и братья за страницы разрешалось только после того, как помоешь руки под присмотром, как дошкольница. И обязательно снимали суперобложку.

Вера была увлечена новой компанией всецело. В юные годы так часто происходит: выбирается образ жизни, сообщество людей, группа единомышленников. И там, внутри этой группы, всегда находится кто-то са-

мый яркий, в кого девочки неизбежно и неудачно влюбляются. Сейчас на общем фоне выделялся, конечно, Вадим. Первым из всех ему удалось получить собственную мастерскую, где теперь околачивались все пятеро плюс девушки. Вадим просил не приходить по вторникам и пятницам — в эти дни он работал. Однажды Вера шла мимо мастерской с Борей и заметила, что спутник её смотрит на окна Вадима, как любовник — на неверную женщину.

— Работает, прямо сейчас! — Боря сказал это с такой тоской, что Вера пожалела его так же отчаянно, как жалела до той поры только себя. Поэтому и пошла в тот вечер к нему домой, в съёмную комнату. Это была даже не комната, а какой-то занорыш со сломанной тахтой — и от Веры с Борей получилось так много шума, жара, звуков и запахов, что можно было задохнуться. Боря жалобно покрикивал в процессе — ни дать ни взять голодная чайка — и на его крики (редкие, по всей видимости, в этом пейзаже) откликнулась соседка.

— Борис, с вами всё нормально? — встревоженно спрашивала она из-под двери, а потом ещё долго стучала в неё согнутым пальцем. Борина голова лежала на груди Стениной, и оба они, честно сказать, походили в тот момент на два трупа, сброшенных в угол прозекторской.

Как художник Боря был значительно интереснее. Вера упивалась его картинами. Шизофреническое внимание к деталям. Ни одной случайной — или же излишней — линии. Свет и цвет на равных. И, главное — бешеная мощь, сила, энергия! Всё забрали эти картины, ничего не осталось художнику для жизни.

— Надо же... какой тестостеронный... — проронила на его первой выставке заезжая критикесса.

Вскоре Борю заметили, он перебрался в Москву и не потерялся — хотя там и без него хватало художников. Сейчас он пишет очень специфические картины и, согласно договору с агентом, *не имеет права менять свой стиль.*

Однако личная драма Стениной была связана не с Борей, а с Вадимом. Хотя без упоминаний о Боре здесь всё равно не обойтись.

После криков чайки Вера с Борей избегали друг друга, ни о каком продолжении не могло быть и речи. Боря стал больше работать, снял какой-то подвал под мастерскую — к нему приходили туда и друзья, и натурщики. Ещё год — и начал готовиться к выставке. Остальные трое живописцев на тот момент времени тратили все свои силы на то, чтобы завидовать Боре и Вадиму. Для творчества оставались такие ничтожные крохи, что их было проще не замечать. Сами отомрут.

И всё же компания держалась. Зависть нуждается в постоянном окормлении, она всё оправдывает и покрывает — прямо как любовь у апостола Павла. Девушки, вино, пепельницы, набитые окурками (одна из них — металлический сапог — до сих пор стоит у Веры Стениной перед глазами как живая)... Сегодня идём в подвал к Борьке или в мастерскую к Вадиму — лишь в этом был вопрос.

Однажды Вера привела с собой Юльку Калинину.

Чувствовала — нельзя этого делать! Вадим выделял Веру словно любимую краску, искал взглядом — едва только толпа вырастала на пороге. Он был скуповат на цвета, считал белёсость признаком породы и заявлял, что самые красивые женщины живут в Скандинавии. Вера была *его типа*, к тому же она освоила красную помаду и носила чёрный берет, — иногда даже не снимала его специально в мастерской, видела, как любит её Вадим. Она никогда в жизни не была такой хорошенькой, как в ту зиму.

Вот здесь и появилась практикантка Юлька с просьбой от редакции городской газеты. Срочно требовалось интервью с Вадимом — и Юлька нахвасталась на планёрке, что подружка-искусствовед обеспечит беседу в два счёта.

— Ну, я тебя очень прошу, Верка! — ныла Юлька. Пришлось согласиться, хотямышь билась, как птица в клетке.

Вера сделала всё, что могла. Убедила Юльку не наряжаться, ни в коем случае не надевать короткую юбку. Именно в тот день попросила напрокат лучшую Юлькину кофточку и залила её чернилами.

Они встретились у мастерской.

— Юлька, ты помни на всякий случай, что это *мои люди*, — сказала Вера, прежде чем открыть дверь.

Дальше всё было предсказуемо и больно. Вадим с Юлькой долго курлыкали над диктофоном — пока не закончилась плёнка в кассете. Юлька перевернула кассету и снова включила запись. Гости один за другим уходили, у Бори в тот вечер, как назло, ждали модную художницу из Питера. Юлька, Вера и Вадим остались втроём. За окном зрели сумерки — сине-зелёные, как отцветающий синяк на бедре вчерашней натурщицы.

Вера просидела бы в мастерской хоть до самого утра, но Вадим вдруг обнял её за плечи и шепнул:

— У тебя очень красивая подруга.

Шёпот и тёплая рука на плече не подходили этим словам, и Вера не сразу осознала, что Юлька и Вадим смотрят на неё, как на муху, залетевшую в дом. Задача о трёх телах требовала срочного решения, поэтому Вера ушла, держась, точно старуха, рукой за стены. Распахнула дверь подъезда — ледяной ветер напал на неё, бросив в лицо горсть колючего снега.

Перед глазами расплывались утопанные дорожки и почти нетронутые белые поля, где темнели неглубокие ромашки собачьих следов.

Летучая мышь вцепилась Вере в горло и не разрешала уходить — пока не погаснет свет в окне мастерской. Только тогда она побрела домой и долго рыдала в своей комнате — даже выгнулась в истерическую дугу и сама испугалась, какое это ей доставило удовольствие. Вера Неврастенина.

Плач её временами напоминал хохот, соседи стучали в стену, а мама сидела рядом и гладила Веру по плечу, которое всё ещё помнило другое касание.

Наутро Юлька не позвонила. Решила больше не общаться с Верой — так было честнее. Но уже через две недели после того, как вышло интервью в газете, Вадим обозвал Юльку душой.

— Твоя подруга очень меня подставила, — с упрёком сказал он Вере. — Хоть бы показала вначале... Там столько ляпов!

Юлька на «дуру» обиделась — тем более что в газете все сказали, интервью отличное. Её даже *отметили на летучке!*

Вера не собиралась читать это интервью, не хотела даже думать о нём — но зачем-то пошла тем же вечером в мастерскую. Был вторник, запретный день, Вадим трудился над портретом: женщина сидит спиной к зрителю, любит пейзажем. Отвернувшись Джоконда.

— Сними ты свой берет, жарко ведь, — сказал художник Вере. — Каждый раз думаю: почему она его не снимает?

Вера послушно стянула берет, почувствовав запах своих волос — так пахло от хомячка, который жил в детстве у Бакулиной. Ему бросали в аквариум грязную вату из ушей.

— Я пойду, — сказала Вера, но Вадим был слишком занят своей работой, чтобы ответить.

Впоследствии он стал по-настоящему знаменит, Вере часто попадаются статьи о нём и каталоги выставок. Отвернувшуюся Джоконду — «Вечер Юлии» — приобрели для частного собрания знаменитого коллекционера Дэвида А.

А Юлька пришла к Вере с повинной через месяц — и даже летучая мышь была рада её возвращению.

Глава третья

Пора расцвета может легко пройти незамеченной.

Мюриэл Спарк

Тонечка Зотова, философ из детского сада, по-прежнему оставалась невидимой. А ведь эта девочка, лицо которой память так и не смогла проявить до конца — оно расплывалось и ускользало, как пейзаж Моне, — была до отказа набита ценными сведениями.

— Завидовать — нехорошо!

— Ногами болтать нельзя, а то у тебя мама умрёт!

— Не закатывай глаза, Верочная! Стукнут по голове, такой и останешься!

Тонечка твёрдо знала, что, если у человека выпала ресничка, нужно вначале спросить, из какого глаза, а потом — загадать желание. Трамвайный билет со счастливым номером — разжевать и проглотить, лавровый лист в тарелке с супом — это к письму, а если встать между воспитательницей и нянечкой (обе были милые Людмилы), то сбудется всё, что пожелаешь!

Интересно было бы встретиться с этой Тонечкой сейчас, мрачно думала Стенина, выкапывая из кучи выстиранного, но невыглаженного белья тёплые колготки. Интересно было бы узнать, сколько желаний сбылось в жизни у этой дуры.

В юности Вера носила тонюсенькие колготки, чёрные или бежевые, «телесные», как тогда говорили. Бакулинская сеструха объясняла, что телесные — элегантнее. Даже зимой Вера Стенина отважно щеголяла в капроне, хотя мама умоляла *поддевать* короткие тёплые штанишки. Поверх колготок, Веруня! Не видно будет! Вера сбегала вниз по лестнице — и от мамы, и от штанишек. Ноги мёрзли страшно, бёдра под капроном отливали красным и ещё долго потом согревались в тепле какой-нибудь мастерской или видеобара «Космос», где было модно вечерять в девяностые.

Однажды Вера с Копипастой выпивали в компании, и Юлька уронила на ногу пепел от сигареты. Прожгла дыру в колготках, а юбка была короткая, Копипаста других не носила. Зашивать капрон суровой ниткой никто бы не стал, и тогда одна женщина, уже *возрастная*, как сказала бы мама, вырвала у себя длинный волос, ловко всунула его в иглу и зашила колготки прямо на Юлькиной ноге. Шов был заметен, конечно, но это лучше, чем дыра. Такой тоненький чёрный червячок.

— Спасибо, обращайтесь, — сказала умелица и тут же ушла — из компании, из комнаты, из памяти, а вернулась только сейчас, когда Вера одевалась, чтобы ехать к Евгении.

Вместо того чтобы работать.

Стенина любила свою работу — потому что сама её выбрала. В программе старших классов у них была эстетика. Учительница с мягким именем Эмма Витальевна водила школьников на кинопоказы в «Автомобиль», Дворец культуры «Автомобилист», — его директор, милый тихий человек в берете (он его никогда не снимал, прямо как Вера в мастерской), показывал кино, даже если в зал пришли всего двое: юная Вера и огорчённая эстетической глухотой десятых классов Эмма Витальевна. Стенина, та ничуть не огорчалась: ей нравилось смотреть фильмы в пустом зале — никаких посторонних голов в кадре, никто

не смеётся и не бегаёт в туалет. Сокуров, Феллини, «Анна Каренина» с немецкими титрами («Верочка, у Гарбо был сорок первый размер ноги», — жарко шептала Эмма Витальевна, и в этом шёпоте тоже была своя эстетика). Монах Кирилл в «Андрее Рублёве» сказал слова, которые Вера помнит до сих пор: «Завидовал я тебе, сам знаешь как. Так глодала меня зависть, это ж просто ужас. Всё во мне изнутри ядом каким-то подымалось».

Кроме того, Эмма Витальевна приносила в класс диафильмы и проектор — мальчики под руководством Вити Парфянка завешивали окна чёрными шторами, чтобы смотреть адского Босха и райского Микеланджело и то, как отдыхает фавн и умирает галл.

Именно на этих уроках Вера впервые поняла, что видит искусство решительно не так, как все. При первом же взгляде на репродукции или слайды у неё обострялись сразу все чувства. Как у Дамы с единорогом на средневековых гобеленах. Как в хороших книгах. Как в те редчайшие минуты, когда ты счастлив, а впереди — вся жизнь, ну, или по крайней мере лучшая часть.

Вера вздрагивала от крика мальчика, укушенного ящерицей. Затыкала уши, чтобы не слышать страшного плача Евы у Мазаччо. От Евы с Адамом пахнет пряными райскими травами, но вскоре оба забудут этот аромат, и только Веру он вечно бьёт по носу, как божественный перст. А то гулкое молоко из кувшина вермееровской кухарки? Если подставить палец под струйку, кухарка не больно, но крепко шлёпнет по ладони. Поющие ангелы Гентского алтаря — сразу слышно, кто там сопрано, а кто — в альтах. Вера слушала ангельский хор, и глаза слепило от света, как от снега, и туфли намокали от росы и прохлады зелёной травы... Ослик и бык согревали дыханием ясли, святой Иоанн, как мальчишка, громко глотал слёзы, а Иуда так нестерпимо шелестел плащом, обнимая Христа, что школьница Стенина слышала этот шелест даже сквозь шум диапроектора «Экран-3». До неё долетал и ветерок,

поднятый жёлтым плащом, и жар от пламени факелов, похожих на лохматые рыжие швабры. При этом Вера Стенина ни за что не смогла бы разрыдаться перед Моной Лизой. И не только потому, что не любила её, просто семья далеко не всегда прорастает в подготовленной почве — иногда ему нужна целина.

Вера поступила на факультет искусствоведения и культурологии, не зная, кем станет работать, — она вообще не представляла, к чему приведёт её любовь к искусству. Это была несомненно любовь, но что из неё получается впоследствии — и получается ли хоть что-то — большой вопрос во всех случаях.

Мама была, конечно, против искусствоведения. Мама — мещаночка, в девяностых её мир был разрушен вместе с государством, до основания, без «затем». Тетю Таню поспешно вытурили из торго на пенсию, портниха поступила на курсы секретарей-референтов, подруга Эльза засадила весь огород картошкой. Всё, ради чего мама жила, всё, о чём мечтала — накопить денег на достойную жизнь для Веруни, — сгорело в эти годы. Стенина отлично помнила тот чёрный день девяносто первого года, когда мама разбудила её страшным воплем:

— Веруня! Деньги — всё!

После дефолта мама уже никому и никогда больше не верила.

Она мечтала, чтобы Вера поступила учиться на *бухгалтера*, это была самая модная в девяностых профессия, но дочь даже думать об этом не желала. С её-то математикой! Да пусть бы даже хорошо было с математикой, сесть на цифры на всю жизнь? Вера допускала, что для кого-то и цифры могут быть живыми, но ей они — скука, зевота. Даже годы жизни любимых мастеров Вера запоминала с трудом, позорно путалась в римских *крестиках* и *галочках*.

Мама была против, но Вера тогда уже вошла в силу — не переспорить.

В университет она поступила легко. Эмма Витальевна была счастлива — ещё лет десять изводила Веру телефонными звонками. Одинокая тётка, вечерами она теперь смотрела фильмы, с каждым годом постепенно съезжая вниз по шкале от арт-хауса до картин рядового состава, а потом и вовсе ухнула куда-то в сериалы.

Юлька *прошла* в тот же год на журфак (конкурс был просто бесчеловечный — журналистика стала второй модной профессией эпохи), но по-прежнему брала в библиотеке сборники задачек по геометрии. Когда она их решала, смотреть на неё было неприятно — с таким невидящим лицом другие люди щёлкают семечки, уносясь грёзами как можно дальше от газеты с чёрной шелухой.

Вера же, открыв в себе особенное (5D, сказала бы Лара, чувство), никак не могла понять, получится ли из него какая-то профессия. Рисовать она не умела, как и лепить из пластилина. Даже банальный торт «Прага» не могла украсить: крем (полбанки сгущёнки, какао плюс *распущенное* масло, как было сказано в рецепте), дрянь такая, не желал ложиться ровно, какие уж там цветочки и загогулилки. В процессе борьбы за образование выяснилось также, что Вера с трудом понимает перспективу и не осознаёт важности наличия в картине фокальной точки. Она всю жизнь сталкивалась с чем-то подобным: как только курс чего бы то ни было менялся с практического на теоретический, ей тут же становилось тоскливо до дурноты.

К примеру, философия. Восхитительная, дерзкая наука, будучи расфасована по школам и эпохам, сведена к формулировкам и понятиям, которые требовалось чеканить — как профиль императора на медали, — эта философия превращалась в угрюмую, как работы Эндрю Уайета, преграду между Верой и сессией. Философию членили, упаковывали в экзаменационные билеты, а бедную Веру ставили перед фактом: она должна видеть разницу между Аристотелем и Платоном и обязана формулировать её вслух, чтобы экзаменатор не сбивался с мерного покачи-

вания головой, в том же ритме выставляя в зачётке нужный балл.

— Ну и пусть тройка по философии, зато у вас завидное чувство восприятия, — утешал Веру старенький лектор, читавший историю искусства двадцатого века. У него были усы, как след от копыта, и длинные волосы, седые с желтизной, будто прокуренные. — Завидное чувство! Вам нужно всего лишь научиться говорить об этом.

Легко сказать!

Вера совсем не умела сказать легко.

— Блеяла, как овца, — смеялась Юлька, которую Вера пригласила на защиту курсовой работы — в первый и последний раз.

С учёбой приходилось бороться, зато летучая мышь вела себя в университете тихо, как будто понимала: если засекут, то выставят за порог в два счёта! Юлька же была вся в своём журфаке, писала заметки в «На смену!» — и получала трёхрублёвые гонорары почтовым переводом.

Мама со временем научилась гордиться Верой — рассказывала подругам, что дочь пошла *по линии искусства*. Она даже отыскала на антресолях пачки альбомов, перевязанных бельевыми верёвками и с облегчением стряхнувших с себя эти верёвки, как это, вне сомнения, сделает однажды *Скованный пленник* Микеланджело.

Так Вера нашла альбом «Избранные картины» — автор Клара Гараш, перевела с венгерского Валерия Маркова, издательство «Корвина», Будапешт, 1967 год. Нашла и вспомнила, что в детстве часто смотрела этот альбом — да не одна, а с какой-то женщиной, у которой были душистые маленькие руки. Пястные косточки чётко проступали под нежной кожей, и это было как-то связано с пианино, где для каждой клавиши проложен путь под крышку — там всё загадочно-бархатное, и витой шнур, и мягкие удлинённые подушечки... *Веруня, не смей лазать под крышку, только что настроили!* Женщина, кажется, слюнявила палец, чтобы перелистнуть страницу, Вере это было неприятно. *Фенге-*

ры, бакенжёлцы, штеги и педальные лапки. Девочка не мешает, она такая прелесть, верни камертон, пожалуйста.

У женщины был перстень, вспомнила Вера. Оправа с какими-то завитками, а камень — горбатый, прозрачный и серый, как мёртвая рыба, в животе которой могло бы путешествовать то самое кольцо.

— Мама, откуда у нас эта книга?

— Не помню, — ответила мать так быстро, что сразу стало ясно: она готовилась к ответу и она врёт.

Твёрдый тканевый переплёт, на ощупь и цветом — как мамин любимый костюмчик, бежево-бязевый. Супер-обложка, конечно, не сохранилась, но репродукции были на месте — как и Верины воспоминания. Она сама удивилась тому, как же они пролежали между страниц все эти годы, нетронутые, словно листья из гербария? Вера помнила даже небрежно пропечатанные краски, что уж говорить про сюжеты! Мадонна Лоренцетти всё так же походила на покойную бабушку, а правая кисть её руки с широко расставленными перстами напоминала корону, которой на следующей странице увенчана Иродиада. А отрубленную голову несут на блюде, словно угощение! И всё у этого Сано ди Пьетро в точности, как объясняли на лекциях по готике: изначально персонажи ходили по земле на цыпочках, пока Мазаччо не поставил живопись «на ноги».

Женщина с перстнем объясняла, что бумага в альбоме «лощёная». Вере, как в детстве, не нравились линии на лице у королевы Кипра Катерины Корнаро¹, и возмущительно рыжая борода мёртвого Христа на десятой странице, и особенно святая Дева Сурбарана, что с невинным видом топчется на детских головках. Жаль было несчастную корову Саверея, которую грызло сразу три льва (а животик у коровы — белый, а на лбу — кудряшки)... Золотая,

¹ «Портрет Катерины Корнаро, королевы Кипра» работы Джентиле Беллини.

блестящая туша в лавке мясника у Рембрандта — продолжение сюжета, но туша пугала не так, как «Пытка» Алессандро Маньяско¹. Маленькая Верочка в этом месте всегда зажмуривала глаза и теперь, студенткой, сделала то же самое. Головы неизвестных супругов, запечатлённых Ван Дейком, лежали на кружевных арлекинских воротниках, как на блюдах, — «брыжи», говорила женщина с перстнем.

В той же связке обнаружили ещё два альбома — и тоже сразу вспомнились. Рокуэлл Кент — чёрно-белый, как зима, и Лукас Кранах, страшные распятия, Иоганн Куспиниан, похожий на женщину, и мать Мартина Лютера, как будто спрятавшая язык под губу. И так много голых тел! Слишком много для маленькой девочки. Последняя репродукция в альбоме Кранаха — ревность. Двое голых мужчин делят женщину, и она тоже — без одежды. Ещё одна задача о трёх телах.

Мама упрямо гремела в кухне кастрюлей, как будто пытаясь прогнать шаманскими звуками неприятный разговор, — но Вера не отступилась, отняла кастрюлю и, прижав её к груди как щит, спросила, что за женщина листала с ней вместе альбомы Кранаха, Рокуэлла Кента и тот, большой, издательства «Корвина»?

— Как ты это вспомнила? — поразилась мама. — Совсем ведь крошка была! — На губах зацвела опасная улыбка, сейчас мама свалится в сладкий морок собственной памяти... — Такая хорошенькая, лучше немецкой куклы! Я всё тебе покупала, Веруня, у тебя всё было самое дорогое, дефицитное. Я себе отказывала, недоедала, лишь бы девочку мою одеть-обуть, накормить повкуснее. Даже пианино купила!

¹ Франсиско де Сурбаран — испанский художник, представитель сеvilьской школы живописи. Рулант Саверей — фламандский живописец, один из основоположников анималистического жанра в нидерландской живописи. Алессандро Маньяско — итальянский художник эпохи барокко, мастер генуэзской школы.

— Я помню, — сказала Вера. — Чёрное.

— Да. Его настраивать надо было каждый год. Ты ещё не играла, я только собиралась тебя в школу отдать. Настройщика позвала.

Мать вскрикнула, а Вера вспомнила вдруг что-то очень плохое: стыдные вещи, слёзы, и кто-то бежит через всю квартиру, а за ним тянется одежда — как длинный хвост. Мама плакала, и Вера зачем-то вернула ей кастрюлю.

— Настройщик стал ухаживать, я думала, серьёзный мужчина. Мы в кино ходили, на «Экипаж». В цирк ходили, в старый ещё. В музкомедию.

— Мама, не надо перечислять, куда вы ходили, — рассердилась Вера. — Дальше что?

— Он привёл девушку, сказал, это его сестра. Такая расфуфыренная. Сидела с тобой, книжечки листала. У неё был какой-то блат, она могла ездить — и ездила. Венгрия, Румыния, Польша. Привозила эти книги, предлагала купить — я и покупала, дура. Думала, в приданое пойдут. Раз попросила их с тобой посидеть, а сама побежала к тётке Тане в торг, там босоножки давали. Вернулась, а ты стоишь в комнате и смотришь, как они... как они...

— Вот это да! — сказала Вера.

— Я ему так саданула коробкой с босоножками! — Мать ударила кастрюлю по дну, и та зазвенела победным гонгом. — И тварь эта получила! На твоём диванчике, можешь себе представить? При ребёнке! Они ещё и ограбить нас планировали, я потом догадалась.

— Может, просто извращенцы, — сказала Вера. Тайна рассеялась, ей было жаль, что пыль времени скрывала такой пошлый рисунок. А мама никак не могла успокоиться — рассказывала, как продала пианино, чтобы «глаза не смотрели», но альбомы решила оставить, закинула на антресоли.

— И тут вдруг ты со своим искусством!

«Искусство — обезьяна природы» — этой фразой Юлька донимала Веру почём зря. Сама же отчаянно увлеклась по-

литикой, к сожалению, местного разлива. Вера считала, что в Екатеринбурге не может произойти ничего особо интересного, но Юлька спорила: «Историю будут писать у нас». Она быстро научилась разговаривать не обычными словами, а газетными заголовками или даже целыми *врезами*.

Неудачу с Вадимом Юлька пережила быстро, как это умеют делать только истинные красавицы. А вот Вера прострадала целый год, будто в тюрьме отсидела. Даже годы спустя, когда видела картины Вадима, сразу глохла и слепла — слишком много боли для отстранённого любования... Хотя, если честно, любоваться ими в принципе было сложно — с годами портреты Вадима стали безжалостными, а он полюбил писать именно портреты.

Вера, страдая, работала над очередной курсовой — хотела писать о Ренуаре, а дали Гюстава Курбе, и спасибо, что не Денисова-Уральского. Юлька же тем временем познакомилась с весьма оригинальным молодым человеком, решившим посвятить свою жизнь царским останкам.

Вообще, Юлька каждый день с кем-то знакомилась — это было и требование профессии, и естественное свойство личности. Охотно открываясь незнакомцам, Юлька брала у них что ей нужно, после чего отпускала на свободу — как птиц из клетки. Конечно, попадались и такие, что не спешили улетать, даже норовили поглубже забиться в угол, но Юлька вытряхивала их из своей жизни беспощадно.

Вера завидовала этому её умению — с лёгкостью избавляться от лишних людей: подобной виртуозностью могла похвастаться, пожалуй, лишь великая русская литература. Или же история двадцатого века. К тому времени зависть уже стала полноценной частью Вериного существа — одним из тех органов, что так таинственно и сложно действуют внутри каждого человека, пусть даже — лишнего. Вера носила её в себе, как дитя, которому не суждено появиться на свет.

«Человек с останками» был представлен Юльке на какой-то газетной пьянке — он был молод, косолап и напорист, как струя из пожарного ствола. Перекрикивал магнитофон, изрыгавший из себя Алёну Апинову: *Мой долг, как человека православного, отыскать святыне останки помазанника Божьего*. Вера, когда Юлька пересказывала ей, кривляясь, эту речь, вдруг вспомнила строки Гейне — совсем недавно проходили по зарубежке:

*То, что пророчила звезда,
В сражении мы узнали.
Где ты велел, там были мы
И прах короля искали.*

*И долго там бродили мы,
Жестоким горем томимы,
И все надежды оставили нас,
И короля не нашли мы.*

Возможно, благодаря этим строкам история косолапого искателя показалась Вере трогательной — она захотела с ним познакомиться. Это было легко: он распространял духовную газету в коридорах университета. Высокий мальчик с бородой, лицо сердечком, а брови такие, что хочется провести пальцем — сначала по одной, потом по другой. Зовут Валентин. «Валечка», — подумала Вера. Она смущённо вертела в руках духовную газету, не зная, что с ней делать.

— Завтра раскоп, — поделился Валечка, обращаясь напрямую к Юльке. Эта манера была Вере хорошо знакома: мужчины, глядя на Юльку, слепли, не замечая никого вокруг, и Стенина оказывалась равна вот именно что стене. Подавая Юльке руку на выходе из автобуса, никто не помнил про Веру — что ж, зато она научилась ловко спускаться на самых высоких шпильках с самых крутых ступенек.

Валечка говорил только про царские останки. След от сабли японского самурая, феномен Анастасии и ото-

рванный палец Александры Феодоровны... Когда Юлька написала заметку про долгожданный раскоп в Поросёновом логу, Валечка долго мучил её своими вычурными, архаичными какими-то благодарностями, с вензелями и приседаниями.

— При этом он меня почему-то очень волнует, — призналась однажды Юлька. — Проклятый мешок с костями! *Надо переспать и успокоиться.*

Валечка призыву не поддался, чем весьма озадачил Юльку и удивил Веру. Копипаста едва не заболела с досады, вызвала мальчика на откровенный разговор — и тогда он пробубнил, глядя на Юлькины коленки, что *эти отношения возможны только после того, как мы обвенчаемся. Ты будешь первой у меня, а я у тебя.*

— После этого мы будем, по всей видимости, искать царские останки — всю оставшуюся жизнь, — смеялась Юлька.

Вера не смеялась — Валечка казался ей особенным. Кто бы ещё смог так наивно верить, что Юлька по сей день пребывает в девушках? Копипаста, отсмеявшись, рассудила, что проще будет уступить Валечке — хочет отдаться ей только после штампа, так тому и быть. Она не против!

Старшая Стенина восприняла эту свадьбу как личное несчастье, о котором даже говорить больно. А у Юлькиной мамы впервые после Серёгиной смерти перестало дёргать в боку и отдаваться в груди — точнее, оно по-прежнему дергало и отдавалось, просто мама этого почти не замечала. Юленька выходит замуж! Хотя как играть свадьбу — непонятно. Во что наряжать молодую — тоже.

— Распишемся, и всё, — твердила Юлька. Она жадно смотрела на Валечку, а он всё чертил какие-то таблицы и просматривал глаза ночами — любовался юными царевнами. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия... Юлька не ревновала — бедняжек давным-давно не было на свете.

Вера ожидала Юлькиной свадьбы, как ждут боли после слов врача: «Сейчас придётся немножечко потерпеть». Её

собственные мечты о замужестве хранились там же, где все прочие, — на свалке памяти. Мышь грустно летала над ними, наматывая круги, точно самолёт, которому не дают посадку.

Венчались в крошечном храмике, похожем на игрушечный, — жених был здесь алтарным служкой. Юлька нарядилась в платье из марли, в тёмных кудрях белели пластмассовые заколки с висюльками. Вера надела строгий бархатный костюм и шарфик с люрексом — он царапал ей шею, как будто был связан из проволоки. Первую брачную ночь молодожёны провели у Юльки, мама деликатно уехала к родне, в Каменск-Уральский.

Наутро и Вера, и мышь ждали звонка от Юльки — но та не позвонила, хотя обещала как можно скорее рассказать «всё-всё-всё». К вечеру Стенина решила набрать Юлькин номер сама — в трубке были вначале короткие пунктирные гудки, а потом длинные, как сплошное подчёркивание.

Появилась Юлька только через неделю — пришла румяная, в платочке, который ей, к сожалению, тоже шёл.

— Оно того стоило, так прикольно с этой бородой, — выпалила юная жена, а потом добавила встревоженно: — Верка, не вздумай проболтаться про Вадима и остальных. Он верит, что первый. Расскажешь — убью.

— А как ты меня убьёшь? — спросила Стенина, в душе которой, как в клетке, билась разъярённая мышь.

— Дура ты, Верка, — мягко сказала новобрачная и поправила платочек, потому что он сполз куда-то на затылок.

Примерно через полгода после свадьбы Валечка пришёл к выводу, что правы были всё же не участники поисков, с которыми он провёл вместе несколько лет, а православная церковь, так и не признавшая обнаруженные в Поросёнковом логу скелеты останками царя Николая и его семьи. Разочарованный Валечка отнёс в музей копии документов, отдал туда свои любимые фотографии —

портреты с нежными царевнами (только одну себе оставил — Татьяну). Трижды прошёл от Посадской до урочища Ганина Яма, после чего объявил Юльке, что хочет стать священником.

В это самое время о своём визите в Екатеринбург объявили наследники Романовых — то была европейская ветвь, на которой созрели вполне себе сочные плоды: две крупные, величественные женщины и мальчик в костюмчике, про которого шептали «наследник». В нём искали сходство с цесаревичем, правда, находили лишь самые доброжелательные и слабовидящие.

Встречали высочайших гостей частным образом, но всем миром — и даже всей войной. Естественным образом сложилось, что вопрос о транспорте для Романовых был задан криминальным авторитетам — те ответили, что подгонят столько чёрных «мерсов», сколько надо. Тот, кто отвечал за визит в Екатеринбург живых царских останков, не признал бы этот факт даже под дулом актуального для сего натюрморта *калашникова*. Не знали о нём, конечно же, и царственные дамы, и мальчик в костюмчике — вообще, об этом как бы *не знали* все.

Чёрные «мерсы» прибыли в Кольцово строго в назначенный час. Юлька застолбила удобное местечко среди встречающих — она была здесь не только благодаря журналистским, как тогда выражались, корочкам. Ей поручили напоминать всем, кто будет угощать Романовых, важный факт: одна из царственных дам терпеть не может продуктов, нарезанных соломкой. Или кубики, или кружочки, строго пояснили Юльке.

Гости с достоинством рассаживались по машинам — чёрные платья, чёрные тонированные стёкла и зелёный летний город с чёрным прошлым. Юлька попала в один из последних автомобилей кортежа. На заднем сиденье ворковали две тетушки из свиты, а за рулём сидел накачанный молодец, походивший, как решила Юлька, на усечённую пирамиду. Если её перевернуть, конечно. Плечи у мо-

лодца были широченные, руки походили на два дерева с пышными кронами разбитых кулаков — «мерседесов» руль выглядел в них блюдечком. Стенина вспомнила бы по этому поводу бедняжку Дафну с картины Поллайоло¹ — у той тоже были руки-деревья. Но Юлька ничего такого не подумала. Она вообще вдруг разучилась думать — не иначе тоже превращалась в дерево.

— Ссыте, — сказал молодец Юльке и тётушкам, которые сначала потрясённо замолчали, а потом залопотали по-испански хрипло и отчаянно. На испанском языке, должно быть, очень удобно ругаться.

— Юля, — представилась журналистка и решительно протянула руку водителю. Ладонь мгновенно исчезла в его кулачище — так камешек скрывается на дне.

Водителя звали, как убиенного наследника, — Алексей. Был он не из болтливых. Молчал, пока гостей возили по Екатеринбургу и показывали, где стоял дом инженера Ипатьева — его снесли шар-бабой в семьдесят седьмом году. Молчал, когда обедали, и Юлька тоже молчала — поэтому на гарнир к отбивным высокие гости получили картофель, наструганный соломкой.

Юлька была не виновата в том, что все мысли, какие были у неё до встречи с Алексеем, словно бы собрали в одном месте и вдарили по ним шар-бабой. Она даже сидеть не могла спокойно — сиденье под ней раскалилось, как электрический стул. Алексей молчал эффектно — иные даже говорить так не умеют, как он молчал. Это было молчание, полное намёков, обещаний и приятнейших сюрпризов.

Дамы из свиты ещё до обеда попросили, чтобы их пересадили в другую машину — обе начали коптиться и фрагментами поджарать в раскалённом воздухе этого страстного взаимного молчания.

¹ «Аполлон и Дафна» — картина Антонио дель Поллайоло, итальянского живописца, скульптора и ювелира.

Интересно, я его выдержу? – думала Юлька, глядя, как Алексей крутит одной левой «мерседесовское» блюдечко.

Валечка, наверное, был в храме. Юлька попыталась думать о муже, но у неё не получилось. Она хотела взять интервью у царственных особ – и не сумела найти в сумочке диктофон.

– Не могу больше, – пролепетала она, когда гостей высадили наконец в Малом Истоке и чёрные «мерседесы» рванули кто куда, как стая спугнутых ворон.

– Завтра приеду, – сказал Алексей, глядя на дорогу. – Сегодня не могу, а завтра приеду. Пиши телефон, со звонимся.

Юлька накорябала цифры на обратной стороне визитки. И пошла домой ждать звонка.

Дома сидел за столом муж – она совсем про него забыла. Ссутуленный, в кулаке – бородёшка, нюхает её, как букет (ладаном пахнет, после службы).

– Давай разведёмся, Валентин, – сказала Юлька. – По-моему, я тебя больше не люблю.

Муж выпустил из рук бороду. Что-то щёлкнуло в его лице, словно бы оно настроилось на новую программу. Юлька сразу поняла, что именно таким его лицо и сохранится в памяти, но даже эта мысль прошла как-то боком, мимо.

Было важнее другое: *когда позвонит Алексей и позвонит ли?* А ещё – *что надеть?* Одолжить у Верки сиреневый лифчик с кружевами? Верке он триста лет не понадобится, а Юлька постарается быть аккуратной.

После шар-бабы в бедной Юлькиной голове хватало места только на такие мысли. Она даже не заметила, что Валечка собрал чемоданчик и ушёл, притормозив лишь перед свадебной иконой, которой благословила его бабушка. Забрать икону показалось неправильным, но и оставлять не хотелось. Именно поэтому Валечка её и оставил – он давно тренировался в борьбе с собственными желаниями и очень не любил, когда они побеждали.

Валечка вышел из дома, зачем-то погладил берёзку, которая росла под окном Калининных — на ощупь ствол был шёлковым и нежным, как девичья кожа. Слишком белой была эта берёза для здорового дерева. Наверняка болеет. Валечке захотелось порезать ствол ножом, но у него не было ножа. Он поднял глаза к Юлькиному окну, тёмному, будто выключенный телевизор, а потом пошёл к автобусной остановке. Отцовский туристский рюкзак «защитного», как тогда говорили, цвета прыгал на спине, как развеселившийся чёрт.

Вера открыла дверь только после третьего звонка — она уснула, видела сон про мёртвых мышей. Пьяный Валечка ввалился в квартиру, что-то объясняя про Юльку, развод, царевну Татьяну и какую-то берёзку. Старшая Стенина сердобольно налила ему стакан воды, и Валечку стошнило. Опшметки рвоты повисли на бороде и засохли — он такой и уснул. Утром мама уехала в сад к тёте Эльзе, а Валечка сидел в комнате, умытый и жалкий. Вера подошла к нему близко, провела сначала по одной брови, затем — по другой. Как будто рисовала.

И тут явилась Копипаста — просить лифчик. Вера ей не открыла. Юлька долго звонила в дверь, а звонок у Стениных пел басом, как Шаляпин, они с Валечкой чуть не оглохли, но всё равно не открыли.

Юлька вернулась домой, принялась звонить теперь уже по телефону — Верка не отвечала. Значит, придётся обходиться тем, что есть. Юлька разложила на диване свои кружевные сокровища, но всё, что у неё было, казалось слишком простеньким! Даже «анжелика» из бежевого кружева, с чёрными бантиками. К тому же к «анжелике» нужен был подходящий низ, а его не было, мама недавно прожгла утюгом. Юлька боялась надолго уходить из дома — вдруг Алексей позвонит именно в это время? Что, если он уже звонил, пока Юлька бегала к Стениной? Набрала Бакулину, та дала ей номер своей сеструхи. Бывшая студентка МГУ стала успешной торговкой — специа-

лизировалась на польском белье и корейских блузках. Сеструха ломаться не стала, приехала, и вскоре Юлька уже перебирала холодными от волнения пальчиками кружевные доспехи с царапающими бирками.

Сеструха пила чай – почему-то из блюдца, держала его тремя пальцами. И косилась на Юльку: *ногтями осторожнее, зацепок не наделай!* Сеструха решила, что Юлька старается для мужа – Валечка удачно забыл в коридоре свои ботинки, проношенные до такой степени, что их можно было рассматривать на просвет, как бусины. Если кто пожелает, конечно.

Юлька выбрала самый неприличный дуэт: чёрное кружево, алые розочки, прозрачные чашечки, два треугольника на ленточках. Криво приклеенная розочка будет выпирать под юбкой, ну и ладно. Сеструха *включила деловую*, достала из сумки блокнот и начала в столбик подсчитывать *стоимость комплекта*, который назывался «Юнона». Юлька тем временем собирала бумажные купюры по сумкам и карманам, – к деньгам она относилась без всякого уважения. Сеструха бережно разглаживала бумажные комки и складывала их в блестящую длинную косметичку. Она не собиралась уходить так быстро, и Юлька почти что вытолкала разочарованную торговку за дверь – та ещё курила у подъезда, когда позвонил Алексей. Голос у него был тоже мощный – в детстве Юлька называла такие голоса толстыми. Он шёл как будто из глубины сибирских руд, а может, просто связь была плохая.

Юлька сказала, что ждёт к девяти, назвала адрес, объяснила, где свернуть.

На скамейке у подъезда сидели три бабушки – как три птицы на ветке (сейчас сказали бы – «социальная группа»). Юлька придерживала руками полы плаща, под которым не было ничего, кроме прозрачного лифчика. Труссы она решила не надевать, в них было уж слишком неудобно. Туфли на высоком каблучке Юлька приобрела прошлой осенью в свадебном салоне – по справке, которую ей до-

стала знакомая. А плащ был вообще что надо — даже Верка одобрила. Стенина всегда была одета лучше всех, и Юлька привыкла сверять с ней одежную стратегию.

Идея с плащом была почерпнута в видеосалоне, куда Юлька несколько раз ходила с художником Вадимом — ему, как он утверждал, требовалось *вдохновение*. Теперь Вадим был далеко, законный муж — неизвестно где, а сама Юлька отважно стояла у родного подъезда. Бабушки смотрели на неё и шептались, что девка, видно, юбку дома оставила, — не понимали, старые калоши, что так оно и было на самом деле.

«Мерседес» подъехал к подъезду ровно в девять, было ещё совсем светло. Алексей открыл окно, голова его с трудом помещалась «в экране».

Старухи потрясённо замолчали. Да что там — время остановилось!

Юлька грациозно шла к машине, не заметив, как у соседки сорвалась с поводка болонка. Белый ком с гадким сиреневым животом и гниющими глазами подкатился к Юльке и ткнул её лапами. Плащ распахнулся, и Алексей увидел то, что ему готовились показать несколько позже. Там был выбрит такой красивый лепесток! Юлька корпела над ним целое утро. (Бабки ничего не заметили, так им и надо.)

Она села справа от водителя, попыталась скрестить ножки — но они были слишком длинными для таких манёвров. Алексей выехал со двора, и только тогда, выдохнув с облегчением, Екатеринбург погрузился в глубокие, нежные сумерки.

Ночные катания по городу на «мерседесах» — это был в те годы национальный уральский спорт. Алексей не стал мудрить с программой развлечений — они катались, катались, катались по улицам, и Юлька не сразу поняла, что они повторяют вчерашний царский маршрут. К тому моменту она была уже так накалена, что на ней можно было что-нибудь поджарить. Развязала пояс плаща — там всё

было на месте: чёрное, прозрачное, тканые розочки как комочки жеваной промокашки.

«Мерседес» тем временем покинул город, направляясь, судя по всему, к ближайшему озеру (Юлька позабыла все названия — в голове крутился только «Тургояк», но Тургояк был далеко и вспомнился напрасно). Алексей всё так же молчал. Ему раза три позвонили на «сенао» — громоздкий радиотелефон с длинной, как крысиный хвост, антенной — он слушал и отключался. Юлька, решившись, сняла плащ, бросила его на заднее сиденье, где всё ещё, наверное, пахло духами испанских тётушек. Кружевные лямки натёрли плечи, проклятая сеструха впарила ширпотреб! Юлька стащила с себя лифчик. Она совершенно не знает этого Алексея, а с Валентином они прожили вместе уже полгода. Валентин хороший, но она никогда не желала его так, как эту молчаливую гору с руками-деревьями.

Юлька вспомнила — ужасно некстати — обидную опечатку, которую недавно сделали в машбюро. Она подписывала свои заметки *Юля Калинина*, именно *Юля*, не *Юлия*. И одна из машинисток отдала ей лист, где стояла подпись «*Бля Калинина*». Буквы Ю и Б — соседки по клавиатуре. А если ей и вправду пора менять буквы? Что с ней происходит? Ведь если они сейчас разобьются — Алексей так гонит! — её найдут рядом с ним совершенно голую.

— Приехали, — сказал Алексей. Он вышел из машины и быстро разделся. Сложен он был великолепно, хотя это было ясно и раньше. Не зря Верка говорила, что мужское тело красивее женского, — она открыла это с помощью скульптуры и живописи.

Впереди чернело озеро, вода, наверное, холодная, подумала Юлька. Но озеро прогрелось за долгий июльский день... Юлька хотела сказать что-то особенное, умное, но вместо этого пролепетала как маленькая:

— Возьми меня на ручки!

Золотой крест на груди Алексея походил на снежинку, какими маленькая Юлька украшала в детстве ёлку. Прижа-

тая щекой к этому кресту, она впервые за последние сутки почувствовала прохладу.

Потом всё было очень плохо.

Домой ехали долго, Юлька запахнула плащ, подняла воротник и дышала в него, чтобы согреться. Злосчастный богатырь молчал, и было уже неважно, что руль в его руках выглядел блюдечком (хотя и выглядел).

Мама давно спала. Юлька открыла дверь ключом, запнулась о старый мужской ботинок и вспомнила — у неё же есть Валентин! Они венчались в храме, а это так просто не отменишь (батюшка долго распинался на эту тему, и Юлька кое-что запомнила). Завтра с утра муж вернётся, а этот морок уйдёт туда, откуда явился.

Почти спокойно Юлька приняла душ — старательно смыла с себя долгий день и липкую, потную, обманувшую ночь. Лифчик отправился в потайные глубины шкафа — там ему надлежало превратиться в воспоминание, неприятное, но по-своему ценное. Засыпая, Юлька думала о муже.

В это же самое время Стенина рассказывала Валечке историю о том, как в детстве она случайно увидела неприятную сцену на собственном диванчике. Вера предполагала, что это воспоминание наложило отпечаток на её личность. *Наверное, поэтому я боюсь любви, как ты думаешь?*

Но Валечка ничего не думал, да это было и не нужно.

Глава четвёртая

Мне нравится смотреть на любую вещь, написанную масляными красками на плоской поверхности, хотя ни за что на свете я не захотела бы стать художником или что-нибудь написать.

Гертруда Стайн

Заказ примите, пожалуйста, попросила Вера невидимую, но ощутимо грустную девушку-диспетчера. Та так печально спросила, *куда поедем,* что сразу почувствовалось — лично она готова поехать куда угодно, лишь бы подальше от этой работы и этого города. *Текущее время, да?* Время утекало сквозь пальцы, как пластилиновые часы Сальвадора Дали. *Я поставила вас в лист ожидания,* — сказала девушка, — *как только появится машинка, сообщим.*

Когда в жизни Веры Стениной было много *чувственного* (подхватила этот эвфемизм у преподавателя истории искусства девятнадцатого века: слово «секс» казалось ему грубым, как плевок), она не знала цены этой части жизни. Какая несправедливость — быть хозяйкой красивого, свежего, полного силы тела и не уметь этим пользоваться. Когда Вера поняла, как всё работает, *чувственное* тут же испарилось — и в этом, с Вериной точки зрения, была серьёзная недоработка высшего разума. Как-то он поленился, честное слово, придумывая женщин и отмеряя им короткий век цветения. Были у неё и другие, менее изысканные претензии: зубы, например, должны быть менее хрупкими. И девять месяцев беременности тоже перебор,

и носить на себе этот тяжёлый живот — не самая удачная разработка.

Юлька, когда Вера поделилась с ней этими глубокими мыслями, расхохоталась:

— Да, Верка, легче было бы отложить яйцо где-нибудь в кладовке и навещать его раз в день!

Отличная идея, жаль, Веру с Юлькой никто не спросил, и они вынашивали своих дочек, как все женщины мира.

Что касается *чувственного*, оно порой доставляло Вере Стениной хлопоты, включаясь настолько некстати, что даже зависть умолкала рядом с этим жарким, настойчивым томлением. Увы, рядом с ней теперь не было мужчины. Совсем никакого. Вообще.

...Наутро после второй ночи с Валечкой (он говорил, она слушала, и больше ничего, хотя старшая Стенина придумала себе много разного) Вера проводила его до остановки, Валечка обещал написать и взял с неё слово не сообщать адрес монастыря Юльке, как бы та ни просила. Вера знала, что сдержит слово — это было одно из немногих её качеств, которое было действительно *качеством*. Научившись скрывать от окружающих свой внутренний изъян, она теперь умела молчать и о чужих грехах. Или же — тайнах, которые, если приглядеться, тоже почти всегда грехи. Судя по всему, Вера переобщалась в те дни с Валечкой. Слишком много было у них разговоров о грехах, настоящей любви, Первом послании к Коринфянам и так далее.

Поэтому когда явилась Юлька с бутылкой шампанского, Вера встретила её так многословно и бурно, словно не видела целую неделю. Выпроводила маму с кухни, сама открыла шампанское.

Юлька ждала, пока старшая Стенина *отчалит*, чтобы спокойно покурить. Вера разлила шампанское по фужерам, пузырьки торопливо выпрыгивали из них — и тут же таяли. Кружевная пена напомнила Вере мыльную, ей не хотелось пить с утра.

Между ними долго было так — Юлька ничего не скрывала от Веры, но в ответ получала лишь горстку фактов. Впрочем, ей и не требовалось большего — Копипасту и тогда, и теперь занимала прежде всего собственная жизнь. Её любовь, карьера, ребёнок были примечательны, а Вера могла голышом пройтись по улице, и Юлька не обратила бы внимания.

— Ты голая ехала в машине? — поразилась Вера. Юлька старательно давила окурком непотушенные искры. — Оно хоть стоило таких стараний?

Юлька взяла чашку, манерно отставив в сторону мизинец. Вера сначала не поняла, почему та молчит, а потом наткнулась взглядом на мизинец — как на ветку дерева глазом — и всё поняла. Они смеялись так громко, что в кухню явилась старшая Стенина, и ей тоже налили шампанского.

— За что пьём, девочки? — спросила мама.

— За новые встречи!

Валечка действительно прислал Стениной письмо из монастыря — но только через два года. Постригли его с таким чудным именем, что Вера не смогла запомнить — память у неё была светского формата, церковности в ней не удерживались, проскальзывали. Так и остался он в памяти Валечкой.

Юлька, протрезвев от Алексея и шампанского, принялась искать беглого мужа — но ей остались только проношенные ботинки и свадебная икона. Разыскивала она его повсюду, чуть ли не пыталась свекровь — но эта строгая богомолка готова была принять пытки с радостью. Документы на развод прислали только при Супермене, а спросить у Стениной Юльке и в голову не пришло.

Высшие силы хорошо смотрели за Копипастой — для этого у них находились и время, и терпение, и старание. Как только Юлька осталась без мужа, ей тут же предложили штатное место в областном еженедельнике. *Уж что есть, Юленька*, — словно бы извинялись высшие силы. — *Бери пока это, а там и с личным разберёмся.* Юлька пере-

велась на заочное, получила первую в жизни трудовую книжку. Вера тем временем всё ещё пыталась разобраться с искусством — понять, зачем они друг другу. Странные какие-то были у них отношения: и прекратить не получалось, и ничего стоящего не произрастало. Всё словно бы зависло, остановилось — даже не на полдороге, а всего лишь у открытой двери, порог которой Вера так и не могла перешагнуть.

Старый преподаватель с жёлтой сединой читал в том году курс по искусству двадцатого века.

— Я ненавижу искусство двадцатого века, — так началась первая лекция, таким был выбранный стариком курс. Ненависть его оказалась страстной, поэтому слушать старика было наслаждением, хоть и острым — практически болью. Вере тоже не хотелось покидать девятнадцатый век — почти всё, что было после импрессионистов, ей тогда не нравилось. Современное искусство не звучало, не ослепляло, не имело аромата — эти картины молчали, как ни вслушивайся. Они не источали запаха, в них не хотелось *зайти* — в общем, это были просто картины.

Сильнее всех Вера не любила Пикассо, могильщика живописи. После него уже никто не осмелится рисовать как прежде. И хуже всего, что сам он был отличным рисовальщиком, художником, способным на всё, — а выбрал самое уродливое, потому что оно — *новое*. «Человек, создающий новое, вынужден делать его уродливым». О Пикассо старый преподаватель говорил два часа подряд, он его так ненавидел, что уже почти обожал. В тот день старик, увлечшись, честно позабыл объявить перерыв, но Вера этого даже не заметила, выпала из времени. Одногруппницы — сплошные «...цы», девчонки — возмущённо вздыхали и демонстративно подносили к глазам запястья.

Ему говорили, он рисует лучше Рафаэля, — Вера знала, что старый преподаватель не любит и Рафаэля, как часто бывает с искусствоведами, — *ему говорили, он рисует лучше Рафаэля, и это была правда. Потому что всегда кто-то рисует*

лучше, и только этому можно завидовать. Но у Пикассо не было зависти. Он говорил: если я рисую лучше Рафаэля, то есть же у меня право, по меньшей мере, выбирать свой путь? Люди должны признать за мной это право, но нет, они не желают.

Старый преподаватель в сердцах, словно бы от имени Пикассо, бросил в аудиторию гневный взгляд, но в ответ прилетело лишь бурчание тридцати девичьих желудков. Когда студенток выпустили наконец на волю, они сорвались с места, как стая голодных собак. Преподаватель поймал душистую волну, поднятую ветром юбок и распущенных волос, но одурел от неё лишь на мгновение. Он всегда читал стоя (старая школа!) — и теперь с чувством заслуженного права занял высокий стул, *отдохнуть минут двадцать*. Артроз коленных суставов — *свириная штука*. Вера Стенина думала, что старик не замечает её — она в тот год перестала краситься, носила всё такое серенькое, как могильный гранит. Серая Стенина, верная серна. Но она ошибалась — старик её отлично видел: *девочка чистая, как фрунтованный холст. Проклятые колени!*

— Вы сказали, что у Пикассо не было зависти, но ведь зависть есть у всех!

Старик поморщился, но быстро вспомнил, что молодость — это не только время здоровых коленных суставов, это ещё и период обобщений.

— Ему завидовали, это да. Страстно завидуют даже в наше время. Но я не представляю, кому бы мог завидовать Пикассо?

Вера теребила кисточку шарфа. Она не верила преподавателю потому, что знала о зависти больше его. А преподаватель, выпроваживая Веру, терзался кипящей, с пылу с жару, болью. Лучше бы Стенина спросила у него совета — где работать, чем заниматься?

Может быть, критика, — думала Вера. — Или книжки об искусстве, научно-популярные, для детей! Но правда была в том, что ей не хотелось ни того, ни другого. Мама однажды спросила: а что, если Вера сама начнет рисовать?

Будто забыла, какое тяжкое это было для дочери дело — любимое, как считается, детское занятие. Уроки изо в школе — унижение по расписанию, два раза в неделю по сорок пять минут. Юлькины рисунки висели на школьных выставках, чертила она, по мнению учителя, и вовсе божественно. А Вера не могла рисовать потому, что ясно видела картинку, которая уже сложилась у неё в воображении чётко, в деталях, в подробностях, — видела, но не умела перенести на лист бумаги. Компромиссов здесь быть не могло: или та самая картинка, или никакая, белый лист! Учитель, к сожалению, не мог оценить ненарисованную идею — он был из тех педагогов, что воспринимают учеников целым пластом, монолитом, *классом* в другом смысле этого слова. По отдельности каждый был всего лишь частью общего механизма, не более чем. Кроме того, любому — даже лучшему из учителей — всегда нужны результаты, высокие волны, *иначе не видна работа*. Собственно процесс учёбы или тем паче душа отдельно взятого ребёнка интересуют очень немногих. Поэтому Вера сидела над пустым листом, держала в руке сухую кисточку (колонковую, «всё лучшее — Вере») и ждала очередной двойки, которую учитель выводил в дневнике затейливым кренделем.

К несчастью, в университете всё вернулось: искусствоведов учат азам изобразительного искусства, чуть-чуть, как нашкодивших котят, окунают носом в акварель и гуашь. У Веры очень кстати открылась аллергия на гуашь, но все прочие техники ей следовало *освоить* и *дать*. Надо было преодолеть дорогу от идеи до листа, и Вера двадцати лет от роду, зажмурившись, окунула кисть в баночку с коричневой краской. Рядом не было высокомерного учителя с его затейливыми двойками, не было Юльки и её божественных чертежей, вообще никого не было — дома, в своей комнате, Вера пыталась нарисовать мамину вазу из чешского стекла. У этой вазы не было никакой идеи. Ваза это ваза это ваза. Нарисуй — и получишь зачёт.

✠ Потом настала пора портретов. Позировала девочка, которая училась курсом старше — у неё было сложное лицо, ужас, какая она некрасивая, думала Вера и так старалась выплеснуть своё недовольство этим лицом на холст, что чуть не забрызгала всё вокруг. А получилась — вполне симпатичная мордашка. *Изящно*, — пробормотал преподаватель, слово это было у него ругательным. Спустя несколько лет Вера снова увидела ту девочку — лицо натурщицы врезалось в память, словно камень. Удивительно, какая она была, оказывается, красивая!

Вера чертила и рисовала, но не думала о том, что это имеет какое-то отношение к искусству.

Наверное, я всё же стану критиком.

Копипасте мысль понравилась:

— Ты по жизни всех критикуешь!

Вера промолчала, хотя ком в горле рос с каждым проглоченным словом.

В июле, почти сразу же после отъезда Валечки, Вера вдруг начала мечтать о ребёнке. Чтобы сын, конечно. Её собственный детёныш. (Тот, кто отвечает за биологические часы, встроенные в каждую женщину, в случае Стениной явно поторопился — мало кто в девятнадцать лет представляет себя матерью.) А в сентябре, когда учёба ещё толком не началась и Вера слонялась по дому, не зная, чем себя занять, позвонила Юля Калинина и назначила встречу рядом с букинистическим магазином на улице Вайнера.

За окном в тот день был Левитан, осень девятьсот шестнадцатой пробы. Бывает такой сентябрь, что за него не жаль целого лета. Вера вышла из трамвая — тоже осеннего, жёлто-красного. Дедушка-памятник пытался снять с себя пальто и взмахивал рукой, подзывая гардеробщица. В сквере у ЦУМа продавали картины *на массовый вкус*. Уличный скрипач распиливал время на «до» и «после».

Летом из года в год Юлька уезжала к родственникам, в Оренбургскую область — однажды привезла оттуда Вере

чёрно-зелёный, с жёлтой проплешиной арбуз, похожий на крокодила из детских книжек. Стенина не ждала Юльку раньше середины сентября.

Мышь вспрыгнула до самой гортани, как только увидела загорелую Калинину в джинсовых шортах и двух приставших к ней парней. Подруга быстро распрощалась с парнями — так стряхивают хлебные крошки с колен.

— Верка! Мне столько надо тебе рассказать!

Она просунула руку Вере под локоть — будто в плен взяла. *Никак не может запомнить, я терпеть не могу ходить под руку.*

Юльку душили новости, но она хотела преподнести их в соответствующих декорациях. Поэтому шла и давилась, говорила о погоде и орских степях, рассказывала о сестре из Оренбурга и брате из Бузулука. Вера отвоевала было свою руку, перевесив сумочку на плечо, чтобы Юлька не пыталась её больше схватить — но та просто обошла подругу с другой стороны и снова вцепилась ей в локоть. Добрались до Плотинки, спустились вниз к реке, перешли через мост — и там, среди чёрных скелетов заводских машин, Юлька открыла, наконец, великую тайну:

— Я беременна!

— Это хорошо или плохо? — спросила Вера. Мышь внутри плескала крыльями — опять не уберегла свою мечту! Ребёнок, малыш, бесценный мальчик — Вера просила его для себя... Не для Юльки!

Крылья зависти — как летательный аппарат с чертёжкой Леонардо.

Юлька улыбнулась:

— Сначала думала, что плохо. Девятнадцать лет, ни мужа, ни денег. А потом я попала на приём к дивному врачу. Елена Фёдоровна из консультации на Белореченской, помнишь?

Ещё бы не помнить. Носатая злая тётка, к которой Стенина пришла на следующий же день после того, как стала женщиной.

— Половой жизнью живёте? — громко, на весь район спросила её тогда Елена Фёдоровна. Вера с перепугу ответила невпопад:

— В переулке Встречном.

Пожилая медсестра (седая плюшка на затылке, бородавка под глазом — как окаменевшая слеза) подняла изумлённые глаза, а врачаха разозлилась:

— Мне неинтересно, где именно вы живёте половой жизнью.

— Я вчера, — бляяла Вера, — в первый раз...

— Член находился во влагалище? — проорала Елена Фёдоровна так зычно, что её могли услышать даже в трёх кварталах отсюда. Веру вынесло из кабинета и ещё долго носило по улицам, как сорванный ветром плакат об опасности венерических заболеваний.

А для Юльки эта Фёдоровна — дивный врач, «специалист, каких мало».

Вера гладила непонятный чёрный механизм, сложный как судьба — «Листопрокатная клеть с верхним приводом. Нейво-Шайтанский завод». Гладила нежно, словно кота, обделённого вниманием.

— Если бы не Елена Фёдоровна, — разливалась Юлька, — я бы точно пошла в абортарий, а мне, оказывается, нельзя. Отрицательный резус.

Вера отцепилась наконец от листопрокатной клетки и увлекла Юльку выше, к «хвостовому молоту». Ему бы тоже пошли складчатые крылья летательного аппарата Леонардо. Юлька послушно шла, куда ведут, не смолкая ни на секунду. Рассказывала про *единственный шанс родить здорового ребёнка*.

— А отец кто? — не выдержала Стенина.

— Ну не Валентин же! — с гордостью сказала Юлька. — В Оренбурге познакомились. Мужчина-мечта!

Вера представила себе карамельку «Мечта» — лепёшку в розовом фантике. Она такие не любила, от «Мечты» болели зубы. Но, вообще, тут дело не в карамельках,

а в том, что Юлька всегда приставляла к слову «мужчина» подпорку в виде дефиса и следом чёткую характеристику. Так появились мужчина-беда и мужчина-проблема, мужчина-песня и мужчина — последний герой, а вот этот, значит — мечта.

Юлька не падала Вериных ушей, как живота своего. Живот её был плоский, будто щит, на котором приносят домой погибших рыцарей. Тазовыми косточками можно пораниться, если встанешь рядом в транспорте в час пик. Вера не очень внимательно слушала Юльку, зато смотрела на неё во все глаза. Прилетел комар, ополоумевший от бабьего лета — он медленно, не спеша описал круг вокруг Юлькиной головы, словно наметил траекторию нимба. А потом сел ровно посреди лба и нежно впустил хоботок под матовую кожу. Вера зачарованно смотрела, как комар пьёт кровь её беременной подруги — брюшко наливалось тёмной кровью, а Юлька ничего не чувствовала, только в самом финале комариной трапезы сморщилась и треснула себя по лбу ладошкой:

— Комар, что ли?

Беременность — прежде всего бремя. Вера подумывала взять эти слова эпиграфом к новой мысленной выставке «Ожидание». Не сказать, чтобы эти выставки были достойным приложением её таланта, так никем и не востребованного. Он и самой Вере казался излишним органом, вроде аппендикса. Дар из тех, что принимаешь, смущаясь и благодаря, а сам в панике соображаешь, кому бы его пристроить? На пике отчаяния — то был удобный пик с обширной площадкой, где можно провести несколько дней, не опасаясь рухнуть вниз, — она вдруг начала составлять выставку, подбирая работы разных веков, художников и стилей. Первая мысленная выставка называлась «Бегство в Египет» — без объяснений, что да почему. Тогда, после сцены в мастерской Вадима, Вере хотелось убежать хоть куда, необязательно в Египет — главное, убежать,

прихватив с собой мечты, которые никто не станет отслеживать.

Мысленные выставки позволяли брать что угодно — Вера отбирала картины, гравюры, фрески, миниатюры из роскошных часословов тщеславных герцогов, картоны, гобелены и скульптуры. Надменная Мадонна Джотто, протёртые от времени небеса, золотые блюда нимбов. Копыта ослика стучат слишком громко, и потому Иосиф смотрит на него с укоризной. Божественный Младенец устал, как устают обычные, *не* божественные дети, от мерного покачивания он вот-вот уснёт, но это «вот-вот» звучит как стук копыт — и от фрески идёт жаркая волна изнурительного дня.

У Рембрандта — другая история. Без начала и финала, выхваченная световой вспышкой и снова канувшая в темноту. Мария, беженка, кутается в одеяло — конечно же голубое. А Иосифа как жаль — ступает босыми ногами по выставшей ночной земле! Ослик боится, страшно ему, но куда деваться — надо идти дальше, в Египет... У Джентилески¹ Святое семейство отдыхает, Мадонна кормит младенца, но не может открыть глаз от усталости, Иосиф храпит — впоследствии Вера едва не оглохла, разглядывая эту картину в Лувре. Не спит у Джентилески только младенец, один в темноте, в незнакомом пейзаже... Мария кисти Альтдорфера² моет младенца в фонтане — мама сказала бы здесь ужасное слово *подмывает*. Ясный день, в чаше фонтана резвятся мелкие, словно воробушки, путти, похожие на малютку Ленина с октябрятской звёздочки, а за синими горами, наверное, Египет.

Отличная была выставка, и после неё Вера тут же принялась за другую — «Читательницы». Звезда экспозиции — «Благовещение» Пинтуриккьо. Вера так увлеклась, что стала специально разыскивать подходящие работы — за

¹ Орацио Джентилески — итальянский художник эпохи барокко.

² Альбрехт Альтдорфер — немецкий художник, глава дунайской школы живописи.

вела особый блокнот и знакомство в букинистическом, где всё чаще появлялись в продаже некогда дефицитные, а теперь никому не нужные альбомы по искусству.

Выставка «Ожидание» открывалась работой Шагала — юная беременная на фоне красных небес, будто внутри собственной утробы. Потом шла рыжая модель Климта, которая может начать рожать в любой момент. Бессчётные мадонны, чета Арнольфини Яна ван Эйка... Выставка была почти готова, живота у Юльки всё ещё не имелось, зато тошнило каждый день, утром и вечером. И веером, бывало что и веером. Юлька, не пропустившая за последний год ни единой политической новостюшечки, теперь едва-едва откликнулась на осаду Останкино и штурм Белого дома. Зато первый снег показался ей настолько тошнотворным, что она даже годы спустя помнила это чувство — мощное, сильное, отвратительное.

Красота была с Юлькой рядом, как верная подруга, — и Вера тоже была рядом, напоминала про врачей, колола грецкие орехи и чистила гранаты. Юлькина мама повторяла, что у Веры Стениной золотое сердце. И чёрная зависть, горько думала Вера, вскрывая очередной орех, — там пылила сгнившая сердцевина.

— Нет, ну точно парень будет, — фальшиво радовалась Стенина, глядя, как хорошеет Юлька *от триместра к триместру*. Всем известно, что *девчонки пьют материнскую красоту*. Была бы Тонечка Зотова постарше, непременно подтвердила бы это со всей ответственностью.

Потом Юлька, конечно, стала округляться — но в шар-бабу не превратилась. Весной, когда уже подходил срок, Вера выгуливала Юльку в Зелёной Роще, подальше от стадиона и детской площадки. На скамейке сидел сутулый старик в длинном плаще с ямщицкими отворотами — он так долго смотрел на Юлкин живот, будто ждал от него ответа. Перекрестился, что-то пошептал себе в бороду. Вере это не понравилось, а Юлька улыбнулась старику и от себя, и от имени живота.

Через пару дней Вера закончила пристраивать на мысленную стену последнюю работу для «Ожидания»: две красивые голые девушки кисти неизвестного художника, одна держит другую пальчиками за сосок, современный жест о'кей. Причудливая идея художника – так девушка сообщает о беременности сестры. Хорошая картинка для спальни, жаль, что от этого холста исходил тяжёлый дух пота и зависти, а беременной было ещё и больно, ведь сестра не отказала себе в радости крепко сжать пальчики. Вера отошла на несколько шагов – полюбоваться результатом, и тут зазвонил телефон.

Копипаста говорила звонко и торжественно, придерживая новость, как полы разлетающегося больничного халата:

– Привет, что делаешь?

Вера начала рассказывать, и Юлька ждала, переполненная новостью, пока ей говорили про университет, зачёт и какую-то методичку.

– Понятно, – сказала Юлька. – А я тут родила между делом. Дочка, три двести, Евгения.

Ночью её увезли на «Скорой» в четырнадцатый роддом, на Уралмаш.

– Больно было? – спросила Вера, но Юльку в этот самый момент отогнали от телефона-автомата другие роженицы, *халатные* женщины всех возрастов и размеров. Вера увидела их как наяву, ощутила сладковато-тошный запах грудного молока – она привыкла к нему, разглядывая нескончаемых мадонн. Медленно и аккуратно, как уснувшее дитя, Вера опустила на рычаги телефонную трубку, а потом зарыдала так глубоко, что вместо слёз могла бы течь нефть. Но потекли всё-таки слёзы – правда, не сразу.

Глава пятая

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным...

Александр Пушкин

– Лара, я уехала, – сказала Вера скорее себе, чем дочери, – Лара на такие известия обычно не откликалась. Таксист наверняка включил счётчик ожидания – мелочь, а неприятно. Сама виновата, нечего было так долго собираться. С годами вроде бы всё делаешь сноровистее и лучше, чем в молодости, но вот времени на это отчего-то уходит всё больше.

Вера закрыла дверь, подергала её, потом открыла снова и зашла в квартиру – проверить, выключен ли газ и не оставила ли вдруг Лара открытым кран в кухне. Неврастения, повышенная до звания *привычки*. Будет продолжать в том же духе – глядишь, дослужится и до *семейной традиции*.

Стенины жили на третьем этаже, поэтому лифтом пользовались редко – вот и сейчас Вера быстро спустилась вниз по ступенькам, задерживая дыхание, точно ныряльщица. В подъезде у них всегда пахло прокисшими тряпками, как на картинах Адриана ван Остаде¹. Вера свысока – с площадки сверху – глянула в почтовый ящик, как

¹ Адриан ван Остаде – нидерландский живописец, мастер крестьянского бытового жанра.

делала ещё школьницей, ожидая писем из Чехословакии. Полоска над хлипкой металлической дверцей оставалась тёмной — да и что им могли прислать? Бесплатную газету, квартирный счёт?

В детстве Вера переписывалась с девочкой из Чехословакии, звали её Рената Галбава. Адрес раздобыла мама, она работала в кадровом отделе Верх-Исетского завода, куда часто приезжали чехи из города-побратима Пльзенья. Гостей везли в детский клуб интернациональной дружбы, где пионеры с порога обшаривали взглядами дорогих гостей — принесли с собой конфеты? Фломастеры? Главную пионерскую валюту — *жевачку*? (Именно так, через *e*.) Предвестники перестройки, свердловские чехи, послушно одаривали кидовцев сувенирами, а Вере подарки доставались сверх программы, потому что мама прятельствовала с начальницей КИДа, Марией Владимировной. Однажды Мария Владимировна принесла Вере нейлоновый пионерский галстук, и та щеголяла в нём, пока не сожгла ему случайно кончик утюгом. Та же начальница передала маме адрес девочки Ренаты, и Вера в тот же день написала недлинное письмо — предложила дружить и переписываться. Рената ответила быстро, весточка пришла месяца через три. В почтовом ящике лежал листок с извещением — *на ваше имя получено м/п из ЧССР*. Вера с мамой на ночь глядя побежали в отдел доставки — слева от кинотеатра «Буревестник», если встать к нему лицом. Работница в серой блузе протянула Вере мягкий конверт, в правом углу которого сияла, словно икона, прекраснейшая почтовая марка с *королевишной*. Для Ренаты, похоже, всё было важно — конверты, марки, почтовая бумага, почерк. *Пришли мне свою фотографию, дорогая подруга Вера*.

Из конверта выпорхнула маленькая чёрно-белая фотокарточка — девочка с ясным лицом, но без улыбки писала, что готова дружить. Как будто у неё был выбор! Дружить с советскими детьми следовало независимо от того, хо-

чешь ты переписываться с Верой Стениной из Свердловска или не хочешь. В названии Свердловск есть что-то чешское: согласные звуки в ряд, и вот уже слово превращается в забор, перелезть через который может лишь человек с образцовой дикцией. «Крк» — по-чешски «шея». *Влтава* — река в Праге. Мороженое — «*змрлина*». Надстрочные знаки, *гачеки*, парили над буквами обратного адреса, словно чайки. Цифра 9 была у Ренаты без всяких хвостиков, стояла ровно и ладно на единственной ноге. Место, где клеивался конверт, Вера по моде времени украшала дополнительной чернильной «штопкой», но Рената никогда этого не делала, по-европейски доверяя почте: *Я хочу стать медицинским работником. Дорогая Вера, напиши мне, кем ты хочешь стать.*

Я много лет хотела стать Юлькой Калининой, — думала Вера, выходя из подъезда и честно отвечая на давний вопрос Ренаты Галбавой, ни разу не виданной, но при этом ненаглядной. Даже писем из Чехословакии, где лежали ценные календарики с дружелюбно обведённой датой Вериного дня рождения, даже их она никогда не ждала так сильно, как конвертов из *Орска Оренбургской обл.*, где отдыхала летом Юлька — среди степей, арбузов и кузенов. Советские конверты с картинками — Есенин, День космонавтики, кокер-спаниель с ушами, напоминавшими причёску Бакулиной, а ниже — шесть маленьких лабиринтов, где писали почтовый индекс, и Вера, не любившая чертить и рисовать, с удовольствием выводила орский индекс Калининой — 462408. А Юлька вкладывала в конверты не буржуйские календари и вкладыши от *жевачки*, а потемневшие степные тюльпаны и мёртвых бабочек...

Таксист остановился прямо у помойки — соседка из первого подъезда кротко обходила машину по периметру. Вера так и не собралась купить машину, хотя права у неё были и даже успели устареть — она ни разу после экзамена не сидела за рулём, разве что во сне.

Неловко дёрнула ручку двери. Каждый раз повторялось одно и то же: попадая в такси, оказываешься в гостях у незнакомого мужчины. Запахи. Музыка. Глаза в зеркале заднего вида.

С недавних пор мужчины исполняли в Вериной жизни проходные роли. Тень в проулке. Неясное отражение в зеркале. Сон. Третьестепенные персонажи, понадобившиеся живописцу только для того, чтобы продемонстрировать, как эффектно он может изобразить тяжёлые складки материи. Смотрите, этот алый плащ, он совсем как настоящий! А кто под плащом, не так и важно — герой стоит к нам спиной, склонив голову.

...Копипасту с Евгенией выписали из роддома на третий день — *ребёнок на десять баллов по шкале Апгар*. Эти слова лежали у Веры на сердце как бульжники, и мышь развлекалась, летая вокруг них и щекоча своими гадкими крыльями живую несчастную плоть. Малышку завернули в одеяло, перевязали лентой, какие продавали в галантерее по метру. Вера преподнесла молодой матери ценнейшие вещи: отрез марли и рыжую прорезиненную клеёнку, а еще — польский синтетический костюм на вырост, от которого летели искры, как от самой Веры. Точнее, от той заразы, что жила внутри.

— Как хорошо, что девка! — шумно радовалась Юлькина мама. А ведь Серёга ещё совсем недавно был жив... Вера неловко поздоровалась, глянула в личико Евгении. Оно было умным и встревоженным.

— Верка, я так рада, что это не мальчик! — сказала Юлька, тоже, как и Вера, мечтавшая о сыне. Она молниеносно перестраивалась, словно пытаясь сбить со следа тех, кто рисовал её судьбу, — принимала всё как есть и не роптала. Дали девочку — будем любить девочку.

Бакулина как раз в те дни уезжала в свой Париж — и тщательно скрывала от окружающих это обстоятельство. Иногда Вера всерьёз думала, что Бакулину завербовали. Она так отчаянно боялась проговориться о своих ново-

стях, что молчала вообще обо всём. В роддом, впрочем, пришла, но ненадолго — чмокнула губами над конвертом с малышкой и едва ли не сразу же распрощалась.

— Это ж не собака ей, чмокать! — возмутилась Стенина. Евгения мирно перенесла всеобщее курлыканье и в конце концов очутилась на руках у Веры.

Она внесла кулёк с Евгенией в квартиру и, конечно, осталась — и не только в этот день. Юлькина мама не собиралась бросать работу, а Вера делала всё, что требовалось, — без малейшей брезгливости, но и без умиления. Евгения не нравилась ей только тем, что она была Юлькина, не её. А во всем остальном — замечательная девочка. Попусту не орала, ела, сколько нужно. Спала, правда, с перерывами. *На внешность*, как сказала бы мама, миленькая.

— Спи скорее! — приказывала Вера Юльке, когда Евгения доедала свой ужин. Юлька слушалась, засыпала с младенцем у груди — как Мадонна Джентилески. А Вера мягко закрывала дверь и шла домой, где было очень пусто и очень тихо. Мама проводила лето в саду у тётки Эльзы — компост, теплицы, выгребная яма, погреб, забор... Вера уставала от себя за вечер и снова шла к Калининым. Там её ждали — ещё бы! Бесплатная нянька. Иногда оставалась с Евгенией на ночь, выносила Юльке на кормление — как барыне.

Однажды пропустила день — и Юлька на неё обиделась. *У меня брат погиб, а ты помочь не хочешь!*

Совсем обнаглела, — возмущалась мышь. — А ты и сама хо- роша! Всё бросила, даже выставки!

После рождения Евгении Вера всерьёз носилась с идеей устроить выставку детских портретов. Гольбейн. Лукас Кранах. Веласкес. Мэри Кассат¹. Кустодиев. Но это быстро прошло — портреты не складывались в экспозицию, каждый был сам по себе, как дети, которые поссорились на прогулке — и теперь разошлись по разным углам.

¹ Мэри Кассат — американская художница и график, писавшая в стиле импрессионизма.

Вера бродила по дому, начинала листать альбомы с репродукциями и тут же бросала это занятие. Весь пол усыпан книжками, над которыми так тряслись в восьмидесятых.

За окном был август. Маковский. Венецианов. Шишкин. Дети кричали во дворе, с балкона сверху долетал тёплый сигаретный запах. Вера вдруг вскочила на диван с ногами, прижалась к стене всем телом — ни дать ни взять княжна Тараканова. Мышь внутри широко плеснула крыльями — как вёслами по воде.

— Зачем мне всё это, — сказала вслух Вера. Что это были за слова — молитва или угроза — неизвестно, но, выслушав себя, Стенина по раскрытым книгам побежала в свою комнату — собираться. Срочно уйти, уехать! Ей всего двадцать! Боже мой, уже двадцать!

Она не хочет больше держать в руках чужого младенца и произносить на полном серьёзе такие слова, как «марлечка», «сцеживание» или «мамина титя». Тьфу! Мамина титя! Вера вспомнила Юльку в расстёгнутой рубашке с мокрым пятном у одной груди, — с другой сражается Евгения. Соски острые, как вьетнамские шляпы, и Евгения плачет, потому что молоко из этих шляп добывается с трудом. Между тем у Веры Стениной почти оконченное высшее, и пусть они там сами без неё, с *марлечками*.

Вылетела из подъезда, как на метле — и несколько минут озиралась вокруг безумными, точно у врубелевского Демона, глазами. В детстве Вера боялась Демона и в то же самое время зависела от него — листала книжку с иллюстрациями, подглядывала сквозь ресницы. Страшнее всего у Демона были губы — мятые, ломаные, покрытые чем-то липким. Вера в конце концов возненавидела всего Врубеля — даже Царевна-Лебедь казалась ей ведьмой, иначе с чего она так явно поворачивается на голос, когда ты ещё только подумал её окликнуть?

Саму Веру в тот день никто не окликал — она дошла до Белореченской, подняла вверх руку. Через минуту рядом с ней остановилось сразу две машины, «шестер-

ка» и «Волга». Вера выбрала «шестерку», там был знак — «инвалид». Сработало чувство безопасности — оно было у Стениной встроенным и прежде никогда не подводило.

За рулём сидел дядя лет пятидесяти — быстро скребнул взглядом, велел садиться *вперёд*. Тёплый ветер летел в приоткрытое окно. У дяди были седые короткие усы — как будто два комка ваты торчали из ноздрей. Ни малейших признаков инвалидности у него не наблюдалось.

— Убери сумку назад, — скомандовал инвалид.

— С чего это? — поразилась Вера. Сумка лежала на коленях, очень удобно прикрывая ноги. — И вообще, вы куда едете? Я же сказала к оперному!

Инвалид, не обращая на её слова никакого внимания, гнал во весь опор по улице Серафимы Дерябиной, явно имея в виду скорейший выезд за город и тёмный уральский лес.

Завезет, — поняла Вера Стенина. *Завезти девуку* — тоже был один из популярных видов спорта в Свердловске, хоть и не такой популярный, как, например, карате. Девчонки, которых *завезли*, в слезах и подробностях рассказывали впоследствии, что *еле как отбились* от насильника. В лучшем случае им приходилось брести домой по шоссе несколько километров. В худшем — сами знаете. *А вот нечего ездить с кем ни попадя*, — злорадно говорила в таких случаях старшая Стенина, не подозревавшая о том, что и её ненаглядная дочь попадёт однажды в такую историю. (Со словами и со злорадством надо быть аккуратнее.). Но этот-то «инвалид» был вполне приличный с виду — одни усы чего стоят! На пальце — золотая печатка, набалдашник переключателя скоростей — прозрачный, с чем-то сверкающим в сердцевине: такие делают на зоне. Когда водитель слегка затормозил на повороте, Вера открыла дверь и прыгнула из машины на ходу. Шмякнулась коленками об асфальт.

— Дура, что ли? — заорали ей. Белоусый «инвалид» поехал в лес один, а Вера поковыляла к обочине — разгля-

дывать свои несчастные коленки. Они были ободраны симметрично — набухавшие алые ссадины напоминали пирожные с клубничным желе. Колготки порвались, юбка треснула — денёк на зависть. Зато спаслась. Подумаешь, ранки-коленки.

Хромая к автобусной остановке, Вера вспомнила слова всезнающей сеструхи Бакулиной: «Идеальное женское колено должно быть похоже на личико младенца». Три девчонки послушно напрягли мышцы, и сеструха после недолгого суда признала победу Юльки Калининой. В награду ей позволили цапнуть из вазы лучшее яблоко — тогда их ещё не покрывали воском для красоты и сохранности, яблоки были прекрасны сами по себе. А на коленках у Копипасты и вправду были младенческие личики — тогда как у Бакулиной там проявлялись скорее лики монгольских воинов, а у Веры Стениной колени вообще ничего не показывали. Это были просто колени. Теперь, правда, с клубничными ранами, от которых останутся шрамы на всю жизнь — но юная Стенина об этом пока что не знала.

На остановке стояли трое — маленькая старушка с толстым внуком, и молодой человек в очках. Глядя на него, Стенина решила: похож на маньяка.

Пришёл автобус, будто на заказ. Старушка втащила внука в *салон*, хотя менее подходящего названия для внутреннего мира свердловских автобусов не подобрал бы даже мастер слова. Маньяк шёл следом, тревожно озираясь, — разбитые Верины колени выглядели излишне ярко для этого района.

— Вам помочь? — спросил он. Вера кивнула, и маньяк протянул ей руку. Пальцы — как у Дюрера. «Руки молящегося». За спиной у маньяка висел массивный туристский рюкзак, хотя на туриста он не походил.

Автобус оказался полупустым. Вера, грустно усмехнувшись, заняла *место для детей и инвалидов* — но тут же, взвывая, поднялась: сгибать колени категорически не следовало.

Маньяк стоял рядом и участливо подхватил её под руку своими «дюрерами».

— Что случилось-то? — спросил он, и Вера, держась рукой за верхнюю перекладину, начала рассказывать свою печальную историю.

— Вот скотина, — заметил маньяк, когда Стенина разделалась с описанием водителя, а в финале восхищённо открыл рот: — Ты что, правда прыгнула? На полном ходу?

Вера скромно улыбалась. Колени жгло так, будто она ползала на них по крапиве.

Маньяк вышел с Верой, на её остановке. Познакомились. *Гера. Вера.* Имена — две ягоды на одной веточке. Пароль и отзыв, возможно — судьба.

Гера ждал во дворе, пока Вера заливала раны перекистью. Две наплётки пластыря, джинсы, духи. Кажется, пока она крутила ключом в двери, зазвонил телефон, но Вера не вернулась, слетела вниз по лестнице. Тёмная полоса над хлипкой дверцей почтового ящика. Интересно, у Ренаты есть парень? Как его зовут? Вашек, Зденек, Яромир?

Гера сидел на качелях, обнимая рюкзак.

— У тебя руки, будто Дюрер рисовал! — выпалила Вера.

— А у тебя тонкие колени, — ответил он.

Гера был, оказывается, Герман, в рюкзаке у него лежал фотоаппарат, и ехал он с этим фотоаппаратом в центр города — предлагать желающим закатный портрет на Плотинке. Сиреневое небо, водонапорная башня, фонтан — и чьё-то смущённое лицо крупным планом. Это была работа *для денег*, и трудился Гера вместе с приятелем. Приятель, коренастый блондин, показался Вере старым, ему было под тридцать, он часто, без всякой нужды, облизывался и был похож на сатира кисти Лукаса Кранаха. Сатир считался хозяином двух плюшевых зверей, насколько огромных, настолько же и уродливых, — но, к удивлению Веры, прохожие с удовольствием снимались в обнимку с розовым медведем и синим зайцем. Гера делал *портре*

тик, Сатир записывал адрес, чтобы *прислать снимочек*. Деньги, конечно, вперёд.

Когда стемнело, Сатир по одному перенёс медведя с зайцем в подсобку кафе «Лидия» на улице Пушкина — Вере это напомнило загадку о лодочнике, который перевозит через реку волка, козу и капусту. У Сатира явно было что-то с барменшей, вообще, у него было что-то со всеми. Барменша в долг налила Гере и Сатиру водки, а Вере плеснула ягодного ликёра — с таким видом, как будто в лицо. Сатир неискренне уговаривал барменшу выйти из-за стойки, *ну посиди с нами, Лен*, но было очевидно — всё, что он мог получить от неё, давно получено, а интерес к этому «всему» — почти утерян.

Сатир хотел произвести на Веру впечатление, отбить, потом, возможно, *завести*, ну или хотя бы *завести, как двигатель*. Надо же, как все эти слова похожи на «зависть», но зависти у Веры сегодня не было, как не было и малейшего шанса у Сатира.

Впервые за много лет мышь умолкла, и Вера даже не поняла сначала, что же с нею не так. Она сидела в уютном подвале «Лидии», пила тошнотворно-сладкий, с ароматом шампуня ликёр, вежливо улыбалась *сатирическим* шуткам. Сатир старался, вспотел, бил копытом по полу, махал хвостом — но Вера видела только Геру и удивлялась: да как же я могла подумать, что он похож на маньяка? У него просто очки — как у Чикатило. Тем более встретить сразу двух извращенцев в один день — перебор даже для Стениной.

— ...для себя он совсем другое снимает, — наконец Вера услышала от Сатира что-то важное и посмотрела на Геру особенным, робким взглядом, позаимствованным у Юльки. Тот взгляд был в ходу при Валечке, он замечательно подходил к длинной юбке и платочку. Потом непрактичная Копипаста его выбросила, а рачительная Вера — подобрала.

В стёклах Гериных очков счастливо отражались маслянистые жёлтые лампочки. После второй бутылки Сатир

понял, что Вера и Гера римфуются, а Вера и он сам – нет. Молодец, не обиделся, а порулил к барменше – жарко шептал ей в ухо анекдоты, один хуже другого, пока Лена не попросила пощады – или хотя бы разрешения сменить ухо. Гера взял Веру за руку и вывел из кафе – на улицу Пушкина, уже чёрную, ночную, прохладную. Они пошли пешком по направлению к Малышева, и Вера забыла о том, что у неё разбиты колени, а внутри живёт летучая мышь-зависть. Она же *летучая*, думала пьяная Вера, вот и улетела, улетучилась, нет её больше.

– Что ты там бормочешь? – весело спросил Гера. – Какая мышь?

– Летучая мышь, – стала объяснять Вера, – символ меланхолии. Как вариант – сатаны. У Дюрера есть гравюра – там летучая мышь как будто распята на собственных крыльях. Витрувианское животное. Крылья у неё – как кленовый лист...

– Приснись, приснись, рыжий лист кленовый, – спел Гера, а Вера вдруг увидела, что под ногами у них – осень. Именно в эту августовскую ночь с деревьев начали спешно опадать листья – будто торопились куда-то. В эту ночь Копипаста долгих три часа не могла *усыпить* Евгению, привыкшую к запаху Веры Стениной. И в эту же ночь Вера и Гера зарифмовали свою встречу до конца – раненные колени ничего не испортили.

Утром Вера проснулась первой, на полу рядом с кроватью лежали очки Чикатило. Квартира на улице академика Бардина была съёмной, но Гера ничего здесь *не снимал* со стен. Над кроватью висел выцветший портрет Шварценеггера, которого Гера, как и вся страна, называл за просто – «Шварц». Стены прихожей украшали зверские физиономии Ван Дамма и Сталлоне, а между туалетом и ванной красовался Стивен Сигал – фирменная морщина меж бровей, два выключателя сверху. На тумбочке лежала картонная папка с фотографиями – кажется, вчера Гера хотел показать, но как-то *руки не дошли*. Вера улыбну-

лась, дёрнула за шнурок, которым была завязана папка, — совершенно ботиночный, обувной.

На фото были женщины — обнажённые, без головы, но не в том смысле, что головы отрублены, а в том, что их оттяпали при работе над изображением. С точки зрения Веры — правильное решение, потому что увидеть свою голову на таких снимках захотела бы не всякая. Молодые, живые и крепкие тела были совмещены — путем немислимых в дофотошопную эпоху ухищрений! — с самыми разнообразными предметами. У брюнетки (упавший на шею локон сообщал, что это — брюнетка) с гигантскими грудями был встроены в районе пупка и ещё имелось по отвёртке в каждом плече. У второй модели — тощей, неопознанной масти — в спине были сделаны ящички, из которых торчали циркули и транспортиры, а на локтях блестели колючие фрезы. Снимки были отпечатаны на шершавой, приятно неровной бумаге.

Всё-таки — маньяк...

Вера сложила фотографии обратно в папку и завязала обувной шнурок. Жаль, что эти коллажи не были искусством — в противном случае Вера услышала бы голоса натурщиц, почувствовала бы запах металла и разгорячённой кожи. Возможно, её дар не распространялся на фотографическое искусство? Она так мало об этом знала. Поди пойми.

За кухонным окном виднелся традиционный юго-западный пейзаж — стадо тонких сосен, согнанных во двор, как на расстрел, окружено многоэтажками и гаражами, одинаково серыми и какими-то безвыходными. Найти выход из этих дворов смог бы только местный житель — извилистые дорожки и целые города гаражей в два счёта сбивали чужака с толку.

Вера открыла кухонный шкафчик — там стояла пустая литровая банка и коробка с горчичными сухарями. В холодильнике единовластно царила эмалированная кастрюля, опять же совершенно пустая.

«Понятно, почему он такой худой», — подумала Вера. И тут солнце вдруг вспомнило, что август — это всё-таки лето, и ударило мощным световым залпом: пробив оконное стекло, луч бликнул на металлической хлебнице. Стенина на секунду ослепла, а потом онемела и оглохла от полноты счастья, которое заполнило её от пяток до макушки. Она сорвала пластыри с коленок, бросила в окно, и ветер понёс их в подарок бедным расстрельным соснам. Никакой зависти, ни капли её, ни следа — летучая мышь покинула Веру Стенину и улетела искать себе новое место для жизни.

Геря проснулся к десяти, он был из тех, кто по утрам ненавидит весь мир, даже если утро летнее, на службу идти не нужно, а рядом — юная счастливая женщина. Мрачно поприветствовав Веру, он отвернулся к стене и принялся рассматривать широкую тёмную полосу на обоях, просаленную головами самых разных людей, что жили в этой квартире, да так и не удосужились сделать ремонт. Вера пересчитывала родинки и веснушки на Гериной спине, пока не надоело:

— Ты спишь?

Геря неохотно повернулся. Даже плакатный Шварц смотрел с куда большей теплотой.

— Я по утрам всегда такой.

Вера второй раз за это утро встала, но теперь ещё и оделась — ойкнула, когда джинсовая ткань коснулась чуть-чуть подсохших ранок.

Геря вышел её проводить, обнял неловко, как подросток. Телефон записал карандашом на обоях, Стивен Сигал сморщился, запоминая цифры.

Сосны запумели, когда Вера шла мимо — осуждали её, как старушки.

Конечно, она заблудилась — вышла к тупиковой стене, серой, с натканными в бетон острыми белыми камушками. Скромный шарм типовой архитектуры.

Вера долго петляла между гаражами, но в конце концов оказалась на той самой автобусной остановке, до которой

ковьяляла вчера. Счастья заметно убавилось — часть съели фотографии, часть — утренний Гера, такой не похожий на себя ночного и вчерашнего. И всё же Вера бережно несла остатки счастья, чтобы дома не спеша прожить эту историю ещё раз. А потом она будет ждать звонка — и это тоже прекрасное занятие.

Главное — ни в коем случае не рассказывать ничего Копипасте.

Это её не касается.

Ровно через пятнадцать минут Вера стучала кулаком в железную дверь подъезда. Никто и не подумал открывать. Копипаста жила на первом этаже, и Вера пошла в обход, напугав до полусмерти крохотную болонку — та как раз присела по малой нужде на клумбе, окружённой старыми автомобильными покрывками, раскрашенными в разные цвета. А тут вдруг Вера — на бешеной скорости, с сигаретой. Глядя на собачонку, Стенина решила: никогда не заведу такую, ни за что!

Окно у Юльки было приоткрыто, но шторы плотно задернуты.

— Юлька! — шёпотом закричала Вера.

Штора ушла в сторону легко, как занавес в театре, и Вера увидела красивую Копипасту — похожую на рафаэлевскую *Мадонну в кресле*. Евгения с толстенькими ножками *в пережимчиках* — вот ещё одно словечко под статью *маминой тите* — улыбнулась беззубым ртом.

— Ты что, не слышишь?

— Мы спали, — важно сказала Юлька. Видно было, что она ещё сердится, — самые остатки обиды, как осадок на дне кофейной чашки.

— Пустишь? — спросила Вера.

— Нет, конечно, — ответила Юлька и пошла открывать дверь.

Дома у Калининых всегда стоял особенный запах — именно *стоял*, как туман на болоте. Вере, с её обострён-

ным обонянием, ещё в детстве казалось, что запах этот должен иметь зримую, осязаемую форму, что его можно увидеть и потрогать. Он не был ни приятным, ни отвратным — что-то среднее между ароматом опавшей сырой листвы и вонью нового кожаного портфеля. Возможно, запах обитал в глубинах стенных шкафов — ещё одного советского пережитка, безжалостно отправленного на задворки истории. Так или иначе, Вера к нему до сих пор не привыкла и каждый раз заново пыталась определить, из чего он состоит. Даже молочный запах Евгении не мог изменить атмосферу, и Вера, как всегда, окунулась в духоту квартиры с головой, как в озеро. Единственный способ примириться с тем, что тебе не нравится, — окунуться в это с головой.

Юлька уложила сыгую Евгению в кроватку, малышка пару раз пискнула и тут же уснула.

— Клубники хочу, — пожаловалась Юлька. — На кухне целый таз, последние ягоды в этом году. Мать привезла, а мне нельзя — Евгения *обсыпет*. Поешь хоть ты за меня, Стенина! Остальные убьём на варенье.

В кухне действительно стоял целый таз с клубникой, которую в Свердловске звали «*викторией*» — победа над климатом, мокрые ягоды в жёлтую крапинку.

Вера была такая голодная!

Юлька жевала булку с маслом, запивала чаем с молоком — диета кормящей матери. Ягоды блестели в тазу самоцветами — одна к одной. Вера ела их жадно, и счастье вновь накрыло её целиком — как в детстве, когда мама обнимает и прижимается щекой к макушке.

— Юлька, я вчера... — начала было Вера, но тут же осеклась. Ни слова, решила же! К тому же рассказывать было некому — молодая мать привалилась боком к стене — как в электричке! — и сладко, безмятежно спала.

— Ты здесь? — шёпотом спросила Вера, но мышь не ответила. Улетучилась. Вера на цыпочках перешла в комна-

ту, где Евгения хмурилась во сне, сжимая крошечные кулачки. Диванная подушка источала фирменный аромат Калининых — Вера перевернула её на другую сторону, легла и тоже уснула.

Ей приснилось, что она ходит по какому-то громадному музею, пытаясь найти последнюю картину для выставки.

Выставка посвящена меланхолии. Дюрер. Лукас Кранах. Беллини. В списке кого-то не хватало, Вера не могла понять, кого именно. А потом Евгения расплакалась, проснувшись, и сон забылся.

Глава шестая

Это естественная и милая человеческая черта — любить сходство.

Гертруда Стайн

Евгения позвонила ещё раз в тот самый момент, когда Вера садилась в такси. Машина была грязной до самых окон, грязь — давняя, осенняя. Практически благородная патина. Внутри тем не менее оказалось чисто, да и водитель смотрел приветливо. Вера сказала: «Алло!» — и связь тут же прервалась. Похоже, у Евгении вдобавок ко всему разрядился телефон. Всклип в трубке — или это хрипела от радости летучая мышь? Вдруг стало страшно, что приветливый таксист заметит суету под пальто, похожую на пляски малыша в утробе на сносях. Вера отлично помнила эти ощущения, когда по животу проходит вдруг стремительная рябь. При желании можно даже различить крохотную дерзкую пятку.

— В аэропорт? — спросил таксист. Вера кивнула, не убирая рук от горла — как будто собралась сама себя придушить.

...Первые полгода жизни Евгения обожала спать на руках у Веры Стениной. Мама Юлька была для неё столовой, а тётя Вера — спальней. Стениной нравилось держать на руках малышку — с тех пор как мышь исчезла, ей это нравилось особенно. Надо же было чем-то компенсиро-

вать отсутствие ресентимента — хоть и приятное, но всё равно неожиданное.

В день клубники и общего сна Гера начал звонить Вере с обеда, чем до невозможности напугал старшую Стенину. Он звонил, спрашивал Веру, вздыхал и отключался, как агностик, который пришёл в храм, но не обрёл ни чуда, ни благодати. К вечеру, когда мама была уже на полном пределе, Вера наконец явилась — в мятой футболке, испачканной на плече белым и кислым.

— Ты в гроб меня загнать хочешь!

Стенина поняла, что нужно дать маме шанс высказаться — как артистке, которую вот-вот снимут с роли, и она спешит запомниться публике.

Вера не слишком-то любила свою маму, и это было странно — прежде всего самой маме, мечтавшей о доверительных беседах с дочкой. Она часто представляла себе, как они *валяются* на диване в выходной день и Веруня поверяет ей все свои тайны. А мама выдаёт ценные советы, упакованные в понятные слова не хуже ценных бандеролей. Вера же предпочитала Юлю Калинину, которую мама в детские годы жалела, а в девические записала в шалавы. Непонятно, чему хорошему эта Юля могла научить Веруню, а вот мама — смогла бы. Она с самого дня рождения дочки только и делала, что убирала с её пути всевозможные грабли, и лыко из строк, и палки из колёс. Везде, где можно, стелила соломку, и где нельзя, кстати, тоже. Мама жила для неё, работала для неё — всё по Чернышевскому, всё для светлого и прекрасного будущего отдельно взятого человека. О себе не думала даже во вторую очередь. Донашивала надоевшие наряды за Верой, благо фигуру сохранила — и втайне гордилась этим, хотя и не всерьёз. Доедала то, что осталось на сковороде после Веруни. И додумывала дочкину жизнь — все эти лакуны, пустоты, белые пятна, которые Вера оставляла вместо ответов на вечные мамины «кто да почему». Мама не считала Веру плохой дочерью — та была для неё безусловно хороша и по-своему заботилась

о матери. Но никогда, никогда не была с ней откровенной! Ни разу не доверила ей даже самой крошечной тайны. Старшая Стенина однажды попыталась выведать что-то у Копипасты, но шалава только засмеялась в ответ:

— Нина Андреевна, если бы Вера хотела с вами поделиться, она бы это сделала.

Говорить-то они все научились... Сама-то! Эти её непонятные замужества, и ребёнок неизвестно чей! И то, что Вера в итоге родила без мужа, — тоже было влияние Юли Калининой, которой мама завидовала пусть и не так отчаянно, как сама Вера, но вполне в духе теории Ницше. Жаль, что мама не читала «К генеалогии морали», хотя, конечно же, не жаль, а напротив — слава богу. Окончательно убедившись в том, что дочь никогда не пустит её в свою жизнь, старшая Стенина пережила последовательно все круги ада. Адовы круги оказались похожими на детскую пирамидку — с семью деревянными бубликами, которые снимаются и надеваются на деревянный штырь, развивая у ребёнка ощущение формы, цвета и пропорций. В детстве Веруня обожала такие.

Круг первый. Цвет красный. Лимб. Мама такого слова не слыживала, но круг этот был ещё более-менее. Тогда дочка хотя бы через раз прислушивалась к маминым советам. Ноги брить нельзя, Веруня, *ещё больше вырастет*. Хвалиться тоже не нужно, а то сглазят. Ногти стричь — только по вторникам и пятницам, чтобы водились деньги. А если что-то потеряешь, закрой глаза и повтори трижды: «Обретаю. Обретаю. Обретаю». Однажды дочь сказала: «Ты, мама, просто кладезь народной мудрости» — и это звучало совсем не иронически, а так, будто Веруня восхищается маминым опытом, признаёт его. Ирония зазвучала потом, и красное кольцо больно сжалось, как будто его надели по ошибке не на тот палец. А снять — не могут.

Круг второй. Цвет фиолетовый, старушечий. Страсти по дочери. Нина Андреевна пришла к Веруне в университет, стояла у главного входа среди высоких и толстых

колонн. Двери — неподъёмные, а у нее к тому времени начала болеть правая рука, указательный палец вообще отстегивался как неродной. Вдруг с той стороны кто-то дёрнул дверь, старшая Стенина почти что упала и услышала хохот — навстречу шли студенты, человек шесть, и с ними — Веруня. Мама была одета в этот день не лучшим образом — в старую кофту из ангоры. Эта фиолетовая кофта была Верина, продать некому, а выбросить жалко. Веруня обожгла маму взглядом, пробежала мимо. Вечером был скандал — зачем ты приходишь в институт, позоришь меня! Дочка сердилась, потом ей стало стыдно. Обнимала, гладила по больной руке — мама была так счастлива и стерпела боль. Тем же вечером Вера говорила с кем-то по телефону, голос её скворчал, как масло на сковородке — и старшая Стенина невозможно завидовала этому человеку.

Было в этом круге и кое-что похуже, когда у Веры оставались с ночёвкой какие-то парни. Спать было невозможно — мама слышала то, что ей вовсе не хотелось слышать. А хотелось, чтобы Веруня пришла к ней утром и сказала, просяив:

— Мама, я люблю его! Мы скоро поженимся!

Вот когда мать была бы на высоте! То злосчастное приданое, слежавшееся так, что места заломов не разглаживались даже через марлю... Мама вмиг достала бы его из стенного шкафа, выпустила бы на волю эту залежавшуюся мечту!.. Ночной гость тем временем пробирался к дверям на цыпочках, во рту у него было горько, как от антибиотика, — но по другой, менее уважительной причине.

— Михаил, да? — кричала ему вслед мама, но видела только затылок или в крайнем случае щёку с замятыми подушкой красными полосами — и снова вспоминалось злополучное приданое, никому не нужное, ветшающее белё. — Михаил, вы хотя бы в армии служили?

Старшая Стенина мечтала, что муж у Веры будет военным, но дочь только фыркала в ответ на «эту чушь». Хватала маму за руки, и её холодные пальчики на запястьях

держались цепко, как браслеты. Как фиолетовые кольца, что становятся все уже с каждым днём.

Третий круг адовой пирамидки — синий. В своём окружении старшая Стенина была кулинарный гений. Никто не умел делать таких тортов — и не осмелился бы попросить рецепт, потому что торты Нины Андреевны были неотделимы от неё самой. Было бы странно представить себе Марию Владимировну из КИДа, которая приготовила бы вдруг такой же черёмуховый бисквит с глазурью. Или Эльзу Ивановну, секс-бомбу холоднокатаного цеха (в миру — инженера-технолога): чтобы эта Эльзочка, с её рижскими духами «Диалог» и попкой в форме сердечка, испекла вдруг наполеон? Высокий, в отличие от своего тёзки, а вкусный какой, боже, положите мне ещё буквально кусочек, Нинушка Андреевна! И я возьму домой для мужа, можно?

Старшая Стенина могла приготовить всё, что угодно — и связи были, и продукты не переводились. На кухонном пенале, под самым потолком *дозревали* зелёные бананы. Из холодильника, стоило приоткрыть дверцу, падали колбасы. Веруня в детстве глубоко презирала конфеты-батончики и соевый шоколад «Пальма», потому что ей перепали чешские пралине и обожаемая «Ночка», сладко таявшая во рту. Ах, эта «Ночка» в синих фантиках со звёздами! Веруня всерьёз считала, что дробь орешков в начинке — обломки этих звёзд. Голодные школьные подружки шли напрямиком в кухню, Юля Калинина никак не могла пережить эти бананы под потолком — и намекала неуклюже, что *вот бы просто понюхать...* Но и здесь дочь предала свою маму. На первом курсе кто-то, понятно, что из зависти, посоветовал Веруне сбросить пару килограммов — и с тех пор она сидела на вечной, как проклятие, диете. Худоба дочке не шла, под глазами темнела синева — вот тебе и «Ночка». И не слушала, не слышала свою маму — круги сжимались всё теснее, как манжет в тонометре. Цвет шёл за цветом, грех сменялся другим грехом.

Хуже всего стало, когда Вера с Ларочкой переселили её в другую квартиру — это было по-настоящему большое горе. Мама даже собралась умереть, *раз я больше никому не нужна*, но однажды к ней наведались по причине какого-то праздника Эльза с Марией Владимировной. Принесли, подумать только, коньяк.

— Вам нужен сериал, Нина Андреевна, — сказала Эльза. Как будто лечение назначила. Она была уже третий год на пенсии, попа сердечком превратилась в спелую тыкву, но привычка наряжаться и давать советы уцелела. — Мария Владимировна смотрит про врачей, а я обожаю с убийствами.

Бывшие коллеги надоумили Нину Андреевну купить компьютер, а на прощание Мария Владимировна дерзко попросила рецепт черёмухового бисквита. «Всё равно у тебя не получится», — думала старшая Стенина, вручая коллеге листок с рецептом, где была по чистой случайности не указана пара важных ингредиентов.

Лара помогла бабушке *установить Интернет*, и вот уже Нина Андреевна *качает* фильмы из *Сети* и записывает номера уже просмотренных серий — так лётчик былой войны отмечал сбитые самолёты звёздами на фюзеляже.

Но в тот давний день, когда Вера в прокисшей футболке терпеливо переминалась с ноги на ногу, выслушивая мамин спич, — в тот день дочь была единственной звездой Нины Андреевны.

— Ты в гроб меня загнать хочешь! Где тебя носило? Почему не позвонила? Почему какой-то мужик наяривает по телефону каждые полчаса?

Голос у Геры был не по возрасту, и вообще, словно бы достался из другого набора. Такой трудно подделывать и невозможно перепутать.

— Опять звонит! — Мама бахнула дверью своей комнаты, тяжело дыша и... радуясь, ликуя! Веруня — живая, она вернулась и даже молчит виновато, а не грызётся с полуслова, как это происходит обычно. Доченька, свет в окне!

Вера стояла у кухонного окна, накручивая кудрявый телефонный провод — будто локон на палец.

— Конечно, приеду, — сказала она в трубку. — Я тоже скучала.

На плите стояла кастрюлька с варёной свёклой — мама собиралась сделать винегрет. Услышала кастрюльный бряк и ворвалась в кухню:

— Веруня, ты голодная?

— Очень, — сказала Вера, и старшая Стенина, опасаясь спугнуть своё счастье, принялась накрывать на стол.

Свёкла была аметистовой, сочно блестела в разрезе. Счастье заливало светом и кухню Стениных, и весь их строгий город, даже летом похожий на чёрно-белый снимок.

Вера обдумывала мысленную выставку — «Дети». Инфанта Маргарита — бедняжка в нарядном платье, на груди словно бы запечатанном сургучом. Пухлая Женевьева Кайботт играет с кукольным сервизом. Деловитая мадемуазель Броньяр — и её таинственный мешочек, из которого выкатился клубок шерстяных ниток. Вера составила посуду в раковину, поцеловала мать — и та вспыхнула радостью.

Альбом из будапештского музея лежал на столике в гостиной — Вера поспешно листала страницы и не чувствовала запаха, не слышала звуков, не видела ничего, кроме плохо пропечатанных репродукций... У танцующей музы Лоренцо Лотто¹ — красные ягодицы, как будто она не плясала в античных куцах, а просидела целый день за письменным столом. И как Вера не замечала этого раньше!

В ванной она стянула с себя испорченную футболку, посмотрела в зеркало — ну ведь красавица! Ресницы поддерживают спичку, а карандаш, наоборот, падает из-под груди — всё, как требуют девичьи каноны.

Тем же вечером она была у Геры. Маленькая Евгения снова плакала ночью, а Стивен Сигал с интересом

¹ Лоренцо Лотто — один из крупнейших венецианских живописцев.

смотрел, как Вера Стенина нашаривает выключатель в темноте — такое повторялось несколько раз, пока она не привыкла и не начала делать это на ощупь, безошибочно.

В одну из этих ночей они создали Лару.

Это слово — «создали» — здесь, конечно, некстати, но Веру с первых же недель беременности в равной степени тянуло к мороженому и пафосу.

Теперь она мечтала о дочке, девочке. Такой, как Евгения, но чтобы лучше. Стенина больше не геройствовала — ей нельзя было носить на руках тяжеленькую Евгению, ведь внутри подрастал свой собственный ребёнок. А Евгения очень любила, когда её носят, укачивают, и обязательно — с песнями. Юлька исполняла бодрый комсомольский репертуар, выводила тоненько и ясно:

Юность пела «Песню о Каховке»
И не унывала никогда!
Юность в телогрейке и спецовке
В Арктике бывала на зимовке,
Строила в пустынях города!

Потом вступала Вера красивым низким голосом:

Навстречу ветру,
Навстречу солнцу,
Перегоняя бег времён, стремится юна-аась!
Нам по плечу любое дело,
Любая даль,
Любая трудна-аась!

В старших классах Стенина и Калинина пели в школьном ансамбле — тогда как парижанка Бакулина, хоть и окончила музыкальную школу, могла всего лишь аккомпанировать, и почему-то всегда — в ля миноре. Голоса у Бакулиной не было, а вот Юльку с Верой одарили сверх меры и нужды. Кто там раздаёт таланты, лично

у него бы спросить — а чем вы руководствуетесь, когда награждаете низким, переливающимся, как глубокий синий цвет, голосом Веру Стенину? Зачем он ей был, этот голос — петь колыбельные? Он так и увял с нею вместе, так и не зазвучал, как должен бы — в полную силу. *Ведь могла бы певицей*, — думала старшая Стенина — *ведь не зря я придумала то пианино*.

Копипаста пела высоко, но негромко. Силы в её голосе не было, но не было и фальши. *Микрофон, и был бы стадион*, — считала Юлькина мама и усмехалась, вспоминая, как дочка пришла впервые с репетиции школьного ансамбля.

— У меня *первое справа*, — с гордостью объявила она, имея в виду первое сопрано.

Самое яркое совместное выступление Веры и Юльки состоялось в начале девяностых, в видеобаре ресторана «Космос». Обычно там орала музыка — на маленьких экранах изламывались солисты группы «Кар-Мэн» с квадратными причёсками и такими же, как в рифму, челюстями. Но кроме телевизоров там, что удивительно, присутствовало пианино — сосланное из ресторана или же случайно заскочившее на огонёк светомузыки. «Элегия» с ватными клавишами и невозможными педалями, которые поминутно залипали. Бакулина гневно била по ним ногой, добиваясь нужного эффекта. Однажды Юлька упростила бармена выключить треклятые видики, Женя Белоусов мигнул и исчез — с открытым настежь ртом. Бакулина била педали — будто прищпоривала коня — и гоняла свой ля минор по кругу — аккорды были как уставшие лошади в цирке. Ля, ре, соль, до, фа, ре, ми, ля. Юлька облокотилась на гладкую крышку «Элегии», Вера встала рядом, склонив голову. Романсы, пионерские песни, блатняк, возбуждавший Бакулину, — она начинала играть так громко, что заглушала слабый голос Копипасты. Пели и современную чепуху — тексты напоминали телеграммы советских времён с их пропущенными словами и колченогими фразами: «И ста-

ну я его беречь вдали в усталых ритмах сердца. Тебя запомню я навечно и ночь в огнях сгоревших свеч». Посудомойка из бара, тётя Маша или баба Зина, — неважно, важно, что она вышла на пение из кухни, точно лиса из норы. Подложила ладонь под руку и слушала, как пьяные девки голосят на два голоса «В лунн-аам сияньи снег серебри-и-и-т-ся...». Это был триумф, их слушали бармены, охрана и гости, что обычно танцевали в тёмном зале, не снимая норковых шапок-формовок. Но потом вечер окончился, и больше подруг петь не просили. «Элегия» внезапно исчезла из своего угла, на видеоэкранах снова изламывался дуэт «Кар-Мэн» и улыбался Женя Белоусов.

Как давно это было — два или даже три года назад? Не имеет значения, ведь теперь Вера мечтала о дочке.

С Герой они встречались уже несколько месяцев, он даже снимал её ню. «А где у тебя эта ню?» — веселилась Копипаста. Гера долго колдовал над снимком, вмонтировал в спину два больших крыла — к сожалению, чёрных.

Раньше Вера пренебрежительно относилась к фотографии и не считала её искусством. Фотограф не создаёт сюжет, а присваивает его. Да, нужен взгляд. Да, надо заполнить кадр по максимуму. Но это — техника или, так уж и быть, ремесло. Так считала Вера прежних времён, но теперь она думала по-другому. Странные работы Геры, которые она бегло смотрела тем утром, при тщательном изучении увиделись иначе — он дарил каждой женщине новую судьбу и другую историю. А это уже искусство.

Естественно, Стенину интересовало, кем были Геринины модели — брюнетка с локоном на шее и худышка неопределённой масти? Но фотограф не стал рассказывать, отмахнулся. По утрам он бывал всё так же раздражителен, часами лежал в кровати под мрачным, похожим на ружейное дуло, взглядом Шварценеггера. А потом оттаивал, принимал жизнь заново — каждый день.

— У тебя одна рука всегда холодная, а другая — горячая, — заметил однажды Гера. Была сладкая, как халва,

и такая же серая ночь. Луна пряталась за тучами. Вера вдруг выпалила:

— А ещё я жду ребёнка.

Геря шлепком включил свет — так некоторые медсестры ставят уколы. Шварцнеггер болезненно сморщился от яркой вспышки, а Вера и вовсе ослепла на мгновение.

— Какого ещё ребёнка?

Без привычных очков лицо Геры выглядело голым, неловко смотреть.

— Обыкновенного. Девочку.

— Но ты же предохранялась?

Вера действительно *предохранялась* — мамина знакомая врачиха прописала ей марвелон в таблетках. Она бросила пить таблетки в тот день, когда у Юльки родилась Евгения. Это было всего лишь совпадение — Вере показалось, что от таблеток она стала тяжелеть в самых важных местах. Особенно огорчали бёдра — когда Вера садилась, они некрасиво расплющивались, а вот у проклятой Копипасты оставались стройными и длинными, как французские багеты.

Геря нашёл очки на полу, криво нацепил их и гневно смотрел на Стенину. Шварцнеггеру, тому вообще было некуда глаза деть, была бы его воля — покинул бы этот флэт с его драмой.

Вера изучала засаленные пятна на обоях — причудливые, как облака. Вон то, слева от Шварца, напоминает Австралию. Рядом — слон с рифлёным, как шланг пылесоса, хоботом. Внутри Веры, там, где вовсю шло строительство маленькой девочки — ручки, глазки, ножки, — всё окаменело и умолкло. Услышать хотя бы шевеление зависти, её привычные взмахи крыльями, шёпот...

— Тебе всего двадцать! Какой ребёнок?

Геря ходил по квартире, кидал всё, что попадалось на глаза — попадалось такое, что не жаль. Карандаш, Верина косметичка, пустая винная бутылка. Драгоценная камера лежала рядом, но её не заметили, тогда как менее

удачливые предметы летали и гремели на радость соседям — айне кляйне нахтмюзик.

— А, я понял! — возликовал Гера. — Ты замуж хочешь, да?

— Вовсе нет, — сказала Стенина, и это была правда. Сейчас ей хотелось не замуж, а уйти отсюда. Уйти как можно скорее, и неважно, что будет потом. Вера надела блузку, потянулась за колготками, как вдруг Гера прыгнул на диван — как подросток.

— Верка, ну можно ведь как-то решить эту проблему?

— Это не проблема! — Вера держала в руках колготки, и всё показалось ей вдруг нелепым. Словно она смотрит глупый фильм и не решается выйти из зала.

— Не уходи, — попросил Гера и выключил свет. Они лежали в темноте, молчали, за голыми окнами без штор висела налитая, тяжёлая, тоже как будто беременная луна. Потом Вера услышала, как брякнули об пол очки, и Гера спросил шёпотом:

— А может, будет мальчик?

...Вера любила находить сходство: предметы были похожи на людей, музыка — на живопись, а её жизнь могла бы стать похожей на жизнь Юльки Калининой.

— Почему ты не рассказала тому, из Оренбурга, про Евгению?

Юлька пожалала плечами. Она быстро похудела после родов, стала красивее себя прежней и уж точно что красивее всех остальных.

— Я не считаю, что моему ребёнку нужен отец.

— А вот моему — нужен.

— Ну, ты, кажется, не в том положении.

Вера высоко подняла голову. Здесь по всем правилам следовало выразительно промолчать.

— Верка, как здорово! — закричала Копипаста. — Девчонки будут дружить!

Она тоже откуда-то знала, что у Веры Стениной родится девочка. На год младше Евгении.

Лара.

Глава седьмая

Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Мотет исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах.

Иоанн де Грокейо

— Вы торопитесь?

Вера не сразу поняла, что таксист обращается к ней, а не к своему невидимому собеседнику, какие в изобилии водятся у каждого водителя. Почему-то именно таксисты особенно любят телефоны, рации и другие средства срочной связи. Одиноко им, видать, в машине. Однажды Веру вёз таксист, у которого были сразу три разные трубки, и он обращался с ними виртуозно и нежно, как с любовницами, а вот на дорогу поглядывал лишь время от времени. Дорога была — нелюбимая жена. Но этот, сегодняшний, говорил с Верой — и даже смотрел на неё через плечо с таким видом, будто собирался туда трижды сплюнуть.

Вера могла бы сказать правду — она не просто «не торопится», а вообще сомневается, стоит ли ехать к Евгению? Но вместо этого выдавила девчоночье «а что?».

— Да я заправиться не успел, вон уже лампочка горит. Вам встречать или сами улетаете?

Вера сглотнула комок, похожий на клочок кошачьей шерсти.

— Встречать, но я... не тороплюсь.

— Понятно, — сказал таксист. Ничего ему не было понятно кроме того, что тётка с приветом — что ж, зато он успеет заправиться.

На углу Шаумяна и Ясной встали в длинную очередь машин. Вера прикрыла глаза, изображала спящую.

Беременной, ей постоянно хотелось спать. Это было первое, что принесла с собой маленькая, тогда ещё невидимая и неизвестная Лара, — сон. Вера засыпала на лекциях, специально укладывала подбородок на карандаш, чтобы голова не падала — но всё равно дремала, особенно на лекциях по истории декоративно-прикладного искусства. Тётя-лектор была тихая и напряжённая, как дворняга, которую много и подробно били. Крепко сжатые губы напоминали беременной Стениной лавровый лист — не цветом, но формой. Чувствовалось, что у лекторши большой опыт, что она много знает о декоративно-прикладном и сама, вполне возможно, лепит глиняные игрушки или чеканит по ночам. К несчастью, чеканить слова на лекциях она не могла совершенно. До беременности Вера порой мечтала о том, чтобы у таких людей имелась кнопка, усиливающая звук. Но теперь ей даже нравился тихий шелест декоративно-прикладной речи — как будто листья опадали с лавра, убаюкивая студентку Стенину.

Теперь она приходила в университет без прежней радости. Немногие мальчики, поступившие с нею вместе, волшебным образом растворились к третьему курсу. Девочек, которые учились лучше её, Вера избегала по причине самосохранения — не для того она изгнала мышь, чтобы та вернулась в новом обличье, — а девочки, учившиеся хуже, были глупы и раздражали. Чувство, которое привело Веру сюда после школы, ослабло — теперь она скорее додумывала картины, нежели ощущала их. Старый преподаватель с жёлтой сединой вышел на пенсию. Лара внутри просила то мороженого, то орешков, то подгорелых сухариков. И даже двери парадного входа в университет казались теперь слишком тяжёлыми, неподъёмными.

В очередной день, «прожитый без славы и искусства» (кто бы знал, как это «ы-и-и» в русском переводе огорчало чуткую к любой дисгармонии Веру), она на поддороге к выходу повернула обратно, в деканат. И попросила академический отпущ.

— Зря вы, Стенина, — пожурела её замдекана. — Доучились бы свои два года. Преподаватели всегда жалеют временных — вам же легче будет защищаться, с животиком.

Вера выслушала её и пошла оформлять бумаги. Юлька, та давно перевелась на заочное и говорила теперь о журфаке в самых пренебрежительных тонах.

— Понятно, что это не образование. Учат, как дверь ногой открывать.

К беременной Вере Юлька относилась с подчёркнутой двумя жирными чертами — как сказуемое — заботой.

Она всегда была ко мне очень добра, думала Вера, тоскиво глядя в окно на бесконечную очередь машин. Таксист барабанил пальцами по рулю, как будто исполнял эту Шопена — Годовского.

Да, Юлька была к ней добра, внимательна, заботлива. Она любила Стенину — и этим только добавляла камней в кучу, которая и так росла с каждым годом.

Конечно, Вера тоже заботилась о Юльке — и явно, и скрыто. Не перечать, сколько раз она врала по её просьбе и матери, и поклонникам.

Копипаста была крайне неопрятна во всём, что касалось денег, — занимала и не возвращала, свои же хранила в сумке в виде мятых комков, принимать которые согласилась бы не всякая продавщица. В суровые годы безденежья Вера иногда подкидывала в Юлькину сумку такие же комки — и наивная Калинина всякий раз ликовала, обнаружив смятую десятирублёвку:

— Я ж тебе говорила, Верка, — у меня всегда есть деньги!

Да, Вера много что делала для своей подруги, но Юлька умудрилась сделать ещё больше — причём легко, на ходу,

как, собственно говоря, и совершаются всегда самые важные дела.

Лишь только Евгения выросла из своих первых ползунков, как они тут же были сложены в особую коробку, на которой Юлька написала красным фломастером «Вере». Коробка пополнялась месяц от месяца, Евгения росла параллельно с Вериным животом.

Прежде мужчины в жизни Веры напоминали проходных героев в какой-нибудь торопливо написанной книге — как только они надоедали автору, так тут же исчезали, не оставив ни одной лазейки, чтобы вернуться. Но когда появился Гера, ему отвели особую роль, и никого не интересуется, понравится он лучшей Вериной подруге или не понравится. И это тоже было очень важно — что Копипаста это поняла.

Ну, а самое главное Юлька сделала для Веры потом, в самое жуткое время...

Такси наконец подъехало к свободной колонке, и водитель крикнул в окно:

— Девяносто второй, пистолет!..

Вера смотрела в окно на человека в красной куртке, который заливал бензин, и отсчитывала цифры на счётчике, как последние секунды своего счастья.

...Смирившись с грядущим отцовством, Гера познакомил Веру со своей мамой — учительницей музыки. Лидия Робертовна принимала их в трёхкомнатной квартире на улице Бажова — Вера не решилась спросить, почему Гере нужно снимать жильё, если мама устроилась так вольготно.

Лидия Робертовна отсканировала Стенину внимательным взглядом, после чего вручила ей приветственные подарки — утягивающие трусы телесного цвета и серебряную цепочку с погнутым замком. Вера отдалась коробкой конфет «Рыжик».

Больше всего Лидию Робертовну интересовало, не питает ли Вера надежд превратить её в няньку для ребёнка?

Вера ничего подобного не питала, в чём и призналась совершенно искренне. Лидия Робертовна выдохнула и позвала *малодёжь* пить чай. Был подан вафельный торт и Верины конфеты, а к слову «питать» вернулся первоначальный смысл.

Потом хозяйка предложила сыграть для Веры:

— Чего бы вам хотелось?

Вера попросила «Адский галоп» Оффенбаха, и как-бы-свекровь подняла левую бровь.

— Сыграй Шумана, мама, — попросил Гера, и Лидия Робертовна бросила на клавиши руки так, как будто это были не руки, а совершенно отдельные, цепкие и хищные твари, которые разбежались по клавиатуре и начали терзать белое-чёрное, выжимая из него звуки такой глубины и силы, что даже маленькая Лара внутри, кажется, замерла от счастья. И неважно, что в стену стучал сосед, что — утягивающие трусы и целых три комнаты на одну старую тётку. За такую музыку можно простить и больше.

На прощание Вера не удержалась и чмокнула как-бы-свекровь в щёку, от которой слабо пахло духами «Эллипс». Лидия Робертовна снова вздёрнула свою бровь и, ни слова не сказав, закрыла за ними дверь — как крышку пианино.

— Мама когда-то давно выступала, но теперь играет очень редко.

— Почему? — поразились Вера. Если бы она так умела, то целыми днями играла бы для самой себя.

— Ну, там целая история. Моцарт и Сальери, слышала? Вера насупилась. Счастье стихло, и только в затылке ещё отдавалось ясное шумановское *да-да-да*.

— Моцарт и Сальери — это один и тот же человек.

— Красиво, но ошибочно. — сказал Гера. Они ловили машину на углу Ленина и Бажова. Машина ловилась плохо, даже клёва не было, а вот разговор наклёвывался интересный.

— Пойдём до оперного, — предложила Стенина, и Гера согласился. Рассказывал на ходу:

— Мать была очень одарённой — гениальная юная пианистка, музыкальная гордость Урала.

Герра пнул камешек, ничем перед ним не провинившийся. Они шли по аллее, на скамейках сидел весь город — пил или хотя бы курил.

— Когда мама оканчивала десятилетку при консерватории, к ним пришла новая ученица. Из Казани переехала. Она играла совсем не так, как мама, — я бывал на её концерте и могу сказать тебе, что она вообще играла совсем не так, как все. Никто так не умел, тем более среди девушек. Не обижайся, Вера, меломаны — те ещё шовинисты.

— Я не обижаюсь. Скамейка свободная! Посидим?

— Давай. Знаешь, я думаю, что сила Моцарта — не только в гениальности. Она ещё и в отсутствии сомнений.

Герра поправил пальцем свои маньяческие очки.

На соседней скамейке кто-то вдруг вцепился в гитару — словно кошка в диванную спинку.

— А у мамы — были сомнения, — Герра подал Вере руку, и они пошли прочь от гитарных дын-дыры-дын, окончательно изгнавших небесного Шумана. — Та, из Казани, играла не лучше, но по-другому — а главное, её исполнение нравилось ей самой. И всем остальным — тоже. На концертах этой пианистки даже медведь понял бы, в каком месте нужно хлопать. У мамы совсем другая манера. Она играет так, будто на тебя идёт целое войско, ты заметила?

Вера кивнула. Вспомнила цепких тварей, вполне способных захватить в плен слушателя.

— Вера, а ты кому-нибудь завидовала?

Стенина от всей души расхохоталась.

— Что смешного? — обиделся Герра. — Я, между прочим, о своей маме рассказываю.

— Ты говоришь с самым завистливым человеком на земле! Ну, или по крайней мере в нашем городе.

Они дошли до оперного и, не стовариваясь, проследовали мимо трамвайной остановки, хотя там зазывно гремел открывшимися дверями двадцать шестой трамвай.

В следующей аллее была занята каждая скамья — город праздновал пятницу.

Впервые в жизни Стенина рассказывала вслух историю своей зависти. Удивительно, какой она вышла короткой.

— Да разве это зависть? — удивился Гера. — Какое-то мелкое женское соперничество. Ну, длинные ноги. Ну, художник этот. Подумаешь!

Вера надулась. Вспомнила, как терзала её днями и ночами голодная летучая мышь.

— Настоящая зависть, — сказал Гера, — бывает только у людей искусства.

— Моцарт и Сальери?

— Да. Масштаб — другой, но чувства те же. Мама не смогла перенести успеха той девчонки. Она не стала с ней соревноваться, не пожелала, чтобы их сравнивали, даже в консерваторию не стала поступать, окончила всего лишь «Чайник». А та девчонка стала знаменитой пианисткой и сейчас выступает — живёт в Германии. Мама преподавала, играла только по просьбе учеников — «показать трудные места». Как вдруг однажды, года три назад, заявила: «Вся жизнь прошла — а я ещё и не играла никогда так, как мне хотелось». И с тех пор — играет, играет, играет... Но не для кого-то — для себя. Ну и ещё для меня и соседей, хотя они не всегда довольны.

Вера шла рядом с Герой нога в ногу — как подчаски с площади Коммунаров, до которой они добрались, ничуть не утомившись. Конечно, здесь уже не было никаких подчасков, но огонь горел, бессмертный и вечный, как музыка, которую играют для себя.

Стенину захлестнуло вдруг чувство благодарности — жгучее, как невечный, хрупкий, ночной огонь. Она вся была — спазм благодарности. Спасибо тебе, город, что есть ты, и музыка, и Гера — и маленькая девочка внутри.

Это был последний счастливый день Веры Стениной, и его не испортил даже разговор в лифте, когда они поднимались на свой этаж.

— А почему ты снимаешь квартиру, если у мамы три комнаты в центре? — не удержалась Вера.

Геря посмотрел на неё, как на банку сметаны сомнительной свежести.

— Я думал, ты и так поняла. Это же мамина квартира!

— А-а, — протянула Вера, словно бы внезапно догадавшись. На самом деле она ничего не поняла — её собственная мама не поступила бы с ней так даже во сне.

Сон долго не шёл — Лара внутри была голодной, ведь Лидия Робертовна угощала их одним лишь Шуманом — чай с тортом не в счёт. Вера нашла в холодильнике кастрюлю с горошницей, которую принесла утром мама. Нет, подумала Вера, Шуман Шуманом, но горошница — тоже вещь.

Интересно, а Геря кому-нибудь завидовал? Фотографу, художнику? Вера подумала, что обязательно спросит его об этом завтра.

Проклятое завтра...

С утра нужно было ехать на приём в консультацию — Вера пожалела Геру, не стала его будить и одна отправилась в сонном автобусе на Белореченскую, где её взвешивали, измеряли, прослушивали и только через час отпустили домой. Погода была «замечательная», как выразилась Юлька. Юлька! Вера совсем забросила подругу, да и по Евгении соскучилась.

Глянула на часы. Десять. Точно не спят и будут рады.

Юлька открыла дверь после первого же стука. Вера забыла, какая она красивая, и в горле царапнуло острым когтем.

— Привет, пропажа! — радостно сказала Юлька. В коридор выползла Евгения. Слюни — ручьём, очередные зубы, судя по всему, в пути.

— Уже ползает? — ахнула Вера.

— А ты ещё реже приходи к нам, тётя Вера, — выразительно сказала Юлька. — Мы так и замуж выйдем, не заметишь.

Стенина с удовольствием просидела у Юльки до обеда, потом приехала Юлькина мама из сада, напекла блинов — Вера, конечно, осталась. Потом Юлька уговорила её пойти гулять с Евгенией в Собачий парк на Ясной. С этим парком у Веры было связано неприятное воспоминание: в хорошую погоду здесь проходили школьные уроки физкультуры, и Вера, когда бежали кросс, упала прямоком в коровью лепешку — рядом был Цыганский посёлок, жители которого запросто выгуливали здесь скотину.

Юлька катила коляску и рассказывала Евгении, как метко свалилась на этой самой аллее тётя Вера и как выглядели после этого её спортивные штаны. Евгения вежливо улыбалась, потом — уснула, и Стенина начала рассказывать Юльке про Лидию Робертовну, а Юлька, нетипично для себя самой, слушала подругу, почти не перебивая. Вокруг местного болотца лежали на полотенцах и одеялах местные жители, жадно вбирая скудное уральское тепло — буквально отвоевывали у солнца каждый лучик. Небо было синим. Они даже видели белочку.

В общем, ещё один «замечтальный» день.

— Помнишь, откуда взялся «замечтальный»? — спросила Юлька. Она всегда тщательно следила за авторством, отслеживала и на ходу пресекала любые попытки присвоить словесные открытия, анекдоты, а с годами — ещё и кулинарные рецепты: пользуйтесь, но не забывайте, кто был первым на этом пути.

— Машинистка ошиблась, и корректорша пропустила ошибку в заголовке. А хуже всего, что я была в тот день свежей головой и тоже прошляпила это «замечтальное дело».

Юлька засмеялась, в глазах её горячо блеснули слёзы. Скучает по газете, решила Вера.

— Шесть часов уже! — сказала тётка, которая шла им навстречу с собакой и с собакой же, судя по всему, разговаривала. Неужели шесть? Гера наверняка волнуется. Сколько раз просил предупредить, если Вера задерживается, —

сам всегда проверял, чтобы в кармане лежали «двушки» для телефона.

Юлька с Евгенией проводили её до маминого дома — Вера думала заглянуть на минутку, но просидела почти час, потому что мама приготовила плов и заливное. Ларе внутри очень нравилось заливное.

Телефон в квартире на улице Серафимы Дерябиной молчал, поэтому Вера слегка успокоилась. Скорее всего, Гера задержался на съёмках. Кажется, они договаривались с Сатиром — пока ещё тепло, *отрабатывать* ростовых кукол.

Мама настояла, что проводит Веру до остановки, положила ей с собой плов в банке-термосе. По дороге опять завела старую песню:

— Куда поторопилась, доча? И почему вы не женитесь, если у меня уже всё готовое лежит?

Вера два раза промолчала, а на третий рявкнула на маму так, что та, бедная, чуть не выронила из рук банку-термос.

Потом мать посадила её в автобус и долго махала ей вслед «ладонями рук», как тоже написали однажды по ошибке в Юлькиной газете.

Сытая Лара сладко спала, Веру тоже клонило в сон.

Возле Гериного подъезда, который Вера давно уже называла «нашим», стояло много людей, и среди них — милиционер в рубашке с коротким рукавом. Очень молодой и очень серьёзный.

На асфальте, у подвальной двери лежал, скорчившись, как зародыш с плаката в женской консультации, человек в футболке, испачканной красным. Таким же красным было испачкано его лицо и острые камешки на фасаде дома — элемент советского декора. Человек в футболке был без очков, поэтому Вера не сразу его узнала.

Когда же узнала — начала падать навзничь, как в кино, только это было не кино, и Вера не догадывалась, что умеет так падать — ещё и с Ларой внутри. Все растерялись, только молодой милиционер поймал Веру, когда она уже

почти коснулась земли затылком. От милиционера несло острым чесночным потом, это подействовало как нашатырь. Вера открыла глаза и снова увидела перед собой эти камни, торчащие из стены, точно осколки стекла. Геру бросали на эти камни, пинали в голову, потом опять бросали. Лицо, как рассказывала впоследствии какая-то бабёнка, *ровно ягодами измазано*. Мимо шли люди, кто-то решился вызвать милицию. Пока доехали, убийцы скрылись, а Гера — умер.

Милиционер нашёл в ближних кустах сломанные очки в тёмной оправе, принёс их и положил Вере к ногам — так кот приносит хозяйке задушенную мышь. Вера хотела заплакать, но не смогла.

В те годы убийства были не то чтобы в порядке вещей, но уж точно не чем-то выдающимся. В новостях каждый день показывали кровавые лужи и взорванные авто. *По вашему делу*, как сказал потом следователь, *не было никаких белых пятен*. Геру подкараулил у подъезда ревнивый муж одной его модели — той, что была неопознаваема на фото, но зато предстала во всей своей телесной реальности на суде. Модель — справная девица с явным мансийским предком. Глаза-надрезы и неожиданно романтические локоны на висках, похожие на пейсы. Рыдала. Убийца сидел в клетке с подельником — сам ничего особенного, инженер в клетчатой рубашке, а вот дружок был из *серьёзных*. Ревнивец случайно нашёл у жены конверт с негативами — Гера честно возвращал их девушкам. Без обработки снимки были, честно говоря, смешные. Белые колготки, надетые без трусов — зрелище на любителя, но муж расвирепел, вытряс из жены адрес фотографа и помчался к нему, прихватив по дороге друга, которому, как говорится, был бы повод.

Вера смотрела заседание суда по телевизору, с сумкой, собранной для роддома, в ногах. Крупный план: Сатир держит за руку Лидию Робертовну, пальцы у неё вздрагивают, как будто хотят вырваться и рухнуть на клавиши,

но Сатир держит их крепко. Хороший парень, кстати. Жаль, что перестали общаться.

Лидия Робертовна позвонила Вере за день до рождения Лары – сказать, что уезжает в Петербург. Там жила не то племянница, не то, наоборот, тётка: кто-то жил и был готов принять. Голос у как-бы-свекрови звучал неожиданно бодро, и Вера удивилась:

– Как вы так держитесь?

– Обыкновенно. Я не разрешаю себе думать, что Гера умер. Я представляю, что он уехал и у него всё хорошо. И ты, Вера, тоже должна так думать. Это поможет.

Помогла ей тогда – Юлия Калинина. Гладила по голове, слушала, плакала. Она её спасла – с каждым днём, слезой, словом боль уходила, как яд из раны. Пережить чужое горе легче, нежели чужое счастье – но, если честно, так считают те, кто не способен ни на то, ни на другое.

Когда родилась Лара, из Петербурга с оказией прибыл пакетик – внутри обнаружилась брошка с камушками: один выбит, как глаз в драке, но те, что остались, были несомненно ценными.

Роды прошли легко – Вера как песню спела (первый куплет – соло, второй – вместе с Ларой).

Должно же было в этот год случиться хоть что-то хорошее.

Глава восьмая

Самые завистливые племенные культуры — такие, как добуан и навахо, — действительно не имеют концепта удачи вообще, как и концепта шанса. В таких культурах, например, ни в кого не ударяет молния, иначе как по злой воле недоброжелательного соседа-завистника.

Гельмут Шёк

В машине сладко пахло бензином.

Таксист чувствовал себя виноватым, что задержал пассажирку, и потому развлекал её интересным разговором:

— Вы за кого голосовали?

— Что? — Вера, вынырнув из мыслей, не сразу поняла, о чём и кто с ней говорит.

— За кого голосовали, спрашиваю? На выборах?

— Я на выборы не хожу.

Таксист осуждающе глянул в зеркало дальнего вида, но не поймал ответного взгляда. Потом ему в очередной раз позвонили — таксист называл позвонившего «заяц» и говорил с этим зайцем очень тихо, чтобы Вера не слышала нежных подробностей. Даже у этого таксиста, хотя он немолод и некрасив, был близкий человек, пусть и с дурацкой кличкой. «Даже бегемот уже моложе тебя», — однажды сказала матери Лара в зоопарке, глядя на табличку с объявлением «Бегемоту Алмазу — 25 лет!».

Вера уткнулась лбом в окно, смотрела на февраль. Был он в этом году какой-то неправильный. Ночная метель и утренний Грабарь сменились плывущей сангиной подтаявшего, грязного снега. Сегодня страна, как научили, от-

мечала *праздник влюблённых*: то здесь, то там атели сердца на витринах, и по радио кто-то вещал про «валентинки».

Впервые об этом странном празднике Вера услышала от маленькой Евгении. Той было, кажется, года три, *шкодный*, по мнению Копипасты, возраст. Юлька давным-давно вышла на работу в редакцию еженедельника, а девочку пристроили в садик.

На дверце шкафчика картинка — юла. «Мамин портрет», — шутила Вера, когда приходила за Евгенией. Няньки поджимали губы, глядя, как малышка сама застёгивает пальто — не с той пуговицы. Как шарит по раскалённой батарее — ищет варежки в катышах. Всё у неё было вечно не по размеру, мало-узко или велико-широко. И платье к новому утренику ненарядное, и про банты забыли. А у всех девочек были бархатные платья и такие банты — взлететь можно!

— Иди сюда, горечко, — говорила Вера Стенина и, не спуская с рук двухлетнюю Лару, кое-как перестёгивала пуговицы, находила варежки, поправляла шапочку. Шапочка у Евгении то и дело съезжала набок, открывая злым морозам нежную ушную раковинку.

— Тётя Вера, дай подержать Лару, — просила Евгения. Няньки кудахтали: куды тебе её держать! Вон какая справная девка! Три подбородка — как у министра!

Вера наливалась гордостью, что приятно булькала в горле, как мятное полоскание.

Евгения была худенькой, под глазами — темно. И пахло от неё удушливо, как от хомячка.

— Ест безобразно, — сообщали няньки. — Рыбные котлеты пробывали впихнуть, так она их *вырвала*.

Вера честно доносила до Копипасты эти сообщения — мать-юла пыталась слушать, но видно было, как скучны ей все эти котлетки, варежки и платья.

— Наигралась в мамку! — подытожила старшая Стенина, когда Вера впервые в жизни пожаловалась ей на подружку. — В шесть лет повесит ключ от дома на шею — и вперёд!

Вера бы так не смогла. Она для Лары — всё, что нужно, и с горкой.

Как будто из неё вынули весь эгоизм, а на его место вложили страх за дочку.

Перед сном Вера гоняла в голове страшные картины: а что, если Лара заболит? Или её украдут? Недавно в Юлькиной газете прошла статья — в песочнице оставили девочку на пять минут, мама отвернулась с подружкой перемолвиться. Ля-ля-ля, — а девочки уже нет в песочнице, только совочек торчит красненький. И никто ничего не видел, просто исчез ребёнок. Искали по всему городу, а через день она в той же песочнице сидит. Живая. Но уже только с одной почкой.

Мир вокруг, да что с тобой? Ты всегда был таким понятным! Вера, может, и не любила тебя — но никогда не боялась. Даже в тот жуткий год не боялась. А сейчас она стала — сплошной страх. Жизнь целиком перелилась в Лару — в эти толстенькие ручки, сжимающие булочку, в эти глаза — то синие, то зелёные, *в зависимости от освещения*. Первый зуб застучал по ложке в два месяца. Зубастая, журналисткой будет! — шутила Копипаста.

Вера отправляла в Петербург фотографии Лары, вела прилежную летопись, описывала вехи жизни. Первый зуб, первое слово, первый шаг. Локон в конверте. Лидия Робертовна отвечала через раз, хвалила фотографии, но просила не присылать так помногу — хранить негде.

Копипаста, в которой проснулось мрачное остроумие, однажды сказала:

— Представляешь, Верка, альбом последнего года жизни? Последний зуб, последнее слово, последний шаг!

А мама заявляла (не без некоторого злорадства — пусть и припудренного):

— Вот теперь, Веруня, ты меня поймёшь.

Всё было теперь другое — и Вера, с её искусством и обострёнными чувствами, с трудом обживала эти перемены. Хорошо хоть зависть не возвращалась — святой Георгий

пронзил недостойное чувство копьём, как на картине Уччелло¹. Спасибо, Гера, и за это...

И пусть Юля Калинина по-прежнему была красивой — ну и что. У Веры была Лара. У Юльки — поиски счастья. Она его искала повсюду, азартно и безуспешно. Счастье пряталось и посылало вместо себя фальшивки, одну за другой. Вера снисходительно слушала рассказы Копипасты — как та познакомилась с одним почти известным артистом и на улице, в сумерках, на глазах у всех...

— Вчера же холодно было! — удивлялась Стенина.

Всего через неделю Юлька, как царевна из сказки (или картёжник, если царевна вам не нравится), доставала из рукава другую историю: она ездила в Тагил в командировку и познакомилась там с молодым директором совместного предприятия. Совмещалось предприятие с немцами, а директор был с тонким носом и ледяным обращением. Этаким злой волшебник. Копипаста уговорила его приехать в Екатеринбург и решила показать всю свою красоту разом, поэтому и побежала встречать его на улицу в джинсовых шортах и ажурной майке *на голо тело*. Директор не узнал её, принял, по всей видимости, за проститутку и велел шофёру ехать мимо, обратно в Тагил.

Вера, слушая эту и другие несимпатичные истории, вспоминала: когда Юлька бросила кормить грудью, то первым делом от души наелась всего, чего нельзя было так долго, и запила запретные плоды шампанским. Точнее, залила. Её нелепые свидания, одно глупее другого, были чем-то похожи на то страстное обжорство. Наверное, надо было остановить подругу, но «надо» не всегда равняется «можно». Остановить Юльку не сумел бы никто, ведь на её стороне сражался мощный воин — правда женщины, ищущей счастья.

¹ Паоло Уччелло — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения, один из создателей научной теории перспективы.

Старшая Стенина приговаривала: «И тебе, Веруня, надо как-то устраиваться в жизни». Но Вере тогда казалось, что она своё счастье уже нашла.

Они с Ларой так точно подходили друг к другу, что никого другого в этом рисунке и быть не могло. Как те два профиля в загадке-картинке, которые превращаются в вазу, если смотреть слегка под другим углом, — вряд ли им нужен кто-то третий.

Поначалу с Верой все носились, боялись сказать лишнее и сделать больно — но со временем защитный покров истончился. И сама Вера смирилась с потерей быстрее, чем следовало... Сначала боялась потерять ребёнка и не позволяла себе даже думать о том, что случилось с Герой, — вела растительный образ жизни, оберегала своё пузо как святыню. Потом, когда родилась Лара, боялась, что *уйдёт молоко*, — смеси в магазинах стоили очень дорого, да и грудное вскармливание полезнее. А после, когда Лара уже приступила — весьма увлечённо — к «общему столу» и можно было с чистой совестью оплакать свою утрату, Вера не обнаружила у себя никакой особенной скорби — было лишь сожаление размером с окаменевший шарик из шерсти, который годами лежит в кошачьем желудке и называется благородным словом «безоар».

«Видимо, я его по-настоящему не любила», — холодея от таких мыслей, думала Вера. И тут же сама себя поправляла, с гневными Юлькиными интонациями: «Что за глупости! Конечно, любила».

Но она была счастлива и без Геры.

Мама помогала с Ларой, точнее, пыталась отобрать её у Веры хотя бы на полчаса. Пока дочка спала, Стенина рисовала её карандашом — получалось что-то похожее максимум на Жана Дюбюффе¹. Как же она ненавидела свою бездарность! У зависти — хотя бы крылья были.

¹ Ж а н Д ю б ю ф ф е — французский художник, основатель художественной концепции арт брут — грубого искусства.

Юлька свистала где-то все вечера напролёт, рассказывала, что в её новый портфель из фальшивой кожи входит ровно три бутылки вина и они лежат там, как гранаты. *Верка, будь другом, забери сегодня Евгению из сада.* Стенину коробило разве что слово «сегодня». Могла бы и не уточнять — «сегодня» на языке Копипасты означало «всегда».

И вот Евгения выбегает из группы, откуда жарко пахнет кашей и хлоркой.

— Тётя Вера, а мама не придёт? А где Лара?

— С бабушкой, поэтому давай скорее!

По соседству со шкафчиком «юла» располагался шкафчик с картинкой «трактор» — там хозяйствовал четырёхлетний юноша Марик. Пузо туго обтянуто колготками, палец производит разыскные работы в носу.

— Будешь так делать, — не утерпела однажды Вера, — расковыряешь себе огромный нос. У меня был такой одноклассник — Илюша Зильберг. Окончил школу с пятаком вместо носа.

Марик горько зарыдал, оплакивая судьбу несчастного Зильберга, который, кстати, вполне припеваючи живёт сейчас в тёплых краях.

На другой день к Вере подошла незнакомая женщина — нос у неё был основательный, как каминная вытяжка.

— Это вы — мама Жени Калининой?

Пока Стенина собиралась с ответом, удачно встряла Евгения:

— Тётя Вера, можно, я не буду надевать болоньевые штаны?

— Нельзя. Там минус двадцать.

Женщина с вытяжным носом попыталась зажать Веру в углу.

— Вы зачем пугаете моего ребёнка? Марик вчера так плакал!

— Извините, — сказала Вера. — Но у него всё время палец в ноздре, я хотела как лучше...

— Занимайтесь своими детьми! — выкрикнула женщина и на прощание страшно шмыгнула своим невероятным носом.

Евгения, когда они уже вышли на улицу, спросила:

— Ты видела, какой у мамы Марики нос? Как думаешь, она его тоже в детстве ковыряла?..

...— Не копайся, Евгения! Я же тебе сказала — Лара с бабушкой, а это ещё хуже, чем одна.

Вере не нравилось, как мама управляется с внучкой. Однажды она её уронила, малышка стукнулась головой о кроватную спинку — и с ума едва не сошли все трое: Лара от ушиба, Вера — от гнева, а мама — от раскаяния и стыда. Обошлось, но не забылось!

Евгения стояла перед шкафчиком Марики и держала в руках криво вырезанное из куска красной материи сердце. Марик минуту назад пробежал мимо них — на шее, заметила Вера, висел ботиночный шнурок с золотым крестиком и долька чеснока в баночке из-под киндер-сюрприза. Вампиры и святые угодники — портрет эпохи.

— Сегодня праздник Валентина, — объяснила Евгения. — Я признаюсь в любви Марику.

— Этому, в колготках? — не поверила своим ушам Степина.

— Мы все ходим в колготках, тётя Вера, — рассудительно сказала Евгения. — Анна Владиславовна нам дала тряпочки, и мы вырезали сердечки. Надо отдать тому, кого любишь.

— А тебе кто-нибудь отдал сердце?

Евгения грустно улыбнулась. Вера хотела её подбодрить, но вместо этого некстати вспомнила исторический факт — такие в изобилии хранятся в памяти, как мины на полях сражений. Может рвануть в любой момент! Одна такая мина — всем известное изображение сердца изначально обозначало головку полового члена. Конечно же, Евгения пока что не оценит эту прелестную аллюзию.

— Клади ему в шкаф своё сердце, и пошли скорее.

— А можно к вам? Бабушка поздно придёт.

Евгению уже полгода как оставляли дома одну. Она умела делать бутерброды и жарить яичницу. Яичницу! Лара всё ещё передвигалась по дому у Веры на руках, хотя была тяжёлой, как мешок с сахаром. Стоило поставить дочку на пол, тут же начинала крутить ладошками «фонарики» и канючить:

— Лялюки, лялюки! — то есть «на руки». Вера вздыхала и повиновалась.

— Так можно к вам?

— Можно.

— А ночевать?

— Да! Только быстрее.

Вера взяла убогое тряпичное сердце, положила его к уличным ботинкам Марика и захлопнула дверцу шкафчика.

Снег хрустел под ногами — точь-в-точь крахмал в пакете.

Когда они шли мимо дома Калининых, от берёзы отделилась фигура в чёрном платье. Как будто чья-то тень ушла в самоволку.

— Ух какой! — восторженно сказала Евгения.

Бывший Валечка, а ныне отец с неизвестным именем, улыбался:

— Здравствуй, Вера! Это твоя дочка?

— Привет. Юлькина.

Валечка дёрнулся было, но взял себя в руки. Спросил, крещёная ли, поругал, что нет, и предложил окрестить — хоть бы и на дому.

— А мою можно тоже? — заинтересовалась Вера. Мама её давно изводила — *давай окрестим девку, хуже точно не будет!*

— Вы как же так? — развёл руками Валечка. — Одна за другой!

Он ещё много что спрашивал — замужем Юля? А Вера? Где работают? Евгению давно надоело смотреть на нео-

бычного дяденьку, а Вера так торопилась домой, что подошвы горели. В воображении — как декорации в театре — сменялись картины одна страшнее другой: мама внезапно падает, сердечный приступ — а Лара дотягивается до чайника, который только что вскипел, и... Или: мама внезапно сходит с ума и выбрасывает Лару в окно. Или...

— Или позвони лучше сначала! — сказала она Валечке на прощание.

Поздно вечером, уложив девчонок, Вера смотрела в кухонное окно — вот как сейчас в такси, уткнувшись лбом, — там в свете фонаря чёрно-белый, как футбольный мяч, кобель делал общее дело с рыжей сукой. И это было самое точное следование букве праздника, который полюбила вся страна.

Отчёт о встрече под берёзой Юлька приняла спокойно. Валечка давно в ней отболел, уже столько всего случилось после!

— А вот окрестить — это мысль. — признала Копипаста. — Я организую.

У неё было множество знакомых — неисчислимое. Юлька и не пыталась *исчислять*, но когда требовалось — перебирала, как чётки, и находила нужную бусину. Нашла и в этот раз — иеромонаха, который носил рясы с ручной вышивкой, зимой щеголял в собольем полушубке и пел ангельским тенором. В прошлом — ведущий солист оперного театра. Говорят, когда в театре собрались ставить «Отелло», то накатали бумагу епископу — так и так, дескать, отпустите вашего сотрудника принять участие в постановке, потому что достойных теноров днём с огнём! Епископ посмеялся, но не благословил. Душить людей даже на сцене не следует. Как и петь на сцене, если ты священник.

Иеромонах ничуть не огорчился. Он вообще редко огорчился — был весел, жизнелюбив, любил прихвастнуть. Один анекдот с его участием Юлька неоднократно рассказывала при Вере, но каждый раз было смешно, поэтому Вера её не останавливала. Как-то раз Юлька по-

ехала с иеромонахом и телевизионщиками в монастырь на Ганину Яму — сопровождали важных гостей из Москвы. Гости были точно из одного помёта — серьёзные дяди в длинных кашемировых пальто мутных оттенков.

Иеромонах гуськом прогнал их по главной дорожке, после чего выстроил — как на расстрел, утверждала Юлька, — откашлялся и сказал:

— Все началось с того, что я *совершенно случайно обнаружил* царские останки!

Вот таким он был — священник, крестивший Лару и Евгению. Ему ассистировал другой батюшка, куда более постный, похожий на всех персонажей Эль Греко разом: длинное лицо мученика, голубая кожа, нервные руки. Эль Греко — самый современный из старых мастеров, его работы выглядят так, будто написаны совсем недавно. Вере всегда казалось, что в те времена никто не мог даже не рисовать, а *видеть* так, как Эль Греко. Хотя иные толкователи считают, что художник страдал астигматизмом и это болезнь принуждала его видеть мир неестественно вытянутым, искажённым, словно бы снятым на широкоугольный объектив.

Лара восприняла процедуру крещения благосклонно, а вот Евгения расплакалась, и губы у неё дрожали, даже когда всё закончилось. Юлька стала крёстной Лары, а Вера — *кокой* Евгении. Когда все прощались, девочка робко протянула весёлому иеромонаху картинку, специально для него нарисованную.

— Как красиво! — восхищённо сказал добряк. — И дом, и цветы — как живые! Спасибо, миленькая.

Цветы были выше дома раза в два, но Вера была вынуждена признать: в рисунке и вправду *что-то было*. Дети — если не пропалывать способностей, данных им от природы, — почти всегда рисуют талантливо.

Ох уже эти рисунки Евгении... Хранить их было негде, выбросить — жалко, к тому же девочка ещё и проверяла каждый раз — любитесь ли тётя Вера её картинками?

— А ты маме подари, — коварно советовала Стенина.

Евгения совсем по-взрослому разводила в стороны руками:

— Мама всегда говорит: «Прекрасно!» — а потом пишет на другой стороне свои статьи.

Ближе к школе Евгения увлеклась пластилином. Воспитательница её хвалила, требовала от Веры «приобрести испанский материал» и потом осуждающе поглядывала, так как материал никто не приобрёл, и малышка лепила из того, что было в садике, — а были там жёсткие бруски грязных оттенков. Евгения делала высокие и тонкие фигуры, напоминавшие Вере Джакометти¹, у которого, возможно, тоже был астигматизм — слава богу, что искусствоведы не изучают медицину, неизвестно, до чего бы они додумались ещё. Несколько таких фигур со множеством всяческих ухищрений было доставлено домой к Стениным — пыль они собирали не хуже мягких игрушек, да и вообще раздражали Веру хотя бы отпечатками пальцев, навеки оставшимися на поверхности. Но она всё равно не решалась их выбросить.

— Эня, — сказала однажды Лара, показав пухлым пальчиком на пластилиновую выставку.

Евгения взвизгнула:

— Она меня по имени назвала! Первое слово!

Лара обняла Евгению и повалила на пол со всей силы. Она была выше её ростом и крепче — богатырская девица. *Сбитая*, гордо признавала старшая Стенина.

Евгения рядом с ней — дитя подземелья. Лопатки под платьем, как накладные. Коричневые *подглазья* — сколько раз Вера говорила Юльке, что надо проверить печень, но мать-юла так и не собралась. В конце концов к врачу Евгению отвела Вера — девочку послали на зондирование,

¹ Альберто Джакометти — швейцарский скульптор-авангардист, живописец и график, один из крупнейших мастеров XX века.

нашли холецистит. На обратном пути из поликлиники Евгения, позабыв, как только что плакала, глотая мерзкую трубку, рассказывала тёте Вере о своей мечте: когда она вырастет, то станет художницей.

— Мечтай осторожно, — посоветовала Вера. — И вообще, женщины хорошими художниками не становятся.

Евгения расстроилась, молча пинала камень до самого дома. А Вера вдруг вспомнила свой давний спор с Герой, когда она сама была на позиции Евгении.

— Ну вот назови хотя бы одну успешную художницу — такую, чтобы ценилась наравне со старыми мастерами! — требовал Гера.

— Артемизия Джентилески! — выпалила Вера. Она гордилась Артемизией и особенно любила ту её картину, где Юдифь вдохновенно отрезает голову Олоферну от имени и по поручению всех женщин.

Гера нахмурился:

— В первый раз слышу. Ладно, допустим. А ещё одну?

Вера начала перебирать в памяти одно имя за другим, но все они оказывались мужскими. С современными проще — Моризо¹, Серебрякова, Кассат, Марианна фон Верёвкин, но Гера ведь требовал старых мастеров. Тот спор привёл их, помнится, в постель — впрочем, туда их приводили все споры, разговоры, да и вообще — все дни и ночи.

Сейчас она знала, кого ещё назвать, жаль, Гера не услышит. Конечно, женщины-художницы прошлого чаще всего рисовали приторные портреты, кустарные цветы и котят — но были среди них и великолепные исключения. Например, Софонисба Ангиссола². Вазари сказал о той

¹ Берта Моризо — французская художница, рисовальщица, представительница импрессионизма. Зинаида Серебрякова — русская художница, участница объединения «Мир искусства». Марианна Верёвкина — русская художница-экспрессионистка.

² Софонисба Ангиссола — итальянская художница, первая известная художница эпохи Ренессанса.

картине, где три сестрички Софонисбы играют в шахматы: «Им нужны только голоса для того, чтобы ожить». Вера в отличие от Вазари слышала голоса всех трёх девушек Ангиссола — и даже упрёки Софонисбы: *Юные дамы, ведите себя пристойно, вы мешаете мне работать*. Ещё были монахини Сиенской школы и, конечно, Розальба Каррьера¹, — её аллегории Великодушия и Справедливости, совершенно лесбийские, если глядеть на них испорченными глазами нашего века. Мир испортился — только поэтому Антоний Падуанский на полотне Элизабетты Сирани² видит несомненно педофильский сон.

— Тётя Вера, — сказала Евгения, — а если я вдруг стану мальчиком, из меня получится художник?

— Что за глупости? — возмутилась Стенина. — Лепи-рисуй, а там посмотрим.

Когда Ларе исполнилось три — в доказательство чему предъявлялся пухлый трезубец из пальцев, — Стенина решила *восстановиться на факультете*. Тетка из деканата встретила её как родную.

— Вы же работаете? — уточнила она, и Вера зачем-то кивнула. Давно пора найти работу! Весь вопрос в том какую? Кому он нынче нужен — недоученный в «искусственной» области специалист? Мама предлагала поспрашивать на заводе, но Вера придушила эту идею ещё в воздухе. Юлька обещала помощь одного своего друга — тот работал в коммерческом банке пресс-секретарём, писал годовые отчёты. К счастью, до цифр его не допускали, хохотала Копипаста, а то бы он там такого понаписал!

— А какое отношение я к банку... — начала было Вера, но Юлька, перебив, быстро объяснила ей, что, пока они тут рожали да кормили, в стране изменился состав насе-

¹ Розальба Каррьера — итальянская художница и миниатюристка венецианской школы, один из главных представителей стиля рококо в искусстве Италии и Франции.

² Элизабетта Сирани — художница болонской школы, представительница барокко.

ления. Раньше Россию населяли обычные люди и бандиты, а теперь — обычные люди и богатые. Хочешь — сиди на попе, жди, пока счастье свалится на тебя сверху, как яблоко на сэра. А хочешь — сама потряси яблоньку, сейчас это дозволено каждому. Например, Вера смогла бы работать с клиентами.

— Ни за что! — сказала Стенина. Есть люди, которые могут угождать и приносить, а есть те, которым угождают и приносят. Вера — во второй группе, и ни с подносом, ни с бэйджем Лара свою мать не увидит. Ещё чего!

Юлька дёрнула плечом — *не хочешь*, процитировала скомороха Букашкина, *быть музой — не надо*. А Вера купила в ларьке газету с объявлениями «Ярмарка» — увлекательное чтение! Чего здесь только не делали: и продавали, и колдовали, и просто болтали друг с другом — примеряли на себя будущие чаты. Вера с трудом пробиралась сквозь этот словесный лес, набранный чёрным и красным шрифтом, — отдельные слова цеплялись к ней накрепко, как ветки с колючками.

И нашла в конце концов — можно даже сказать, услышала крик:

«Средней школе № 268 срочно нужны учителя истории, английского языка, изо и химии». Вера вспомнила двести шестьдесят восьмую — она была в двух дворах от её дома, в девятом классе они с Бакулиной ходили туда на «дискачи». Потом можно будет девчонок пристроить, мелькнуло у Веры. И вообще — это лучше, чем *работать с клиентами*, пусть и за большую зарплату. Учительский хлеб показался ей вдруг вполне съедобным — такой аппетитный каравай.

На другой день Стенину уже привечала школьная директриса, лицом своим напомнившая Вере отрубленную голову, какие насаживают на кол для устрашения врага: растрёпанные волосы, кожа прилипла к скулам, как первый слой папье-маше, широко распахнутые, словно бы вечно ужасающиеся глаза, и сама — *бледня бледней*, сказа-

ла бы мама. Симпатичная, в общем, женщина. И встретила Веру на десять баллов из десяти.

— Искусствоведческий? Прекрасно, Вера Викторовна! Будете вести у нас изо.

— Ой, вот только не изо. Я рисовать не умею.

— И не надо! Пусть дети рисуют.

— Нет, изо я вести не буду. Исключено.

Директриса насупилась:

— А сами вы что хотели взять?

— Я думала, эстетику.

Отрубленная голова расхохоталась, и на щеках её проступил страшноватый румянец, похожий на шрамы.

— Какая уж теперь эстетика, Вера Викторовна! Народ деньги зарабатывает! У меня сразу пятеро уволились — кто в банк, кто секретарём. Ольга Яковлевна по математике ушла бухгалтером в совместное предприятие.

— Математику точно не смогу, — испугалась Вера. — Вот если историю...

Директриса тут же, как фокусник, подсунула ей чистый лист и начала диктовать уверенным голосом:

— В углу справа пишем: «Директору средней школы номер двести шестьдесят восемь цифрами... Кобыляевой М. В. от... заявление... Прошу принять меня... Дата... Подпись...». Когда сможете выйти?

Она спрашивала так же умоляюще, как те девочки во дворе, что лет пятнадцать назад кричали в окно: «А когда Вера выйдет?»

Самозваная историчка созналась, что ей вначале надо найти садик для дочери. Оставлять Лару с бабушкой она не хотела, кроме того, малышке нужно привыкать к общению, будь оно неладно.

У директрисы тут же нашлось быстрое решение: в ближайшем детском комбинате держали место для её собственной внучки, но дочь с мужем вдруг сорвались в Москву.

— Вашу девочку возьмут в младшую группу, — разливалась Кобыляева. — Тем более что дети, которые не по-

сецали детский сад, болеют все первые годы школьной жизни, — добавила она на прощание, любезно придержав дверь.

Вот такая случилась *история*.

В школе Стенина не любила этот предмет. Даты, тяжёлые и острые, как пики, требовалось учить, а они никак не запоминались, проваливались на самое дно памяти и гнили там никому не нужные, как кости безвестных воинов, павших в сражениях. Битвы при Мунде, Гастингсе или Молодях сливались в одну большую битву. Вера не видела правителей живыми людьми — в её представлении на тронах восседали безликие имена, буквы, ряженные в шапку Мономаха или горностаевую мантию. Лишь несколько человек были безусловно реальными: Наполеон на Аркольском мосту, Филипп Четвёртый, вырождавшийся буквально на глазах у Веласкеса, и, конечно, Франциск Первый кисти Клуэ: вот он мог бы запросто выйти из рамы и спросить у Веры Стениной какое-нибудь «са ва».

Это была идея! И она Вере сразу понравилась — отныне истории искусства предстояло стать просто *историей*. Любая картина тянула за собой целую связку ассоциаций и честных свидетельств эпохи — вскоре Вера бодро объясняла пятиклассникам Римский Египет при помощи фаюмских портретов. Брюллов пригодился на уроке про Помпеи с Геркуланумом. Караваджо (вы знаете, что он был убийцей? — и вот уже даже мальчики слушают так, как никакие мальчики никогда в жизни её не слушали), так вот, Караваджо лично присутствовал на казни Джордано Бруно. Гойя великолепно справился с темой «Расстрела повстанцев», и даже Пикассо выложился до конца, рассказав о Второй мировой войне в «Гернике».

В общем, художники были молодцы, да и дети почти не раздражали. И даты Веру никто учить не заставлял — можно было в любой момент заглянуть в книгу, чтобы проверить, когда стрела прилетела в глаз королю Гарольду или в каком году крестилась Киевская Русь.

— Тётя Вера, тебе нравится быть учительницей? — спрашивала Евгения, глядя, как Вера проверяет тетради с письменными ответами.

— Ди, Эня! — сердилась Лара, била Евгению по спине крепенькой ручкой. В те дни она старательно отваживала её от Веры.

— Куда я уйду, Лара? — грустно говорила Евгения. — Ты же знаешь, моя мама работает до самой поздней ночи.

Юлька упорно искала своё счастье — оно должно было обладать привлекательной внешностью, быть высоким, с красивым носом и широким размахом денежных крыльев. Бедная Копипаста так уставала от поисков, что ложилась спать сразу же, как переступала порог родного дома. Евгения даже не успевала донести до прихожей очередной рисунок, а мама уже скрывалась в спальне — оставалась лишь подхваченная сквозняком волна духов пополам с табаком.

Сквозняк — злой дух, что влетает в окно, лишь только зазеваются хозяева. Евгения уходила смотреть телевизор, волоча рисунок по полу, как побеждённый воин — плащ по грязи.

Вера однажды заметила, что Евгения гримасничает, глядя в телевизор, — вот Лара, та сидела неподвижно, как изваяние. А Евгения гримасничала, жмурилась, тёрла глаза.

Стенина записала девочку на консультацию к офтальмологу, оказалось — косоглазие, да ещё и какое-то сложное. Выписали очки, один глаз надо было клеивать, и так — полгода. В первый день, когда Евгения предстала перед матерью в *новом имидже*, Юлька зарыдала:

— Какой ужас, кошмарище!

— Я думала, ты мне спасибо скажешь, — рассердилась Вера.

— Бедная моя девочка, — завывала Копипаста, обхватив своими длинными руками растерянную Евгению. — Бедное несчастное дитя!

— Очки не сломай!

— Не плачь, мама, — серьёзно сказала Евгения. — Главное, не забывай, что мне надо шесть месяцев ходить с *заклеенным* очком. Не волнуйся, я буду напоминать.

Юлька успокоилась, уже на другой день привычно покрикивала на Евгению. А зрение у девочки через полгода и вправду выровнялось.

Всё вообще как-то выровнялось. От судьбы никто, кроме Юльки, ничего особенного не ждал, тем более — не требовал, все просто жили каждый день с утра и до вечера. Лара не сразу привыкла к садику, Вере приходилось убеждать сразу же, как заведёт её в группу. Потом долго стояла под дверью, слушала — плачет или показалось? Евгения ходила в другой детский сад, поэтому вечерами ей теперь приходилось возвращаться домой в одиночестве, с ключом на шее. Всё точно по прогнозам опытной старшей Стениной. Вера забирала Юлькину дочку при первой возможности — Лара то колотила Эню, то вдруг проникалась к ней таким страстным чувством, что оно буквально пёрло наружу, как позабытое в кастрюле тесто. В минуты страсти Лара прижималась к входной двери, завывая басом:

— Эня! Эня!

Приходилось одеваться и шагать к Калининым. Евгению только позови — набросит пальтишко, и вперёд. Шапочка набок, ухо «гуляет». В руках — пластилин, а сами руки — в цыпках.

Вот так они жили в те годы.

А потом случилось то, что случилось.

Глава девятая

...Я расскажу вам, как ухаживать за лицом и руками... о французе, с которым я познакомилась в поезде по дороге в Биарриц... а ещё расскажу вам об итальянских картинах, которые я видела. Кто величайший итальянский живописец?

— Леонардо да Винчи, мисс Броди.

— Неверно. Правильный ответ — Джотто. Он мой любимый художник.

Мюриэл Спарк

Вера дремала, уткнувшись лбом в окно такси — у неё было счастливое умение спать в любых условиях. *Прямо как кошка!* — завидовала Копипаста. Ей-то, чтобы уснуть, надо было обязательно лечь в постель — причём, в собственную, — трижды перевернуться с боку на бок, поменять нагретую сторону подушки на прохладную...

Такси угодило в пробку на подступах к Россельбану — трассе, ведущей в аэропорт. Бензиновый аромат выветрился, теперь в салоне припахивало ванильным освежителем — всё же не зря маленькая Лара считала, что слова «ваниль» и «вонь» однокоренные. Машина трогалась и снова застывала, Веру укачало. Когда именно такси вырвалось на просторы Россельбана, Вера заметить не успела — зато увидела, внезапно проснувшись, что они летят напрямиком на серую «Нексию». Её бросило вперёд, на спинку водительского кресла, а потом — резко назад, так что голова наскочила на какой-то неведомый крючок, как пальто — на вешалку.

«Зачем тут крючок?» — удивилась Вера. Она потрогала голову, посмотрела на пальцы — красные.

Из «Нексии» к ним бежали люди — живые, раз бегают. И таксист тоже не пострадал — вон как бодро выскочил из автомобиля.

— А я ещё заправился, главное... Ты как так едешь, а?

Водитель «Нексии» что-то объяснял, указывая почему-то в небо, — будто там сидит главный небесный гаишник, который их всех и рассудит.

— У вас пассажирка кровит, — сказал кто-то, и таксист бросился к Вере.

— Итить! — расстроился он. — Женщина, вы как? Я сейчас «скорую»...

Вера сказала, что не надо ей никакой «Скорой», она вполне нормально себя чувствует. Завязала голову шарфиком — место ушиба слегка пощипывало, но это пустяки. Важнее, как добраться до порта?

— Другую машину вызову? — спросил таксист. — Со скидкой будет.

Вера кивнула. Понюхала пальцы — от них пахло железом, как из только что вскрытой консервной банки. Мышь внутри завьела — ни дать ни взять сквозняк в трубе.

... — Это кто у нас? — спрашивала Вера, показывая маленькой Ларе картинку в книжке — там пушистый мышонок требовал песенку на сон грядущий. — Кто на картинке?

— Мышка! — отвечала Евгения, сидевшая на другом конце дивана.

— Сколько раз повторять, я не тебя спрашиваю!

— Извини, тётя Вера, я задумалась. Кто на картинке, Лара?

— Иска! — ликовала Лара.

— Да ты моя умница! А это кто?

Лара хитро поглядывала на Евгению, ожидая подсказки, и, не дождавшись, пробовала наугад:

— Иска?

Вера удивлялась — как можно спутать мышку с кошкой?

Лара была прелестной, немножко ватной девочкой — с таких рисовали старинные рождественские открытки. Даже сдержанная бабушка из Питера признавала — ангел.

Со дня Герминой гибели набежало уже года четыре — они именно что бежали, подобно людям из горящего дома. Евге-

ния как принесла однажды к портрету Лариного папы найденный в парке кленовый лист, так и делала теперь это постоянно. То листья, то душистые еловые шишки, то яркие дикие яблочки, которые хотелось повесить себе на уши, как серёжки — все эти находки Евгения оставляла возле фотографии Геры, стоявшей на книжной полке. Втайне Евгения считала Геру и своим папой тоже: ей нравились его весёлые глаза. И он тоже был в очках, а это, объясняли в садике всезнающие няньки, передаётся по наследству.

Когда Евгения разговаривала с Герой, она называла его папой. Это слово очень удобно для тихих бесед, его можно произносить одними губами, без голоса. Евгения показывала папе свои рисунки и пластилиновые фигуры — держала их у портрета, пока руки не уставали. Папа улыбался — ему нравилось! Девочка прижималась губами к папиному портрету — и тоже беззвучно, тихо целовала его в стеклянную щеку. Конечно, она делала так не при тётке Вере и не при Лариной бабушке — Евгения знала, им это не понравится. Всё испортила Лара — подкралась и громко ухнула за спиной. Евгения выронила портрет: стекло треснуло так, что молния пробежала у папы прямо по лицу.

— Не смей брать! — кричала на нее тётя Вера. Потом она расплакалась и ушла к себе в комнату, а Евгения долго сидела на диване и тоже рыдала.

Она пыталась примерять к себе других пап — но они ей не нравились, ни один. У Марика, например, был папа с таким толстым животом, что Евгения серьёзно считала, он носит там ребёнка. Ещё у одной девочки от папы всегда очень плохо пахло, и он держался за дверь, пока девочка одевалась на улицу. Гера полностью устраивал Евгению, но ей сказали «не смей брать», и она, природно кроткая, не могла ослушаться. Папе поменяли стекло, но Евгения больше не приближалась к полке, где стояла фотография, а только издали затравленно поглядывала на неё. Шишки, листья и яблочки папе теперь приносила Лара, пока ей это не надоело.

Этой осенью Евгения должна была пойти в школу, и мама Юлька в кои-то веки проявила интерес к дочкиной жизни. Вытрясла из всех рукавов все карты — и нашла *связи* в городском отделе образования. Тамошний специалист, женщина с лицом матёрого педагога, посоветовала Копипасте модную французскую гимназию — она открылась недавно, но в ней уже учились все городские сливки, точнее, их отпрыски. *Crème*, так сказать, *de la crème*.

Чтобы попасть в гимназию, требовалось сдать экзамен на скорость и качество чтения, а также перечислить геометрические фигуры — Вера о таком прежде не слыхивала и сочла возмутительным. Почему бы Юльке не отдать Евгению в двести шестьдесят восьмую школу, где вполне приличная *началка*? Преподаватель истории Вера Викторовна Стенина уж как-нибудь присмотрит за своей крестницей. Но Копипаста упёрлась: нет, спасибо, они *постараются* в гимназию.

В последнее время Юлька явно что-то скрывала — точнее, *кого-то*. А Вера, гуляя как-то с Ларой в Собачьем парке, неожиданно встретила там парижанку Бакулину. Бакулина шла по главной аллее с таким гордым видом, как будто это не Собачий парк, а как минимум Люксембургский сад. Бывшая одноклассница явно собиралась пройти мимо Веры с малышкой — якобы она их не видела, а если и видела, то не узнала. Вера улыбнулась первой, и Ольга вынуждена была остановиться. По Ларе Бакулина скользнула будто бы равнодушным взглядом — но на самом деле отсканировала от макушки до ботиночек. Вера почувствовала внутри, там, где проживала в прежние годы летучая мышь, приятный трепет — вот как, оказывается, бывает, если завидуют тебе. У Бакулиной, судя по взгляду, ребёнка не было, с этим, видно, были проблемы, но она, как и раньше, не спешила откровенничать. Вера с трудом, как из двоечника, выбила из неё скупой рассказ — са ва бьен, приехала навестить маму с папой, а так — живёт в Париже по-прежнему. Ничего интересно-

го. Выглядела она по-европейски серенько, ненакрашенная, зато в руке — миниатюрный сотовый телефон. В Екатеринбурге такие еще не появились. Телефончик сразил Лару — и она раскапризничалась, пытаясь завладеть дивной машинкой.

— Это не игрушка, — довольно грубо сказала Бакулина и бросила телефон в сумку, а он запел вдруг там голосом Далиды — «Пароле, пароле, пароле!».

У Лары тут же высохли слёзы, она крепко прижалась к Вериной ноге и спросила страшным шёпотом:

— Кого там пороли, мама?

Тут уж даже Бакулина не выдержала — засмеялась. Сказала, что вечером придёт в гости к Юльке — чтобы *посидеть всем вместе, как раньше*. Вера не без труда вспомнила, в каком это *раньше* они сидели все вместе, но обещала заглянуть после восьми.

Пришли они с Ларой ровно в восемь. Юлька открыла дверь оживлённая, в новом кружевном платье. Разглядывая подругу, Вера вспомнила, как Юлька пришла однажды на приём к врачу в ажурной вязаной кофточке, надетой прямо на лифчик. Они всем классом проходили осмотр в поликлинике — и врачиха, уже почти доехавшая до станции «Климакс», от души вызверилась на Юлькину кофточку:

— Шалава малолетняя, да как тебя мать в таком виде из дому выпустила? Все родимые пятна наружу! *Главное*, было бы что показывать!

Юлька икала и рыдала, а Вера от обиды за подругу пыталась дерзко отвечать врачихе во время собственного осмотра, но та держалась с ней подчёркнуто ласково. Месть не удалась.

Интересно, что сказала бы та врачиха теперь, глядя на Юлькино кружевное платье? На самом деле только Стениной было интересно копаться в старых историях, как в слежавшемся от времени белье. Юлька была воплощённое настоящее, мечта буддиста.

— Знакомьтесь! — широко махнула она в сторону гостиной, где кто-то отражался в зеркале. — Иван! Или просто — Джон.

Тут как раз явилась Бакулина, долго обнимала Юльку, совала ей в руки какие-то свёртки — Вера ревниво отметила, что там были подарки для Евгении, тогда как Ларе эта жадная сволочь даже киндер-сюрприза не купила. Пока они миловались в прихожей, Вера разглядывала Джона, в очередной раз поражаясь тому, как широки и разнообразны возможности и вкусы Копипасты. Та была просто каким-то Пикассо в любви! И если бы Вере предложили составить выставку портретов Юлькиных возлюбленных, она бы, наверное, отказалась. У любой выставки должна быть объединяющая идея, а здесь между героями не было ну просто ничего общего! Арлекин, мужчина на кубе, авиньонские девушки и Гертруда Стайн — даже они больше похожи друг на друга, чем художник Вадим, злосчастный Валечка, Алексей — руки-деревья, мужчина-мечта из Оренбурга и директор завода, который усмехался, как злой волшебник. А теперь ещё и Джон.

Во-первых, он был корейцем, — фамилию имел короткую, как аббревиатура, но при этом несомненно шекспировскую — Пак.

Во-вторых, он был ниже Юльки на добрую треть (это если быть доброй и отрицать очевидное).

«В-третьих» Вера придумать не успела, потому что Юлька позвала их к столу — и Джон покатился в другую комнату, как мячик, который прицельно пнули в пустые ворота.

Юлька хлопотала над салатами, что тоже выглядело несколько странно — она не любила и не умела готовить. А тут вдруг — салаты! В одном лежали макароны, белые и толстые, как органные трубы.

Органые трубы Вера во всех подробностях рассмотрела в филармонии — купила для Лары абонемент и водила её туда с упрямством, достойным если не лучшего,

то по крайней мере иного применения. Но ей хотелось культурно развивать Лару, и втайне она надеялась, что разбудит таким образом музыкальные способности девочки. При такой бабушке, как Лидия Робертовна, они вполне имели шанс на существование, но Лара их пока что не обнаруживала — на концертах она орала во всё горло так, что далеко не всякий музыкальный инструмент мог её заглушить. Вера краснела, затыкала дочке рот конфетой, но вредная девчонка, проглотив шоколад, опять начинала голосить, как молодуха на похоронах любимого мужа.

— Так вы её в цирк лучше сводите, — посоветовала сердобольная дама, у которой сидел рядом сын в бархатном жилетике. Сидел, гадёныш, не шелохнувшись и так преданно пялился на спину органиста, словно там был начертан секрет богатства и счастья.

— У нас бабушка сегодня выступает, во втором отделении, — соврала Вера в ответ, и дама милостиво кивнула, как бы отменяя таким образом цирк.

Макароны в салате Копипасты расстроили Веру не только нарушением гастрономической гармонии — что это за ужас, в самом деле, холодная лапша, — но и неприятным воспоминанием о филармонии. Хорошо, что сегодня Лара ведёт себя идеально — они с Евгенией в соседней комнате играли в куклу. Куклой была Лара, а Евгения была просто Евгенией, как всегда.

Джон Пак открыл вино, которое сам же принёс, и сунул нос в горлышко — главное, не лезь в бутылку целиком, игриво посоветовала Юлька, и Вера вдруг увидела — да она же влюблена в этого Джона-Ивана, как не случилось со времён Валечки! По невозмутимому лицу корейца — бывают такие, где вне зависимости от силы переживаний проявляется лишь две-три эмоции, — сложно было сказать, как у них со взаимностью, но, судя по фактам-салатам, всё было хорошо.

Бакулина пригубила вино, обругала его и начала копаться в своей торбе. Выудила оттуда бутылку и постави-

ла на стол с таким видом, с каким обычно ставят шах — и мат.

— Шатонёф-дю-Пап, — объяснила Бакулина. — Собираюсь завтра подарить одному человеку, но уж давайте с вами выпьем.

Джон, вот молодец, не обиделся за своё вино, открыл папское и разлил его по бокалам, которые суетливая Копипаста уже успела вымыть и протереть салфеткой. Бакулина подробно рассказывала про сорта винограда, купаж, цвет, осадок и «ножки» — Вере так надоело её слушать, что она выпила два бокала залпом, и стол поплыл у неё перед глазами.

— А чем вы занимаетесь, Джон? — Вера вдруг услышала свой голос чётко, как по радио, хотя слова выговаривала с трудом.

Джон скромно улыбнулся:

— Да много чем.

— Джон — поэт, — вмешалась Юлька. — Сейчас он нам почитает.

— Обожаю поэзию! — сказала Бакулина. — И я так скучаю в Париже за русским языком!

— Правда скучаешь, — засмеялась Вера. — Словарь читать не пробовала?

— Джон, мы ждём стихи! — Юлька нервно косилась на Веру, принявшуюся наливать себе третий бокал шатонёфа — без всякого почтения к божественному напитку. Бакулина обиженно расчленила в тарелке куриное крыло.

Джон встал из-за стола и вдруг страшно выкатил один глаз — как скульптурный конь Эрнста Неизвестного. Вторым глазом остался на месте, что тоже сблизило поэта с той самой конской головой. Вера от неожиданности пролила вино на стол и в макароны — к полному отчаянию Бакулиной. Юлька забегала с тряпками-полотенцами, Джон вынужденно ждал, а потом, когда все утомонились — в основном Стенина, норовившая отжать тряпку обратно в бокал, — начал читать стихи, слегка и непротивно подвывая.

Спьяну Вера особенно легко вообразила эти стихи напечатанными в книжке — такой небольшой сборник в зелёном переплёте, строки начинаются не с прописной, а со строчной буквы. И каждое стихотворение было картинкой — Вера слушала слегка гнусавый голос Джона и *видела* то, о чём он читал. Ноябрь, который не поднимешь. И девочку, что с яблоком в руке. И даже — лошадь из бетона уткнулась мордой мне в плечо.

— Отличное вино у твоего папы, Бакулина, — бормотала Стенина. — А какие стихи, Джон! Я их откуда-то знаю... Была книжка, да?

Джон засмеялся, был польщён. Признался, книги нет ещё. Но скоро будет, он уверен. Спасибо всем, спасибо Вере!

Бакулина вновь пошарила в своей торбе и вытащила оттуда на сей раз камамбер — тоже предназначенный одному человеку, но...

— Бедный твой человек, — веселилась Стенина. — Остался и без сыра, и без вина!

Ольга смеялась вместе со всеми, но глаза у неё оставались злыми. Они похожи на семечки, — и цветом, и формой, решила вдруг Вера. На пьяную голову всё стало таким понятным!

Сыр открыли, а носы, наоборот, прикрыли — но камамбер, умница, как только его разрезали, тут же почти перестал вонять.

— Фу, мама, что это? — в комнату вбежала Евгения, за ней следом притопала Лара. — Чем так пахнет?

— Попробуй, этот сыр из Парижа приехал, — сказала Юлька, но Евгения демонстративно зажала нос и себе, и малышке.

— А у нас сюрприз! — сказала она, не убирая руки от носа, и потому почти так же гнусаво, как Джон. — Представление!

Взрослые загрустили. Нет ничего скучнее, чем детские спектакли, — тем более Бакулина только что достала сига-

реты, а Юлька принесла из кухни пепельницу — здоровенное хрустальное корыто со специальными пролежнями. Пришлось вернуть сигареты в торбу, а хрустальное корыто поставить на стол; Джон поглядывал на него, как грудничок — на материнскую грудь.

Евгения привязала к спинкам стульев покрывало с бабушкиной кровати, спряталась за пологом сама и попыталась укрыть Лару — но малышка раскапризничалась, и Вера посадила её к себе на колени. Колени тут же онемели — Лара была тяжелой, как статуя. *Та ещё кадушка*, по версии старшей Стениной.

Представление было из жизни мягких игрушек — Евгения поднимала их над пологом и озвучивала одну за другой. Взрослые изнывали, Бакулина тяжело вздыхала, и только Лару действие приводило в искренний восторг.

— Конец! — объявила наконец Евгения и высунула из-за полога раскрасневшееся личико. Зрители хлопали с облегчением, как семиклассники в оперном театре. Артистки переместились обратно в детскую.

— Юль, а ты свою на глисты проверяла? — спросила вдруг громко Бакулина.

Копипаста растерялась, глянула на Джона в поисках срочной словесной помощи, но поэт на лице ничего не выразил. Помощь пришла от пьяной Стениной:

— Мы её на всё проверяли. И если ты таким образом намекаешь, что Евгения слишком худая, то это у неё констици... констису... конституциональное.

— Да, — обрадовалась Юлька. — Она потом выправится, все так говорят. Вспомните, девочки, какой я была страшной в школе.

— А ты покажи Джону фотографии, — вероломно предложила Бакулина.

— Ни за что! Я лучше чай поставлю. Евгения! Слышишь меня? Уложи Лару спать и сама ложись. И почистите зубы...

— ...друг другу! — дополнила Вера. Ей показалось, что она ужас как забавно пошутила. Лара хотела было зарыдать, но Евгения быстро успокоила маленькую. «Перевозбудилась», — со знанием дела объяснила она.

— Вера, а ну-ка скажи: «Массачусетс», — потребовал Джон.

Вера попыталась, но то, что у неё получилось, звучало очень смешно.

— Я, например, это и на трезвую голову не выговорю, — призналась Юлька. Она уже пришла с чайником и чашками.

— Это слово-тест, — сказал Джон. — Вере на сегодня хватит.

Стенина так не считала, вслух рассуждая о том, как же это ей раньше не приходило в голову слегка удобрять жизнь вином?

Джон куда-то исчез, потом пропала бакулинская торба и вместе с ней — сама Бакулина, зато Юлька сидела с Верой, а Вера почему-то лежала в комнате девочек, и Юлька гладила её по голове. Лицо Копипасты было неприятным — как у одного известного певца: голосом его не обидели, но лицо во время пения становилось отталкивающим. Таких нужно слушать по радио.

Копипаста долго гладила Веру по голове, в которой не было ни одной мысли, а лишь какие-то оборванные ползувки. В конце концов и они куда-то исчезли — вместе с Юлькой, комнатой и этим днём.

Глава десятая

Или же, например, художник.

Герман Мелвилл

Приехала полиция. Из машины выбрались два совсем юных мальчика, одному из них форма была к лицу. На Веру мальчишки глянули через окно с беглым интересом, как на экспонат за стеклом. Почему-то её это задело. И то, что её это задело, тоже, в свою очередь, задело. Вообще-то Вера давно перестала воспринимать мужчин вне их профессии, да и к тому, что она их не интересуется, оказалось довольно просто привыкнуть. Красавицам, как Юлия Калинина, миновать этот порог значительно сложнее. А таким, как Вера, с годами становится даже неприятно осознавать разницу полов: к примеру, в одном купе поезда с мужчинами ездить категорически не хочется. Пусть лучше женщина на каждой полке — даже если облитая духами с ног до головы и с длинными волосами, которые лезут в нос и прилипают к одежде. Даже такая пусть, главное, чтобы женщина. А тут, смотрите-ка, задело! Мальчишки-полицейские, ровесники если не Ларе, то Евгении... Может, крючок попал Вере в ту часть мозга, что отвечает за самооценку? Или, пропади она пропадом, за сексуальность?

Голова совсем не болела, правда, кружилась. И эта кровь...

— Сами идти сможете?

Полицейский, которому шла форма, открыл дверь и теперь смотрел на Веру иначе — как на экспонат, который достали из-за стекла, чтобы над ним с трепетом склонился специалист.

— Конечно, смогу!

— Я вам «Скорую» вызвал.

— Не надо мне «Скорую»! — запротестовала Вера. — Я и так опаздываю, мне нужно в Кольцово — кровь из носу.

— Кровь из носу у вас уже есть, — заметил мальчик.

Вера провела пальцем над губой — точно.

— Но я себя совершенно нормально чувствую. Я в этом разбираюсь, учила медицину в школе. На УПК.

Мальчик поднял брови — ему это тоже шло. Конечно, он понятия не имеет о том, что такое УПК. Учебно-производственный комбинат. Школьники, овладевайте рабочими профессиями! Теперь такого нет — и слесарей в стране поэтому тоже нет. На днях Вера видела рекламную растяжку на улице Луначарского: «Приглашаем на работу специалистов, зарплата: юрист — 10 тысяч, бухгалтер — 15 тысяч, слесарь — 50 тысяч».

Мальчик-полицейский вдруг протиснулся в машину и сел рядом с Верой. От него пахло сигаретами и фруктовой жвачкой в пропорции два к одному.

— Знаете, девушка, — начал он, и Вера тут же накрыло благодарностью за эту ничем не оправданную «девушку»: ей было сорок, а выглядела она в этот день на пятьдесят, — у нас недавно был случай. Похожая авария, только у пассажирочки (и снова жарко — «пассажирочка») вообще ни царапины. Ребята предложили вызвать «Скорую», она отказалась, а через три часа умерла.

— Как это умерла?

— Вот так взяла — и умерла. Ребёнка осиротила. У вас дети есть?

— Дочь.

— Маленькая?

— Ваша ровесница.

— Ни за что не поверю, — сказал галантный полицейский, из Парижа, что ли? — В общем, девушка, сидим и ждём «Скорую»! Если не пойдёте, я вас на руках отнесу.

Вера всхлипнула и вдруг почувствовала, что шарф на голове насквозь промок от крови.

— Вот у меня точно такая же мама, как вы. Ни о своём здоровье, ни о близких не думает. Позвоните дочери! — сказал мальчик, прежде чем закрыть за собой дверь машины. Вера, вновь упавшая в свои сорок, а может, и в пятьдесят, послушно взяла мобильник, но поняла, что Ларе звонить не станет.

Она набрала Юльку — на связь вышла бесстрастная механическая женщина, посоветовавшая перезвонить позже.

А вот Евгения тут же ответила:

— Тётя Вера, ты уже здесь?

— Скоро буду, жди.

Хотя бы рыдать перестала, и на том спасибо.

...Пытаясь вспомнить прошлое, видишь перед собой отдельные эпизоды — ничего похожего на последовательное, чётко выстроенное повествование, к которому приучили исторические романы и семейные саги. Верины мысли прыгали от одного эпизода к другому — как будто пытались перейти по кочкам глубокое болото.

Стенина и раньше была знакома с похмельем — но такой близкой встречи, как тем утром у Калининных, у них прежде не случилось. Добрая Копипаста с вечера принесла ей к кровати бутылку пива, но пиво было тёплое — добрая, но глупая Копипаста. Вера заглянула в соседнюю комнату: со стола никто не убрал, и есть ли в мире более гадостный натюрморт, чем вчерашний банкет?

Натюрморт из серии «Vanitas vanitatum», посвящение тщете земных усилий. Половинка яблока, ржавая в месте разреза, — символ первородного греха и падения человека. Мёртвая муха, поднявшая лапки кверху, олицетворяет

побеждённого врага — сатану. Виноград в вазе — эмблема Христа или Вауха. Огурец, точнее, то, что от него осталось — длинный ломтик, присыпанный солью словно рана, — в христианстве воспринимается как символ падения человека и греха. Среди тарелок с объедками лежал, в соответствии с жанром, весёлый череп, будто бы вгрызающийся зубами в раскрытую книгу — ни дать ни взять прилежный ученик в ночь перед решающим экзаменом. При ближайшем рассмотрении череп, впрочем, оказался перевернутой миской, а вот книга ни во что не превратилась, осталась книгой. «Макбет», — удивилась Вера. Крепко же они вчера выпили. Дверь в Юлькину комнату была закрыта — и выглядела так, будто её заколотили крестом.

Вера не без помощи косяков вернулась в детскую. Девочки спали, Евгения — с открытым ртом, на подушке темнело пятнышко слюны. Вера повалилась на диван третьей. Её подташнивало, папское вино в желудке возмущалось плебейским соседством с болгарской кисляткой, купленной в ночном ларьке.

От Лары хорошо и тепло пахло, но обнять её было почему-то стыдно.

Вера отвернулась и вдруг налетела взглядом на картину — как на острый угол стола.

Это был портрет, и примечательный. Странно, что Стенина не заметила его раньше — впрочем, она редко заглядывала в комнату Евгении, а может, Юлька повесила портрет недавно. Вера всматривалась в него, как в старинную фотографию, где запечатлён помутневший от времени предок — знакомый и в то же время совершенно неизвестный человек. Женщина в беретке, красные губы — размытое изображение, словно угодившее под ливень. В одном Стенина была уверена точно: это работа Вадима, теперь всемирной знаменитости, известной своим чувством света. Недавно Вера читала восторженную рецензию на его выставку в Москве — журналистка утверждала, что посетители все как один пытаются заглянуть

за раму в поисках подсветки. «Вадим Ф. — современный Ренуар», — заявлялось в статье.

— Это я, Господи! — поняла вдруг Стенина. Она сказала это вслух, громко, так что девчонки проснулись и смотрели на неё непонимающими глазами. Лара протянула к маме пухлые ручки — так и быть, *в пережимчиках*. Вера обняла дочку и не сразу почувствовала, что с другой стороны к ней прижалась Евгения. Евгения постоянно прижималась, хватала за руки, обнюхивала Веру, как собачонка. Стенина обхватила свободной рукой Евгению, и девчонки повалили её на диван.

— Осторожнее! — взмолилась Вера. Подняться сил не было. «Девушка в берете» с такого ракурса выглядела смущённой и некрасивой. — «Это — я», — сказала Стенина ещё раз, в обоих смыслах «про себя».

Евгения принялась заплетать косички Ларе, а Вера сняла портрет со стены и перевернула его — как будто искала спрятанный ключ от сейфа с сокровищами. Там было лучше, чем ключ, — подпись крупными буквами «Девушка в берете. Портрет Веры С.». И год, размашисто — тот самый. И подпись Вадима, похожая на рухнувший крест.

— Что у вас тут за крики? — на пороге возникла Копипаста в коротком халатике. Ноги длинные и гладкие, как у манекена. Евгения тут же подскочила, уцепилась за мамину ногу, Лара с недоплетённой косичкой поспешила следом.

— Мы такие счастливые, правда? — спросила Юлька, рассеянно поглаживая детские макушки, душистые, точно булочки.

— Правда, — согласилась Вера. — А почему ты никогда не говорила, что Вадим написал мой портрет?

Юлька заморгала, перестав быть красивой — как будто где-то внутри у неё выбило пробки.

— Ну... он его передал тогда для тебя, но я забыла, а потом мама его куда-то прибрала. — Юлька выбралась на дорожку полуправды и неслась теперь по ней во всю

прить. — А потом Вадим попросил его для выставки, искал твой телефон, и я вспомнила, что мама спрятала картину, — и отдала ему. Между прочим, как только Вадим забрал портрет, у меня всё сразу же в жизни испортилось — я так и говорила ему: «Ты унёс моё счастье». А весной я его повесила на стену — и в тот же вечер познакомилась с Джоном. Поэтому, Вера, я тебе его не отдам.

В воздухе пахло не то потом, не то озоном — резко, как перед грозой. Евгения и Лара смолкли, как птички.

— Как это — не отдашь? — удивилась Стенина. — Вадим подарил его мне. Это мой портрет — и в одном, и в другом, если тебе мало одного, смысле.

Копипаста вдруг зарыдала — в полсекунды уложилась, чтобы вызвать слёзы. Лара смотрела на взрослую тетю Юлю с уважением, а Евгения скривилась от страха, стала совсем страшненькая.

Джон — спасибо, что не в коротком халатике, а полностью одетый, пусть и в плаще табачной вони, — заглянул в дверь и умело пригнул плачущую Юльку к себе. Ей пришлось изрядно склониться.

— Хорошо, — сказала Вера. — Раз тебе так важна эта картина, пусть она будет наша общая.

Юлька недоверчиво глянула на Стенину.

— Месяц у тебя, месяц у меня. Договорились?

Копипаста кивала и жарко обнимала Стенину.

Всё-таки в комнате пахло не озоном.

Домой шли втроём — Стенина, Лара и «Вера С.». Гроза ухнула, как только закрыли за собой дверь подъезда.

Портрет Вера повесила над своей кроватью — утром именно на эту стену падал первый солнечный луч и девушка в берете вспыхивала, освещая и освящая весь день. Она была счастлива, когда её писали, — и то счастье можно было смыть только вместе с краской. Вера наглядеться на неё не могла и даже затеяла новую мысленную выставку — «Портреты женщин в головных уборах». Береты, шляпы, кички, платочки — сразу вспомнилось, как они

с Юлькой дали друг другу в юности торжественное обещание никогда не носить газовых платков, сквозь которые просвечивают уши. Почему-то именно уши под газовой тенью казались им тогда самым уродливым, что только может предъявить женщина на суд «Общества Добрых Красавиц».

Портреты для выставки собирались легко – стекались сами, как ветки по реке. Вера едва успевала с мысленной развеской – Мария Сальвиати Якопо Понтормо в невесомом уборе терциарии-доминиканки¹, святая Маргарита Антиохийская кисти Сурбарана, но при этом в лихой ковбойской шляпе, роскошная Юдифь Кранаха – в малиновом, не хуже, чем у пушкинской Татьяны, берете и с навеки замолчавшим Олоферном, точнее, с его головой (место отсечения напоминает спелый гранат, разломанный пополам). Тамара Лемпицка² за баранкой зелёного «Бугатти» – в строгом шлеме, похожем на перевёрнутое ведёрко, зефирная шоколадница, потчевавшая Лиотара, в чепце из атласа и кружев, и любимая Верина «Мадмуазель Ферран размышляет о Ньюtone»³: кокетливый бантик на чепчике; вот прямо-таки о Ньюtone?

Что касается «Общества Добрых Красавиц», то они придумали его втроём с Бакулиной классе в десятом. Обсуждали кого-то из одноклассниц, потом – училок, потом – Нелю с Ясной, и, когда все кости были перемыты добела, аж скрипели от собственной чистоты, – Юльку вдруг осенило:

¹ Портрет Марии Сальвиати итальянского живописца флорентийской школы, одного из основоположников маньеризма Якопо Понтормо.

² Тамара Лемпицка – польская и американская художница, работавшая в стиле ар-деко и кубизме, флорентийских маньеристов.

³ Портрет французского художника Мориса Кантена Латура «Мадмуазель Ферран, размышляющая над книгой Ньютона».

— Девочки, я поняла, мы с вами — добрые красавицы! И сами идеальные, и к другим — всегда добры!

— Давайте создадим общество, — брякнула Стенина.

Интересно, думала теперь Вера, подзабывшая в последние годы бурную разговорную деятельность «Общества», сколько раз Юлька с Бакулиной собирались вдвоём и обсуждали её, Стенину? В старших классах такая мысль могла вырвать её из нормальной жизни на несколько дней — зависть легко оборачивалась ревностью. И наоборот. Какое счастье, что зависти и след простыл!

Вера любовалась портретом и с каждым днём понимала всё яснее: не отдаст она его Юльке на целый месяц. Вот ни за что не отдаст! Однако всё вышло иначе.

Первое сентября в тот год выдалось холодным, Вере казалось, что припахивает снегом. Евгения выделялась даже на фоне перепуганных первоклассников — была самой из всех тощей, маленькой и заморённой, словно её только что выпустили из многолетнего плена. Коричневые подглазницы были как нарисованные — какой-то мальчик тут же обозвал её «мишка-падла». Евгения пыталась не заплакать, изо всех сил сжимая в кулаке бедняцкий букет — астры из бабушкиного сада. Юлька прыгала вокруг с фотоаппаратом, Вера показывала Евгении жестом, чтобы та надела башлык — но девочка молча смотрела в никуда, осознавая своё будущее. Кожа на её руках от холода и волнения стала прозрачной — как варёная креветка (Джон всего за один раз приучил Юльку с Верой к креветкам, теперь это было их главное лакомство). Юлька орала Вере на ухо, пытаясь перекричать директрису с микрофоном — они с Джоном решили пожить вместе! Пока вдвоём, а потом заберут Евгению!

Вера оглохла от этих новостей, да ещё в такой подаче, к тому же ей надо было успеть на линейку в свою школу — там начинали на полчаса позже. Еле отцепилась от Юльки, но та умудрилась прокричать вслед ещё кое-что важное:

— Вадим приехал! Сегодня вечером зайдём к тебе за картиной. В семь!

Вера теперь ещё и онемела, но Юльке было уже не до неё — опять расчехлила фотоаппарат, стреляя направо-налево. А Стенина побрела в свою двести шестьдесят восьмую, на глазах превращаясь из Веры в Веру Викторовну — каждый шаг добавлял серьёзности, надменности, опыта. Пока дошла — окончательно превратилась. Дети здоровались с ней, в общем, приветливо, но цветов никто не принёс — классного руководства у Стениной не было, да и любви особой — чтобы потянула на букет — она ни у кого не вызывала. Вера не обижалась — она была равнодушна к цветам, и это было взаимно. Изредка перепадавший букет начинал вянуть, лишь только Вера становилась его хозяйкой — о комнатных лучше и не заикаться: если бы не мама, скончались бы все подчистую.

Надо же, Вадим приезжает! Заберёт картину на время или насовсем? Вера так разнервничалась, что перепутала все темы; — к счастью, уроки сегодня были чисто декоративные, а у четвёртых классов и вовсе первый урок в средней школе, и дети сидели взволнованные, как на экзамене.

Сразу после шестого урока Стенина побежала домой — готовиться. Известный художник придёт в гости (не говоря уже о том, что их прежде связывало)... Лару она скрепя сердце отпустила с мамой в гости к тёте Эльзе, а сама готовила, чистила, мыла — потом всё бросила, поняв, что не успевает к семи. Как подросток, перешерстила весь гардероб, нашла неплохое платье, но под него не было подходящего лифчика. Надела неподходящий.

Ровно в семь пробасил звонок.

Вадим слегка облысел и заметно высох. Пальцы на правой руке перемазаны в зелёнке — сказал, что «порезался». Копипаста томно улыбалась, будто зная, что это неправда. Гости отказывались *проходить*: вынеси картину — и мы пойдём. Но тут уж Вера возмутилась — зря она, что ли, почти весь дом прибрала, лисичек нажарила, арбуз купи-

ла? Вадим поморщился, но всё же прошествовал в комнату — обувь снять и не дёрнулся. Европ-па! Юлька шагала за ним след в след, но под Вериним каменным взглядом разулась.

Через пять минут все трое сидели за столом и уминали картошку с грибами. Вера между делом научилась неплохо готовить — от её стряпни не отказывалась даже Евгения, накормить которую можно было только с песнями и танцами.

Вадим потеплел, смотрел на Веру прежними, внимательными и цепкими глазами — не глаза, а лапы с когтями. Юлька курила, сигарета в её изящных пальцах выглядела толстой. Вера принесла арбуз, порезанный небольшими кусочками — так, чтобы никто не мучился, вытирая сок с лица. Ели деликатно, вилками. Вадим попросил принести хлеба — какая-то дикость есть арбуз с хлебом, но Вера, куда деваться, принесла.

— Сладкий арбуз, — признала Копипаста. Спорить с этим глубоким замечанием было, в общем-то, сложно.

— Портрет берут на выставку в Париж, — сказал Вадим и отцепился наконец взглядом от Веры — уставился в телевизор, который скромно светился в уголке с выключенным звуком, тихо счастлив сам собой. — Но я верну.

Юлька покраснела и неожиданно выдула табачный дым колечком.

— Когда вернёшь? — спросила Вера. — Дело в том, что этот портрет, как выяснилось, не простой, а волшебный.

— Спасибо, — лениво сказал Вадим. Видно было, что к похвалам художник привык и они его уже никак не развлекают. — После выставки сразу и верну. А чего ты его раньше не забирала?

Копипаста выпустила ещё одно колечко и закашлялась.

— Да так уж вышло, — забавляясь, ответила Вера. — Места не стене не было.

— Нам пора, — Юлька резко встала из-за стола, — меня Джон ждёт, а у Вадима сын родился неделю назад.

Поэтому пальцы в зелёнке, догадалась Вера. Пупок прижигали. Зачем было сочинять, что порезался?

Она пошла за портретом, сняла со стены не без усилий — угол зацепился за шкаф.

Я тоже не хочу расставаться, шепнула Вера, и девушка с портрета глянула на неё обиженно, не веря. Вадим почти вырвал картину из рук, уставился на неё пристально: с минуту, наверное, смотрел. Потом расплылся в улыбке и сказал:

— Волшебный, да. Жаль, придётся перекрасить.

Вера вспыхнула:

— Не вздумай! Не отдам!

Она потянула портрет к себе, но Вадим держал крепко:

— Будет ещё лучше, Вера. Я теперь не так работаю, сильнее. Весь Париж перед *тобой* на колени встанет.

— Даже Бакулина, — встряла Копипаста.

— Плевать мне на Бакулину и на весь Париж! Я хочу именно эту картину, она моя! Крась другую!

Вадим в отчаянии повернулся к Юльке:

— И это у нас искусствовед? Хорошо, Вера, я сделаю тебе копию. Договорились?

Вера угрюмо кивнула, внутри всё дрожало и дёргалось. Юлька одними губами изобразила «по-зво-ню», художник ушёл не простившись. Бахнула железная дверь подъезда, собака у соседей зашлась лаем, словно кашлем.

Стенина легла на кровать. Над ней во весь голос кричала пустая стена без портрета.

Кажется, прошла лучшая часть моей жизни, думала Вера. Кажется, она окончилась именно сейчас — на этом месте.

Часть
ВТОРАЯ

Глава одиннадцатая

Целиком я увидел эту картину несколько месяцев спустя. Она показалась мне перегруженной скрытыми намеками и в конечном счёте уж слишком тонкой интерпретацией.

Андре Бретон

Врач, который вылез из кареты «Скорой помощи», был похож на «Голубого мальчика» Гейнсборо¹. Что они, в самом деле, сговорились? Вера и так-то чувствовала себя старой, а в компании юного полицейского и врача, которому на вид сравнялось лет пятнадцать, на глазах стала превращаться в портрет Дориана Грея в его финальной стадии.

Юный эскулап, судя по всему, ещё не утратил неофитской страсти к профессии — вполне возможно, что Степина была одной из первых его пациенток. Во всяком случае, он подошёл к ней с таким серьёзным видом, что Вера почти физически ощутила, как эта серьёзность расплывается вокруг неё облаком. Взял за руку, хмуро посчитал пульс. Вера слышала, как он тихонько шепчет: «Систола, диастола» — точно как Лара, учившая таблицу умножения, бормотала «Шестью восемь — сорок восемь».

Не понравились ему систола с диастолой.

— Поедем в стационар, — решил эскулап. Лоб у него, заметила Вера, был белым, а щеки — румяными, правда что

¹ Томас Гейнсборо — крупнейший представитель английской школы портретной живописи XVIII века.

Гейнсборо. — Надо рентген сделать, осмотреть вас как следует. Противостолбнячная сыворотка опять же. Как себя чувствуете, сможете сами идти?

Вера смогла. Перебралась в «Скорую», не глядя ни на таксиста, ни на галантного полицейского. Полицейский что-то кричал ей вслед про заявление, которое надо написать на таксиста.

Через пятнадцать минут *пострадавшую* Стенину выгрузили в приёмнике дежурной больницы. «Голубой мальчик» проводил Веру до нужного кабинета и попрощался — его ждали новые увечные. А Вера с облегчением увидела в кабинете немолодого человека — наконец-то! Усталый рыжий доктор в мятом, будто бы его нарисовал Сутин¹, халате, не глядя на неё, сказал:

— Проходите.

...Портрет свой Вера так больше и не увидела — да и копии тоже не дождалась. Это обещание — сделать копию — было для Вадима риторической фигурой. Так что с «Девушкой в берете» Стенина провела всего лишь месяц. Юлька утверждала, что Вадим обязательно вернёт картину — раньше, во всяком случае, всегда возвращал.

— Я ведь тоже осталась без счастья! — повторяла Копипаста, начисто позабыв о том, что с самого начала не имела на «Девушку в берете» никаких прав. И потребляла счастье незаконно.

— А почему Вадим тебе не подарил «Вечер Юлии»? Ту, где ты со спины? — спросила однажды Вера. Юлька призналась: хотел подарить, но она тогда на него крепко обиделась и отказалась. Потом появился коллекционер Дэвид А. со своими неприличными миллионами — и купил Юлькин «Вечер» вместе с другими работами. Миллионер сейчас и дышит нарисованной Юльке в спину, каждый вечер с ней проводит.

— Я это прямо чувствую, — клялась Копипаста.

¹ Хаим Сутин — французский художник «Парижской школы».

Год выдался на редкость неудачный — такой не затерялся бы даже среди предыдущих. Юлька теперь жила с Джоном, Евгения — с бабушкой. Вылитая «Сирота на кладбище» Делакруа¹, она каждый день караулила Веру с Ларой у подъезда, очки туманились от слёз. У Веры тогда уже начались нелады в школе, и у Лары появились первые странности, — было, в общем, не до Евгении. Но очки туманились, поэтому Вера брала девочку за руку, вела к себе. Честно сказать, от Евгении была временами самая настоящая помощь. Она безропотно, сколько скажут, сидела с Ларой, — и пусть разница между ними всего лишь год, сразу было ясно, кто здесь старший. Она помогала готовить ужин — ручки у неё были ловкие, хотя сама Евгения, в целом, конечно, недотёпа. Падать на ровном месте, терять ключи от квартиры — это всё про неё. А вот училась легко, в школе её хвалили — впрочем, Вера считала, что в платной школе похвалы входят в реестр.

А у Веры не ладилось потому, что к ним пришла новая учительница — и Кобыляева тут же произвела её в фаворитки. Объективно это была, наверное, симпатичная женщина, но объективность в данном случае вышибало, как пробки в грозу. Такая вся из себя белорыбица в строгом костюмчике и с понимающей, как у Джоконды, улыбкой. Звали белорыбицу Олеся Макаровна, но добрая красавица Стенина переименовала её в Макаронину.

— Заслуженный учитель России! — вращала глазами Кобыляева, опять похожая на отрубленную голову; а ведь одно время Вера даже удивлялась, с чего вдруг она углядела такое сходство при первой встрече. — Педагог-универсал! И русский, и литература, и даже история! — Взгляд-стрела в сторону Веры... Или показалось?

¹ «Сирота на кладбище» — картина Эжена Делакруа, французского живописца, предводителя романтического направления в европейской живописи.

Макаронина предпочитала стиль общения «фруктовый лёд», когда сладко, но всё равно — холодно. Веру она сразу же вычислила опытным педагогическим взглядом.

— Вы в каком году окончили? — обдала любезным ментолом, как будто местную анестезию ввела, честное слово!

Вера ответила без лишних уточнений. Назвала год, в котором ей бы дали диплом, если бы не академический отпуск.

— А я вас не помню! — возмутилась Макаронина. — Я весь тот выпуск отлично знала.

— Я училась в университете. — пояснила Вера, без всякого, кстати, превосходства, хотя могла бы.

— То есть, — уточнила Макаронина, — у вас нет специального педагогического образования?

Поджала губы, а следом — и Верины уроки. Начались бесконечные комиссии, проверки, вопросы. Почему на уроках так много искусства и так мало контурных карт? Почему дети плохо ориентируются в таблицах дат? Директриса, всё больше и больше походившая на отрубленную голову, избегала встреч с Верой Викторовной — вначале Макаронине отдали один класс, потом забрали целую параллель. Вера чувствовала, что нужно уйти самой, пока не уволили с позором, — и тут её вызвали в детский садик Лары.

Воспитательница крутила платочек на шее, как будто собиралась завязать там ещё один узелок. Затем принялась за обручальное кольцо — джинна вызывала? Вера терпеливо ждала, пока все эти выкрутасы закончатся. Лара играла с детьми в группе — Стенина отлично различала милый басок в общем ребячьем жужжании.

— Вера Викторовна, вы, наверное, расстроитесь, — начала наконец воспитательница.

— Не знаю, — сказала Вера. — Хотя, нет, знаю — я уже расстроилась, после такого-то начала.

— У нас тестирование было, — заторопилась воспитательница, она теперь крутила сразу и платок, и кольцо,

как в цирке. — Лара не может сделать даже элементарные вещи — она треугольник от квадрата не отличает! Читать до сих пор не умеет, цифры тоже не знает. Как вы пойдёте в первый класс?

— Лично я туда не пойду, — ошетибилась Вера. — А с Ларой мы занимаемся, ну, просто растерялся ребёнок, так разве не может быть?

Воспитательница дёрнула плечиком, будто муху отгоняла.

— Ваше дело, Вера Викторовна. Но вы всё-таки обратите внимание.

Она взяла стопку листов, вытащила нужный — и вручила его Стениной. Потом встала, громко хрустнув суставами — как на ветку ступила, — и ушла в группу, а Вера принялась изучать первое из многих свидетельств Лариного *своеобразия*. В задачке требовалось раскрасить треугольник — дочка выбрала круг, посчитать пятерых зайчиков — у Лары получилось два.

— Кстати, — вернулась воспитательница, — я всё хочу спросить, Вера Викторовна, почему она у вас не Лариса, а Лара? Это же полное имя такое, да?

— Потому что мне нравилась только короткая версия, — нехотя ответила расстроенная Вера (все мысли — о кружках и зайцах). — Иначе обязательно будут звать Ларисой. Хоть кто-нибудь.

— Да, наверное, — согласилась воспитательница. — А какое отчество?

Вот пристала!

— Лара Германовна.

Тут явилась сама Лара Германовна, легка на помине, пузенём вперёд, и Вера, принимая в объятия дочку, успокоилась — да наплевать, подумаешь! Накупим книжек, наймём дошкольных репетиторов — Копипаста говорит, сейчас и такие есть. Всё будет хорошо!

Но тем же вечером воспоминания о неприятном разговоре в садике ловко улеглись на тревожные ожидания

увольнения — Вера честно пыталась уснуть, но в полпервого поняла, что не сможет. Позвонила Копипасте.

Юлька взяла трубку сама. Пьяненькая.

— Насчёт Лары не переживай, абсолютно нормальный ребёнок, — пропела она, едва дослушав стенания Стениной. — Я впереди на полкорпуса, мне лучше знать. — Вера с трудом удержалась, чтобы не напомнить о том, что Юлькины полкорпуса спят сейчас в соседней комнате. — А с работы лучше успеть свалить самой, пока не уволили. Давай я с Джоном посоветуюсь?

Вера согласилась. Почему бы и не доверить свою судьбу Джону — хотя бы для разнообразия?

Джон Стениной нравился — не романтически, а в самом что ни на есть высокочеловеческом смысле. Он был неглуп, умел молчать — увы, среди мужчин это искусство почти утрачено. Жаль, что стихи Джона, которые Вера впоследствии довольно часто перечитывала, — он издал несколько книжиц за счёт богатой жены, — при трезвом рассмотрении оказались не так хороши. Известное свойство алкоголя — преувеличивать то, что не следовало бы, и наоборот. Но стихи были не то чтобы плохи — а так, ни горячие, ни холодные, комнатной температуры. Вкус у Джона, надо признать, был отменным — поэтому он отменил в конце концов всяческие отношения со стихотворчеством. Понял, что не сможет ни нагреть свой талант до нужного градуса, ни охладить его. А сборнички его стихов падают порой с книжных полок на голову Вере Стениной, — и она даже читает по случаю какое-нибудь стихотворение, отбитое поверху тремя звёздами, словно мишленовский ресторан.

Джон нравился Вере ещё и тем, что был он человеком большой учёности, к тому же — искренне нуждавшимся в регулярном культурном кормлении. Вот и Копипаста, прежде не компрометировавшая себя подобными интересами, вдруг принялась спешно прокладывать дороги по всем направлениям — и музыкой стала интересоваться, и в живопись влюбилась, и без Шекспира не могла те-

перь буквально ни дня обойтись. Вера застала раз Юльку склонившейся над школьной тетрадкой, куда та выписывала цитаты из всё того же «Макбета». Еще у неё однажды мелькнула в сумке брошюра под названием «Умные мысли для смс». В общем, подруга хотела соответствовать своему корейскому принцу, и Стенина её понимала.

Юлька, впрочем, как и Вера, не могла похвастаться семейной тягой к окультуриванию — не было этого ни у Калининных, ни у Стениных. Рабочая косточка, что та, что другая мама, случайно попав в кино на арт-хаус, раздражённо спрашивали уже через пять минут после начала: *и что, весь фильм так будет?* Искусство, по мнению старшей Стениной, должно быть понятным, а Юлькина мама считала, что отлично проживёт и без всякого искусства вообще. У Копипасты же даже сейчас некоторые слова в устной речи звучали с ошибками — было ясно, что она и напишет их неправильно: «*расса*», «*юнный*», «*бестселлер*». Веру это забавляло, а вот Джон морщился, поправляя, стыдил: «Ты ведь журналистка!» Копипаста старалась изо всех сил. Читала книги по списку, составленному Джоном, купила абонемент в приснопамятную филармонию, дважды в месяц ходила в оперу и каждую неделю — на литературные вечера или встречи с интересными людьми. В театрах Юлька вставала с места и громко аплодировала; даже если её никто не поддерживал — всё равно торчала в зале одна, как сурок. Считала фуэте в балете — чтобы было ровно тридцать два. Возможно, даже читала Шекспира в оригинале. Откуда что взялось?

— Я хочу, чтобы Джон мной гордился! — объясняла Юлька.

Джон познакомил Веру со своей *приятельницей* — у него, будто у интеллигентной старушки, повсюду были приятельницы. Клара Михайловна работала в картинной галерее на Плотинке — а Джон почему-то решил пристроить туда Стенину на должность искусствоведа. Клара Михайловна приняла их радушно, но, как поняла Вера, ра-

душия не хватило на то, чтобы принять такое серьёзное решение — да и полномочий тоже.

— Я ведь не директор, — объяснила она Вере и Джону. — Я просто решаю тут некоторые вопросы.

Тем не менее вскоре Вера уже сидела в кабинете директора, где сонная женщина в вялых подробностях разъясняла ей: ставка искусствоведа занята, но есть вакансия «смотрителя музейного». «Смотритель музейный» — как про зверька в зоопарке! Но в галерее приятно пахло, да и в некоторых картинах, кажется, шевелилась жизнь...

Мама, услышав про «смотрителя музейного», так развела руками, словно хотела обнять самую большую из всех картин в мире:

— Веруня! Но это же для пенсионеров! Давай, что ли, я туда пойду!

В глазах у мамы блеснул живой интерес — и Вера поняла, что та и вправду нацелилась на её место. Всё лучше, чем сидеть консьержкой в подъезде у богатых и подрабатывать на выборах.

— Нет, мама, я уже написала заявление.

— Так ведь у нас одна фамилия, — не отставала мама. — А инициалы можно поправить.

Стенина рывкнула:

— Сказала же, нет!

— Господи, — запричитала мать, — сколько тебе там платить будут? Два рубля?

Вера проглотила обиду, как таблетку. Зарплата смотрителя музейного была и вправду нищенская — но ведь из школы её всё равно вытурят, Макаронина в последние дни даже здороваться перестала. Вдохнув музейного воздуха, Вера поняла, как соскучилась по этому миру — будто после нескольких лет в тюрьме её вдруг выпустили на свободу, и сразу — в сосновый летний лес. Нагретая хвоя шишкинского пейзажа, мерный топот «Косарей»¹... Потом

¹ «К о с а р и» — картина Натальи Гончаровой, русской художницы-авангардистки.

подключился сильный запах лекарств — он летел с портрета больной жены Петрова-Водкина, но его перебивал жасминовый аромат духов «Девушки с папиросой»¹. Вера тут же вспомнила, как сама в юности неумело тыкала сигаретой в спичечный огонёк и кто-то безмянный, но бес- смертный благодаря той фразе сказал:

— Курить научилась, а прикуривать — нет?

— Не понимаю, зачем дамы курят? — покачала головой «Неизвестная» Крамского, отвлекшись на секунду от своего снисходительного чтения. Не нравилась Неизвестной эта книжка, поэтому она с удовольствием отвлеклась, чтобы поболтать с Верой Стениной, не покидая рамы. — Вы приходите ещё, я буду вам рада! — И снова уткнулась в книжку, которая её так явно раздражала.

В общем, Вера согласилась бы даже на ставку уборщицы, а тут — смотритель! И больше никакой школы, контрольных работ, линеек и Макаронины. Новый год — новый мир. «Ты, Веруня, летун!» — сказала мама, опытный кадровик, а Джон заявил, что Стениной следовало вести себя более решительно — и вытребовать ставку искусствоведа. Для поэта он был, пожалуй, чересчур практичным.

Кобыляева отпустила Веру так же легко, как приняла, — и дорога под ногами расстилалась белой скатертью. Впрочем, она у всех в том году расстилалась белой скатертью — неожиданно рано выпал снег: встал и не таял долго, до весны.

¹ Портрет работы Петра Ефимовича Заболотского, русского художника-портретиста московской «тропининской» школы.

Глава двенадцатая

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени.

Осип Мандельштам

При ближайшем рассмотрении рыжий доктор оказался седым, но прежде он был несомненно рыжим. Веснушки, жёлтые ресницы, брови, как будто клочки ваты, окунутой в чай, — раньше Вера промывала Евгении глаза именно такой чайной ваткой. Каплям она как-то не очень верила — а вот чай всегда помогал.

Доктор по-прежнему не смотрел на Веру, хотя она уже с минуту топталась в кабинете — торопливо заполнял карточку, и синие вены на тыльной стороне ладони двигались, как мультипликационные волны. Только поставив точку, доктор наконец поднял свои серо-голубые, как репы, и такие же, как репы, цепкие глаза.

— Что случилось? — спросил он тоном человека, все запасы удивления которого исчерпали себя ещё в прошлом веке.

— Да ерунда какая-то, — честно сказала Стенина. — Ударило в голову.

...Новые коллеги, мама не ошиблась, были пенсионерами. Самой молодой из них, Марье Степановне, сравнялось шестьдесят, и она считалась в музее за бойкую девчонку. Появление действительно бойкой девчон-

ки — не докатившей свою жизнь даже до тридцати Стениной — повергло «смотрителей музейных» в довольно-таки некомфортное состояние. С одной стороны, женщины они были (а они все были — женщины) образованные и чувствовали смутную симпатию к почти доученному искусствоведу. Диплом, в сущности, такая же формальность, как и штамп в паспорте, считала Марья Степановна, прожившая тридцать лет в гражданском браке и научившаяся за это время считать своё поражение победой. С другой стороны, новенькая слишком уж выбивалась из общей массы смотрителей — старушек с яшмовыми брошками и оренбургскими полшалками. Старушкам, разумеется, хотелось вбить Веру в эту массу, как яйцо вбивают в тесто. Они звали её пить чай, показывали фотографии внуков, делились опытом работы: самое главное, считала Марья Степановна, это *любить людей*.

Вера людей не любила, но благоразумно умолчала об этом. Кивала, пила чай, вежливо разглядывала фотокарточки. Это была не самая большая плата за счастье видеть картины изо дня в день. Можно и потерпеть.

Каждое утро, выпрыгивая из троллейбуса, Стенина мчалась в музей, как на свидание. Поначалу, как всех новеньких, её *закрепили* за каслинским литьём. Огромный зал, по периметру — стеклянные витрины с чугунными фигурами, а в центре — торжественно-похоронный павильон, вороной и кружевной. Гран-при Всемирной выставки в Париже и просьба французов продать чугунок — но гордые уральские мужики отказали. Сейчас чернел бы своей красотой где-нибудь на левом берегу в Париже.

Евгения, которую пришлось брать с собой на работу раза три за зимние каникулы (*выфучи, Верка, будь другом*), могла смотреть на павильон по часу не отрываясь. Один раз спросила, можно ли «зайти в домик», получила «нет» и больше об этом не заикалась. Сама же Вера относилась к павильону с равнодушным уважением и некоторой брезгливостью — казалось, что, если прикоснуться

к нему рукой, на ней останутся мазутные разводы. Прочие каслинские шедевры Стениной тоже не слишком нравились — хотя она во многих домах с детства встречала фигурки Мефистофеля и Дон Кихота и привыкла считать их родными. А у Евгении была в зале ещё одна любимица — чугунная девочка в серёжках и бусиках. Тоже простаивала перед ней подолгу. Марья Степановна однажды сказала: какая у вас, Вера Викторовна, интересная дочка. Она так внимательна к искусству! Стенина решила не поправлять старуху — «дочку» на рабочем месте проще объяснить.

Большую часть времени Евгения смиренно сидела на стуле зрителя и рисовала в блокноте лабиринты — тогда в магазинах уже появились специальные детские книжки с лабиринтами, но они были дорогими, поэтому Евгения рисовала их сама, а потом сама же искала из них выход. А любимой игрушкой Лары был каучуковый шарик, который прыгал до потолка и вечно закатывался куда не надо.

В обеденный перерыв Вера ела то, что принесла из дому в литровой банке, — этим она коллегам сразу понравилась. Старухи не любили, когда швыряются деньгами — уж на покупное-то зачем тратить, если можешь сама приготовить? Вера быстро съедала приготовленный мамой обед, потом ополаскивала банку под краном в туалете и скорее шла в свой любимый зал западноевропейской живописи. Тамашня смотрительница Евдокия Карловна была настолько интеллигентной, что никак не решалась попросить Веру — раз она всё равно проводит почти сорок пять минут в её владениях, так пусть уж заодно и за порядком последит. А Евдокия Карловна с удовольствием попила бы в это время чай с коллегами. Тем более что зал с каслинским литъём во время Вериного обеда сторожила практиканточка, будущий искусствовед — молодая молчаливая девушка. В конце концов Вера прочла интеллигентную просьбу в карих катарактных глазах — и, конечно, согласилась.

К Евдокии Карловне часто приходили приятельницы — старушки в младенческих панамках начинали с самого поро-

га жаловаться на здоровье и неблагодарных детей. Понятно, что теперь все эти панамки являлись точнёхонько в Верин перерыв — а если она по какой-то причине задерживалась, Евдокия Карловна даже позволяла себе нахмуриться.

Веру это нисколько не обижало и не напрягало — панамки с Евдокией шли пить чай, а Стенина оставалась наедине с картинами. Да, не Лувр, не Уффици, заштатное собрание третьесортных картин второстепенных художников, и всё же... Вера переходила от одной картины к другой, как из комнаты в комнату, и, если в зале вдруг оказывался посетитель (честно сказать, случалось это редко, в девяностых мало кто разбазаривал своё время на живопись, так что Стенина удивлялась и даже сердилась порой на посторонних людей в музее), он мог заметить, что у молодой смотрительницы шевелятся губы, а иногда она ещё и головой трясёт, как будто разговаривает с кем-то невидимым. В общем, заключал случайный посетитель, скорее всего ненормальная, ясно, почему работает на старушечьей должности.

«Стульчаки» — так называли в те годы зрителей, но Веру не обижало и это. До того ли было! Каспар у Манетти¹ звонко чмокал пухлую ножку божественного младенца, а младенец закатывал глаза, как будто надоели ему эти поклонения до смерти!.. От складок на плаще волхва с масляным именем Бальтазар пахло ароматной тёплой пылью... «Святое собеседование» Полидоро ди Ланцани² — другой младенец тянется к длинной седой бороде мага, кричит — вот-вот ухватится! А эти испуганные охи-ахи женщин Рустичи³, выхаживающих *простреленного*

¹ Картина «Поклонение волхвов» Рутилио Манетти, художника, с чьим именем связан расцвет живописи Сиены в первой трети XVII столетия.

² Полидоро ди Ланцани — итальянский живописец, ученик Тициана.

³ Картина «Святой Себастьян» Франческо Рустичи, итальянского живописца начала XVII века (сиенская школа).

святого Себастьяна! Женщины с трудом отводили глаза от легкомысленной тряпочки между ног юноши — а стоит отвернуться от картины на секунду, как они тут же уставятся на самое интересное. А тот разломанный арбуз у Кампидолио¹ — похож на аметистовую щётку, но при этом душистый и свежий, как август. Вера дышала бы и дышала этим аметистовым августом, но, к несчастью, Кампидолио изобразил не только арбуз, но и битую птицу, от которой разило болотной прелью и вялым пером...

Женский портрет ван дер Влита² — дама строго поджимала губы, глаза у неё были добрыми, а мысли — усталыми. Прачка Паскуале Челомми³ напоминала Копипасту. Уходя из зала и прощаясь с головкой Грёза, стадом Рооса⁴, птичками Хондекутера и пейзажем Милле, Вера вновь спрашивала себя — и того, кто должен был нести за это ответственность — ну почему ей дали такой нелепый талант?

Хотя, если подумать, встречаются ещё более нелепые. Например, талант безошибочно чувствовать чужую фальшь и лицемерие. Зачем это может пригодиться? Или вот, скажем, видеть лица в ковровых и обойных узорах — тоже крайне сомнительный дар, особенно если к нему не приложили умение рисовать.

Так или иначе, но в музее Вера ожила, чего никак не ожидала мама. Лару готовили к первому классу — всемогущий Джон нашёл репетитора — девушку с розово-ро-

¹ Микеланджело дель Кампидолио — итальянский художник второй половины XVII века, римская школа.

² Хендрик Корнелис ван дер Влит — делфтский живописец, мастер портретного жанра и жанра церковного интерьера.

³ Портрет Паскуале Челомми, итальянского художника второй половины XIX века.

⁴ Филипп Петер Роос (Роза да Тиволи) — художник римской школы, находившийся под влиянием немецкой и голландской живописи, мастер пейзажа и бытового жанра. Мельхиор де Хондекутер — нидерландский художник-анималист. Жан Франсуа Милле — французский художник, один из основателей барбизонской школы.

донитовыми щеками, сдобную, как только что из печи. Девушка уводила Лару в детскую, и они сидели там подозрительно тихо ровно сорок минут, после чего репетиторша выносила учебные тетради — и приглашала Веру ознакомиться с Лариной штриховкой и другими «работами». Штриховка была безупречной, зайцы подсчитаны по головам верно, лишний элемент в виде лисы исключён из ряда. Довольная Стенина протягивала девушке деньги, но та была очень суеверна, просила не давать купюр в руки — а положить их на столик у зеркала. Вера начала оставлять деньги на столике, и репетиторша деликатно, как мышь хвостиком, смахивала их оттуда себе в сумку.

Однажды вечером старшей Стениной взбрело в голову проверить, как Лара научилась читать — но девочка откинула от себя книжку с такой яростью, как будто это были не «Три поросёнка», а по меньшей мере «Майн Кампф».

— Она не хочет эту, — заступилась за дочку Вера. Лара тут же притащила свою любимую «Курочку Рябу» с аршинными буквами. Раскрыла её и вполне бойко прочитала, перелистывая страницы в нужных местах. Мама прослезилась, а Вера на другой день дала репетиторше небольшую премию — всё так же церемонно выложила на столик. И всё же царапало изнутри какое-то сомнение, а Вера не любила, когда её изнутри царапают. Как-то раз, вернувшись из музея, она взяла злополучных «Поросят» и положила книжку перед Ларой. Дочка попробовала завыть — но Стенина смотрела на неё специальным взглядом, который девочка хорошо знала.

— «Курочка»? — пыталась сторговаться Лара.

— Нет, «Три поросёнка». Давай!

Лара открыла книжку и усталилась на первую страницу, похожую благодаря таланту художника на иллюстрированное меню мясного ресторана. Поросята были очень аппетитными, жаль, что на изображение Нуф-Нуфа прилетела слезинка замученного ребёнка.

— Ты не рыдай. Читай!

Внутри у Стениной всё ходило ходуном и скрежетало — как в индустриальном фильме, где любят давать крупные планы мудрёных механизмов.

— Какая это буква? — Вера ткнула пальцем в заглавную Н.

— Это буква Волк, — шепнула Лара.

— Я её завтра убью, — пообещала Стенина. — Положу на столик к зеркалу — заштрихую, а потом убью!

— Веруня, успокойся, — испугалась мама.

— Так Лара вообще ничего не знает! Эта репетиторша — она сама всё за неё делала, понимаешь?

— А как же «Курочка»?

— «Курочку» она наизусть шпарит. Иди сюда, Лара, маленькая моя. Не бойся! Мама просто немножко расстроилась.

Вера целовала солёные от слез щёчки, думала: ничего, как-нибудь устроится. Джон, конечно, молодец, нашёл кого прислать.

Суеверная репетиторша больше не явилась — зря Вера готовила обличительную речь — а может, и не зря, поскольку Джон выслушал её от первого до последнего слова, покаялся и обещал найти другой вариант. Вера отказалась. Сама стала заниматься с Ларой и худо-бедно выучила дочку читать по слогам — от одного слога к другому они ехали долго, как на телеге по Москве в час пик. И всё же доехали. «Норка суха», — прочла однажды Лара в букваре, и Вера была так счастлива, будто ей купили настоящую норку.

— Это букварь для новых русских? — подобострастно шутил Джон, которого в конце концов пришлось простить. Не мог же он отвечать за всех своих знакомых сдобных девушек.

Пока Вера занималась с дочкой, она узнала о ней много нового, и всё оно было неприятным. Память у Лары оказалась слабенькой, а лень — отборной, высший сорт. Ей одинаково не нравились математика, чтение, окружающий мир и французский, который Вера с перепугу тоже под-

ключила — его требовали при поступлении в гимназию хотя бы на уровне алфавита. Лара от французских букв впадала в истерику. Даже соседи стучали в стену — глотка у девочки была лужёная, как у джазовой певицы, а вот уха тоже не досталось.

Юлька, выслушав эту драму воспитания, беспечно махнула рукой:

— За деньги возьмут, не переживай!

После этих слов Вера совсем загрустила. С деньгами у них было не очень-то. Ларе шла маленькая пенсия за погибшего кормильца, в музее платили чисто декоративную зарплату. Мама устроилась куда-то развешивать плакаты — варила клейстер, потом шла «на маршрут», но получала тоже гроши. Лидия Робертовна периодически вспоминала про внучку, однако присылала из Питера не деньги, а вещи — к тому же ношенные. Они пахли чужими детьми и все были на вырост. По видимости, чужие дети имели какое-то отношение к то ли тётке, то ли племяннице, приютившей несостоявшуюся Верину свекровь в Петербурге, — Вера не желала вдаваться. Вещи она в тот же день, как получала на почте, уносила в секонд-хенд, а потом заходила туда ежедневно — проверяла, как знакомого в тюрьме. Продавались обноски плохо, но иногда за них всё же удавалось выручить немного денег.

Вот когда Вера заново пожалела о «Девушке в берете»! Портрет можно было бы, если уж совсем придётся туго, продать, хотя, если честно, она бы на это, скорее всего, не решилась. Но хотя бы возможность такая была — возможности порой тоже согревают, не хуже так и не купленной норки.

А вот у Юльки в том году всё было — лучше не придумаешь. Джон, работа, Евгения, которая таскала из школы только пятёрки — как грибник, что жалует одни только белые, она брезговала четвёрками.

На излёте зимы Джон подарил Юльке национальную уральскую женскую одежду — шубу из голубой норки.

— Бабство, конечно, но я не смогла отказаться, — говорила Юлька, поглаживая блестящий мех.

«Норка суха», — мрачно думала Стенина. Она уже четвёртый год носила просаленную турецкую дублёнку из того же секонд-хенда.

Восьмого марта в дверь позвонили неуверенной, чужой рукой — открыла мама. Стенина вышла из своей комнаты, на ходу застёгивая халат. Незнакомая высокая женщина рухнула перед ней на колени, и Лара от восторга начала аплодировать — как в театре.

Приглядевшись к коленопреклонённой женщине, Вера поняла, что не такая уж она и незнакомая.

— Вы меня, наверное, забыли, — гостя торопливо говорила, пока Вера с мамой поднимали её с колен. — Это мой муж убил вашего. Простите, Вера Викторовна! Такой грех, такое горе!

Шатенка с «пейсами» превратилась в коротко стриженую блондинку, но её всё-таки можно было узнать. Веру приятно удивило, что эта женщина не так молода, как ей помнилось, — шея заштрихована морщинами, на пальце старушечье кольцо с янтарём — нестерпимо-жёлтым, как упная сера. Даже имя вспомнилось — Лия. Имя-деепричастие.

С десятой попытки Лию усадили за стол, мама отправилась в кухню за пустырником. Пока она капала его в рюмку, Лия вцепилась в Верину руку, неприятно поглаживая её сразу обеими своими.

— Вы только не отказывайтесь, пожалуйста. Я сама теперь мать, я знаю, как тяжело растить ребёнка.

Лара, выпятив пузико, с удовольствием смотрела мультфильм про Чипа и Дейла — на несчастное дитя она смахивала не слишком, но гостя, скорее всего, видела вместо реальной девочки какую-то свою выношенную фантазию. Вообще, эту Лию несло в разговоре, как пьяного человека — пусть она была трезвой, но темы шибала, будто кегли. Вера с трудом поняла, что Лия ещё до суда развелась

с Гериным убийцей, потом вышла замуж за другого человека и родила двух мальчиков, они погодки — Стасик и Вадик. Гостья достала фотографии из сумочки и, мазнув ими воздух, тут же спрятала Стасика и Вадика обратно. Муж Лии — очень обеспеченный человек, коммерсант. Они хотят материально помогать Стениным — пусть только те воспримут это *нормально*.

Тут Вера заметила, что одета Лия не хуже записной богачки — всё из коммерческих магазинов, и пахнет от неё дорогим тональным кремом, а не убогими «Уральскими самоцветами». Лишь нелепое янтарное кольцо вносило лёгкий диссонанс, но, как знать, оно могло быть и памятью о бабушке.

Лия залпом выпила рюмку пустырника и теперь смотрела на Стенину, ожидая — казнят или милуют. Мама на заднем плане вполне однозначно покашливала.

— Мы будем ежемесячно привозить вам небольшую сумму — триста долларов. Пока Ларисе не исполнится семнадцать.

— Ларе, — машинально поправила Стенина, и бедная Лия тут же ступевалась, как будто позволила себе невесть какую бестактность:

— Простите! Конечно же, Ларе!

Она с мольбой заглядывала Вере в глаза — так покупатели советских времён ловили взгляды всемогущих продавщиц на ключевых должностях.

— Если это для вас так важно... — сдалась Стенина.

— Очень важно! Очень! — Лия порылась в сумке и вытащила из-под Стасика с Вадиком мятый конверт. — Вот! Первое поступление! А это для Лары — Барби.

Лара с визгом кинулась обнимать гостью:

— Барбия!

Это была её давняя мечта. Копипаста обещала заказать пару кукол Бакулиной в Париж, но всё как-то не получалось. А тут — пожалуйста, длинноногая пластмасса с идиотской улыбкой. Лара, как собака драгоценную косточку,

поташила «Барбию» в детскую — чтобы зарыть получше, а то вдруг отнимут. А Лия заплакала, и Стенина впервые в жизни увидела перед собой человека, который только что уронил с плеч гору. Правда, гора при падении задела саму Стенину — но об этом она решила не задумываться.

— Всё правильно, — рассудила вечером Юлька. — Молодец, что согласилась.

— Да я и не могла отказаться, — объясняла Вера. — Но, Юлька, она же ни в чём перед нами не виновата. Позировала голышом — подумаешь!

Слово своё Лия сдержала — Стенины исправно получали деньги вплоть до прошлого года. Вначале их привозил водитель, всякий раз вместе с конвертом доставлявший то продукты, то игрушку, то билеты в кукольный театр. Однажды привёз корзину раков — почему-то Веру это покорило. Раки сами коробились в корзине, пока их не забрал Джон и не съел с удовольствием (и с укропом). Спустя пять лет всё тот же водитель привёз банковскую карточку, и деньги стали поступать на счёт *первого числа каждого месяца*. Стенины привыкли, особой благодарности у них не было — но обыкновенная, не особая, была. И, конечно, без этих денег Вера не смогла бы устроить дочку в гимназию.

Они с Ларой вышли из дома за целый час до назначенного времени. На малышке было новенькое платье — его купил Джон для Евгении, но Евгении оно оказалось слишком широким и длинным, а Ларе пришлось в самый раз. Бархатное синее платье, белые колготки на толстеньких ножках, французская косичка и самая мрачная мордашка, какую только можно вообразить. Вера раз двести объяснила дочке, как надо себя вести на «экзамене». У неё самой сердце глухо билось как будто на вылете из горла.

Мама сказала, что пойдёт в церковь — помолится, чтобы всё прошло удачно. Вера, мимоходом вспомнив Валечку, решила, что это не помешает.

Короткая дорога в гимназию шла мимо прежней Веринской школы, — обычно она обходила её стороной, но тут

вдруг решилась — и зря. Навстречу шла Макаронина с модной итальянской сумкой, оглядела их с Ларой с ног до головы и сделала вид, что не узнала. А Вера зачем-то поздоровалась с ней. Всё это длилось какие-то секунды, но настроение у Веры подпалилось с одного краю и теперь опасно тлело по всей площади. Тут ещё и горемычная Лара запнулась на ровном месте, в стиле Евгении, и выпачкала колготки свежей зелёной травой. Вещи Ларе всегда было жаль сильнее, чем людей, — она так горестно оплакивала грязные колготки, что Вера с трудом удержалась, чтобы не наподдать ей ещё *по одному месту*. Лара ныла и размазывала слёзы по лицу, французская косичка растрепалась, бархатное платье уже не выглядело новым.

Приёмная комиссия состояла из трёх дам опасного возраста — от тридцати до сорока, хотя одной могло быть и пятьдесят, просто она тратила много времени на борьбу с этим фактом. Встретили Стениных со слегка оскорблёнными лицами: на входе в класс девочка разревелась с новой силой, и училки как бы давали понять, что претендентка не очень-то вписывается в парадигму. Пятидесятилетняя буратиным голосом спросила, почему Лара плачет, и дочка, не выносившая даже малейшего привкуса фальши, зашипела на неё как змея.

Тут подключилась вторая дама, она была хорошенькой и разбиралась в детской психологии. С таинственным видом учительница поманила Лару за собой, и та уже через пять минут весело щебетала с Катериной Ивановной за партой у окна. Так начался экзамен.

— Читает медленно, — признала Катерина Ивановна, и Вера её тут же разлюбила, хотя только что готова была целовать ноги в лакированных туфельках. Или, как минимум, туфельки.

Математику Лара и вовсе завалила, если можно так сказать об экзамене, где нужно было посчитать треугольники и найти лишний элемент — ворону среди попугаев.

— Самое главное, она ещё психологически не готова к школе, — резюмировала третья дама, завуч. — Вам уже исполнилось семь?

— В июле будет, — сказала Стенина.

Завуч откашлялась не хуже старого курильщика, так что Вера даже вздрогнула от неожиданности.

— А платный вариант вы рассматриваете? — спросила завуч, и Вера снова вздрогнула — теперь уже от радости.

— Конечно! Мы очень хотим к вам попасть.

— К нам все хотят, — пропела пятидесятилетняя буратина.

К этому моменту Стенина как будто вышла из себя — и теперь наблюдала процесс со стороны: неужели это она, Вера, просит и умоляет чужих тёток пустить Лару в круг избранных? К счастью, вопрос оказался не таким уж и дорогим, и вскоре Вера с повеселевшей будущей гимназисткой спускалась по лестнице.

— Мама! — Лара вдруг остановилась, едва не уронив Веру. — Смотри, там Евгения!

На гимназической Доске почёта висело несколько фотографий, а в центре — снимок Евгении. Робкое личико, улыбка съехала набок, как сломанные очки.

— Да, — сказал кто-то за Вериной спиной, — это наша школьная гордость. Женечка Калинина. Ещё только во второй класс перешла, а уже — звезда!

Вера оглянулась, увидела Катерину Ивановну — та процокала дальше в своих лакированных туфельках, а Стенина долго стояла, глядя на фото Евгении — долго, пока не начала задыхаться. В горле клекотало, а на сердце уселось тяжёлой тушей знакомое существо.

Глава тринадцатая

Пусть одарён Фортуной вдруг
Наш недруг — только бы не друг.
Мы первое стерпеть готовы,
Но не перенесём второго.

Дж. Свифт

Рыжий доктор выслушал Веру и улыбнулся в сторону — как на камеру. Он будто бы приглашал полюбоваться собой крупным планом, под дорогой свет и специально подобранный музыку. Передние зубы у него были длинные и кривые, похожие на скрещённые пальцы. С недавнего времени Вера, к сожалению, видела в людях только некрасивые черты — и, возможно, именно по этой причине считала теперь Гойю своим любимым художником.

Доктор осмотрел рану и не нашёл, как сразу было ясно, ничего особо занимательного. Медсестричка наложила повязку, вкатила под лопатку противостолбнячный укол.

— Рентген сделаем, и отпущу, — пообещал доктор.

В рентген-кабинете Веру посадили на стул так торжественно, словно это был трон. Свинцовый фартук не давал дышать, и мышьяк внутри колотилась — как будто кулаками в закрытую дверь.

... То лето прошло как во сне, в котором снится туман. Вера уже давно не любила лето — в самой его сущности лежала фальшь. Весь год в Екатеринбурге было холодно и грязно, а потом — два месяца (или полтора — как положат) обманчивого тепла. Будто вдруг на ничтожно малое

время выдали чуть-чуть счастья. На доньшке! И то — не вздумай привыкать, ибо счастье отберут у тебя в ту самую секунду, когда ты привыкнешь считать его своим. Это похоже на игрушку в кабинете у детского стоматолога — или чудесную куклу, явно ненужную взрослой хозяйке. Стоит эта кукла за стеклом в шкафу, смущённо улыбается — отдали бы девочке, которая пришла в гости с мамой, ан нет — сладким, но твёрдым, как сахарная глыба, голосом объясняет хозяйка куклы. Можешь взять на пять минут, но обращайся аккуратно — потому что это *память*.

А я думала — это кукла! — ворчала маленькая девочка, что снилась тем летом Вере с постоянством, о котором мечтают психологи. Девочка из этих снов не была похожа ни на Лару, ни на Евгению. Маленькая, с худыми карандашными руками и неожиданно серым, в голубизну, лицом — как на картинах Мантеньи или Бергоньоне¹. Будто с ксерокопий писали! Наверное, думала Стенина, это я сама себе снюсь. Я ведь правда хотела получить ту куклу по имени Память, которая стояла в чужом шкафу.

Спать целыми днями и видеть во сне своё бледное детство Стениной никто не давал. Работа, девочки, мама, домашнее животное разрывали Верино время на части. Домашним животным Стенина решила называть отныне блудную летучую мышь. Ирония как оружие, а что ей ещё оставалось?

— Нет, только не ты! — вот что первым делом сказала Вера, когда почувствовала клёкот в горле. Она сказала это ещё в гимназии — точнее, прохрипела. Лара засмеялась, её развеселил новый мамин голос.

Шли домой той же короткой дорогой. Стенина пыталась откашляться, била себя по груди ладонью, как будто поперхнулась или приносила кому-то смертную клятву. Безуспешно.

¹ Андреа Мантенья — итальянский художник, представитель падуанской школы живописи. Амброджо Бергоньоне — итальянский художник ломбардской школы.

— Только не ты! — повторила Вера, оставшись наконец одна в своей комнате. Комната была — будто марина Айвазовского, посвящённая крушению надежд. Розовые обои в бутонах — девические мечты засохли на корню. Стенной шкаф, где томилось приданое, — как дряхлая принцесса, тщетно поджидающая своего рыцаря. Стена, где зияло пустое место «Девушки в берете», — Вера так и не решилась его занять, хотя мама постоянно атаковала стену и Стенину идиотскими календарями. Трельяж, откуда смотрели сразу три Веры — как на приснопамятном стенде «Их разыскивает милиция»...

— Всё, что угодно, только не ты... — повторяла Вера, как будто это была молитва, и от правильного её произнесения сейчас же случится чудо.

И оно случилось.

— Я и есть — что угодно, — ответила мышь.

Вера говорила с собственной завистью!

Она её не видела — смотрела на трёх сестёр в зеркале. Мойры или чеховские Ольга — Мария — Ирина?

— Думаю, мойры, — предположила мышь.

— Зачем ты вернулась?

— Соскучилась. Какая-то ты невежливая, Стенина. Могла бы заметить, что я изменилась — разве не видишь?

— Я тебя вообще не вижу. Слава богу.

— И не чувствуешь?

Горло схватил новый спазм — будто удавку затянули. Вера пыталась заплакать, чтобы эта дрянь вышла из неё со слезами, но зараза сидела крепко — вцепилась всеми лапами.

Если честно, она и вправду изменилась.

Зависть матери к чужому ребёнку — вот как теперь её звали. Она была страшнее капричос Гойи, толще самого пухлого из персонажей Ботеро¹ и посильнее «Фауста» Гёте.

¹ Фернандо Ботеро Ангуло — колумбийский художник, скульптор, работающий в технике фигуративизма.

Все эти годы Вера жалела Евгению, сочувствовала, как брошенной кошке — когда выносят на лестничную клетку молоко в блюде, но в дом и в душу не пускают, а то ведь не отстанет. Но молоко всё равно выносят и гладят двумя пальцами, чтобы не схватить ненароком блох или стригущий лишай. Лару же свою обожала, оправдывала, охраняла — и ещё сто разных «о». Да, что-то в ней пугало, а что-то — напрягало, но все эти «что-то» проходили по разряду допустимых вариаций. Идеальные дети — они же только на картинке, в реальной жизни всё обстоит несколько сложнее и куда как трагичнее. Всерьёз сравнивать между собой Евгению и Лару в пользу первой Стениной и в голову не приходило. Лара лучше во всём, и это даже не обсуждалось. Точнее, обсуждалось с мамой, но редко. Старшая Стенина любовалась Ларой в режиме нон-стоп — с каким аппетитом ест, как легко засыпает, как мило смеётся — да разве есть кто-то лучше тебя, моя пампушечка!

— Ну ба-а-ба, — сердилась Лара, которой бабушкины объятия мешали смотреть телевизор или заворачивать «Барбию» в кусок фольги.

— Ты её запекать что ли, собралась? — тряслась от смеха бабушка и получала от внучки шлепок по руке со всей силы.

— Ай-ай-ай, — жаловалась старшая Стенина. — Тебе совсем меня не жалко, Ларуся?

— Иди, баба, — говорила Лара. — Иди в ямку!

Это она недавно увидела на улице похороны — бабушка объяснила, что гробик сейчас увезут на машинке на кладбище (если бы можно было и это слово уменьшить и приласкать с помощью суффикса — она бы стопроцентно это сделала) и закопают в ямке.

— Ишь ты, — в шутку сердилась бабушка. — Смотри, Веруня, какая она наблюдательная! И красивая — не то что Юлькина Женька, два ребра! — С возрастом в словах старшей Стениной всё явственнее звучали народные мотивы — раньше она была куда как изысканнее в речах.

А Вере и не нужны были мамины свидетельства. Евгению следовало жалеть, ей нужно было помогать — хотя бы потому, что, если человека угораздило родиться у такой матери, как Копипаста, ему нужно помогать непременно. Но фото на Доске почёта в гимназии и слова лакированной училки будто бы показали Вере обеих девочек с другой стороны. Оказывается, Евгения хорошо умела делать то, чего не могла сделать Лара. И причина этого, с болью сознавала Стенина, не в возрасте и не в условиях для развития. Причина исключительно в том, что Евгения — это Евгения. А Лара — это Лара.

— Ну да, — зевнула мышь. — Ты всё правильно понимаешь. Давай, ложись спать — завтра у нас много дел.

— Завтра я проснусь, и тебя не будет.

Мышь не ответила — спала. Храпела не хуже бульдога. Стенина вдруг выскочила из комнаты и сгребла Лару в объятия. Получилось не с первой попытки — во-первых, Лара была та ещё тушка, во-вторых, она так визжала, вырываясь, будто её несут, как Жихарку, в печку. По телевизору очень уместно показывали тот самый мультфильм.

Стенина целовала Лару в щёки, в лоб, в волосы, получая при этом кулаками по лицу, и всё равно целовала как безумная, приговаривая:

— Я так тебя люблю, Лара! Очень сильно люблю! Ты, главное, всегда помни, что я тебя люблю — а остальное мы победим! Или купим!

Слово «купим» малышка расслышала. Она его хорошо знала и любила, это слово. Поэтому перестала молотить маму кулаками, сползла на пол, как тяжёлая шуба, и уточнила:

— Купим ещё одну Барбию?

— Конечно, Лара, купим. Скоро у тебя день рождения.

— Я тебя тоже люблю, — догадалась наконец Лара сказать нужные слова. И дальше стала смотреть мультяшечку про Жихарку, которому втайне желала скорейшей гибели в печке.

Наутро Вера проснулась как в тумане. И даже не пошла в тот день навещать картины, чем невероятно раздосадовала Евдокию Карловну с «панамками». Мышь внутри гнездовалась, обустранивая долгий постой. Спасибо уже на том, что она больше не разговаривала с Верой — видимо, вчера вечером всё было очень плохо, а сегодня — просто плохо.

Где-то через месяц после дня рождения Лары — Юлька с Джоном подарили ей мешок «киндер-сюрпризов» («На яичницу», — сказал Джон), Вера — «Барбию»-русалочку, а женщины в музее — книгу про каслинский чутунный павильон, которой при желании можно было уложить кого-нибудь насмерть (а без желания — сделать то же самое случайно), Вера начала задыхаться не метафорически, а в самом что ни на есть неприглядно-физиологическом виде.

К немногочисленным талантам Стениной принадлежал в том числе и такой: она умела замечательно точно описывать болевые ощущения и подозрительные симптомы. Врачи её по этой причине обожали — и взрослые, и педиатры. Вот и сейчас Вера сразила отоларинголога, с порога выпалив:

— В горле как будто кусок кошачьей шерсти застрял и не проглатывается!

Врач после такой прелюдии даже слегка растерялся. По его просьбе Вера сказала: «А-а-а», позволила осмотреть нос и уши.

— Ничего подозрительного не вижу, — признался врач. — Иногда бывает, что такую реакцию дают грибковые заболевания. Возьму мазок, проверим.

Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, — думала Вера, забирая через неделю результаты анализов. Как и ожидалось — ничего не нашли.

— Это *не моё* заболевание, — заявил лор. — Сходите к терапевту, может, он что посоветует?

Терапевт велела сдать кровь на инфекции и отправила Веру к онкологу, который выглядел очень странно: длин-

ные волосы, подбитый глаз (бурная тайная жизнь?). Онколог предположил, что у Веры, возможно, особое строение позвоночника.

— То есть это позвоночник торчит у меня из горла и мешает глотать? — Вера не поверила бы своим ушам, но уши у неё были в полном порядке, как недавно выяснил лор.

— Ну, не совсем так... Хорошо, раз вы настаиваете, я выпишу направление на анализы, — заявил врач, воинственно почёсывая фингал под глазом.

Вера не настаивала, но сдала и эти анализы, и опять — ничего не нашли.

Комок в горле между тем не исчезал, и Стенина решила, что ей надо просто смириться с ним — живут же люди с привычной болью, вот и она, наверное, сможет. Иногда ей удавалось ненадолго забыть о том, что в горле сидит невидимая дрянь — и тогда жизнь была почти сносной. Сносу ей не было, этой жизни!

Накануне Лариного первого сентября Стениной приснился ещё один сон про серолицую девочку.

— Это *она* из тебя лезет через горло, — шёпотом сказала девочка и засмеялась Лариным смехом. — Зависть стала больше тебя — теперь её нужно родить!

Вера проснулась совершенно мокрой от пота — и вспомнила, как просыпалась шесть лет назад такой же мокрой от грудного молока. Мышь внутри плясала и пела — предвкусывала долгие годы школьного счастья.

Учительницей в Ларином классе оказалась та самая пятидесятилетняя дама с буратынским голосом — Алла Леонтьевна. Она сделала вид, что не узнала Стениных, хотя у Лары был самый большой и нарядный букет. Евгения подбежала к Вере, прижалась как маленькая. У неё тоже был симпатичный букетик — мелкие розочки.

— Женечка! — рассиялась Алла Леонтьевна. — Это твоя мама?

— Нет, — потупилась Евгения. — Моя мама вон там, — и предательски точно указала на Юльку с Джоном, которые с удовольствием курили у школьной калитки, похожие на дерзких старшекласников. Алла Леонтьевна притушила сияние, и тут как раз началась праздничная линейка. Вера с трудом отцепила от юбки Лару, которая никак не хотела *строиться вместе с другими ребятками*. Потом послушалась, но, уходя, оглядывалась на Веру с таким несчастным видом, что у Стениной внутри всё просто взорвалось от жалости. К несчастью, на мышшь этот взрыв никак не повлиял.

Директор гимназии был пригожий мужчина с небольшой лысинкой, похожей на пятно, которое продышали в морозном стекле трамвая. Он степенно прошёл к микрофону, заговорил — и Вера вдруг почувствовала, что сейчас расплачется. Со стороны могло показаться, что её растрогала речь директора, и вполовину, кстати, не такая пригожая, как он сам. Но не было никакой стороны — никто не смотрел на Стенину, которая давилась и кашляла слезами. Как давным-давно заявила кому-то сама Вера — *я плачу редко, но метко*. Старшая Стенина, кстати, тоже заливалась слезами, не забывая, впрочем, бдительно отслеживать перемещения Лариных бантов — первоклассников вели парами будущие выпускники, и маленькой Стениной, конечно же, достался самый неприглядный. Лохматый, в прыщах и без галстука. Наверное, второгодник, подумала Вера, глотая свои глупые слёзы. Интересно, в таких гимназиях бывают второгодники?

После линейки родителям первоклашек велели дожидаться окончания первого и единственного в тот день урока. Юлька с Джоном уже исчезли — он в тот же день улетал в Москву по делам.

Чем в точности занимается Джон, Вера не знала — и подозревала, что этого не знает даже Юлька. Слова «заказ», «проект» и «контракт» звучали в его речи чаще, чем даже слова-паразиты, какие водятся и у самых обра-

зованных людей. Возможно, Джон просто сшибал где-то деньги от раза к разу, потом перезанимал и отдавал — предвосхитив тем самым кредитный стиль жизни нулевых лет. Питались Юлька и Джон впечатляюще — как-то в августе Стенину потрясла картина подругиной кухни. И вполонину не доеденный арбуз Юлька безжалостно выбросила в мусорное ведро, туда же следующим рейсом отправились банки с какими-то паштетами и кусок сыра, который бережливая Вера поймала буквально в воздухе — прихлопнула, как кошка бабочку.

— Смотреть уже не могу на этот сыр, — призналась Копипаста.

У неё проявлялись замашки богатой дамы и были ей к лицу. Вера спросила у мыши, будут ли они с ней завидовать Юлькиному достатку, но ответом её не удостоили. Значит, не будут. Стенину приметы чужого богатства никогда особенно не беспокоили. Вероятно, её зависть тоже на свой лад ущербна — и в стае других таких мышей её сочли бы изгоем. Мысль эта Вере понравилась. Привыкнув жить с куском в горле, можно привыкнуть и к жизни с чувством-мутантом.

В продуктовом магазине для богатых, «СВ-2000» на улице Малышева, Юлька покупала невиданные пельмени ручной сборки, зимнюю клубнику (есть которую, по мнению Джона, можно было только с сахаром, а лучше — с клубничным вареньем) и модный десерт девяностых — йогурты. Наблюдая эти загулы, Вера вспоминала о пионерском лагере, в котором они с Юлькой провели когда-то счастливую, но очень голодную *смену*. Одна девочка из отряда после отбоя вкушала под одеялом столовский хлеб с зубной пастой. Ах, детство! Вера тогда тоже пускалась в гастрономические эксперименты — однажды разжевала толстую ягоду шиповника, похожую на красную медузу, и обожгла язык шерстяными, колючими семенами. В тот день как раз приехала мама с «передачей» — привезла печенье «Шахматное», конфеты «Москвичка» и яблоко.

Перед отбоем вожатая взяла чертёжное перо — и, подцепляя им кожуру, сделала из яблока прелестного ёжика, правда, иголки у него были ржавыми. Вера доставала одну «иголку» за другой, а потом сжевала всё яблоко целиком, вместе с семечками. Девочка, которая ела зубную пасту, объяснила Вере, что в яблочных косточках содержится синильная кислота и от неё умирают — Стенина проплакала всю ночь, ожидая смерти. На соседней койке крепко спала Юлька и во сне чмокала губами, как будто тоже ела яблоко. Или целовалась с кем-нибудь во сне — наяву они обе тогда ещё не пробовали.

Пока мышь отсутствовала, Вера много раз собиралась признаться Юльке, что смертельно завидовала ей с седьмого класса — но так и не собралась, а теперь это было бы как явка с повинной после убийства.

Мышь между тем развлекалась вовсю, наблюдая, как Лара пытается учиться — у неё не получалось почти ничего. Разве что на физкультуре она блистала, если можно, конечно, поставить рядом два этих слова — «физкультура» и «блистать». Прописи были в помарках, учительница — в недовольстве, Вера — в отчаянии.

Евгению перед самыми осенними каникулами наградили грамотой «Гордость школы» и приняли в школьный хор солисткой. Ясный голос, абсолютный слух. Как будто это у неё бабушка — гениальная пианистка, горевала Вера, пряча с глаз долой нотные тетради, купленные в далёкие счастливые дни.

Глава четырнадцатая

Грустная возлюбленная мёртвых, она
ненавидит живых.

Вальтер

Рентгеновский снимок — истинный портрет человека, думала Стенина на пути в кабинет к рыжему доктору. Ничем не приукрашенный портрет — ни кожей, ни мыслями. Снимок просох не полностью, но Стенина так торопилась, что передала это чувство врачу рентген-кабинета — и та вынесла его в коридор, сама себя удивив неподобающей скоростью. Вера с интересом разглядывала свой череп, но в этом интересе ей было далеко до рыжего доктора. Он прямо-таки вцепился в снимок, как будто это было сообщение о наследстве, которого доктор ждал целую жизнь.

— Всё в порядке, — не без разочарования заявил он минутой спустя. — Сейчас выпишу справку, и пойдёте. А, кстати, далеко вам идти?

— В аэропорт, — усмехнулась Вера.

— О! — обрадовался доктор. — Какое приятное совпадение. Я живу на Тверитина, могу подбросить. Это небольшой крюк.

Вера представила себе этот крюк от улицы Тверитина до аэропорта Кольцово и решила, что у доктора отсутствуют даже минимальные способности к логистике и географии. Хотя направление он указал в целом верное,

да и вообще человек приличный — помочь предлагает, и, кажется, искренне. Со времен незабвенного инвалида, который пытался её «завезти», Вера ни разу не сталкивалась с его последователями, и к тому же смешно подумывать, будто бы рыжего заинтересовала раненная в голову немолодая женщина *в этом смысле*. Голова обвязана, кровь на рукаве, фигуру свою Вера давным-давно зевнула, — как в шахматах зевают ферзя, а насчёт лица у неё и в юности были сомнения, не то что сейчас. В общем, она сказала:

— Это было бы очень мило с вашей стороны.

— У меня как раз дежурство окончилось, — объяснил рыжий. И попросил подождать его *буквально пару минут*.

Вскоре они уже сидели в его машине, довольно-таки чистой. Доктор попросил звать его Сергеем, Вера согласилась. Почему бы и нет, если его и вправду так зовут.

— А можно просто Серёжа, — улыбнулся рыжий. И вот это Вере уже не очень понравилось.

...Первую серьёзную любовь Евгении тоже звали Серёжей, но домашним именем его было Озя. Каким-то образом обращение «Озя» проникло в школу и укрепилось. Вера считала выбор Евгении крайне неудачным. Озя был мелкий и вертлявый, как дворник, моющий заднее стекло машины на максимальной скорости. От одного взгляда на Озю у Веры начинало плыть в затылке. А вот Евгения — влюбилась.

— Он очень умный, тётя Вера. Он любит книги.

Представить Озю с книгой было нелегко — он бегал, орал, крутился на месте волчком, ронял стулья, в общем, делал всё, за исключением того, чтобы тихо сидеть с книгами. Возможно, он любил их на расстоянии.

Евгения ходила за своим Озей, как на невидимом поводке. Мышь надрывалась:

— А учится-то всё равно лучше всех. И поёт, рисует! Не то что наша дурочка.

Бедняжка Лара все свои первые каникулы пролежала дома с ангиной — участковая врачиха сказала, что это

ещё и реакция на непомерные нагрузки в школе. Старшей Стениной такая версия приглянулась, и теперь она постоянно рассуждала о том, что ребёнка угробит такая учёба. Лучше бы Веруне *не выпячиваться*, а отдать Лару в обычную школу — вот хоть в бывшую свою двести шестьдесят восьмую. Вера, как ковбой из вестерна, напрягала жевательные мышцы, но молчала — теперь ссориться с мамой было нельзя. Именно мама сидела с Ларой, пока Вера пропадала в музее — потому что ей пришла в голову мысль взять, наконец, карьерную высоту. Ну, или хотя бы попытаться сделать первый шаг, с которого, как считают китайцы, берут отсчёт любые расстояния.

Вот о чём думала Вера, уставившись невидящим, как у занятого официанта, взглядом в чугунный павильон, и обращая к нему всю мощь своей мысли. Родители, которые бросают все силы на успехи детей, как правило, сами по себе ничего не представляют. Юлька, как бы ни пыжилась со своим еженедельником, ничего особенного там не сделала. «Не Вере такое говорить», — считал каслинский павильон. Но Юлька ведь и вправду даже писать толком не научилась, несколько раз сама же со смехом рассказывала о том, что ответсек ею недоволен — слишком много слов, слишком мало смысла. Вот почему Юльке так хотелось, чтобы Евгения стала успешной — детскими ручками Копипаста начнёт загребать себе славу, которой обнесли её самоё. «Жёстко стелешь, — крикнул павильон. — А что же Лара тогда в арьергарде? По твоей логике, у такой женщины, как ты, должен быть просто суперуспешный ребёнок!»

А я, разозлилась Вера, ещё успею сделать себе имя, будь спокоен, чугунок! «Да я и так спокоен, — загрузил павильон, — сколько лет уже на одном месте. Хорошо хоть собрали — а то годами лежал разобранном по ящикам после той выставки... В Париже-то все любовались, купить хотели...»

Вера не вслушивалась в старческое бормотание павильона — она лихорадочно строила планы скорейшего взлё-

та. Где строить валётную площадку и с каким материалом работать, Стенина не знала — но голь на выдумку хитра. В заначке — три года учёбы в университете и значительный стаж близкого общения с картинами, но кому всё это может понадобиться?

Евдокия Карловна уже дважды прошла мимо Веры покашливая — но та не понимала намёков, увлечённая смелыми мыслями.

Во-первых, решила Вера, надо вернуться в университет. Она ведь так и не довела тогда до конца начатое дело — нашла работу, а планы доучиться оставила. Во-вторых, разобраться с треклятой завистью. Недавно мама рассказывала про знакомого врача-психолога, которая одновременно с этим ещё и знахарка, и чуть ли не экстрасенс. Вот и пойти к ней — хоть что-то из врачихиных умений, да сработает. Вера не любила экстрасенсов, но китайцы правы — надо с чего-то начинать.

Начала с университета. Восстанавливаться оказалось делом канительным, но Вера в последние несколько лет поневоле усердно работала над теми душевными мышцами, что отвечают за стойкость и терпение, и теперь могла поигрывать ими не без удовольствия. Её приняли на вечернее, и сначала пришлось изрядно напрягаться, чтобы заставить себя ходить на лекции — но в целом она довольно быстро вписалась в процесс. Главное — дипломная работа, как ей объяснила милейшая сотрудница-методист, странным образом запомнившая ничем не примечательную бывшую студентку.

Тема дипломной работы — «Ужин для каннибалов»: разрушение канона тела в творчестве Гюстава Курбе», продолжение давно забытой курсовой «Реализм Гюстава Курбе: натурализм видения и символизация изображений».

Творчество Курбе Вера всё так же не любила, кроме того, её целиком захватило другое исследование — собственной зависти.

То ли возвращение в университет стало тому причиной, то ли просто пришло время выяснить, наконец, отношения с угнездившейся внутри заразой — но Вера вдруг пожелала узнать всё, что только можно было, об этом позорном чувстве. Как любой студент, неважно, сколько ему стукнуло, она пошла стандартным путём — рыскала по закоулкам чужих премудростей с помощью университетской библиотеки. Великие умы охотно делились с Верой мыслями, которые она выписывала в специальную тетрадку. Шеридан с порога заявил, что «нет другой страсти, так прочно укоренившейся в человеческом сердце, как зависть». Стениной понравилась откровенность Шеридана — сразу ясно, что с этим чувством злоязычный ирландец был знаком не понаслышке. Вопрос только в том, на какой он при этом пребывал стороне: Шеридан завидовал или же завидовали Шеридану? Вера не сомневалась в том, что признаться в собственной зависти («страсти робкой и стыдливой» — спасибо, Ларошфуко) способны немногие — этого чувства принято стыдиться безо всяких оговорок. Но и рассуждают о нём умные люди с упоением, кого ни возьми — всяк высказался. Ницше снисходительно объяснил Вере понятие «ресентимента» — бессильной зависти к врагу. И не стоит, фрау Вера, обманываться «сентиментальным» звучанием термина — ничего общего, какие уж там сантименты. Ещё одно милое слово — Schadenfreude, «злорадство», — споркнуло со страниц очередной книги: Schadenfreude лучшая подруга зависти, с которой летучая мышь могла бы подолгу пересвистываться по вечерам, как это делают подружки по телефону.

По-латыни Верина мышь-зависть звалась *invidia*, но это красивое имя не оправдывало роли, которую ей отводили в христианстве. Один из семи смертных грехов, по мнению Канта, — худший из прочих. Из недолгого университетского знакомства с великим философом Вера помнила только про звёздное небо над головой и нравственный закон внутри. Сейчас, сунув нос не в торопливую шпаргал-

ку, а в «Метафизику нравов», Стенина узнала, что зависть принадлежит к тому же отвратительному семейству, которое произвело на свет неблагодарность и Schadenfreude. Увы, Кант был беспощаден к завистникам, поэтому Вера не стала его дочитывать.

Овидий заявлял, что зависть живёт в грязи и мраке, а питается — змеиным мясом. Это вполне походило на Верин случай, вот только, кажется, змеи любят полакомиться рукокрылыми, а не наоборот. Надо бы спросить у специалиста. В описании Овидия зависть выглядела отталкивающей: «Худоба истощила всё тело, прямо не смотрят глаза, чернеют зубы гнилые; Желчь в груди у неё и ядом язык её облит».

В изобразительном искусстве зависть представляли в облике костлявой старухи с отвисшей грудью. Косоглазая, со змеюкой в руке, эта аллегорическая зависть пожирала самоё себя. Кроме того, на роль зависти часто приглашались громадная собака, змея или скорпион, а также, обрадовалась Вера, летучая мышь — потому что она, как и зависть, не переносит дневного света.

Стенина обрадовалась, ещё и вспомнив о том, что среди завистников прошлого — пусть и мифологических — бессмертные боги. Как же она могла забыть про «инвидию» богов! Олимпийцы всем скопом завидовали Прометею, да и по отдельности — Гера, Гермес, Аполлон, Венера — гнобили неудобных им талантливых, хвастливых или же просто очень красивых смертных. Прародитель Адам тоже пал жертвой зависти ангелов. Да и Шекспиров «Отелло» — история не ревности, а в первую очередь зависти.

Всё дальше уносило Веру по книжному морю, Гюстав Курбе стоял на берегу и безутешно махал рукой, в которой был крепко сжат целый букет кисточек. «До свиданья, господин Курбе!» — кричала ему Стенина: с ней говорили Аристотель и Бэкон, Чосер и Мильгон, Мелвилл и Олеша, Шелер и Шопенгауэр. И хоть бы один из них попытал-

ся оправдать завистника! Лишь Кьеркегор признал, что зависть — это на самом деле восхищение.

Когда берега окончательно скрылись из виду, Вера устыдилась, решив вернуться к заброшенному диплому. Два своих законных выходных она просиживала в библиотеке, выдавливая из себя диплом по капельке, как раба. В музее тем временем её решили повесить — и перевели в залы, где проводились временные выставки.

Ещё пару месяцев назад Веру это обрадовало бы — ей в равной степени осточертели и каслинское чугунное литьё, и то, что через её зал ходят все подряд: он был основным, но проходным. Теперь же в её владении оказалось сразу три небольших зала. Планировка анфиладой или, по менее изысканному выражению старшей Стениной, «вагончиком». Недавно бабушка приходила с Ларой «на работу к маме», но особой радости это никому не доставило. Вначале Лара, как всякий ребёнок, впечатлилась музейными просторами и начала носиться по каслинскому залу, неинтеллигентно повизгивая. Коллеги умиляться не спешили — у всех «стульчаков» присутствует врождённая неприязнь к шумным детям, а Лара была в тот день особенно в ударе. Вера с огромным трудом стреножила свою лошадку, пообещав ей мороженое и двойную норму мультяшек. Подкуп и шантаж — два педагогических приёма, которые всегда действуют.

Лара притихла, потом — захныкала. Смотреть на павильон и девочку в бусиках ей было скучно, рисовать она не любила... Каучуковый мячик Вера от греха спрятала — и теперь машинально крутила его в кармане. Бабушка тоже довольно быстро притомилась — она интересовалась главным образом живыми людьми и, как любой кадровик, считала, что отменно в них разбирается. Предметы же ей нравились только полезные — а куда приспособить этот громадный павильон или здоровенную «Россию» с мечом? Разве что подарить на юбилей директору завода, решила про себя старшая Стенина. Ей, впрочем, хватило

мудрости не делиться этой идеей с Веруней — в последнее время дочь стала такой раздражительной, что кидалась даже на самое невинное слово.

В общем, и Стенины, и музей со всем своим содержимым, одушевлённым и нет, с облегчением выдохнули, когда Лара с бабушкой наконец-то удалились. Понятно, что Вере даже в голову не придёт повторять этот эксперимент — разве что будет интересная детская выставка.

Чаще всего выставки составлялись из того, что хранилось в музейных фондах — разбавляя *единицы хранения* работами, привезёнными из Перми или Тагила. Современное искусство прописалось в здании на улице Вайнера, а у Веры на Плотинке давали обычно *классику*. И вот теперь в музее готовили новую выставку. «Портреты девушек в цвету» — экспозиция работ выдающегося современного художника Вадима Ф.

Вера надеялась, что картины Вадима поедут на Вайнера, и в то же время боялась этого. В другом отделении музея она бывала редко, почему-то не любила тот квартал с его купеческим, въевшимся глубоко в кирпичи запахом денег. В детстве мама часто приводила Веруню в центральную зубную поликлинику, расположенную в том же квартале и пропитанную характерной лекарственной вонью, в равной степени страшной и гадкой. Лечили к тому же без обезболивания, и однажды Вера так намучилась в кресле, что с тех пор, стоило им только приблизиться к жёлтому зданию поликлиники, тут же крепко-накрепко закрывала рот руками. Как будто забивала окно досками крест-накрест. Мама пыталась отодрать ладошки силой, умоляла Веруню, плакала — всё без толку. Наконец догадалась — пообещала сразу после лечения купить игрушку в «Детском мире» на Вайнера, и тогда лишь дочь отлепила руки ото рта. Отныне схема работала неукоснительно — потом Вера узнала, что зубная поликлиника была накрепко связана с «Детским миром» в памяти всего её поколения. И всё же даже у самых замечательных игрушек — хотя

такие попадались не часто, в основном на полках «Детского мира» сидели редкие страшилища — был горький привкус боли, намокшей во рту ваты и ещё чего-то мерзостного. Поэтому Вера почти не играла с ними, но тащила мать в магазин «совроно» — так у неё звучало «всё равно».

Взрослая Вера вспоминала об этом с некоторым сочувствием к матери. От Лары ей теперь воздавалось и за «Детский мир», и за «совроно» — у девочки открылся печально-безошибочный вкус ко всему самому дорогому и малодоступному. Так часто бывает с бедняками, думала Вера, поднимаясь к своим залам, где вовсю монтировали новую выставку. Именно здесь, не на Вайнера.

Евдокия Карловна сообщила, что художник обещал быть на открытии, но об этом *нельзя говорить со стопроцентной уверенностью*, потому что у него проходит важный вернисаж в Париже, а работает он нынче и вовсе в Нью-Йорке.

— Зачем же мы ему сдались? — пошутила Стенина, но Евдокия Карловна серьезно ответила: ну как же, Вера Викторовна, ведь *мы его Родина*.

«Портреты девушек в цвету» — это было ироническое название. Многие персонажи, как выяснила Вера, вместе с директором, искусствоведом и другими «стульчаками» жадно разглядывая выставку *первыми в городе*, были давно уже не в цвету, а некоторые — даже и не девушками. Так, в числе представленных портретов обнаружилось три мужских, а один был, возможно, детским. «Возможно» — потому что ребёнок на портрете мог оказаться карликом, очень уж взгляд тяжёлый, да и одет мальчик на взрослый лад. Но женских портретов было больше. Вера искала между ними свой, а нашла — Юлькин. Не тот, что со спины, другой — лицо узнаваемое, хотя совсем ещё детское. Стенина вздрогнула, увидев Копипасту в раме на стене, а тут ещё Евдокия Карловна бесшумно подкралась сзади:

— Боже, какая красавица!

Картина называлась «Вечер встречи». Видимо, тот самый вечер, когда они выгоняли Веру из мастерской... Стенину тащило в портрет, как пылесосом — она снова слышала шёпот, смотрела на ромашки собачьих следов на снегу... Юлька была живой и тёплой, на рукаве — перо из подушки. Пахло вином и черносливом, на столе стояла пепельница в виде керамического сапога. Веру прижало лицом к прошлому — и она не знала, то ли вбирать его полными глотками, то ли бежать прочь.

— Я вижу, вам очень нравится эта работа, Вера Викторовна, — сказала Евдокия Карловна. — Но лучше не подходите так близко, а то сигнализация сработает.

Организаторы настояли, чтобы выставку обеспечили сигнализацией — судя по всему, с самооценкой у художника было очень хорошо. Как, впрочем, и с расценками — впоследствии Стенина видела каталог и узнала, сколько стоит одна картина Вадима. Ей, Вере, столько за всю жизнь не заработать.

Она шла от картины к картине против часовой стрелки. Думала о том, что заказные портреты можно узнать сразу — там изображены пусть и не всегда красивые люди, но такие, чтобы нравились самим себе. «Красивонькие», как выражалась Лара. Вера знала, что Вадим востребован как портретист и что это стоит «очень дорого». В таких случаях клиент имеет право рассчитывать на приятное зрелище, а не на шоковый удар от встречи с истинным взглядом художника на свою личность. Вот почему самыми интересными работами выставки были не заказные — их оказалось мало, но угадывались они безошибочно. Лучшими были «Вечер встречи», автопортрет с кошкой, три ростовых портрета одной и той же молодой женщины, отменно некрасивой и в той же мере обаятельной («Жена художника»). И ещё одна картина висела в дальнем зале — Вера шла к ней и чувствовала, как ноги с каждой секундой тяжелеют, будто бы в них стекает вся кровь разом.

Если Вадим и перекрасил «Девушку в берете», то незначительно. В ней что-то изменилось, но это *что-то* не нарушило и не испортило особенной прелести портрета. Наоборот — выделило эту прелесть в отдельное явление. Вера потёрла рукой лоб — его будто бы снова давил обручем тесный берет.

Надоедливая Евдокия Карловна пришлёпала следом и снова завела своё: «Какая красавица!»

— Вы находите? — спросила Вера.

— Это его лучшая работа, — сказала Евдокия Карловна. — Есть отдалённое сходство с вами, Вера Викторовна.

Стенина промолчала, но её сердце трепыхалось и звенело, как сработавшая сигнализация.

Выставку открыли строго в назначенный час, Копипаста в русалочьем платье с блёстками держала в одной руке бокал с колючим российским шампанским, а в другой — ладонь Джона. Вообще-то она прибежала в музей ещё до открытия выставки, ахала перед своим портретом, а Джон фиксировал это и на фото, и на видео. Теперь Копипаста явно готова была раздавать интервью и автографы, но из прессы, честно сказать, присутствовала только она одна. Журналистов открытие выставки заинтересовало меньше, чем перестановки в местном правительстве, которые свершились не раньше, не позже, а именно в этот день. Улыбка на Юлькином лице угасала вместе с надеждами, а Вера, глядя на неё, испытывала и resentment, и Schadenfreude разом.

О том, что и её портрет здесь же — правда, в дальнем зале, и так висит, что не сразу увидишь (вот Юлька, к примеру, не увидела, хотя и пробежала оживлённым галопом вдоль стен), — об этом Вера молчала с трудом, но и с удовольствием. Это чувство тайной правоты впервые появилось у Стениной той самой зимой. Внешне оно никак не проявлялось, считала Вера — да никто и не разглядывал её с каким-то особенным интересом. Разве что мама, но и она не замечала торжествующего взгляда, лёгкой

улыбки, кокетливого покачивания головой. *Делайте и говорите что угодно, а я – останусь при своём.* Удивительно сладким оказалось это чувство, мышь едва не растаяла в таком количестве сахара. Всё испортил наблюдательный Джон – притащил Копипасту за руку к «Девушке в берете», и та ахала за двоих. Вскоре в еженедельнике вышла статья о выставке, украшенная фотографией Копипасты на фоне «Вечера встречи». *Прекрасный снимок,* сказала Вера, хотя саму её в то время жгла совсем другая мысль – насколько живучая, настолько же и опасная.

Стенина решила украсть «Девушку в берете».

Глава пятнадцатая

Мне очень нравятся люди, которые остаются запертыми в музеях по ночам в недозволенное время, чтобы иметь возможность в своё удовольствие созерцать портрет женщины, освещаемый их мутной лампой. Разве не узнают они о той женщине значительно больше, чем известно нам?

Андре Бретон

Рыжий Серёжа молчал и как-то странно, на Верин взгляд, крутил руль — движения были суетливыми, как у кролика. Она уже двадцать раз пожалела, что согласилась с ним поехать — кто знает, чему он сейчас улыбается?

— Музыку? — спросил Серёжа. Вера отказалась. Неизвестно, какую в этой машине слушают музыку.

— Я люблю джаз, — признался рыжий, свернув на Луначарского. Площадь Обороны светилась красно-бело-синими огнями — изображала Елисейские Поля.

— Вера, вы не будете возражать, если мы на секунду заскочим ко мне домой, — сказал вдруг Серёжа. Всё в этом предложении было бы в порядке, если бы не отсутствие вопросительной интонации. Серёжа не спрашивал, а утверждал. — Я должен повидать кота, он уже сутки один.

«Милость к падшим, жалость к меньшим», — подумала Вера. Если бы Серёжа не стал ей вдруг так неприятен — за каких-то двадцать минут совместной дороги! — она могла бы даже обрадоваться: заинтересовала мужчину, врача, одинокого — иначе кот не тосковал бы сутки кряду. Но Вера не радовалась, а, если честно, тряслась от ярости.

— Я поймаю машину, — сказала Стенина. Когда она злилась, голос её становился звонким, как у пионервожатой на утреннем построении. — Не переживайте, вы мне и так очень помогли.

— Да это секунда! — Серёжа остановил машину рядом с длинным серым домом, близким родственником незабвенной девятиэтажки с улицы Серафимы Дерябиной. — Вот, я вам покажу фотографию кота. Смотрите!

Он действительно достал бумажник — упитанный, невольно отметила Вера, — и предъявил снимок кота за пластиковым окошком. У Копипасты за таким же точно окошком хранился снимок мужа, тогда как Вере привычка носить любимых в кошельке всегда казалась безвкусной. Кот, правду сказать, вызывал сложные чувства. Он был складчатым, лысым и мерзким даже на картинке.

— Его зовут Песня, — сказал Серёжа. — На секунду, ладно?..

...Ограбить музей в девяностых было делом, конечно же, не секундным, но всё-таки значительно более простым и быстрым, чем, например, в наши дни. Тем более — провинциальный музей. Тем более — если грабитель работает «стульчаком» и знает про сигнализацию.

Сразу после отключения системы следовало позвонить в милицию — если звонка не случилось, стражи закона придут к месту предполагаемого происшествия через пять-десять минут. Вот в эти минуты и следовало уложиться Стениной — отключить сигнализацию, добежать до нужного места, вырезать картину из рамы и покинуть место преступления. Вера замеряла время по часам — получалось, что хватит с лихвой.

Она долго пыталась гнать эти мысли прочь. Представляла себя в тюрьме, а маму с Ларой — в очереди с передачками (Лара в пуховом платке, повязанном крест-накрест, а мама — в перчатках с отрезанными пальцами). Видела стайку пожилых коллег, собравшихся вокруг Евдокии Карловны хороводным кругом — как будто у неё день рождения и надо петь «каравай», а на самом деле — чтобы выслу-

шать откровения свидетельницы, с которой «осужденная Стенина общалась теснее других». Вера могла вообразить, как шелестит газета «Вечерний Екатеринбург», где временами подрабатывала Копипаста — заметка на первой полосе будет называться «Как украсть себя». Вера, впрочем, надеялась, что при самом безнадёжном раскладе Вадим проявит великодушие и не станет подавать на неё в суд. Задача была — не сглупить и не оставить следов. Что же до моральной стороны вопроса, то её Вера целиком и полностью адресовала Вадиму. Картина принадлежала гражданке Стениной Вере Викторовне, 1971 г. р.? Да, ваша честь. Художник Ф. обещал сделать ей копию? Совершенно верно, ваша честь. Сделал? Даже не почесался, ваша честь. На табличке под «Девушкой в берете» аж на двух языках написано, что это *собственность художника*. Не свинство ли? Свинство, ваша честь.

План ограбления был простым, без затей. Накануне первого выходного — а Стенина отдыхала в понедельник и вторник — она, как обычно, сдала свои залы дежурному охраннику и искусствоведу, после чего, проверив сигнализацию и наличие предметов искусства, все разошлись по домам. Все, кроме Веры, — она дождалась, пока охранник Ванька — дебелый парень с выпуклыми глазами куклы — вернётся на свой пост и отхлебнёт домашнего компота из термоса. Компот ему каждый день варила заботливая мама, она же музейный кассир. Вера заранее позаботилась о том, чтобы обогатить вкус компота: раскрыла в ложке две таблетки снотворного, потом вспомнила фигуру охранника, прикинула вес и добавила ещё полтаблетки. Попробовала — почти не горчит. К полуночи, как утверждала болтливая кассирша, Ванька уже приканчивал компот, так что скоро она разорится на сухофруктах... Далее кассирша делилась рецептом пресловутого компотика, но эту часть Вера обычно пропускала.

Искусствовед — недавняя выпускница и давняя недоброжелательница всех «стульчаков» вместе и Веры Сте-

ниной в особенности — убежала ещё раньше шести. «Уси-дишь ли дома в восемнадцать лет», — думала Вера, глядя, как искусствовед в буквальном смысле слова бежала от ра-боты, как от чумы.

Камер в музее тогда ещё не было, и когда Вера, нако-нец, дождалась полуночи — а дождалась она её в туалете с книгой, — то решила, что в музее нет никого, за исклю-чением спящего Ваньки. Мышь вела себя по-человече-ски, почти не напоминала о себе. Дома Вера наврала, что заночует у Копипасты, а Юльке сказала, что идёт на сви-дание.

В три минуты первого Стенина тихо открыла туа-летную дверь и с облегчением вдохнула чистый воздух коридора. Запах в музейных туалетах был тогда не чета нынешнему — но если хочешь получить своё, будь готова к испытаниям не только душевным, но и чисто бытовым. Точнее, нечисто-бытовым.

На цыпочках Вера поднялась на второй этаж по тём-ной лестнице и тут же напугалась пристального взгляда дамы с портрета ван дер Влита — его недавно перевесили в коридор, и лицо дамы страшно освещал лунный свет. Она сказала что-то по-голландски, Вера не поняла, но веж-ливо кивнула — и, как вор, прокралась в первый из своих залов. «Waarom is “als”?» — покачала головой дама. — «По-чему “как”?»

Вера прокралась мимо «Вечера встречи», на ходу пока-зав язык прекрасной Юльке, так что та возмутилась: «Ты чего, Стенина, совсем уже?» Три жены галдели, как чай-ки, кот шипел, а Вадим насмешливо смотрел на воровку поверх очков с автопортрета. Картины источали аромат, жили и звучали, как оркестр перед концертом, — каждый инструмент подавал голос, но не было дирижёра, чтобы собрать нужные звуки в единую дивную музыку. И лучше всех, права Евдокия Карловна, лучше всех была «Девушка в берете» — Веру несло к ней так, что никаких больше сил не оставалось. Хватило их только на то, чтобы отключить

сигнализацию. Теперь по правилам следовало позвонить в охрану, но Вера, конечно же, не стала этого делать. Пока милиция доедет, её и след простынет.

В ночном свете «Девушка» выглядела иначе, чем днём, — у себя дома Вера её такой не помнила. В темноте музейной тишины прибывшая из неведомых стран и отвыкшая от своей хозяйки после долгой разлуки, «Девушка» смотрела на Веру виновато. Ни дать ни взять ребёнка, которого оставили на долгие месяцы с бабушкой — и теперь он не может решить, надо ли радоваться маме, или лучше будет по-прежнему сердиться на неё? Какое сияющее личико... Почему Вере никто не говорил, как она умеет сиять? Девушка в берете испуганно косилась на Стену — и не зря! В руке грабительницы торчал, как цветок на длинном стебле, отлично наточенный кухонный нож. Рама «Девушки» была слишком тяжёлой, и Вера не смогла бы дотащить её даже до выхода.

А что, если просто изуродовать? — мелькнуло внутри. Конечно, это была идея мыши, и для того, чтобы вдохновиться подобным предложением, нужно было обладать тщеславием Герострата или хотя бы шизофренией Бронюса Майгиса, облившего рембрандтовскую «Данаю» кислотой. Вере же всего лишь хотелось обладать портретом. Пусть его даже нельзя будет повесить на прежнее место, зато можно спрятать «Девушку» под матрас — именно так столяр Винченцо Перуджа поступил с «Джокондой». Об этом рассказывали на вводных лекциях, ещё на первом курсе.

Обладание обладанием, а сейчас главное — не промахнуться и вырезать холст из рамы так быстро и ловко, как умеют только артисты из фильмов о похищенных полотнах. Вера закрепила на лбу фонарик из детского конструктора — очень удобная вещь для тех, кто собрался ограбить родной музей. Она вспотела и мучилась теперь от запаха трусливого пота, который расходился волнами, будто круги от камня по воде. Картины не пре-

крашая лопотали, кот шипел, три жены возмущённо закатывали глаза. Вера прищурилась и воткнула нож в левый верхний край портрета — девушка отшатнулась к правому. Сияющее личико потемнело, она вдруг стала меняться быстро и страшно — так разноцветная тропическая рыба, которую выловили и бросили на палубу, стремительно теряет краски, которые уходят вместе с жизнью. Кажется, Вера видела об этом какой-то телефильм — в последнее время ей часто попадались передачи про животный мир, и взволнованный голос диктора чётко зазвучал в памяти. Портрет терял свое волшебство. Стенина вытащила нож, как из раны, и заплакала, утирая глаза рукой и начисто забыв о том, что рука — в перчатке.

— Эй, — громкий шёпот сзади. Наверное, очередной портрет никак не может утомониться.

Но тут Вере постучали в спину согнутым пальцем — вполне себе живым. Она обернулась, и лунный свет пробежал по ножу, словно играя гамму.

— Варвара, положи нож! — приказал обладатель пальца. И тут же добавил, словно извиняясь: — Это цитата.

— Я знаю, — дёрнула плечом Вера. — А вы кто?

Она стучала зубами как от холода, но на самом деле, конечно, от страха.

— Да я, знаете, мимо шёл, гляжу — музей открыт. Вот и решил заглянуть. Интересно ведь — как оно в музеях ночью.

Вере тут же стало всё ясно: Ванька приголубил снотворный компот задолго до полуночи и не успел закрыть изнутри музейную дверь. Ещё неизвестно, сколько бродит по зданию таких любопытчиков.

— Сейчас милиция приедет, — сказала Вера.

— Тогда пошли скорей!

Вера неслась по лестнице, как бегала только в детстве от потенциального насильника. В Юлькином подъезде на неё однажды польстился чужой усатый дядька, полез

под юбку, но Вера каким-то чудом вырвалась и убежала. Усатый сопел и мчался следом ещё лет десять — во многих Вериных снах. А сейчас за ней бежал любопытный ночной посетитель музея, не исключено, что тоже — насильник.

Ванька мирно спал, пуская слюни на газету с чайнвордом. Вера успела умилиться на бегу, после чего горло ей обжёг ледяной воздух Плотинки. Помчалась налево, к тем камням, по которым они с Юлькой и Бакулиной лазали вместе в третьем классе. На улице Воеводина хлопали дверцы машин и переговаривались мужские голоса. Милиция.

— Уф, — сказал ближайший камень голосом всё того же любопытчика. — Отлично бегаете, Варвара!

Они почти не видели друг друга, и в этом была бы своя прелесть, если б не свирепый холод, спустившийся на город этой ночью.

— Я домой, — сказала Вера. — Спасибо, что составили компанию.

— А я не тороплюсь, — отозвался невидимка.

Тут Вера побежала опять — мимо плотины, вверх по лестнице к Водонапорной башне, и — направо, по Пушкина, к Малышева. Нож она бросила по дороге в какую-то урну. Невидимка не отставал, Вера слышала его топот сзади и чувствовала себя школьницей на физкультуре, где её вновь обогнали все, включая толстую Бакулину.

Кашляя так, что можно было запросто выплюнуть лёгкие, Стенина вылетела, наконец, к троллейбусной остановке, где как раз готовился закрыть двери родной *номер семь*. Последний на маршруте и совершенно пустой, не считая, конечно, водителя. Вера вскочила на ступеньку — сзади её подсадила чужая рука.

Транспортное знакомство, опять.

— У вас есть абонементы? — церемонно спросил невидимка.

– Проездной, – прохрипела Вера.

Она села на «кондукторское» место, прижала сумку к груди. На спутника своего старалась не смотреть. Как от него отвязаться и надо ли?

Стенина вдруг поняла, что совсем его не боится – вот просто ни капельки!

– Как вас зовут-то? – спросил невидимка.

– Вера.

– Вервера! – развеселился он.

Троллейбус промчался через весь город и остановился на Белореченской, рядом с универсамом – хлопнул дверьми с каким-то вызовом. Вера вышла, не сомневаясь в том, что невидимка идёт следом.

– А вас как зовут? – спросила не оборачиваясь.

– Павел Тимофеевич Сарматов.

Это прозвучало так степенно, по-купчески, что Вера от души расхохоталась.

– А у меня-то что смешного? – обиделся Сарматов.

– Купец... – стонала от смеха Стенина. – Купец первой гильдии!

Теперь они оба смеялись как пьяные – с бабьими взвизгиваниями, слезами и стонами. Вера, всю свою жизнь презиравшая таких вот любителей *поржать* во весь голос, хохотала гиеной – и мышшь внутри тряслась, как при аварийной посадке. Сарматов, тот уже просто рыдал от смеха и вытирал слёзы шарфиком – белым, в соответствии с прошедшей модой.

При свете фонаря, когда успокоились, Вере удалось наконец рассмотреть его лицо – оно было без пяти минут красивым, и в нём точно не было ничего купеческого.

Опомнилась Стенина, когда они почти что дошли до её дома – а ведь по плану, актуальному ещё час назад, Вера собиралась припрятать картину там, где её точно не станут искать, – в бывшей квартире Лидии Робертовны. Эту квартиру на Бажова свекровь давным-давно как бы продала, но новые хозяева внезапно уехали за гра-

ницу и не подавали о себе вестей. Они заплатили ровно половину суммы, и пока суд да дело, за квартирой приглядывала Вера. Честно сказать, она надеялась, что свекровь оставит жилплощадь единственной внучке, но Лидии Робертовне столь банальное решение, судя по всему, просто не пришло в голову.

Вера намеревалась укрыть «Девушку в берете» на антресолях, среди старых пластинок в конвертах и ещё какой-то пыльной чепухи подходящего формата — сама бы она переночевала на диванчике и утром — на работу, как на праздник. У неё были припасены свежая блузка, бельё, колготки, и зубная щётка с пастой, и даже молочко для снятия макияжа. Неудачное ограбление и этот Сарматов с его шуточками сбили Веру и с толку, и с пути. Домой было нельзя — по легенде она же ночует у Юльки, а у мамы чуткий сон.

— Чёрт! — сказала Стенина, замерзшая к тому времени уже действительно до чёртиков. — Я перепутала, мне нужно совсем в другое место.

Они вернулись на Белореченскую, и Вера встала у дороги одна — так легче было поймать машину, на девушек извозчики реагировали молниеносно. Тут же клюнула едва живая от холода старая «Волга». Сарматов вышел из-за фонаря, занял переднее сиденье, и они помчались на Бажова. Город стоял тихий и робкий, присыпанный мелкой снежной пудрой аккуратно, словно большой пирог.

У Веры внутри всё приятно болело — так бывает от искреннего смеха. Она и сейчас хихикала, глядя, как тревожно смотрит на неё в зеркало пожилой водитель.

— Тут направо, — скомандовала Вера, и водитель послушно развернулся. — Вот здесь, спасибо, сколько с нас?

Сарматов платить не спешил, но Веру это не покорило — она в отличие от Копипасты вовсе не считала, что мужчина должен нести финансовую ответственность за всех женщин в округе. Расплатилась, и «Волга» уехала.

— Спасибо, что проводили, — сказала Вера.

— Не за что. А я разве не приглашён в гости?

— Боюсь, что нет.

— У вас там малина, да? Воровская сходка и делёж награбленного?

— Слушайте, Павел Тимофеевич Сарматов, я вас не знаю, вы меня — тоже. Спасибо, конечно, что не сдали меня милиции, но должны же вы в свои тридцать с лишним лет понимать, что я не могу пустить домой человека, с которым познакомилась час назад!

— Спасибо за тридцать с лишним, — Сарматов поклонился так низко, что с головы упала шапка. — Мне всего лишь двадцать восемь.

— И тем не менее. Даже если вы покажете паспорт, всё равно ответ «нет».

— Хотя бы телефон оставьте, Верверочка.

— Лучше я ваш запишу, — упёрлась Стенина.

Сарматов долго копался в кармане тулупа и в конце концов выкопал оттуда шариковую ручку, сине-белую, точно у школьника. На холоде ручка, понятное дело, писать не спешила — Сарматов долго и страшно дышал на неё раскрытым ртом, как дракон.

— На чём?

Вера подала руку, и он написал на ней шесть цифр телефонного номера — такого лёгкого, что можно было запомнить. Давить на кожу Сарматову пришлось сильно, потому что ручка работала плохо, но Вере было не больно, а всего лишь *чувствительно*, как выражалась мама, характеризуюя уж и не вспомнить какую физиологию.

— Обязательно позвоните мне завтра. Правда, это телефон соседей — попросите передать информацию для Сарматова.

Вера терпеть не могла людей, которые в отсутствие своих телефонов дают всем подряд соседские. Но вслух ничего не сказала и даже улыбнулась.

Сарматов дождался, пока Вера зайдёт в подъезд (чужой, разумеется), и пошёл со двора, то и дело оглядываясь. Вера минут двадцать согревалась, положив руки на батарею — и только потом решила перебежать в нужный подъезд. Во дворе было тихо, и снег под ногами приятно скрипел.

Она проспала до семи утра, а потом позвонила домой. Трубку схватила бодрая Лара:

— Мама, я вчера на улице видела ряженых и медведя!

— Как интересно! — зевнула Стенина.

— Вот только это не настоящий медведь! У него во рту было человеческое лицо.

Глава шестнадцатая

Ну и картина в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может.

Герман Мелвилл

Серёжа дёрнул за ручку дверцу машины — проверил, сработал ли замок. Он, безусловно, сработал, но доктор всё равно зачем-то обошёл машину кругом и подёргал ещё и за другую ручку. Возможно, это был какой-то ритуал. Из окна подъезда Серёжа вновь попытался взглянуть на свой автомобиль — хотя стекло замёрзло и ничего за ним видно не было.

— Вы прямо как молодая мать, — не удержалась Вера. — Впервые отпустила ребёнка во двор...

— Ну да, ну да, — засмеялся Серёжа, — сам знаю, это глупо, но я не люблю оставлять Тamarочку одну, без присмотра.

Кот Песня и машина Тamarочка? Вера зашла вслед за Серёжей в лифт, который поднимался здесь только со второго этажа. От Серёжи пахло, как от крупной дворняги, попавшей под дождь.

Возле двери с чеканным номером «29» доктор начал искать ключи в карманах, яростно чертыхаясь и заливаясь краской. С той стороны двери истошно орало невидимое чудовище — кот Песня, нелюбимый Верой заочно.

— Песенка! Потерпи немного! — приговаривал Серёжа, вставляя в дверь ключи.

Наконец темницы рухнули — и Вера увидела перед собой самое страшное кошачье существо, какое только мог создать человек в процессе усовершенствования природы.

Песня был голым и морщинистым, с глазами инопланетянина и хвостом крысы — словом, полный прискорбный набор внешних признаков. Вера не знала, что сказать: кот был ей неприятен, хозяин — пугал, но ей нужно срочно попасть в Кольцово, где вот уже три с лишним часа рыдает Евгения. И самый близкий на данный момент путь в аэропорт начинался для Веры отсюда — с улицы Тверитина. Так что обижать Песню, в общем, не следовало. Кот жаждал корма, Серёжа — восхищения.

— Какой... необычный, — Стенина выдавила из себя самое мягкое из всех определений, которые пришли ей на ум при виде Песни.

— Да, он особенный, — просиял Серёжа. — Снимайте вашу куртку, проходите в комнату. Сейчас, Верочка, я поставлю чайник...

— Ой нет, пожалуйста, без чайников, — запротестовала Вера (и ещё без «Верочек» бы, добавила она про себя). — Мне нужно в порт, я вам говорила.

— Понимаете, Верочка, я сутки был на дежурстве и очень хочу есть. Это всего лишь минута, — укоризненно сказал Серёжа. Он, судя по всему, принадлежал к той малознакомой Вере людской породе, что всегда добивается своего усиленным нытьём и долгой осадой. Сначала — котика покормить, потом — самому поесть. Потом, наверное, спать ляжет, и мне предложит рядом прикорнуть, — решила опытная Стенина. Кот Песня алчно ел корм, Серёжа набирал из кулера воду в чайник. Квартира, как успела заметить Вера, была чисто прибранной, но выглядела при этом странно. Как будто бы её аккуратно перенесли из советского прошлого — не растеряв по пути ни единой детали. Из коридора была видна стенка с хрусталём, в нише — телевизор, покрытый ажурным пологом.

Забор переплёттов Толстого и Чехова. Часы с маятником, на стене — ковёр. Диван-кровать со встроенными полками. И даже чеканка на стене — «Алые паруса». Самым современным в квартире доктора был кот — такие сейчас в моде. Вот и Лара недавно попросила купить ей лысого котёнка, но они сторговались на новом телефоне.

— Верочка, вы куда это? — Серёжа выскочил из кухни в красном фартуке с зелёной аппликацией. Тоже откуда-то из минувших времён.

— Мне правда пора, Серёжа. Извините.

— Это вы меня извините. Сейчас заверну нам с собой бутерброды. Любите сыр?

Он что-то жевал, и Вера вдруг поняла, что тоже голодна. Она уже давно не ела — при своей-то привычке ходить к холодильнику без всякого повода! Глядя, с каким аппетитом рыжий поедает чёрный хлеб с сыром, Вера подумала, что Евгения сможет подождать ещё чуть-чуть. Пять минут ничего не решают.

Ликующий Серёжа повесил на крючок Верину куртку и вернулся в кухню. Вера же зашла в ванную и убедилась там, во-первых, в несомненном Серёжином одиночестве, которое подтвердила сиротливая зубная щётка, похожая на ёрш для мытья посуды, а, во-вторых, в том, что время в этом доме остановилось повсюду. В ванной стояла стиральная машина «Малютка», на зеркале сохранилась пожелтевшая переводная картинка, а пол был выслан метлахской плиткой.

В гостиной Вера забралась с ногами на диван — к ней тут же пришёл кот Песня, долго гнезвился вокруг, потом прижался к её ногам и уснул, тяжело, не по-кошачьи вздохнув. На ощупь он оказался совершенно как голый человек с высокой температурой — это было и противно, и приятно разом.

...Вера не любила ночевать в квартире на Бажова — здесь водилось слишком много призраков. Но в это утро она прислушалась к себе — и поняла, что, кажется, сно-

ва счастлива. Точно так же она обычно понимала, что, кажется, заболела.

Посмотрела в окно — там рассветало с трудом и неохотой, как будто чёрную тушь разводили в воде. И день, хоть и настанет, всё равно будет не настоящим днём. Солнце, как лампа дневного освещения, и фонари кажутся особенно жёлтыми на этом белом свете. На белом свете.

Стенина приняла душ и долго смотрела на себя в зеркало без привычного отвращения. Вполне себе женщина. И не только себе, если потребуется.

Мышь затаилась, но Вера чувствовала — она здесь. Выжидает. Судя по всему, на зависть действовал единственный в мире яд — Верино счастье, очень редкое вещество. Но сегодня Вера, пожалуй, могла бы присыпать своё домашнее животное двумя чайными ложками этого лекарства.

В кухонном пенале (Лару очень смешило это слово применительно к шкафу) Вера обнаружила полбанки растворимого кофе, который сама же сюда однажды и принесла, а под окном в кладовке чью-то давнюю записку — пластиковый пакет с ценной валютой ранних девяностых — сигаретами. Они были уже, конечно, ни на что не годны — высохшие, просроченные и вдвойне теперь гадкие «Магна», «Бонд», «Конгресс», «Салем», но Вера была почему-то рада находке. Мало что так точно сохраняется в памяти, как дизайн сигаретных пачек нашей юности.

Уходя, Вера тщательно закрыла дверь на два замка, подергала её за ручку, а потом зачем-то снова открыла замки и прошла по всем комнатам. Тихо, пусто, на столе — выцветшие пачки сигарет, которые так уже никто и не выкурит. Почему-то ей не хотелось отсюда уходить, словно бы тут хранился обнаруженный вчера источник счастья.

Как же ей повезло, что ограбление не состоялось! О чём она вообще думала?

Полностью рассвело, когда Стенина добралась до музея — вышла остановкой раньше, чтобы повторить ноч-

ной маршрут. Мороз как будто бы тоже ещё не полностью проснулся и лютовал не в полную силу. В такую погоду, вспомнила Вера слова Геры, только и делать, что спать.

Гера, Гера... Мальчик с именем самой завистливой античной богини, любимый мужчина и Ларин отец (а я — Ларина-мать, «корсет, альбом, княжну Алину...» нектати пришло в голову Вере, всюду, где надо и не надо, играющей словами). Теперь, спустя годы, она каждый день вспоминала его, каждый вечер перед сном пыталась говорить с ним — и сама же себе отвечала. Как Лара, когда играла с *Барбией* — говорила и за неё, и за себя. Гера никогда не снился Стениной, и на могилу к нему она приезжала дважды в год — в день рождения и смерти. А вот мама, которая при жизни относилась к будто бы зятю сдержанно, смирилась с ним, как с неизлечимой болезнью, бывала там значительно чаще. Сажала на могиле какие-то цветы, что очень неохотно цвели в урочный час, брала с собой Лару и давала ей маленький веник — прибираться в «папином домике».

— Никто больше не ходит, — жаловалась старшая Стенина. — Все забыли. Даже мать забыла, ну как так, Веруня?

Однажды, поддавшись настроению, Вера поехала на кладбище без повода. Купила две хризантемы, которые уже выглядели увядшими — «такой сорт», пожалала плечами продавщица. На розы не хватило денег. Вера шла по дорожкам кладбища, к ней отовсюду сбегались местные собаки, привычные к тому, что их здесь все подкармливают. У Стениной не было с собой ни колбасы, ни косточки, поэтому разочарованные собаки — хвосты улитками — оставили их с Герой наедине.

Вера думала, вдруг она сможет расслышать его голос — как слышала голоса и звуки картин, но ничего не получилось. Был тихий день, начало августа, деревья вокруг шумели зрелой малахитовой листвой, и только одно из них — тополь, который ненавидела старшая Стенина, потому что с него по весне слетали жёлтые лип-

кие почки, *не отмоешь, с камня-то!* – только одно это дерево уже объявило вдруг, как войну, свою личную осень. Оно покрылось янтарными листьями, и часть из них уже лежала на сером камне ярким ковром. Мама тут же вымела бы дерзкие листья, но Вере они показались такими красивыми, что она решила принять эту маленькую осень в качестве подарка от тополя. Посидела на скамеечке у соседней богатой могилы – кто-то из бандитов, памятник в полный рост, ограда из чугунного литья. И скамеечка тоже чугунная, вся в цветах и стеблях, уральский ар-деко. Вера сидела сгорбившись и вслух, торопливо, как у постели больного, перечисляла достижения – свои и Ларины.

– Она совсем не похожа ни на тебя, ни на меня, – рассказывала Гере Стенина. – Особенная девочка. Ты не думай, что я без тебя счастлива – мне только вначале так казалось. Кстати, я теперь работаю в музее, представляешь?

Гера не ответил. Вера выкурила подряд две сигареты, уложила хризантемы поверх жёлтых листьев и ушла. Маме о своём походе рассказать забыла, и через неделю та встретила её ликованием:

– Веруня, у Геры кто-то был! Я сегодня ездила убраться и нашла цветы.

– Хризантемы?

– А ты как знаешь?.. Это ты, что ли? – Мама выглядела такой разочарованной, что Вера её пожалела и вместе с тем – разозлилась. Какое ей дело, ходит кто-то к Гере или не ходит? Люди быстро забывают тех, кто умер.

Вот, например, у Бакулиной недавно умерла мать – скоротечный рак. «У неё, кстати, был знак зодиака – Рак», – сказала Бакулина по телефону, когда звонила отметить – что приехала, но будет в городе только два дня, так что они не увидятся («хватит с тебя и звонка», перевела Вера). Потом выяснилось, что мать умерла уже давно и похоронили её, не дожидаясь Бакулиной, которая считала, что на похороны даже самых близких людей ходить

не надо, потому что это отнимает жизненную энергию. И на кладбищах делать нечего — она вот в Париже старается обходить стороной Пер-Лашез и Пасси.

— Больная, — сказала Юлька, обычно сдержанная в оценках поведения парижской подружки. В Екатеринбург Бакулина приезжала разбираться с наследством. Это, по всей видимости, энергию дарило.

...Снег сегодня был таким, что глазам тяжело смотреть, — больнично-белым. Да, снова вспомнила Вера, в такую погоду только и делать, что спать. Музей выглядел так же, как вчера, — не было видно ни ограждений, ни розыскных плакатов с Вериной физиономией. Стенина выдохнула остатки страха, бродившие в ней со вчерашней ночи, расправила плечи и вошла.

Первый же человек, которого она увидела в музее, бросился ей на шею и зарыдал, не размышляя о собственном весе и его соотношении с весом тогда ещё вполне стройной Веры Стениной. Та едва устояла на месте, машинально вцепившись в рыдающего человека — как седок в мотоциклиста.

Человеком, который рыдал, была кассирша, мать несчастного Ваньки. Вокруг волновалось небольшое, но при этом плотное море «стульчаков» под руководством Клары Михайловны. «Я просто решаю здесь некоторые вопросы», — вспомнилось Вере.

— Ой, вы же ещё не знаете, Вера Викторовна, — причитала кассирша, не выпуская Стенину из объятий. — Ваньку в милицию забрали, обвиняют в преступной халатности!

Вера ощутила себя роботом, заведённым на автоматическое похлопывание по спине и «ну, ну», которое следовало повторять с аккуратным интервалом. От кассирши пахло чем-то сладким, вроде пенек с клубничного варенья.

В дверях служебного входа появилась директриса — в длинной шубе из нутрии, с лицом тоже очень длинным, а в тот день ещё и дополнительно вытянувшимся. Кассир-

ша в ту же секунду ловко отклеилась от Веры и помчалась к директрисе, упав ей на грудь.

Вера превратилась из робота в саму себя и собралась было просочиться наверх, в свои залы — но тут же передумала. Сейчас нужно быть со всеми вместе. Тем более Клара Михайловна начала рассказывать — явно не в первый раз — о том, что случилось в музее ночью. Бестолковый Ванька уснул, не закрыв двери, и в здание проникли хулиганы. Стащить ничего не успели, потому что сработала сигнализация на выставке Вадима Ф.

— Спасибо ему большое нужно написать от лица всего музея! Он просто нас спас!

— Ведь могли бы и павильон, — ахнула Марья Степановна.

Этого Ваньку, продолжала Клара Михайловна, игнорируя скорбь кассирши, надо гнать отсюда в три шеи — с ним такое уже не в первый раз. «Стульчаки» кивали, и бессовестная Вера — со всеми вместе. Она догадалась, что никто ещё не видел испорченную картину.

— Сегодня в музее выходной по уважительным причинам, — объявила директриса. — Но для вас, коллеги, это ничего не значит. Милиция просила всех быть на месте, особенно тех, кто работал вчера вечером.

Вера, как все, ужасалась, прикладывала ладони ко рту и осуждающе морщила лоб — в общем, вела себя как образцовая единица античного хора, она же волк в овечьей шкуре. Шкура давила во всех местах и жала под мышками — кто бы мог подумать, что тайна будет так сильно рваться наружу? Стенина попыталась вызвать у себя жалость к невинно пострадавшему Ваньке, но ничего не вышло — охранник из него был никудышный и Верин проступок всего лишь приблизил трагический финал его карьеры. Мимо проплыла кассирша с термосом в руке, и Вера похолодела — а что, если остатки компота отправят на экспертизу? Что за фантазии, одёрнула она сама себя, мы же не в кабельном американском фильме. Как будто в ответ

на этот вопрос кассирша проследовала обратно с тщательно вымытым и прополосканным термосом.

Новость, так взволновавшая всех с утра, к обеду начала скисать. Обещанные милиционеры давно прибыли, но наглухо застряли в первом же зале, разглядывая каслинский павильон и записывая показания свидетелей. Вера дождалась очереди в выставочных залах — там было тихо, картины Вадима молчали, разобидевшись.

Она не сразу решилась зайти в третий зал. Ходила кругами, вздыхала, обнимала себя за плечи, как Наполеон. Наполеон-то бы на её месте не струсил! В конце концов — ох, уж этот вечный конец концов, когда же ты настанешь? — Стенина вошла в дальнюю комнату, зажмурившись, как впечатлительная личность на фильме ужасов. Девушка в берете, увидев Веру, затрепетала, словно рыбка в сетях — слава богу, живая! Надрезанный угол холста торчал из рамы так, что его легко заметил бы даже самый ненаблюдательный человек. Вера хотела вправить угол под раму, но вовремя вспомнила про отпечатки пальцев.

И тут её вызвали в соседний зал на допрос. Милиционеры притомились — тот, кто был младшим по званию и старшим по возрасту, просто изнемогал в этом музее, чьи работницы неприятно напомнили ему всех его школьных учителей разом. Вера следователи встретили подобранными животами и чем-то похожим на улыбки. Она подробно ответила на все вопросы. Да, была на месте. Нет, ничего подозрительного не видела. Да, ушла в обычное время. Нет, понятия не имеет, как такое могло произойти.

После Стениной вызвали искусствоведшу — её, юную хорошенькую, следователи не отпускали особенно долго. Мышь вяло зашевелилась внутри Веры, но решила не завидовать банальному триумфу молодости и красоты. Искусствоведша к тому же имела что сказать — по просьбе директрисы она только что осмотрела весь музей и не обнаружила никаких недостатков.

— А как же картина в третьем зале? — спросила Стенина. — Её пытались вырезать из рамы.

— Почему вы нам об этом не сообщили? — нахмурился старший по званию и младший по возрасту следователь.

— Так вы не спрашивали, — сказала Вера.

Вместе с ней, искусствоведшей и неизбежной Евдокией Карловной, которая цеплялась ко всем, как репей к штанам, следователи перешли в третий зал. Вера ругала себя, что не смогла промолчать — желание поставить на место ленивую девчонку-искусствоведа победило здравый смысл и чувство самосохранения.

— Работа любителя, — заявил младший-старший. Он так близко подошёл к картине, что девушка в берете закрыла лицо руками от страха.

— Сам вижу, — огрызнулся старший-младший. — Спутнули, видать. Художнику-то сообщили?

— Все работы застрахованы, — вмешалась искусствоведша, мысленно желавшая Вере Стениной провалиться, сдохнуть и растолстеть. Можно всё сразу.

— Ну, в общем, ясно, — подытожил старший-младший. — Налицо попытка украсть произведение искусства, но раз она не удалась, а произведение искусства застраховано... Кто-то из вас желает написать заявление? Или мы сразу — в дирекцию?

Желающие написать заявление никак себя не проявили.

— А эта, на картине, на вас похожа, — заметил младший-старший, выходя из зала. И Вера поняла, почему он — старший по званию.

Следователи торопились: прошлой ночью рядом с «Космосом» застрелили кого-то из криминальных авторитетов. Директриса проводила милицейских до выхода, а Вера пошла в приёмную, где было пусто — да здравствует день разброда и шатаний. Глянула на левую руку, где ещё можно было различить чернильные цифры. Первые две — 5 и 3, значит, живёт Сарматов где-то в районе

вокзала, об этом она подумала ещё вчера. Но позвонила не ему — Джону. Тот ответил, как Вере показалось, раздражённым голосом — так говорят люди, только что закончившие неприятный разговор и ещё от него не остывшие.

— А, это ты, — смягчился Джон. — Как себя поживаешь?

Была у него такая присказка — в первый раз она даже казалась забавной, но Джон ею чересчур злоупотреблял, как, кстати, и водкою в последнее время.

— Нормально я себя поживаю, — сказала Вера. — Слушай, откуда эта цитата: «Варвара, положи нож!»?

— «Мелкий бес» Сологуба. Неужели не помнишь?

Сологуб, к несчастью, прошёл мимо Веры и её образования — она вдруг увидела перед собой целый полк непрочитанных сочинителей. Буду догонять и читать по одному, решила она про себя.

— Спасибо, Джон. Скажи Юльке, я вечером зайду.

— Лучше сама скажи.

— Вы что, поссорились? — спросила Вера, но Джон уже повесил трубку.

Вера выглянула в коридор — там никого не было. Директриса ушла домой, да и остальные понемногу расходились. Секретарь пошла пить чай с Евдокией Карловной и Марьей Степановной. Искусствоведша закрылась в своём кабинетике с местным представителем Вадима, срочно приехавшим оценивать ущерб.

Стенина вернулась к телефону, покрутила на пальце витой шнур — он напомнил ей что-то давнее, счастливое. Да, Гера... Если бы она не стала вспоминать сегодня Геру, то сохранила бы утреннее счастье надолго, а теперь ей требовалось новая доза. Она набрала цифру «пять», потом — «три» и оставшиеся четыре цифры. Гудки в трубке звучали так гулко, будто кто-то играл на кларнете. Вера насчитала пять кларнетных гудков, потом бросила трубку на рычаги. Глупости всё это. Надо ехать домой, Лара ждёт и мама. Лара смешная — надо же, лицо ряженого артиста медведь держит во рту, как яблоко! Рассказать Юльке

с Джоном — они оценят. А этот Сарматов... Ещё неизвестно, что за тип. Вдруг донесёт на Веру или станет её шантажировать?

На лестнице Стенину поймала искусствоведша. Бисерный пот над губой — как бородавки.

— Хорошая новость, Вера Викторовна, лично для вас. Связались с Вадимом Гавриловичем, и он отказался от всяческих претензий. Сказал, ему даже лестно, что его работу пытались украсть и что если бы лично он воровал в нашем музее, то взял бы «Головку» Грёза.

— А почему эта новость хорошая лично для меня? — Вера сфокусировалась на первой фразе, хотя острога про Грёза ей понравилась.

— Ну, вы же так волновались за ту картину! — ядовито сказала искусствоведша.

Домой Стенина ехала, как в романсе — *душа была полна неясным для самой каким-то новым ... всё-таки счастьем!* Она повторяла в уме шесть цифр телефона, как будто это был пароль от сейфа, где оно, это счастье, хранится. Не обязательно звонить Сарматову сегодня — главное, не забыть номер.

Лара бросилась на шею, чуть не придушив маму от радости. Ручки у неё всегда были крепкие, не отодрать. С кухни уютно пахло блинчиками. Бормотал, временами вскрикивая, телевизор.

Как хорошо, что я дома, а не в тюрьме, подумала Стенина.

Тем же вечером, как выяснилось впоследствии, милиция отпустила без вины виноватого Ваньку. Мать-кассирша довольно легко устроила его охранником в новый коммерческий банк, с помпой открытый на улице Гагарина.

Глава семнадцатая

Сирионо, племя, ведущее крайне скудное существование группами от 15 до 25 человек, демонстрирует несколько замечательных поведенческих черт, которые можно объяснить попыткой избежать зависти соплеменников. Индивид обычно ест один и ночью, потому что он не желает делиться своей добычей с остальными. Если он ест днём, вокруг него немедленно собирается большая толпа людей, не принадлежащих к его семье (в узком смысле). Они смотрят на него с завистью.

Гельмут Шёк

Есть в компании незнакомого человека много такого, что мешает в его компании есть. Жевать, глотать, с удовольствием отхлёбывать чай и ставить чашку на блюдце, не беспокоясь, что звякнет при приземлении, — такое допустимо только в одиночестве или же с людьми, проверенными совместной трапезой. Пуд соли едят не только для того, чтобы лучше узнать друг друга, но и чтобы разобратся со всеми вопросами застольного этикета. Не зря, думала Вера, у многих народов поглощение пищи считается интимным процессом — с годами Стенина понимала эти народы всё лучше и лучше.

Как только она объявила чашке посадку, зазвонил телефон.

Копипаста. Не прошло и полжизни. Сколько пудов соли они с Юлькой съели за это время? Вера брякнула чашкой о блюдце, проглотила кусок сыра, как обиду, и ответила:

— Где тебя носит?

— Я только что от зубного, — печально сказала Копипаста. — На той неделе будут удалять ещё два зуба, а я недавно узнала, Верка, что у нас каждый зуб напрямую связан с участком мозга, ответственным за память.

Если её не остановить, Веру ждёт долгий и подробный рассказ.

— Юля, услышь меня! — взмолилась Стенина. — Твоя дочь сидит в аэропорту и рыдает так, будто у неё все в один день умерли.

— Евгения? — удивилась Юлька.

— Нет, не Евгения! У тебя сколько дочек?

Мысленно Вера дополнила этот вопрос саркастическим замечанием про зубы и участки памяти, но, к чести своей, сдержалась и только сопела громче обычного.

Серёжа смотрел на неё, как зритель на киноэкран — видно было, что ему хочется добавить громкости и слышать вторую героиню. Но как это сделать, Серёжа не знал и потому всего лишь страстно чесал за ухом у кота Песни, хрипевшего от счастья, будто удавленник. Никакого сходства с тем равнодушным врачом, который заполнял карточку и строго спрашивал у Веры, что случилось, — некоторые люди меняются быстрее, чем к этому можно привыкнуть.

— Этот абонент недоступен, — сказали вдруг в трубке. В ухо заколотились короткие гудки. Стенина надеялась, что Юлька всё-таки поняла её и уже едет в аэропорт к Евгении. Хотя та умоляла приехать именно тётю Веру, а на вопрос почему, начинала рыдать пуще прежнего.

Серёжа придвинул к Вере тарелку с бутербродами.

— Нет, — звонко сказала Стенина, опять включив пионервожатую. — Вот теперь точно — пора.

— Значит, пора! — отозвался Серёжа. Он унёс посуду в кухню, потом скрылся в дальней комнате и чем-то там недолго гремел. Песня смотрел на Веру с сонным отвращением.

Она натянула на себя пуховик, прислонилась к косяку, закрыла глаза и тут же открыла, почувствовав вблизи чу-

жое дыхание. Серёжа стоял к ней почти вплотную. Возможно, через секунду он попытался бы её поцеловать, но Стенина не стала дожидаться — и выскочила в подъезд, приговаривая: «Да что ж это такое!»

Серёжа бежал следом.

...Юлька позвонила дочери, но телефон у Евгении был выключен. Юлька попыталась снова набрать Верку — и этот номер был недоступен, причём в голосе автоматической женщины звучало явное злорадство. Анестезия ещё не отошла, губа горела, голова кружилась. Юлька ненавидела это состояние — когда пусть даже крохотная частичка тела становится нечувствительной. Но и лечить зубы без обезболивания — спасибо, этого ей хватило в детстве. Хорошо, что Евгении повезло с зубами — по сей день ни одной пломбы.

Вот интересно, почему даже в самой дорогой клинике врача бросает инструменты на грудь пациенту? Поковыряется у тебя во рту одним, берёт другой — очень неприятно, как будто ты стол какой-то. И замечание не сделаешь: во рту идёт работа.

Юлька прыгала с одной мысли на другую, как по ступенькам, — но общее направление выдерживала. Придётся ехать в порт, хотя совершенно непонятно, что там делает Евгения и почему она рыдает? Что случилось? Ни звонка, ни письма не было, а ведь Евгению нельзя назвать безалаберной. Наоборот, она вся такая собранная, правильная. Возможно, так проявилась немецкая кровь её отца — он рассказывал, что они были из переселенцев. Юльке тогда было неинтересно про семью, к тому же Саша не походил на немца — волосы как чёрное серебро, глаза — карие, иногда в лице и вовсе сквозило что-то восточное. Немецкую кровь смешали с мордовской и украинской, а в каких пропорциях — история умалчивала. Она всегда молчит о самом интересном.

Юльке сразу же было доложено: Саша счастливо женат, обожает детей и *супфузу*. Коль скоро жену называют

«супруга» — это тревожный признак, считала Юлька. Это значит, что отношения перешли в ту стадию, когда от людей, которые находятся в тех самых отношениях, уже мало что зависит. Ты можешь не любить *супругу*, но признаёшь, что она родной для тебя человек — и так будет всегда.

Саша был старше Юльки на десять лет, она получила его в первый же вечер, и в этом, собственно говоря, не было ничего нового. Новым оказалось то, что Юлька впервые в жизни почувствовала рядом с собой аромат сбывшейся мечты. Ей хотелось жить с этим человеком, а если не получится — хотя бы урвать от него кусочек на память. Кусочек Саши — как кусочек Луны, увезённый на Землю астронавтом. Как ни крути, он всё равно останется частью Луны. Сашина *супруга* никогда не узнает про Евгению, да что там — о ней не знал даже сам Саша.

Интересно, что Евгения ни разу в жизни не спросила про папу — хотя у Юльки были заготовлены байки про пожарного, про благородного бандита и классическая — про лётчика-космонавта. Зато Джон им интересовался постоянно — со временем это превратилось в главную тему для разговоров и в орудие убийства для любви. Так и не удалось им с Джоном дожить до того дня, когда муж и жена всерьёз называют друг друга *супругами* и становятся родными людьми, даже если давно не любят друг друга.

Так и не удалось...

Юлька не без труда нашла свою машину на парковке — в темноте не отличить от других, такой же, что у всех, угрюмый чёрный джип. Ереваныч, как ни странно, ещё в офисе, она позвонит ему позже, объяснит, зачем сорвалась на ночь глядя в Кольцово. Ему всегда нужно объяснять всё очень подробно — иногда у Копипасты голова кружилась от этих объяснений, как на карусели.

Вот зачем она вспомнила Джона? Даже уголовные дела списывают за сроком давности — а тут всего лишь любовная история с неприятным финалом. Память, будто

не слышала уговоров, разворачивала широкие панорамы картин из прошлого. «Надо вырвать все зубы и забыть», — подумала Юлька.

Джип стоял в пробке, вся Восточная замерла, машины собрались, как бусины на нитке.

...В тот год Лара Стенина бесславно училась в первом классе. Евгению записали в музыкалку — учительница пения сказала, что у девочки может быть *большое будущее*. Верка работала в своём музее и познакомилась с Пашей Сарматовым — при таинственных и, судя по всему, безнравственных обстоятельствах. Таинственность была налицо, а безнравственность Юлька вычислила самостоятельно — Стенина так мялась и бледнела, когда её пытались расколоть, что никаких сомнений не оставалось. Копипаста была за неё искренне рада — Верке если чего и не хватало всю жизнь, так это капельки безнравственности. Или какой-нибудь подлинки в характере.

Юлька старалась, как могла, привить Верке червивый черенок. Про себя придумывала истории: одна другой гаже, лишь бы Стенина поняла: почувствовать себя живой иногда можно только таким способом. Иначе засохнешь на корню. Верка этого не понимала, ещё и жалела подругу — за легкомыслие и недальновидность.

Сколько раз Юлька пыталась познакомить Верку с кем-нибудь — тем более эти *кто-нибудь* стояли в те годы буквально на каждом углу. Копипасте они были ни к чему, но и разбрасываться возможностями не хотелось. Может, Верке пригодится — вот Юлька и записывала телефон, имя-фамилию, место работы. Это всё равно, что увидеть платье в магазине — неплохое, но не совсем в твоём стиле и к тому же великовато. А подруге будет — в самый раз.

Верка отказывалась от этих *платьев* категорически. Она не любила одалживать вещи, никогда не стала бы донашивать за Юлькой надоевшие блузки и побитые сумочки — да она в них и не нуждалась. У Стениной всегда был хороший гардероб. Донашивать за подругой мужчин

Верка тем более не станет. Даже с условием, что Юлька и примерять их не думала — разве что понарошку. Вроде как девочки на уроке геометрии, забывшись, пишут на партах своё имя — и какую-нибудь чужую красивую фамилию.

Это было, впрочем, не про Юльку — на уроках геометрии её интересовала исключительно геометрия. А фамилии ей нравились дворянские, с окончанием на «-ская». Во всяком случае, фамилию Пак она выбрала бы в последнюю очередь — но встретила Джона, и всё тут же забылось, будто волшебник щёлкнул пальцами или чем там они щёлкают. И Валечка забылся вместе со своими останками, и Алексей, мужчина крупный во всём, кроме главного, и Вадим Ф., который всё же нет-нет, да и всплывал в памяти, как сварившийся пельмень в бульоне. Вадима было приятно, лестно вспомнить — в конце концов, он стал знаменитым художником. Но Джон правда всех вытеснил из памяти — даже мужчина-мечта, Саша из Оренбурга, отодвинулся за горизонт. Вспоминался фрагментами, как расчленённый труп — то руки, то глаза, то уши. У Евгении — отцовские ушки. Торчат, словно ручки у кастрюли, но сейчас это, говорят, в моде.

...Какие рваные мысли — кидает с одного на другое. Светофор пропускает максимум по две машины, а этот «Лексус» впереди вообще ездить не умеет. Наверняка тётка за рулем...

Джон, несмотря на своё компактное сложение, занял собой всю Юлькину жизнь целиком. Поэтому, когда он ушёл и стало так пусто, — её чуть не вынесло сквозняком в холодный чёрный космос.

Сейчас, после стольких лет, Юлька могла точно сказать: он ушёл потому, что ревновал. А не только потому, что встретил ту Галю с её деньгами и машиной.

Ревность Джона поначалу даже льстила Юльке, но это быстро прошло. Так бывает с маленькими детьми — бабушки умиляются, что это у них «ревности» (почему-то —

во множественном числе, как будто единственного здесь мало), но умиление «ревностями» проходит ровно через минуту после того, как бабушка в очередной раз не совладевает с ребёнком, вцепившимся ей в ляжку, как бешеная кошка в древесный ствол.

Ревность — бессмысленное чувство, и ещё меньше смысла, когда ревнуют к прошлому. Юлька сто раз объясняла это Джону, но объяснения тут не годились. Она в самом начале знакомства, пытаясь произвести впечатление, рассказала о себе Джону много лишнего. Вот Валечке, к примеру, не рассказывала — а здесь как с цепи сорвалась. Дура, конечно.

Поначалу Джон пришёл в восторг, что ему досталась такая женщина — столько мужчин её желало, а она выбрала его! Но восторг — летучая субстанция. Выдыхается в минуту, потом и не вспомнишь, был ли. Восторг Джона быстро переродился в сомнения, а откуда рукой подать до ревности.

Он расспрашивал её подробно и слушал не дыша — как ребёнок страшную сказку. Требовал деталей, вот Юля и старалась. Подобно дурной Шехерезаде, придумывала, дополняла, украшала и без того нарядную действительность. Джон требовал продолжения, Юлька чувствовала себя сценаристом, изнемогающим под гнётом формата — куда деваться, если контракт подписан? Спрос рождает предложение, ревность — фантазию, сон разума — чудовищ. Одно из таких чудовищ получилось особенно правдоподобным — этакий Голем *живее всех живых*. Юлька вспомнила историю, которую придумала однажды для Стениной — про заезжего директора завода, похожего на злого волшебника. Джон услышал другую версию истории: директор втащил её в машину *жадными пальцами* и повёз к себе в Тагил, правда, до Тагила они доехать не успели... Белым днём, когда Юлька начисто забыла этот ночной разговор — у неё была счастливая, короткая память, — Джон вдруг сказал, что завидует этому человеку.

— Но почему? — удивилась Копипаста, как удивлялись миллионы таких же наивных женщин, не желавших ничего, кроме как угодить любимому. — Я ведь с тобой, не с ним.

— А я тоже хочу затащить тебя в машину жадными пальцами. Всё бы отдал, чтобы только быть на его месте в ту ночь.

Юлька забеспокоилась, но было уже поздно. Врать о том, что наврала, — перебор даже для неё, достаточно вольно обращавшейся с понятием правды. А Джона уносило всё дальше — недаром он был поэт. Теперь он стал просить, чтобы Юлька познакомила его с директором, заинтересовался Тагилом — сплошь да рядом всплывал в разговорах этот Тагил. При всех Юлькиных изрядных знакомствах среди высокопоставленных тагильчан в реальности сыскался только один — депутат облсовета, милейший старичок с седыми усами, которые лежали у него под носом смиренно, как мёртвая чайка. Ни малейшего сходства с роковым волшебником. С чего Юлька его тогда придумала, этого директора? Почему поселила в Тагиле?

Второй город, неизмеримо интересовавший Джона, — Оренбург. Кем был отец Евгении? Почему она его выбрала? Неужели они ни разу после этого не разговаривали? И снова просьбы — познакомить, показать фотографию. Юлька готова была пешком трижды сходить из Тагила в Оренбург и обратно, только бы Джон перестал её мучить своими расспросами. Ему, как наркотик, требовались теперь чужие тени и сказанные кому-то другому слова, а больше всего — Юлька из прошлого, та, которой уже не было — которой вообще не было! Честное слово, пусть люди и не меняются — а в это обстоятельство Юлька верила свято, как в детстве в Ленина, — пусть так, но после злополучной поездки с Алексеем за счастьем она вела практически безупречный образ жизни. За мелким и несущественным исключением, но об этом она точно никогда и никому не расскажет.

Джон чувал, что Юлька скрывает от него ещё какую-то историю — и вытягивал правду всеми способами. Они в ту пору стали часто ссориться и злобно, взахлёб ругаться — точь-в-точь как те старики из Юлькиного детства, которые навсегда врезались в память. Старуха (ей было лет сорок, понимала теперь Юлька) брызгала слюной, будто собралась бельё гладить — у старика (сорок пять максимум) слёзы стояли в глазах, точно вода в канавах.

Тогда же Юлька дала себе честное пионерское — никогда не опускаться до такого уровня. Она и правда не опускалась. Её вынесло на этот уровень ураганом.

Теперь Джону всё не нравилось в Юльке. Почему она так плохо готовит, зачем кладёт в салат макароны? Что, трудно взять у его матери рецепт кимчи? Да, он в курсе, что мать терпеть не может Юльку, но ведь и Юлька, кажется, не питает к Александре Трифоновне даже минимальной симпатии? Ах, у него тоже рыльце в пушку, потому что он презирает Наталью Александровну Калинину? Ну, извините, он не знает, как нужно относиться к женщине, которая так вольно воспитывала свою дочь. В каком смысле — вольно? В прямом. Сегодня не приду, не жди меня. Ешь свои макароны в салате. Вольно!

Они перестали ходить по гостям, бывали только у Стениной, и то — по очереди. Концерты, филармония, опера — всё вдруг исчезло, как будто не стало в городе ни того, ни другого, ни третьего.

— Я не хочу встретить в театре мужчину, который с тобой был, — сказал однажды Джон. — Не хочу, чтобы он меня видел, а я его — нет.

А ещё — и это оказалось очень неприятным обстоятельством — у них вдруг закончились деньги. То есть — совсем.

Юлька никогда не спрашивала Джона, на какие средства они живут с таким размахом — широким, как у альбатроса. Продукты из «СВ-2000», вино в кривых бутылках, похожих на медицинские утки (чтобы не подделывали, объясняла продавщица), сигареты «Вог». Шуба из голубой

норки, частники, безотказно возившие по всему городу эту шубу с Юлькой внутри... Евгении почти каждый день перепадала то игрушка, то платье — к такому привык бы каждый. Тратить деньги куда интереснее, чем размышлять о том, какого они происхождения. Ну не убийца же он, в самом деле! Стихи, если кто забыл, пишет...

Утром, когда Юлька уходила в редакцию, Джон ещё спал — тихо, как маленький мальчик. Ни намёка на похрапывание — высочайшая культура совместного сна! Днём он предположительно отсутствовал — но недолго, потому что, когда Юлька возвращалась с работы, Джон уже опять был дома. Лежал на диване, с восточным высокомерием поглядывая в телевизор, где крутилось колесо фортуны. Или сериалы — самые посконные, домохозяйечные. Юлька удивлялась сначала тихо, потом всё громче — что с тобой, дружище? И это любитель Шамиссо и Брентано, ценитель оперы («только она даёт мне дышать полной грудью»), *завсегда* (так Лара Стенина прочла однажды слово «завсегда») филармонии и фанат художника Филонова? Если копнуть глубже, может, выяснится, что он ещё и слушает российский шансон — где имена солистов похожи на клички воров в законе?

— Оставь меня в покое, — злился Джон.

Он теперь давал Юльке заметно меньше денег — она списывала это на временный сбой, даже когда пересела из такси в трамвай прямо в шубе из голубой норки. Пассажиры, от первого и до последнего, потешались над Юлькой, державшейся за поручень, как робкая обезьяна за ветку.

— Вам бы, девушка, на такси надо ездить, — произносил кто-нибудь в толпе эту фразу, избитую уже почти до смерти. — А так вы слишком много места занимаете.

В конце концов Юлька перестала носить шубу, благо зима стояла квёлая и полускисшая — не то поздняя осень, не то ранняя весна, и так пять месяцев. Однажды спохватилась — и не нашла в шкафу.

Джон прятал глаза — и руки за спину. У него была неприятная привычка перебирать пальцами, Юльку прямо трясло, когда она это видела. Поэтому он перебирал пальцами за спиной, но Юльку всё равно трясло — у неё было хорошо развитое воображение.

— У меня долги, — сказал Джон. — Пришлось отдать шубу. А что? Ты всё равно её не носишь.

Так и выяснилось, что никакого бизнеса у Джона Пака не было — а были самые разнообразные и смелые планы, под которые он и назанимал денег, где только мог. У него имелся подлинный дар убеждения, но этим всё начиналось и заканчивалось. Получив инвестиции, которых он так жаждал в теории, Джон тут же терял интерес к своим идеям и планам на практике — и даже вспоминал о них теперь не без раздражения. Но от капитала уже был отъеден кусок — поэтому приходилось сочинять новую идею — и снова идти на поклон, правда, уже к другим людям. И отдавать из полученных денег то, что взял, причём с процентами, пышными, как южная клумба.

Людей знакомых у Джона был — целый город. Раньше он ходил по Екатеринбург и благожелательно кивал всем подряд, как хозяин поместья — крестьянам. Здравствуйте, приветствую, рад видеть... А тут вдруг — никуда не ходит. Стихов не пишет. Лежит и смотрит сериалы.

«Эффект деграде», — как выражается модная обозревательница из Юлькиного журнала, в котором она работает сейчас — через триста лет после Джона. Деграде — это когда цвет плавно переходит из одного в другой. «Деграде» Джона — падение с удобной высоты куда-то вниз и в сторону. У них дома теперь даже бутылки по полу катались — точно гранаты в фильмах про войну. На бутылку деньги находились всегда, на всё остальное теперь зарабатывала Юлька.

И, к чести её, не жаловалась. Наоборот, решила, что так будет правильно. Как в той игре, которую они с бра-

том Серёгой любили в детстве: сначала ты будешь лошадкой, а потом я.

Быть лошадкой весело только в игре, но Юлька была молода, сил в ней бродило столько, что она просто изнывала от этого избытка. Так кормящая мать единственного тощего младенца изнемогает от избытка молока, которого хватает на целое отделение новорожденных. Поэтому Юлька с утра до вечера пропадала на интервью, не брезгуя ничем и никем — *для меня*, начала она говорить именно в те годы, *нет запретных тем*. И кришнаиты, и сатанисты, и детский дом, и культурное событие. Она даже спортивные состязания вдруг начала *освещать*, и корреспондент Корешев позволил себе краткую, но яркую вспышку ревности на летучке. Помимо еженедельника писала ещё для двух газет, а один знакомый политик заказал ей программу к выборам. Юлька сочинила — дело мастера боится!

Денег благодаря всем этим усилиям должно было стать больше — но, увы, этим каплям не суждено было проточить камень, да и курочка устала клевать по зёрнышку — ей хотелось зарыться в кормушку с головой. Юлька снова начала считать деньги — «экономика должна быть экономной», приговаривала она, когда удавалось сберечь несколько рублей. Джон выплачивал долги и на диване встречался уже редко — теперь его чаще всего не было дома, а однажды выяснилось, что и дома теперь у Юльки нет. Она пришла с работы, ткнула ключом в дверь — а там новые замки.

— Блестящие такие, главное! — жаловалась она Стениной, как будто этот блеск был хуже всего.

На звонки Джон не отвечал, появился только через день у Калининой-старшей — привёз чемодан с Юлькиными вещами. Они были запиханы туда как попало, даже вечернее платье — фиалковое, со страусиными перьями — лежало скомканным, как грязное полотенце.

— Да что случилось-то? — спросила Стенина. Она стояла рядом с Юлькой, а Юлька тряслась, как в припадке.

Вечно тёплое плечо Верки Стениной. Вечный огонь дружбы. Это вам не любовь, которую вмиг погасит даже слепой дождик.

Юлька знала, что он сейчас скажет. Неизвестно откуда, но знала.

– Юля, – решил Джон, но она перебила:

– Если я правильно понимаю, ты... уходи, ладно?

Джон ушёл, кивнув Стениной с таким видом, как будто они не прощались, а здоровались. А ведь и правда, думала Юлька, у него была такая привычка – говорить «привет» на прощание. В те годы это звучало стильно. Джон ушёл, а она бесконечно долго вешала платье на плечики, тщательно расправляла страусиные перья – они были щекотными, как зелёные метёлочки, которые росли у них во дворе из года в год.

Потом Юлька узнала, что новую женщину Джона зовут Галина и что она – маленькая и тощая, как ящерица, – вдова какого-то бандита, недавно убиенного. Галина выплатила все долги Джона и даже подарила ему машину – серо-голубой «BMW» с пижонским номером 007. Живут они где-то на Шейнкмана, в новых домах. Юльку будто по затылку ударили этой новостью – именно про Шейнкмана оказалось самым больным. Те новые дома на Московской горке ей всегда нравились – и она вслух мечтала там жить.

Как-то ночью, после пары бутылок вина, выпитого вместе с Веркой, которая с недавних пор полюбила алкогольный досуг, Юлька заявила в тот самый двор на Шейнкмана, нашла красивую машину с нужным номером и выломала значок с чёрно-сине-белым пропеллером. «BMW» раньше делали самолёты – Юлька раньше любила Джона. Трофейный значок она носила в сумке долго, до зимы. А тогда было лето, и во дворе цвели те самые зелёные метёлочки. Летом страдать немного легче, чем зимой: можно гулять по ночам, рыдать в парках и заедать боль арбузами. Правда, арбузы Юлька теперь не любит.

Вот и муж её считает, что дыня намного вкуснее и полезнее.

Джона с тех пор Юлька видела лишь один раз — в книжном магазине, года четыре назад. Галина торчала поблизости — с годами она стала ещё сильнее походить на ящерицу, а вот Джону возраст был к лицу. Он презентовал поэтический сборник, изданный наверняка на деньги Галины. Юлька не удержалась — цапнула книжку из стопки и удачно раскрыла на странице со старым стихотворением, когда-то посвящённым Ю. К., а нынче — Г. Б. Стихи почти что отхлестали её по глазам — как чужие длинные волосы в переполненном трамвае. Юлька чуть было слезу не пустила, но покупать сборник всё-таки не стала — почему-то пожалела денег.

Ереваныч позвонил, когда Юлька наконец выбралась из запруды на Восточной.

— Здравствуй, дорогой! — сказала Юлька, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе звучали ласка и любовь. — Я за Евгенией, в аэропорт.

Она рассказывала мужу только самое необходимое — без прикрас и подробностей.

Глава восемнадцатая

Я создаю не меньше трёх картин в день в своей голове. Какой смысл портить холст, если всё равно никто не купит?

Амедео Модильяни

— Да что ж это такое! — возмущалась Стенина. С такой же точно досадой её мама взывала к неодушевлённым предметам, которые порой вели себя как одушевлённые — и пакостили в полный разворот. Терялись, не работали и вообще отбивались от рук. — Я что, похожа на человека, к которому можно вот так запросто?..

Серёжа выводил Тamarочку из двора, как коня из стойла — пришпоривал педали, бил по рулю, будто по шее — куда делись торопливые кроличьи перебирания? В глаза Вере доктор не смотрел, и это правильно — водитель должен смотреть на дорогу.

— Да это я неизвестно на кого похож! — в сердцах выпалил Серёжа. Голос у него был горьким, как полынь. — Теперь вы будете про всех врачей плохо думать.

— С чего это? — удивилась Вера. — Какие-то смелые у вас обобщения.

— Я чувствую ответственность... — начал было Серёжа, но тут же умолк, потому что Тamarочку едва не впечатала в стену «Газель», продвигавшаяся по двору привольно, как по восьмирядному хайвею. Вера воспользовалась моментом, чтобы продолжить Серёжину мысль:

— За всю медицину? Это вы зря, батенька.

Серёжа перекрестился, разъехавшись с «Газелью» на дистанции в несколько миллиметров, и впервые за последние десять минут улыбнулся.

— Понимаете, Верочка, в нашем возрасте совершенно негде знакомиться. И некогда, я ведь работаю почти всегда, а теперь, когда мамы не стало... — Серёжа вскинул голову, шмыгнув носом, и Вера испугалась, что он заплачется. Она боялась мужских слёз сильнее, чем мужчины боятся женских. — Я стараюсь пореже бывать дома. У меня только Песня, больше — никого.

— То есть вы считаете, что главная причина вашего одиночества — нехватка времени? — уточнила Стенина.

— Да, — обрадовался Серёжа, быстро и радостно глянув на неё своими репейными глазами. Вера вновь испытала желание отцепить от себя его взгляд — даже пальцы произвольно скрючила. — Очень точное определение, да. Нехватка времени.

— А вы не пробовали знакомиться в Интернете? — спросила Вера. Ей вдруг стало жаль этого недокрученного Серёжу, который нёс на себе ответственность за реноме всех врачей мира — как атлант, согнувшийся под каменным балконом. Жил себе с мамой, время от времени тайком навещал девчонок с автовокзала, машина «Малютка» стирала бельё... Как вдруг мамы не стало — и теперь не от кого было скрывать девчонок, но как раз по этой причине ходить к ним он больше не мог. Медсестричка посоветовала завести кота, а у Серёжи — аллергия. Выбрал сфинкса, с такой родословной, что можно сразу в князя. Привязался к нему, конечно. Серёжа рассказал Вере почти всю свою жизнь, хотя они ещё даже не подъехали к Россельбану. Ей было неловко прерывать доктора в момент кульминации, но телефон трясся в сумке и Вера искала его на ощупь, как медведь елозит лапой в дупле с мёдом.

Звонила Лара. Надо же, вспомнила про мать.

...Вера никогда не забывала, что она — мать. Это было главным делом её жизни, и потому, возможно, она не сумела добиться того, о чём мечтала, и не научилась мечтать о том, чего же она хочет добиться. И первое, и второе всё ещё проходило для неё по рангу загадок, а в материнстве сомневаться сложно. Ребёнок не спрашивает, хочешь ли ты быть его матерью — разве что Евгению мог прийти в голову такой нелепый вопрос.

— Тётя Вера, ты когда-нибудь хотела, чтобы у тебя была ещё одна дочка? — спросила она однажды.

— У меня и так уже есть ещё одна, — сказала Вера.

— Кто? — вскинулась Евгения, и Стенина ответила со всей искренностью, какую только могла выискрить:

— Ты, дурочка.

Евгения обняла её, и Верина кофточка намочила от слёз в том месте, где она прижималась. Стенина не сразу поняла, что это — слёзы. Надо же! Евгения, покидавшая небесные кладовые с полными руками подарков (её догоняли, вручали ещё и ещё), была, оказывается, несчастным ребёнком! Зато Лара, занимавшая в своём классе первое место по росту и последнее — по успеваемости, обладала тогда поистине нечеловеческим оптимизмом.

Да, ребёнок не спрашивает, хочешь ли ты быть его матерью, легко ли тебе его любить и что для тебя означает материнство. Но Вера была готова к таким вопросам — на первый и второй ответ положительный, а «материнство — это смысл жизни».

Удобно, когда смысл воплощён в одном человеке — не надо разбрасываться, сомневаться, искать других оправданий собственной жизни. Вот он, смысл, — с топотом несётся домой из школы, выуживает из супа луковые кольца и раскладывает на бортиках тарелки, купает стадо Барбий в «малированном» тазике... Лара прелестно, как никто не умел, коверкала слова, — Евгения, та сразу говорила правильно и скучно, а Лара каждый день выдавала что-нибудь уморительное. «Уроки можно не делать, у нас

будет военная игра “Озорница”!» «Этот мальчик ругает нас трикотажным матом!» Вера тут же заносила «озорницу» и «трикотажный мат» в специальный блокнот — красивый почерк и проставленные даты в ожидании грядущих биографов.

Именно поэтому Стенина так тяжело переживала возвращение зависти — мысль покушалась на смысл её жизни. К счастью, после памятного пьянства у Калининой Вера полюбила доливать в свои вечера вино, а по выходным иногда и обедала с бокалом какого-нибудь грузинского напитка цвета латвийского флага. Пьяная мышь вела себя предсказуемо, как и сама Вера: первая умолкала, вторая садилась на телефон.

Звонила чаще всего Юльке. Копипаста, по собственному определению, переживала «бесконечно сложный период», и что бы ни думала об этом Стенина, как бы внутри себя ни злорадствовала, снаружи всё выглядело безупречно, как в детской книжке о верных и преданных друзьях. Каждый вечер Вера знакомилась с новыми нюансами Юлькиных страданий, давала ожидаемые советы, успокаивала, утешала, учила, у-у-у.

Прежде чем набрать номер, Вера открывала книгу и новую бутылку. Она успевала и читать, и выпивать, и слушать, тем более что Юльке было не так уж важно, слушают её или нет. Ей хотелось по словечку выпустить из себя скопившуюся боль — как змеинный яд высасывают по капельке из раны. Однажды, впрочем, книга попалась интересная — и Вера перелистнула страницу слишком поспешно и громко.

— Стенина, ты чем там шуршишь? — подозрительно спросила Юлька. Вера нашлась:

— Да это Евгения! Рисунок принесла показать.

— Бедная моя девочка, — запричитала Юлька. — Я жуткая мать! Но мне бы сейчас с собой разобраться, Верка. Ты-то ведь меня понимаешь?

— Я-то, конечно, понимаю, — врала Вера.

Как можно добровольно лишать себя главной радости жизни — смотреть, как растёт твой ребёнок? Тем более, уточняла ещё не до конца опьяневшая мышь, такой ребёнок, как Евгения. Ещё неизвестно, кто больше теряет в таких случаях, мать или дочь.

Ближе к одиннадцати Стенина пыталась трубить отбой — молчала даже в тех местах, где от неё ожидалось драматические «ах», «да ты что» и «вот какая же он всё-таки сволочь». Вздохнула. Демонстративно переходила на шёпот, потому что девочки уже спали. На самом деле девочкам разговор не мешал — но после одиннадцати обычно звонил Сарматов. Стоило только положить трубку, как телефон тут же тренькал заново — и Вера поспешно отзывалась, хотя уши горели от предыдущего разговора, как будто её ругал весь трудовой коллектив в полном составе. Она любила разговаривать с Сарматовым, поэтому закрывала книгу и только иногда прихлёбывала вино, стараясь делать это бесшумно.

Сарматов появился ровно через две недели после неудачной попытки ограбления, о чём успели позабыть все, кроме несчастной кассирши. «Девушку в берете» реанимировали, но теперь она отшатывалась от Веры с выражением ужаса на лице. Стенина много раз пыталась позвонить Сарматову, но каждый раз отключалась ещё до того, как в трубке звучал первый гудок. А когда увидела его вечером у входа в музей — обрадовалась.

— Будем снова бегать по Плотинке или поедем в гости к моим друзьям? — спросил Сарматов, по-хозяйски вырывая из Вериных рук пакет. Она в перерыв сбегала в кулинару на Мальшева, купила расстегаи с рыбой — их любили и Лара, и Евгения.

— К друзьям. — решила Вера. — Но расстегаи я домой заберу, это для девочек.

Друзья жили далеко, на Ботанике. Этот недавно сданный микрорайон из-за своей тесной застройки был похож на колумбарий. Лифт в доме уже успел провонять город-

ским человеческим мусором — Стенина с трудом вытерпела, пока он поднимет их к последнему этажу. В квартире пахло приятнее — глаженной пелёнкой, жареной картошкой и молоком.

У друзей было трое детей, мальчик и две девочки, «как у Симпсонов», — шепнул Сарматов. Вера кивнула с понимающим видом, хотя ей тогда было неизвестно, что такое «Симпсоны». Пакет с расстегаями она спрятала в коридоре, прикрыв его сверху чьей-то серой пушистой шапочкой. А Сарматов вытащил из кармана куртки бутылку коньяка. Вера, как любой начинающий алкоголик, при виде бутылки повеселела.

Младшая дочка была младенцем, и хозяйка кормила её при всех — не стесняясь, вывалила из халата конопатую грудь. Девочка ела жадно, с неприятными, захлебывающимися звуками, которые вызывают умиление у всех, кроме Веры. Стенина не любила детей — за исключением Лары и, с некоторыми оговорками, Евгении. И ей никогда бы не пришло в голову кормить ребёнка при чужих людях — всё же они живут не в племени сириано, а в миллионном городе, пусть даже и в Ботаническом районе. В общем, пока что эти друзья Вере совершенно не нравились: старшие дети у них были капризными, хоть и миленькими, телевизор вопил как резаный, а на кухонном столе обнаружился липкие пятна, в одно из которых гостя тут же угодила локтем.

Хозяин явился только через час — и слегка подправил общий счёт. По дороге Сарматов рассказывал Вере про этого удивительного человека — тот был художником и, по мнению знающих людей, — гениальным. Вера расстроилась — *гениальными* знающие люди, как правило, называют тех, кто не представляет угрозы бездарям. Ей совсем не хотелось знакомиться с этим Славой или как его там — тем более смотреть его работы и выдавливать из себя комплименты. Художники всегда так глядят на тебя, пока ты изучаешь их работы, — будто в зеркало судьбы! А вот то,

что Сарматов рассказал о жене Славы, Веру по-настоящему смутило.

— У неё трое детей, но она ни разу не испытывала оргазма, — сообщил Сарматов с таким торжествующим видом, что Вера не удержалась от прямого вопроса:

— А ты-то откуда знаешь?

— Я как раз хотел предложить перейти на «ты», — не растерялся Сарматов. — Так это все знают! Славка не делает из этого тайны.

— И проблемы из этого он, видимо, тоже не делает?

— Каждому своё, Верверочка.

— Так обычно говорят, когда крыть нечем.

Сарматов что-то мукнул в ответ — неясное, но явно недовольное, как спящий кот, которого ткнули в бок без всякого почтения. Кот в гостях, кстати, тоже был — пушистый шар с розовым, как сосиска, носом.

Весь вечер Вера с особым усердием разглядывала хозяйку, ворковавшую над своей маленькой дочкой, и думала: как хорошо, что люди ещё не научились читать чужие мысли! Знала бы эта веснушчатая дама, о чём думает Вера Стенина, — точно не дала бы ей жареной картошки и не налила бы чаю. А так все мирно сидели и беседовали, Вера почти полностью счистила с рукава липкое пятно, после чего девочка-младенец уснула, старших закрыли в комнате с телевизором — и *начали* коньяк.

Тогда-то и пришёл Слава — он же Славян — человек с грязными ногтями и уставшим, полусъеденным творческой мукой лицом. Вера встретила с ним взглядами — и вспомнила. Слава был одним из пяти художников той давней компании, где все завидовали Вадиму и Боре. Слава без всякой славы, но с бурной жаждой оправдать своё имя. Тем более что у близких друзей это получилось до обидного просто: и Борька, и Вадим прорвались в тот круг художников, где уже в принципе не важно, что делать — любую твою работу сейчас же начнут обсуждать, интерпретировать, а главное — покупать.

Обладать Славиными творениями никто не мечтал — даже когда он дарил их нужным людям, их чаще всего «забывали» в прихожей. Если же он приносил картины сам, доставляя, как мебель, «на дом», то никогда впоследствии не видел своих работ на стенах. В общем, вся слава, которая могла бы ему достаться, сконцентрировалась в имени — претендовать на что-то другое было бессмысленно. Увы, прекратить писать Слава тоже не мог, потому что был хоть и весьма посредственно одарен, но исключительно работоспособен. *Labor omnia vincit. Arbeit macht frei.* Он вставал рано, уходил в мастерскую затемно — и работал с такой яростью, что её можно было принять за ненависть. Одна, вторая, пятая, двадцатая работа — и все повёрнуты лицом к стене, как наказанные дети. А вот Боря делает одну картинку в полгода — и на неё тут же выстраивается очередь и богачи просят сделать им копию.

К счастью, у любого человека есть своё «зато». К несчастью, редко какой человек способен оценить это в полной мере. Да, Слава не состоялся как художник, зато у него были чудесные дети. А вот у Бори — вообще никаких не было. А у Джотто дети были так уродливы, что ему даже пришлось придумать шутку: это, дескать, оттого, что картины он делает при свете, а детей — в темноте.

Второе Славино «зато» — жена, считавшая его гением, третьё — приятели, готовые признать Славу кем угодно, лишь бы пустил в гости с бутылкой. Зимним вечером в Екатеринбурге каждому нужен такой адрес — где тебя примут, накормят и даже оставят ночевать с девушкой. Восхищение в глазах, похвала и пара восторженных замечаний — не ахти какая плата за услуги. Так что вокруг Славы со временем вырос некий круг знающих людей, и это примиряло художника с тем вечным недовольством собой и миром, в котором он существовал основную часть своей жизни.

Сарматов, как поняла Вера, тоже принадлежал этому кругу и хвалил Славу, нельзя не признать, затейливо.

Отмечал колорит, тонкость цветопередачи, пластику, продуманную композицию и мощную кисть. Слава, судя по всему, сидел на этих похвалах, как на таблетках — он с порога расцвёл, увидав Сарматова. Вере же выдал улыбку, не вспомнив, что они знакомы, и это оказалось неожиданно больно. Быть с человеком в компании несколько месяцев и не удержаться в его памяти — это посильнее, чем «Фаустом» Гёте по голове. Это означает, что Вера Стенина ничего собой не представляла ни тогда, ни теперь — ведь даже у самого скверного художника должна быть память на лица. И Сарматов почувствовал, что Вера расстроена, он вообще сразу же начал её чувствовать — как будто они были на одной линии, под напряжением.

Художник повёл гостей *смотреть новые работы*, уши у него горели красным светом, — то ли от мороза, то ли от волнения. Распахнул дверь в дальнюю комнату, где стояли лицом к стене холсты. Автор переворачивал картины одну за другой, как будто знакомил с гостями, и Стенину поразили не только беспомощность художника, но и выбор сюжетов, — один сомнительнее другого. Околевшая лошадь в болоте, рёбра — как пальмовые ветви. Жаба в стеклянной вазе. Змеиный букет. Свиная голова в руках девушки, тоже, впрочем, похожей на свинью. Возможно, Слава сознательно шокировал зрителя — пусть ему будет противно, зато он запомнит фамилию автора.

— Здорово, правда? — спросил Сарматов, влюблённо поедая глазами портрет неряшливой пейзажки с ножом в руке. Ноги у той были такие тяжёлые и большие, что картина, казалось, вот-вот перевернётся от этого лишнего веса. Художник предпочитал землистую гамму и нарушенные пропорции, кроме того, он явно подражал Вадиму — и ни за что бы в этом не признался. Даже за двойную порцию похвал-таблеток.

— Любопытно, — сказала Вера. Слава не сводил с неё глаз и всё прекрасно понял. Зря Сарматов представил её как «специалиста-искусствоведа из галереи на Плотинке».

Лучше бы сказал иначе: «Это Вера, она ничего не смыслит в искусстве». (Между прочим, в искусстве и вправду никто ничего не понимает — во всяком случае, в том искусстве, которым прославился двадцатый век.)

Слава стал разворачивать картины лицом к стене, как будто готовил их к казни, Вера зачем-то бросилась ему помогать. От художника пахло табаком и обидой.

— Пошли выпьем, — сказал он, подталкивая гостей к выходу из комнаты.

Веснушчатая дама, не знавшая оргазма (вот зачем было об этом рассказывать?), замахала на них, чтобы не топали. Девочка-младенец спала, крепко сжав кулачки.

Коньяк быстро закончился, Сарматов сбегал за водкой. Хозяйка куда-то исчезла, а Вера позвонила домой — сказала маме, чтобы сегодня не ждали. Последнее, что она видела этим вечером, — как Сарматов с удовольствием жуёт Ларины расстегаи. Следующее впечатление было уже ночным.

Сарматова положили спать в комнате с картинами, а Вера легла в детской, где стояла двухэтажная кровать. Куда делась старшая девочка — непонятно, на верхнем этаже посапывал мальчик. От подушки вкусно пахло чистеньким ребёнком. Вера провалилась в пьяный сон, но уже через час её разбудили пальцы человека, который очень старался быть ласковым. Она подумала — Сарматов, но это оказался Слава.

— Тише, — рассерженно шепнул художник, когда Вера попыталась отодрать от себя эти совсем не нужные пальцы. — Ты мне сына разбудишь.

Вера толкнула Славу со всей силы, и художник упал на пол. Задел какую-то неваляшку, проснулся сын, потом за стеной заплакала девочка-младенец... Мать уже спешила к ней — скорая материнская помощь! «Вот тебе титя!» Опять эта титя. Стенина сердилась на весь свет, но сил уходить из этого дома не было. Поэтому она повернулась на другой бок и снова провалилась в сон.

Утром хозяйка сказала, что Слава ушёл в мастерскую ещё затемно. *Он раб искусства*, объяснила она — и Вера ей даже слегка позавидовала. Так верить в своего мужчину и его дар — это, честно сказать, тоже талант.

Сарматов выглядел бледным, как выражалась в таких случаях старшая Стенина, «сам себе не рад». Но всё же проводил Веру до трамвая, и она поехала домой — впереди, на счастье, были выходные. А в среду, когда Стенина вышла на работу, выставки Вадима уже не было — на смену шёл Айвазовский, все очень торопились и демонтировали экспозицию, не дожидаясь зрителей. Кому и когда были важны какие-то смотрительницы?

Вера даже не успела попрощаться с «Девушкой в берете» — но, может, это было и к лучшему.

Часть
ТРЕТЬЯ

Глава девятнадцатая

Кто из людей мне страшен? Только он.
Мой гений подавляет он, как гений
Антония был Цезарем подавлен.

У. Шекспир

По Россельбану Тamarочка мчалась излишне резво — по крайней мере, на взгляд пассажирки. Вера была тот самый русский, который не любит быстрой езды, — а вот, например, Копипаста не выносила, когда перед ней кто-то ехал, и по этой самой причине Стенина не выносила поездок в её джипе.

— Урод! — кричала за рулём Юлька, не заботясь о том, слышит её кто-нибудь или нет. — Где права покупал? — И потом ещё так сочно вдогонку: — Кха-ззёл! — как будто раскашливалась перед тем, чтобы плюнуть.

Если бы Вера не говорила по телефону с Ларой, она бы непременно сделала Серёже замечание — совершенно не обязательно так гнать, чтобы заслужить прощение. Но она говорила с Ларой, а на Серёжу, вцепившегося в руль, как в последнюю надежду, всего лишь недовольно поглядывала.

— Ты вообще знаешь, сколько времени? — первым делом спросила Лара.

— Нет, — сказала Вера. — Зато ты всегда знаешь, правда?

— *Знала*, пока ты часы не разбила, — резонно заметила дочь. — Когда приедешь?

— Не скоро, а что случилось?

— У меня живот болит.

— Будет болеть, если всё время жрать.

— Мам, я серьёзно. Очень сильно болит в районе пупка.

Вера прикрыла трубку ладонью.

— Район пупка — это у нас аппендицит? — спросила Серёжу полусшёпотом.

— Возможно, но не обязательно, — ответил доктор. — Надо смотреть.

— Я «Скорую» хочу вызвать, — неуверенно сказала дочь. — Но вначале решила тебе позвонить. Вызывать или нет?

— Считай, что она уже едет, — вздохнула Вера. — Серёж, на следующем сворачивайте — заскочим ко мне домой, ладно?

— А как же аэропорт? — удивился Серёжа.

Вера промолчала. Сложно выбирать между детьми, но у Стениной всегда был при себе советчик. Крупный специалист! Мышь полагала, что с Евгенией всё будет в порядке, а вот аппендицит шуток не жалуется. К тому же в машине — врач. Ничего, что после долгого дежурства и уставший — видно же, до смерти рад помочь. Грех не воспользоваться. «Случайностей не бывает», — заметила мышь.

Тамарочка мчалась на юго-запад.

— Район пупка — рядом с универсамом «Звёздный», — уточнила Вера и снова уткнулась в окно — как будто именно там, как в телевизоре, показывали её историю.

...— Сарматов да Сарматов! — сердилась Юлька. — Ты ещё какие-то слова знаешь?

Её вполне понятно раздражало Верино счастье, которое всячески норовило просочиться наружу — словно парное мясо, сложенное в бумажный пакет. Ничего ещё не произошло — после ночёвки на Ботанике Сарматов проявлялся лишь однажды, по телефону. И говорил таким тоном, какой обычно используют в молчаливой

толпе. Но Вера была счастлива уже хотя бы тем, что недавно выяснила — оказывается, Сарматов, если не давать ему бриться и стричься долгое время, станет похож на автопортрет Дюрера. У него было такое же точно удивлённое лицо, слегка припухшие губы — и чуткие, нервные руки.

Юлька не хотела слушать про Сарматова и его руки — всё никак не могла *освободиться* от Джона.

— Ну когда уже перестанет болеть? — пыталась она Стенину.

— Года через два, — сказала Вера. И вздохнула, вспомнив Геру, — точнее, не позабыв о нём в очередной раз. Ей, вопреки опыту поколений, становилось не легче, а больнее с каждым годом.

Юлька страдала — и это ей не шло. Точно так же ей никогда не шли женственные платья в цветочек — они почти всем к лицу, но Юлька была в них похожа на уборщицу.

— Зи-ин! — верещала Юлька, глядя на себя в зеркало примерочной, пока Стенина практически лежала на полу, обессилев от хохота. — Мне швабру и ведро!

На них гневно косилась продавщица, а потом платье примеряла Стенина — и те же самые цветочки выглядели на ней благороднейшим образом.

Страдание как будто выжало из Юльки всю её яркую красоту — досуха. Бледная, *отёчная* (ещё одно дивное словечко старшей Стениной), с вечно прикушенной губой, Юлька меньше всего подходила на роль объекта зависти — и Вера жалела её в те дни и пыталась укрыть своё счастье, но оно упрямо лезло в глаза, летало в воздухе, звенело в голосе.

Евгения тотчас заметила, как изменилась вдруг тётя Вера Стенина. Она и раньше без конца пыталась Веру трогать, обнимать, брала за руку, целовала, куда придётся, (в основном приходилось — в бок).

— Это вообще-то моя мама, — сердилась Лара. — Иди свою целуй!

После этих слов бедняжка Евгения принялась ластиться к Вере тайно, пока Лара не видела — Стенина терпеливо сносила все эти восторги. Лара же, хоть и ревновала, но сама вовсе не спешила обниматься с мамой — она рано стала брезгливой к любым телесным проявлениям. Не могла ходить за руку или *в обнимку* (и этим походила на Веру), не любила, когда её целовали при встрече.

Новая, счастливая тётя Вера нравилась Евгении ещё сильнее — стоило присесть на минутку, как девочка уже была рядом, прижимаясь то с одного, то с другого боку.

— Если бы ты была парнем, — призналась однажды Евгения, — я бы в тебя влюбилась.

И тут же покраснела так, будто ей впрыснули под кожу краску.

Вера и вправду похорошела — ровно настолько, насколько подурнела Копипаста. Может, им был отведён один счёт на двоих и всё, что убывало от Юльки, переходило к Вере? (В принципе, это было бы очень удобно. Всегда можно договориться и перетерпеть сложный период — при условии, что за ним обязательно последует счастливый.)

Похорошевшая Стенина много раз высматривала знакомый силуэт у входа — и однажды увидела, задохнувшись от радости: Сарматов шёл прямо навстречу, поедая мороженое.

— Холодно ведь, — удивилась Вера, но Сарматов объяснил, что любит есть мороженое на холоде. И ещё объяснил, что был в командировке, поэтому не появлялся целую неделю.

— Позвонить тоже не мог?

— Я звонил, — заявил Сарматов. — То занято, то длинные гудки. А потом трубку взяла девочка и сразу же бросила.

«Вполне могло быть», — решила Вера. Спросила, куда он ездил.

— В Москву, куда же ещё?

— Ну не знаю. Скоро, говорят, будет летать прямой рейс до Парижа.

Сарматов посмотрел на Веру с интересом. Честно сказать, без интереса он на неё никогда не смотрел — вот поэтому Стенина и чувствовала себя теперь такой счастливой и значимой.

— Ты понравилась Славяну; — сказал Сарматов. — Он говорит, ты ему напоминаешь о чём-то приятном.

— Конечно! Что может быть приятнее молодости?

— Не понял. Вы были знакомы?

— Да, в одной компании пребывали. Знаешь такого художника, Вадима Ф.?

Сарматов поспешно дожеввал вафельный стаканчик.

— Тот самый Вадим, чью картину ты пыталась стибрить с выставки? Слушай, я только что понял — Славян раз сто мне про него рассказывал, но, видимо, я его не очень внимательно слушал. Теперь ясно. Твой Вадим и злой гений Славяна — одно лицо.

— Злой гений? — переспросила Вера.

— Ну да. Злой, потому что Славяна мучает зависть, а гений — потому что он и правда гений.

— Когда-то давно Вадим написал мой портрет, — сказала Вера. — Подарил, а потом забрал, и я просто хотела восстановить справедливость.

— Её все всегда хотят восстановить, — заметил Сарматов. — Вот Славян, например, считает, что это несправедливо — столько успеха одному человеку. Он считает, ему не везёт, но ты же видела...

— Безнадёжен, — вздохнула Вера.

— Да, но при этом утверждает, что Вадиму просто повезло, а против него, горемыки, ополчилась удача.

— Как ты думаешь, — поинтересовалась Вера, — он завидует именно успехам — деньгам, признанию, славе? Или тому, что у Вадима такие классные картины, что их украсть хочется?

Сарматов долго молчал. Они успели дойти до остановки, троллейбус гудел, подъезжая.

— Я думаю, он завидует всему разом, — сказал Сарматов, наконец. — Как насчёт того, чтобы пойти ко мне в гости? Для разнообразия.

Вера с трудом удерживала радость — она рвала поводок, как мощный пёс, учуявший кошку.

— Расстегайчики купила? — поинтересовался Сарматов, забирая у Веры сумку.

— Сегодня пирожки с картошкой, для девочек!

Он хмыкнул и повёл Стенину вверх по ступенькам.

— Далеко живёшь? — спросила она. Сарматов не ответил и, только когда они подошли к подъезду, хихикнул. Вера не сразу поняла, что он делает — зачем вытаскивает связку ключей, на которой висит длинная витая отмычка от железной двери.

Он жил в доме номер четыре по улице Воеводина! Минута от музея!

— Но ведь у тебя телефон начинается на пятьдесят три, — припомнила Вера. — Это же вокзальная АТС... В чём дело, Павел Тимофеевич?

— На улице Свердлова живет мой диспетчер. Звонки принимает.

— То есть соседка — это для прикрытия? Почему ты сразу не сказал, что живёшь рядом с музеем?

— Мне хотелось сохранить в себе какую-нибудь тайну. Давай быстрее, заходи.

Воеводина, четыре — адрес мечты. Вера считала этот дом на Плотинке самым красивым в городе, правда, она смотрела на него только снаружи — внутри, в квартирах, не бывала. В детстве мама часто брала Веру с собой в магазин «Подписные издания» — там они получали тома Тургенева и Толстого, пылившиеся теперь в стенном шкафу вместе с другим приданым. Вера искоса глянула на Сарматова, открывавшего, кажется, уже четвёртый замок на квартирной двери, — что, если примерить к нему слово «жених»? Слово село как влитое.

— Добро пожаловать, — сказал Сарматов, включая свет в прихожей, и Веру тут же ослепил свет сочной жёлтой люстры, достойной гостиной, а может, и бальной залы. Гостиная зажмурилась, и поэтому не сразу оценила масштабы и размах сарматовского жилья.

Отличные были квартиры в доме номер четыре, не зря Вера его так любила!

— И ты один здесь живёшь? — удивлялась она, переходя из кабинета с тяжёлой мебелью в тихую тёмную спальню. — Кем же ты работаешь?

— А я обязательно должен кем-то работать?

— Или ты расскажешь, или я уйду. И пирожки унесу!

— Пирожки — это серьёзная угроза, — сказал Сарматов. Они к тому времени уже переместились в кухню — и хозяин раскрыл холодильник, полки которого были тесно заставлены продуктами, как на карикатурах журнала «Крокодил» — когда высмеивалось воровство и взяточничество. Живьём Вера таких натюрмортов не видела со времён своего сытого детства. К тому же в детстве не было зимней клубники, шоколада с орешками, чесночного соуса и ликёра «Бейлис».

— Только со льдом! — сказал Сарматов. Налил ликёр в квадратные стаканы и бросил в каждый по три кубика льда.

— Ты что, лёд сам делаешь? — приснула Вера.

— Я бы понял твоё удивление, если бы я сам делал воду, — парировал Сарматов. — Или хотя бы ликёр. Ну что, вкусно? То-то. Доставай свои пирожки.

Пока он резал сыр и ветчину, Вера заглянула в ванную — чистую, как в гостинице. Вспомнила свой родной санузел: выстиранные колготки девчонок висят над головой унылыми сосульками, бельё в тазике, неровный кафель с переводными картинками — это ещё Вера в дошкольном возрасте развлекалась.

Она включила до упора воду. Зеркало тут же затянулось вуалью пара, и Стенина написала на нём крупными буква-

ми: «Вера Сарматова». А потом, испугавшись, стёрла ладонью — как неприличную картинку со школьной доски.

— Я думал, ты там уснула, — сказал Сарматов, когда она вышла наконец из ванной. — Давай за стол.

Есть не хотелось. Вера из вежливости погрызла сыр, с трудом проглотила ломтик ветчины.

— А что у тебя в третьей комнате? — спросила она. Сарматов предъявил ей кабинет и спальню, но третье помещение осталось закрытым. Возможно, там спрятаны тела убитых предшественниц Веры — и, когда она подберёт ключик к запретной комнате, мёртвые девушки обрушатся на неё, как поленница дров.

Сарматов поскрёб щетину на подбородке, и звук этот взволновал Веру Стенину — она давно такого не слышала. И не видела.

— Ах, женщины, вам имя... любопытство, — грустно сказал Сарматов. — Ладно, пойдём. Покажу третью комнату.

— Может, не надо? — испугалась Вера. Кто знает, что у него там? В параллельном классе с Верой и Юлькой училась дочка сексуального маньяка, в восьмидесятых *наводившего ужас на весь Свердловск*. С виду ни за что не скажешь, дядька как дядька. Однажды зимним тёмным вечером после родительского собрания галантно проводил старшую Стенину до подъезда. Эта история популярна по сей день, сколько бы раз ни рассказывалась.

— И как только не напал на тебя? — каждый раз ужасаются заводские подруги, Мария Владимировна и Эльза, а мама объясняет:

— Я была для него *непривлекательная*, он выбирал только молодых да красивых.

Вот о чём крайне неудачно вспомнила Вера, пока Сарматов открывал комнату. Там был спрессован запах — густой, щекотный и очень знакомый. Сарматов шлёпнул по выключателю, комната озарилась светом, и Вера Стенина ахнула:

— Не может быть!

Глава двадцатая

— Да, знаю, вы живописец.

— Да, а вы живописны.

И. А. Бунин

Всю дорогу до Встречного — недлинную, потому что Тамарочка счастливым образом проскочила по Щорса, не потеряв в пробках даже минуты, — Серёжа вёл светские беседы. Рот у него не закрывался ни на минуту — как у Евгении в третьем классе.

К примеру, он рассказал Вере, что аллергию на животных, как недавно выяснилось, вызывает не шерсть, а специфические выделения, которые содержатся в слюне, моче и так далее. Поэтому кот Песня, лысый и сморщенный, как дохлая курица, дарил Серёже такие же свирепые аллергические приступы, какие мог бы обеспечить сенбернар или длинношёрстная овца.

— Так отдали бы его, — удивилась Вера.

Серёжа в ответ тоже удивился:

— Не могу, Верочка, привязался. Препараты приходится пить. А потом, я ведь в клинике бываю чаще, чем дома. Песню соседка кормит. Так и живём.

Вера промолчала, надеясь, что молчание получится дипломатичным, хотя на самом деле оно было осуждающим и насмешливым.

Серёжа включил дворники, которые жадно сгребали снежинки. Над задним стеклом тоже трудился дворник —

очищенная поверхность напоминала раскрытый чёрный веер.

Давным-давно Супермен возил их куда-то с Юлькой и девочками на своём «Мерседесе». Был сильный дождь. Евгения долго любовалась бешеным танцем щёток, а потом самокритично сказала Ларе:

– Смотри, они прямо как мы с тобой!

...Самый популярный зачин для газетных репортажей Копипасты выглядел так:

«Я не верила своим глазам...»

Или:

«Мы не могли поверить своим ушам»...

Журналистское Юлькино alter ego с завидной регулярностью отказывалось верить своим частям тела — вопреки всем усилиям ответственного секретаря. Но оказавшись в таинственной третьей комнате, Вера была готова вслед за Юлькой повторить эту избитую фразу слово в слово. Не иначе произошла какая-то ошибка и Вера вместе с глазами-обманщиками чудом перенеслась в небольшой, но оригинальный музей.

Изначально комната не была маленькой, но, будучи густо и плотно заставлена и завешана всевозможными предметами, утратила значительную часть своей площади. Правую стену занимали картины и гравюры, причём висели они так тесно, что выглядели чем-то вроде обоев. «Шпалерная развеска», — вспомнила Стенина. Слева стояли стеклянные витрины с фарфором — ядовито-розовым и жутко-бирюзовым.

— Севр, — скромно пояснил Сарматов, как будто принимал в гостях не искусствоведа, а какую-нибудь «прикрепляльщицу деталей низа обуви» (об этой специальности Вера узнала из брошюры по школьному профориентированию). Рядом с севрскими вазами стояли мейсенские уродцы — невероятно грубые, по мнению Стениной, фарфоровые фигурки, способные тем не менее прокормить собой целое голодное семейство и даже вывезти его

на ПМЖ куда-нибудь за границу. Коломбина и Арлекин с одной стороны и целая компания обезьян-музыкантов с другой окружали громадную чашу бледно-жёлтого цвета, украшенную лепными цветами и листьями. В стороне держался наособицу полуголый трубочист с лесенкой. Тоже, разумеется, мейсен.

Под окном стояли два коренастых шкафчика с открытыми полками — пришлось сесть на корточки, чтобы увидеть тёмные стёртые монеты и на редкость невыразительные почтовые марки. На полу выстроились тяжёлые даже с виду рыцарские шлемы — шесть голов в ряд, одна с плюмажем, и все как одна подозрительно разглядывали Веру сквозь прорези для глаз. В углу, как наказанный, стоял этрусский божок с весёлой улыбкой. С потолка свисали витражи на цепочках и какие-то странные сосуды, для идентификации которых Вере не хватило познаний.

— Каноны¹, — объяснил Сарматов, и Вера протянула понимающее: «Ах да, конечно».

— Зачем ты их повесил? — спросила она.

— Да как-то случайно получилось, — признался Сарматов. — Можешь звать меня «Муравьёв-Вешатель».

Он раздумялся — то ли от ликёра, то ли от гордости за свою коллекцию. Вера подошла к стене с картинами и уткнулась взглядом в стопроцентного Венецианова — никакой эксперт не нужен! Рядом, рама к раме, висел небольшой, но очень яркий натюрморт Гончаровой.

— Богаче, чем у нас в музее, — признала Вера.

— Можно и так сказать, — согласился хозяин. — Но только, Верверочка, это не «у меня». Я всего лишь присматриваю за вещами, пока их не заберут покупатели.

— То есть спекулируешь?

¹ К а н о п а — в Древнем Египте каждый из четырёх сосудов, в которые помещали внутренности покойного, вынутые при бальзамировании; в Древней Этрурии (Италия) — урна с крышкой в виде человеческой головы для хранения пепла после сожжения тела умершего.

— Зачем ты говоришь такие грубые слова? Я этого ужас как не люблю. Спекулируют часами в жёлтом корпусе, а я... подыскиваю ценным вещам правильных хозяев.

— И как ты себя называешь? Антиквар?

— Уж скорее антикварщик. Скромнее надо быть, Верверочка.

Сарматов был как будто рад, что его разоблачили, и теперь поспешно рассказывал Вере всё, что скрывал до той поры, — наболтал, кстати сказать, много лишнего, но условно интересного. Из его речи, как щепки у плотника, вылетали непонятные термины — и Стенина ловила их на лету.

Названия увлечений напоминали половые извращения: филотаймия, филумения, бирофилия, перидромофилия... Но только лишь напоминали — на деле всё было чертовски невинно. Перидромофилия, к примеру, это всего лишь коллекционирование проездных билетов и прочих абонементов, позволяющих доехать из пункта А в пункт Б. Филумения — собирание спичечных этикеток, а бирофилия — наклеек с пивных бутылок.

Сарматов знал о человеческом собирательстве не меньше, чем Вера о зависти. И говорить об этом мог, судя по всему, не переставая — в какой-то момент Стенина даже устала слушать и начала выразительно поглядывать в сторону кухни, но хозяин будто не замечал её взглядов:

— Мы живём в такое время, когда лучше не собирать камни, а бросать их. Не в людей, разумеется, я в фигуральном смысле — разбрасывать по миру. Нет смысла сидеть на фамильных сокровищах и ждать, когда они поднимутся в цене. Вот недавно я ездил в Москву посмотреть скрипку...

Последовал подробный рассказ о скрипке, которая оказалась действительно кремонского производства — Сарматов вёз её домой в поезде и вынужден был брать с собой всякий раз, когда требовалось выйти в туалет.

— Я тебя, кажется, утомил, — спохватился он лишь под конец полчасового монолога, когда у бедной Стениной

совсем не романтически заурчало в голодном желудке. — Пойдём за стол! — Он аккуратно закрыл дверь на ключ и спрятал его в карман.

После ужина они перенесли в спальню бутылку с ликёром, и Сарматов, побрякивая ледяными кубиками в стакане, рассказывал, как он охотится за вещами. Дело это было крайне увлекательное.

Оказывается, если в квартире не делали ремонт больше двадцати лет, в ней вполне могли обнаружиться ценные для антикварщика вещи.

— Вот видишь, чашка?

Не видеть чашку было невозможно — она стояла прямо перед Верой. Белая, с незамысловатым красно-золотым орнаментом.

— Антикварная вещь, — заявил Сарматов. — Германия, начало пятидесятих годов.

Все предметы в квартире Сарматова были отмечены той или иной степенью ценности. Кое-что он использовал в быту, но делал это чрезвычайно аккуратно, опасаясь нанести предметам ущерб. В точности как маленькая Лара, предпочитал вещи людям.

В широкой вазе жёлтого стекла (начало двадцатого века, Франция) лежали блестящие яблоки — такие тёмно-красные, что уже почти чёрные. Стенина взяла одно яблоко, оно приятно легло в ладонь. Вера любила именно такие, из сказки о Мёртвой царевне — под кожицей они всегда сочные, белые, с нежно-зелёным отливом. Но сейчас она не спешила его пробовать — боялась, что откусит слишком громко. Сарматов понял её замешательство по-своему и протянул фруктовый нож (Бельгия, девятнадцатый век). Всё по этикету — лезвием к себе, если можно, конечно, считать закруглённый кончик лезвием.

В своём рассказе Сарматов ушёл уже совсем далеко. Он решил стать антикварщиком в третьем классе, когда рядом с его домом на Гурзуфской рыли котлован под новое здание и обнаружили там залежи кузнецовского фарфора.

Местные жители сбежались, как за грибами — кто-то нашёл треснувшую чашку, кто-то — крышку от супницы, а маленький Пашка Сарматов — целую вазу с клеймом. Взрослые уговаривали его отдать вазу государству, но Пашка унёс «кузнецова» домой, бережно отмыл и поставил на стол как трофеем.

С этой вазы началась его коллекция, и, кстати, расстались они совсем недавно — очень уж хороший нашёлся для неё новый хозяин.

Антикварщику приходится подолгу пасти ценные коллекции и перспективные дома. Иногда ждёшь годы, пока умрёт какой-нибудь несговорчивый старичок. Знала бы Верверочка, какие удивительные вещи можно встретить в старых домах, на блошиных рынках и даже на свалках!

Глаза у Сарматова разгорелись, сейчас он был по-настоящему красив. Ликёр давно зажёг внутри Веры огонёк, который спускался от желудка всё ниже, — и хотя внешне гостя вела себя благонаравно, задавая уместные вопросы («Но ведь тебе нужна сигнализация?») и получая обстоятельные ответы («Она у меня и так есть, ты просто не заметила»), думала она о вещах, не имеющих к антиквариату никакого отношения. Да и вообще — не о вещах.

Почему Сарматов не спешит на огонёк, Вера понять не могла. Прежде мужчины её так не озадачивали, скорее наоборот. Гера давно бы уже разложил Стенину на диване, как тот самый раскладной диван. А Сарматов, смотрите, разглагольствует. Может, Вера ему не нравится?

Напротив неё висело зеркало (Богемия, начало двадцатого), где отражалась румяная Вера — отражение льстило, как умеют льстить только старинные зеркала. Рукой незаметно провела по грудям: твёрдые, как яблоки!

А вдруг он голубой, испугалась Вера. Как севрский фарфор!

В реальной жизни с этим явлением она ещё ни разу не сталкивалась — в целомудренном Свердловске о нём все

вроде бы как слышали, но предъявить подлинные факты не могла даже Копипаста, обладавшая такой разветвлённой сетью знакомств, что хоть теперь в шпионы.

Что, если Вере, как обычно, «повезло»? Тогда она тщетно ждёт от Сарматова «оскорблений действиями» — он так и будет разливаться соловьём. Другой вопрос — зачем ему Стенина? Для чего он привёл её в этот дом-музей?

Вера схватила стакан с ликёром и опорожнила залпом, как будто это была водка. Зубы заныли от холода и сладости.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она. Сарматов так изумился, как будто она потребовала ответить, любит ли он Сталина. Но поспешно сказал, что да, конечно, нравится.

— Тогда почему ты не... — Вера крутила в воздухе ладонью, пытаясь подобрать уместный эвфемизм, но в голову ничего не приходило, и тогда она встала с места, на деревянных ногах подошла к Сарматову и плюхнулась ему на колени. Глаза у Сарматова были синие, до краёв налитые ужасом.

Вообще-то Стенина не тратила время на размышления о том, *хороша ли она в постели*. В детстве с ней никто на эти темы не разговаривал, упаси боже, — сведения о взрослой жизни Вера, как и всё её поколение, черпала из надписей на гаражах и разговоров с подружками. Те, что постарше, делились пугающими подробностями — слушая жуткие истории о том, кто, куда, что и кому засовывает, Вера поклялась никогда в жизни не выходить замуж. Было ей тогда лет семь, и уже через год она передумала.

Мама не рассказала ей даже про месячные — просветила Веру всё та же старшая девочка из соседнего дома. По версии девочки, *это* называлось «месячник» или «министратция». Юлька всегда была не прочь обсудить с Верой что-нибудь интимное — но Стенина довольно рано замкнулась в себе, закрылась на ключ изнутри и сохраняла неприязненное отношение ко всем, кто пытался об-

суждать с ней свой месячный цикл и сексуальную жизнь. То есть она, конечно, слушала, но делиться в ответ не спешила.

Завершила сексуальное образование Стениной газета «СПИД-инфо», из которой было почерпнуто много полезных сведений — в том числе, Вера запомнила, что мужчинам очень важно осознавать, что они *доставили партнёрше удовольствие*, и потому старалась не обмануть мужских надежд. Честно притворялась, разыгрывая половые восторги — и с первым своим «мавром», и с его последователями, за исключением разве что художника Бори, который был так же плох в любовной роли, как хорош в искусстве. Только с Герой всё было иначе — то есть в начале-то Вера собиралась разыграть стандартный сценарий, как вдруг всё пошло-пошло-пошло совсем по-другому и уже не нужно было ничего разыгрывать.

Геря, по мнению Стениной, и стал её первым мужчиной. Между ними всё было так естественно, что Вере и в голову не приходило пытаться себя, *хороша она или не хороша*. А тут вдруг, сидя у Сарматова на коленях (он потрясённо молчал), Стенина засомневалась. Что, если она постельный бездарь, а добрый Геря не решался ей об этом сказать?

Мышь внутри забормотала что-то невнятное — только её здесь сейчас не хватало! Вера зажмурилась и с размаху ткнулась в губы Сарматова своими.

Он ответил на поцелуй робко, как девушка.

Кстати, о девушках.

Спяну Юлька однажды поцеловала Веру — и та была потрясена двумя ощущениями. Первое — у Юльки был очень шустрый, узкий язычок. А второе — этот поцелуй не вызвал у Веры отвращения, и осознание этого факта как раз таки отвращение вызвало.

Обе никогда не вспоминали об этом впоследствии, и только мышь периодически злопыхала:

— Ты просто влюблена в свою Копипасту, делов-то!

А Сарматов правда оказался робким — хотя сравнение с девушкой в свете вышеописанного эпизода следует признать неудачным. Они всё-таки оказались той ночью в постели, но то, что произошло между ними, не вызвало у Веры ничего кроме недоумения и какой-то неведомой прежде глубокой печали. Она как будто очутилась на исходной точке новой жизни — той, которую ей отныне придётся терпеть изо дня в день. Это оказалось неожиданно грустным делом.

Глава двадцать первая

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушёл в немеющее время...

Осип Мандельштам

— Хорошее название у вашей улицы, Верочка, — с чувством похвалил Серёжа. — Переулок Встречный!

Вера кивнула, вспомнив, как в детстве услышала поговорку про «первого встречного» — и решила, что речь идёт о переулке. Гордилась!

Серёжа, с его настырным оптимизмом и бьющим через край желанием понравиться, так раздражал Веру, что она представляла на его месте какое-нибудь природное явление. Из тех, которые нельзя отменить, а можно только перетерпеть.

...Когда-то давно вместе с Юлькой и девочками они поехали на турбазу — в компании Супермена, не утратившего за годы своей долгой и красивой жизни страсти к простонародным развлечениям, и его малоприятного друга Володи. Как только Стенина поняла, что Володю пригласили *для неё*, так тут же и замкнулась изнутри на свои привычные замки. Ещё и на засов закрылась.

Одна из мысленных выставок зародилась той неприятной ночью — и называлась «Сводни». Вермеер. Лукас Кранах. Федотов. Мышь внутри звенела, как колокол, — видишь, какой ты стала ничтожной, Стенина, как низко

тебя ценят... Сама виновата — надо было рассказать Юльке про Сарматова, глядишь, та отстала бы. Но Вера слишком берегла свой новый роман, чтобы отдать его на суд Копипасты — к тому же придётся их знакомить, вновь вставать на обрыдлые грабли.

Володя был до невозможности лопухий. Ещё у него были плоскостопие и вечно приоткрытый рот, как у одного известного артиста — но если у артиста открытый рот мог быть засчитан за фирменную мультку, то у Володи это было вызвано вечным, как проклятие, насморком.

Супермен на фоне своего друга выглядел ещё прекраснее, хотя дальше, казалось бы, некуда. Возможно, он специально таскал Володю с собой, точно испанский герцог — уродливого карлу. И, конечно, взял его на турбазу, потому что добрая Юлька (сто раз просили её не проявлять инициативу) велела найти кого-нибудь для Веры.

Вера так злилась, что не могла даже толком следить за Евгенией и Ларой — к счастью, городские девочки тут же забились в коттедж и, расчёсывая комариные укусы, играли — Лара была собачкой, а Евгения, как водится, просто Евгенией.

Игры в собачку расстраивали и Веру, и, в особенности, старшую Стенину. Лара бегала по дому на четвереньках, крутила толстой попой в розовых колготках, изображая, что виляет хвостом, а ещё лаяла, пыталась есть из миски и пару раз довольно сильно куснула бабушку за руку.

— Надо девку врачу показать, — беспокоилась бабушка. — Ты вот у меня никогда так не делала.

Тогда Вера махнула рукой — когда-нибудь и это пройдёт. Но на турбазе собачка расшалилась не на шутку.

— Фу! Лара, сидеть! — командовала Евгения, и Вера злилась на неё сильнее, чем на дочку. И на Юльку заодно — понятно, что Веру взяли с собой не только ради лопухого Володи, но в первую очередь — нянькой для девочек.

Супермен с Володей жарили шашлыки — точнее, их жарил Володя, а Супермен за неимением другой пищи

поедал глазами Юльку. Да что там Супермен! Даже комары вились вокруг Юльки с почтением — не столько укусить, сколько прожужжать восхищённый комплимент. Вера смотрела в окно деревянного домика, слушала, как заливается лаем дочь, и думала: надо было поехать с Сарматовым в Тюмень. Намечалась деловая поездка на два дня — Сарматов должен был оценить коллекцию марок, оставшуюся после какого-то старика. К несчастью, Вера слишком хорошо представляла себе, на что будет похожа эта поездка — за последние полгода она уже несколько раз делила с Сарматовым хлеб путешествующего антикварщика. Не сказать, чтобы там было скучно — странствия всегда развлекают, — но в дороге обострялись все и без того острые моменты. Дома она отвлекалась — на девочек, работу, Юльку, маму, в дороге у неё оставался один только Сарматов.

Вера крикнула:

— Прекращаем собачьи бои! У меня и так голова болит.

Голова не болела, но надо же было усмирить девчонок. Надавить на чувство жалости — как на педаль пианино.

Евгения, конечно же, отозвалась первой.

— Всё, Лара, собачка ложится спать.

— Гав-гав, — Лара послушно повалилась на пол, похожая не столько на собаку, сколько на упитанного поросянка. Евгения рассмеялась. Передние зубки у неё были «на вырост» — слишком крупные и широкие для детского рта. Юлькина дочь всё ещё была некрасивой: правильные черты детского личика редко делают его милостивым, зато обещают будущий расцвет.

Вера изнывала от скуки. Зря она взяла отгул, лучше бы провела это время на работе. От запаха шашлыка щипало в горле, Супермен доставал из спортивной сумки с надписью FIFA бутылки и одобрительно оглядывал каждую.

Начало романа Юльки и Супермена Вера как-то упустила из виду — её тогда интересовал только Сарматов. Новый редактор Юлькиного журнала был, несомненно,

красив, но, по мнению Веры, красота эта обладала явным привкусом пластика — как та золочёная псевдоитальянская мебель, которую вдруг полюбил весь город. К Вере Супермен отнёсся насторожённо, — возможно, он был первым и единственным в её жизни человеком, который сразу понял, что она чувствует на самом деле.

Копипаста сидела на срубленном пеньке, удобно вытянув свои длинные ноги — их не портили даже кеды.

— Шашлык готов! — крикнул Володя. Стенина с неохотой отметила, что голос у него был приятным, хотя бы в этом природа не подвела. Тембр, как у Геры... был у Геры.

Она не переставала вспоминать Лариного папу, несмотря на Сарматова, и даже — смотря на него. Точно так же Юлька, как бы ни изображала, что счастлива с Суперменом, не могла забыть Джона — по лицу её то и дело пробежала тень. Даже сейчас, когда кругом царила красота во всех видах, от пейзажа до мужчины.

Вера взяла у Володи шампур — куски мяса были розовыми и золотистыми, сочными и благоуханными. В кустах взволнованно запела птица, как будто просила оставить ей кусочек. Евгения от шашлыка отказалась, ей дали корейскую морковку в пластиковой чашке (Юлька вздрогнула при слове «корейская»), а Лара доедала уже вторую порцию, смачно утираясь рукавом куртки. Интересно, что сейчас делает Сарматов? Сидит над альбомами тюменского старика, бережно переворачивая папиросные страницы? Или осматривает дом — Вера называла это занятие «обыском», хотя Сарматов был очень аккуратен и после его вторжения не оставалось никаких следов. Даже хозяева не заметили бы — впрочем, хозяева квартир, где рыскал антикварщик, чаще всего были мертвы и не замечали уже вообще ничего.

В последнее время Вера начала размышлять о том, что Сарматов, скорее всего, не случайно влез тогда в ночной музей. Она не решалась спросить напрямую, как далеко простирается его любовь к ценным предметам — и вклю-

чает ли она в себя возможность воровства? Не решалась, но думала об этом всё упорнее — и, как часто бывает в таких случаях, в конце концов сама ответила за Сарматова: «включает». Если обстоятельства позволят, а предмет будет желанным — украдёт.

Сарматов был по-настоящему страстным коллекционером, — именно коллекционером, собирателем, а не временным хранителем сокровищ, на чём он так настаивал. Вера давно поняла, что продаёт он очень немного, и только в тех случаях, когда предлагают баснословные деньги. В пристрастиях Сарматова не было системы и цели — он собирал всё подряд. Однажды Вера обнаружила в квартире на Воеводина небольшое собрание ветхого дамского белья. Каким-то чудом не истлели эти древние кружева, и шелк всё ещё сиял прощальным, грустным блеском. Неглиже (в детстве, услышав это слово, Вера подумала, что оно пишется как «негляже» — от глагола «не глядеть») из персикового шёлка, панталоны с оборками, кружевные то ли носочки, то ли тапочки... Гвоздь коллекции — пышный чепец, походивший на дамскую шапочку для душа семидесятых годов. У старшей Стениной была почти такая же, но из резины.

Сарматов собирал старинные открытки — там были виды городов и дамские головки, ангелочки и смешная дореволюционная порнография (у всех барышень — испуганный томный вид). Коллекционировал украшения, по-настоящему хорошо разбирался в камнях, любил фарфор, с уважением относился к мебели, понимал в старинном оружии. Единственное, в чём он оказался слаб — и признавал это, — живопись. Вера несколько раз ловила его на очевидных ошибках — он пугал Брака с Хуаном Грисом, а Ларионова с Явленским¹.

¹ Ж о р ж Б р а к — французский художник, скульптор и декоратор. Х у а н Г р и с — испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма. А л е к с е й Я в л е н с к и й — русский художник-экспрессионист, живший и работавший в Германии.

— Бросай свой музей, — предложил Сарматов накануне этой дурацкой поездки на турбазу, — возьму тебя к себе консультантом.

Вот ещё почему Вера так злилась сегодня — дело было не только в красивой Юльке, дурных играх девочек и жутком Володе, ещё не предъявившем обществу свой главный дефект (о чём позднее). Дело было прежде всего в том, что Вера уже знала — она согласится на предложение Сарматова и совместная работа свяжет их так крепко, как не сможет связать даже брак. Сарматов был влюблён в свои коллекции, одержим собирательством, как древние первобытные женщины, а к ней не испытывал даже минимальной страсти. То, что у них было, повторилось ещё несколько раз, и каждый был хуже прежнего. Сарматов ничуть не интересовался Верой, а как будто выполнял обязательство, наложенное неким договором.

Но Вера-то помнила, как это бывает, когда сходят с ума не по чужому истлевшему белью, а по ней, живой и тёплой женщине. Она помнила, как Гера стаскивал с неё колготки вместе с трусами, как трясся от возмущения и ужаса чужой фотографический портрет на полочке — и падал им на головы... Гера пытался слушать её, но не слышал — речь была для него в такие минуты как музыка, он кивал невпопад, и Вера сердилась, дура! Ей тогда казалось, что она говорит исключительно важные вещи, но не было ничего важнее для неё и для него, чем не слышать и не думать, а только видеть и чувствовать...

А вот Сарматов всегда слушал Веру наивнимательнейшим образом. Он был превосходный слушатель, а ещё — прекрасный собеседник, остроумный, «культурный», как сказала бы Юлькина мама, человек. Хорош собой, с деньгами, с таинственной работой — очень, нельзя не признать, увлекательной. Вера всю себя изгрызла, приводя эти доводы в плюс — в минусе был всего один, зато какой!

Поступить к Сарматову на службу — означало связать с ним жизнь. Кроме того, не хотелось оставлять картины: Вера привыкла к ним как к родным, любимым людям...

— Ну уж картин у тебя будет сколько хочешь, — обещал Сарматов. — Постоянно всплывают то Родченко, то Гончарова.

«Что толку ломаться, — думала Вера, глядя на закат над озером, розовый, как манная каша с вареньем (любимое блюдо Лары). — Я так или иначе соглашусь, но всё-таки как жаль, что нельзя ни с кем посоветоваться... Кому такое расскажешь?»

Она перевела взгляд на Юльку, хохотавшую над очередной несмешной шуткой Супермена (по части юмора у него было недовложение). Спросить бы у неё — по-дружески, подружески — что делать? Стыдные мысли пожирали Веру с таким же аппетитом, как Сатурн Гойи — собственного сына. И всё это — на фоне чудесного пейзажа. «В царство сосен, во льды небывалой страны...» — вспомнила Вера Бодлера. Что, если Джоконду терзали сходные мысли? Впрочем, нет, у неё вид как раз таки сытый и довольный.

Шашлык ели под соснами, напоминавшими нехитрый десерт советского детства — «соломку сладкую». Длинные, ровные, аппетитно-поджаристые стволы. Соломка грохотала в коробке, сосны были неподвижны. Мирный ландшафт, две прелестные девочки, одна красивая женщина, двое мужчин (Супермен оглаживает Юлькину задницу, думая, что этого никто не замечает, а у Володи на подбородке — жирный блеск от съеденного мяса) — и Вера Стенина. «Завтрак на траве» Мане? «Гроза» Джорджоне? «Паломничество на остров Киферу» Ватто?

Девочки угомонились неожиданно рано. Супермен с Юлькой после ужина предсказуемо пропали из виду на час — Вера скрежетала зубами, мышшь внутри плясала и пела, Володя пытался рассказывать о своей работе — он был маркетологом. Наконец любовники вышли из кустов, Юлька улыбалась сытой улыбкой Джоконды, к спортивным штанам Супермена прилипло целое семейство репьев.

Ночью всех ждал сюрприз — Володя храпел. Конечно, многие люди храпят, но Володя в этом деле оказался настоящим профессионалом. Храпел он самозабвенно, не без музыкальности. Нараспев подбирался к высоким нотам, а потом спускался вниз хроматической гаммой. В финале звучали бульканье и восторженный свист. Собака Супермена, бедлингтон по кличке Веня, сидела под дверью Володиной комнаты и вслушивалась в храп с уважением.

Отчаявшись уснуть, Вера вышла из комнаты, где спали девочки (Лара — неподвижно, как каменная, Евгения металась и бормотала во сне), и наткнулась на Юльку в рубашке Супермена и самого Супермена в трусах. Что сказать — природа обделила его только по части юмора.

— Тоже не спится? — засмеялась Юлька.

— Уснёшь тут... Зачем вы его позвали?

Супермен развёл руками так широко и красиво, как будто собрался взлететь. На самом деле он таким образом признавал свою ошибку.

— Володя — специалист по шашлыкам.

— И по храпу.

— Слушайте, у меня идея, — загорелась Копипаста. — Давайте попробуем представить себе, что это какое-то природное явление. Например, раскаты грома или шелест дождя.

На этих словах Володя булькнул и свистнул с особенным остервенением.

Супермен зевнул:

— Я-то усну, девочки. А вы можете представлять себе шелест грома, сколько хотите, — он чмокнул Юльку в лоб, кивнул Стениной и действительно ушёл спать.

Володя тархтел, как трактор.

— Что-то ненормальное, — признала Юлька. — Давай покурим, Стенина, всё равно не заснём. А ты чего сегодня весь день такая скучная? Из-за Вовы, что ли? Никто его тебе не навязывает, успокойся.

— Да нет, не из-за Вовы. У меня другая проблема... мучительная.

— Верка, ты что, решила со мной поделиться? С ума сойти! Я уже не знала, на каком ещё коне к тебе подъехать.

Вот так и получилось, что в том коттедже, под аккомпанемент Володиного храпа Вера всё-таки рассказала Юльке о своих мысленных метаниях. Копипаста посоветовала не бросать музей и завести *нормальные отношения* – а Сарматова оставить в качестве друга.

Уже через месяц или около того нормальные отношения самой Юльки потерпели фиаско. Они расстались с Суперменом сравнительно безболезненно – по модели «Ну, ты это, звони, если что». Веру поражало, что Юлька продолжает работать под его началом – она ни за что бы так не смогла. Приносить ему статьи на подпись и не вспоминать о репьях, что сидели на штанине целой семьёй? Или о том, как пахла его рубашка?

Вскоре Вера написала заявление об уходе и положила на стол директрисе, та отнеслась к возможности потерять ценного сотрудника так же вяло, как в своё время – к шансу его заполучить. Сарматов с нетерпением ждал, когда искусствовед Стенина поступит в его личное пользование – но ей нужно было доработать обязательные две недели, которые, впрочем, пролетели быстро, как молодость. Вера едва успела попрощаться с картинами: они стонали хором подобно плакальщицам. Каждая знала, что обречена теперь на жизнь в пустоте и тишине.

Вера шёпотом оправдывалась перед картинами – нужно дописать работу про Гюстава Курбе и получить наконец диплом, а Сарматов клялся, что Вера сможет изучать разрушения канона тела хоть все дни напролёт – он обещает занимать её периодически или, точнее, эпизодически. Но почти сразу же после увольнения подвернулся тот самый Париж – Юлька уговаривала поехать вместе в пресс-тур от авиалиний, сейчас уже не вспомнить каких. Вера согласилась, да и кто бы отказался от Парижа?

Это ж не турбаза под Сысертью.

Глава двадцать вторая

А я люблю подойти к самой картине,
потрогать её пальцами.

Пьер Огюст Ренуар

После дежурства врач мечтает только об одном — чтобы выспаться.

Однажды Серёжа проспал почти целые сутки и под конец увидел странный сон. Они вдвоём с матерью (несомненно живой, так что Серёжа во сне собирался звонить сестре в Москву — поделиться радостью) взбирались на Эйфелеву башню, но не в лифте и не по лестницам. Серёжа с матерью лезли туда по висящим канатам, белым и толстым, как косы у одной девочки из класса. В реальности на уроке физкультуры Серёжа беспомощно болтался на узле каната, окаменевшем от времени и пота. От рук почему-то пахло железом. Серёжа честно силился поднять своё дурацкое, слабое тело, цепляясь руками за канат, но вредная коса обжигала огнём ладони, и он снова болтался, вцепившись в узел и поджав ноги под смех всего класса и той самой девочки — как неудачливый висельник. Физрук орал:

— Следующий!

И вот к проклятому канату подходит вразвалку Женя Рабочих, у которого восемь троек за полугодие. Троечник лихо взлетает вверх по косе и щегольским жестом касает-

ся потолка спортзала — при одном только взгляде наверх у Серёжи темнело в глазах.

— Как обезьяна, — признаёт единственный Серёжин друг-одноклассник, толстяк по кличке Квадрат.

Так вот, в том сне им с матерью тоже пришлось лезть на башню по канатам, но на сей раз у Серёжи это получалось не хуже, чем у Рабочих. Он быстро перебирал руками, и это оказалось неожиданно простым делом. Мать тоже, кажется, справлялась неплохо, но ведь у *неё сердце*, с ужасом вспомнил Серёжа.

— У всех — сердце, — заметила мать (она была, по собственной же кокетливой характеристике, «с язвинкой»).

Вершина башни всё никак не приближалась, хотя от земли они отползли на значительное расстояние. Канаты раскачивались на ветру, Серёжа беспокоился о матери, но больше всего радовался, что она — жива. Когда он проснулся, то никак не мог очнуться от этого сна — выпутывался из него, как, бывает, выпутываются из стреножившего одеяла.

Серёжа не мог привыкнуть к жизни без матери, жизнь была теперь вечно неполноценной. Мать определяла в его реальности всё — именно она настояла на медицинском, хотя Серёжа не мечтал быть врачом и собирался поступать за компанию с Квадратом на радиофак.

— Радио — фак, — шутила мать, преподавательница английского языка в техникуме. — Ты же не хочешь оставить маму без врачебного присмотра в старости?

Она говорила о себе в третьем лице с такой заботой и волнением, как будто имела в виду не саму себя, а какую-то постороннюю маму, за которой они оба должны приглядывать.

— Сын-доктор — моя мечта! — повторяла мать, и поэтому Серёжа поступил в медицинский. Он ещё на первом курсе понял, что не станет хорошим доктором, но вполне может стать обычным. Мама была счастлива и умерла под присмотром врача — не хорошего, но и не плохого.

Во всяком случае, с дипломом. Теперь у Серёжи остались Песня, Тамарочка и клиника. И после дежурства он, как всякий врач, хотел только одного — выспаться. По крайней мере, так было до сегодняшнего вечера, когда Серёжа познакомился с Верой. Жаль, что он поторопился, чуть не спугнул её. Она была чем-то похожа на маму, особенно когда улыбалась. И точно так же командовала.

— Смотри, вон там есть место, — сказала Вера. — Паркуй свою Тамару.

— Тамарочку, — уточнил Серёжа. Он был чувствителен к мелочам.

...Когда старшая Стенина узнала, что Лара будет в её полном распоряжении целых четыре дня, она пришла в такое радостное возбуждение — Вере даже стало стыдно. Могла бы и раньше понять, что мать одинока, обижена мужчинами и государством. Единственная дочка ничем не лучше: мало того что замуж не выходит и в подоле принесла, так ещё и не даёт вволю потетёшкать единственную внучку. Вера действительно предпочитала детский сад — там Лару никто не пичкал манной кашей. Бабушка считала, что манную кашу нужно есть плюсом к каждому приёму пищи «как лекарство» — чтобы девочка стала *гладкая*.

— Где ты этого нахваталась? — сердилась Вера. Мать не спорила, но стоило Веруне чуть-чуть ослабить оборону, манная каша тут же занимала передовые позиции. Стенина надеялась только, что за четыре дня мама не сумеет вернуться в полную силу.

А вот Юлькина мать вовсе не обрадовалась, что с ней оставляют Евгению — честно говоря, Вера никогда не понимала, почему она так мало занимается внучкой. Была бы какой-нибудь бизнес-леди, можно понять и оправдать, но ведь рядовая медсестра, одинокая... Жизнь её была скучной, как варёная капуста, — единственное, что примирало Наталью Александровну с этой капустой, — телевизор. Ещё в начале девяностых Калининых ограбили — вору преспокойно вскрыли замок и унесли с вешалки

дублёнку и шапку, пока Юлька спала, а мать смотрела «Санта-Барбару». За чужих американцев в *ящике* она переживала сильнее, чем за родню.

Иногда Вера думала, что Юлькина мать таким образом защищается от новых ударов судьбы. Это как у некоторых народов принято называть детей обидными, оскорбительными именами — чтобы избежать зависти богов. Смерть сына изменила старшую Калинину навсегда — и теперь она пыталась сбить судьбу со следа, показывая, что не слишком-то любит Юльку и Евгению. Так что незачем их у неё забирать. Всем известно, что у нас забирают именно тех, кого мы сильнее всех любим.

Евгения, хоть и пересказывала взволнованно все новости из жизни миллионеров Санта-Барбары («Иден упала! Джина обманула Софию! Мейсон стал хороший!»), предпочитала телевизору книги — она очень много читала. Вера водила её в детскую библиотеку рядом с управлением пожарной охраны — возила, точнее. И на обратном пути от улицы Карла Либкнехта до их родного Юго-Запада Евгения, как правило, уже успевала наполовину прочесть первую книжку.

— Видишь, какая умница, — зудела мышь. — А наша-то дурочка по-прежнему играет в собаку.

В гимназии за Ларой окончательно закрепился ярлык «творческого ребёнка» — так шадяще педагоги называют сложных, нервных и малоспособных к основным наукам детей. К несчастью, Лара не проявляла интереса ни к одному виду искусства, хотя Вера последовательно пичкала её рисованием, музыкой и хореографией. С хореографии их *попросили* в рекордно быстрый срок — от Лариных прыжков и приседаний заметно прогибался пол. Ежедневное ученье изматывало девочку и вместе с ней всю семью: математику делали в слезах, стихи учили с угрозами, творческие задания Вера и вовсе делала сама, чтобы дать ребёнку хоть немного времени посидеть у телевизора. Если не забывала добавить пару ошибок и помарок, Лара получала «четыре».

Накануне отъезда в Париж, вместо того чтобы собираться, Вера учила с дочкой стихотворение Бодлера «Альбатрос». В гимназии уделяли большое внимание французской поэзии, но учить сказали в переводе. И на том спасибо.

Лара никак не могла выучить последнюю строфу, и Вере пришлось помахать ремнём перед её носом. Был у них такой специальный ремень с мощной пряжкой, неизвестно откуда взявшийся. Зарёванная Лара оплакивала свою судьбу вместе с судьбой несчастной птицы.

Каким образом Юлька устроила поездку для них обеих, Вера не знала. Записала она Стенину, кажется, фотографом, но никто не проверял, собирается ли этот спецкор хоть что-то снимать в Париже или же будет носиться по музеям и магазинам, как все нормальные люди. При слове «фотограф» Вера поёжилась — вспомнила Геру, — но высказать Копипасте недовольство было бы хамством, поэтому кроме как поёжиться она себе ничего не позволила.

Чем ближе подходило подругам к тридцати, тем ярче расцветали у них таланты, представить которые в юности было затруднительно. К примеру, Юлька научилась превосходно ладить с нужными людьми и манипулировала ими умело, как опытный кукловод. Там — шоколадку, здесь — комплиментик, тут — ценный совет, а может, и денежка в конверте. Поэтому Вера была удивлена, когда познакомилась в аэропорту с другими участниками пресс-тура — Юлька совершенно явно тушевалась перед низенькой девицей, рыжей, как ирландский сеттер, но и вполнину не такой благородной. Честно говоря, эта Ира была страшной, как героиня какой-нибудь картины Жоржа Руо¹, но нимало этим обстоятельством не смущалась. Вера встречала таких женщин и раньше — пусть

¹ Жорж Руо — французский живописец и график, один из основателей фовизма.

им досталась невзрачная внешность, зато они не сомневались в том, что хороши собой. Ира носила отважную мини-юбку и крупное ожерелье, хотя у неё были кривые ноги и бугристый загривок.

— Она работает в агентстве новостей, — свистящим шёпотом пояснила Копипаста в то время, как Ира проходила через таможню. — Очень крутая! Настоящий газетный волк.

— Скорее уж волчица, — уточнила Вера.

В самолёте волчица уселась прямо перед ними, поэтому Юлька весь первый час молчала — боялась ляпнуть глупость и опозориться перед крутым журналистом. Веру всё это очень забавляло.

— Мы увидимся с Бакулиной? — спросила она у Юльки, когда та выпила вина и немного расслабилась.

— Хотелось бы, но она такая скрытная! Я даже письма ей отправляю на какой-то абонентский ящик. И электронку она редко проверяет, а телефон весь последний месяц выключен. — Юлька хрюкнула, позабыв про волчицу из *впереди стоящего кресла*. — Представляешь, если мы с ней случайно столкнёмся в магазине?

Вера отвернулась к иллюминатору, притворилась, что спит. А потом и вправду заснула.

В Париж прилетели ночью, за окнами автобуса, который вёз их в гостиницу, не было видно ничего, кроме размытых городских огней. Вера вспомнила, как Лара однажды спросила — видала ли она когда-нибудь «згу»?

— Это ещё что такое? — испугалась Вера.

— Ну, знаешь, говорят — «не видно ни зги»!

Неужели она уже соскучилась по Ларе? Евгения с вечера сунула им с Юлькой по записке — с наказом прочесть только в самолёте. Вера наткнулась на аккуратно сложенный листок, когда вечером искала в сумке крем для рук. Копипаста давным-давно уснула, лицо у неё было счастливое — возможно, потому что газетную волчицу поселили в другом отеле — ниже по улице.

«Дорогая тётя Вера, — без единой ошибки писала Евгения, — я тебя очень люблю и жду твоего возвращения из Франции. Привези мне, если сможешь, пожалуйста, какое-нибудь изображение Эйфелевой башни. Всё равно какое. Целую крепко. Евгения».

— Даже запятые на месте, — забилась мышь. — А Лара до сих пор буквы путает.

— Давай спи уже! — простонала Вера.

...На утро была назначена обязательная общая экскурсия. Стенина быстро поняла: опытные участники пресс-туров отличаются от новичков тем презрением, с каким они относятся к организаторам. Волчица Ира и два её спутника — утром подтянутых, а к вечеру почему-то сдувавшихся, как будто им и вправду требовался насос, — разнообразно гримасничали в ответ на каждое слово сопровождающей. Они не скрывали, что в гробу видели и саму эту Люду из каких-то авиалиний, и её авиалинии, оплатившие пресс-тур. Искренние восторги Копипасты, впервые очутившейся в Париже (до этого Юлька бывала только на Кипре с Джоном), и горящие глаза Стениной, которая отродясь нигде не бывала, вносили в происходящее некоторый разнобой. Люда из авиалиний прониклась к журналистке Калининой и *фотографу* Стениной назойливой симпатией, Ира громко презирала Копипасту с подружкой, а Юльку Париж накрыл таким счастьем, что она почти не замечала ни того, ни другого. Её просто взрывало от ликования.

Свободное время проводили *по желанию*. Ира со спутниками, Димой и Федей (Деймосом и Фобосом, как окрестила их Стенина), — на Монмартре, поближе к пип-шоу и универмагу Tati. Вдумчивый телевизионный юноша мечтал посетить Булонский лес — и, судя по рассказам, посетил. Его оператор с утра до вечера носился по специализированным магазинам, разыскивая какую-то особую технику.

А Юлька с Верой ходили по музеям, рынкам и садам.

Копипаста в прямом смысле слова плевалась от восторга — в Стенину то и дело прилетали брызги счастливой слюны. Юлька не замечала, как косятся на неё в метро и на улицах: обвивалась вокруг поручня в вагоне метро, как будто это был шест в стрип-клубе, хохотала в полную громкость и постоянно указывала пальцем на разные досто... — и просто — примечательности, хотя Стенина и сама их прекрасно видела.

Баклажаны выложены на прилавок ровной грядой и блестят, как начищенные штилеты. Вода в фонтане кипит, точно в чайнике — а если бросишь монету, тут же приплывёт утка и попытается слопать её без лишних рассуждений. Утки здесь привыкли к тому, что им кидают хлебные крошки — при появлении человека кричающая флотилия решительно снимается с места. Продавец сыров отказался продавать Юльке нежный шар в пергаменте, узнав, что она собирается съесть его дома через неделю.

— Нон, мадам! — махал руками, убирая сыр с прилавка.

— Как будто это его ребёнок! — смеялась Юлька. Она утешилась, купив у того же заботливого мсье ломоть «конте» шестимесячной выдержки. Съели его тем же вечером на паперти Нотр-Дам, откусывая по очереди от ломтя и запивая розовым шампанским из «сюперетт». Иудейские цари смотрели на них с завистью, но поделиться не просили, будучи каменными и вообще царями.

Сыр был мутным, как парафин на вид, плотным на ощупь и сладковато-солёным, зернистым и сложным — на вкус. Вера держала каждый кусок во рту долго, точно леденец, понимая, что ничего лучше до той поры не ела.

— А вот Бакулина может жрать такой сыр каждый день, — заявила мышь, и Вера поспешно отхлебнула шампанского. В Париже зависть распоясалась, и Стенина с трудом держалась, чтобы не выпустить её наружу — так пытаются сдерживать тошноту.

Юльке Париж пришёлся к лицу, как новый наряд, да и Стениной не стоило прибедняться — во все эти безраз-

мерные дни, доверху набитые впечатлениями, с ними обеими случалось только самое приятное. В музеях шли выставки любимых Вериных художников, погода стояла прохладная и солнечная, да ещё и волчица Ира уже на второй день слегла с кишечным гриппом, знаменитым парижским «гастро», так что Деймос и Фобос бродили по Монмартру вдвоём — и были этим видимо счастливы. Юлька отнесла болящей волчице антибиотик, и та обильно её благодарила ровно до того момента, пока не убежала с искривлённым лицом в туалет. Не везёт некоторым!

В парках цвели неведомые кустарники, пекари вставали затемно — напечь бриошей с круассанами, бодрая старушка в Монпаргис сличала перчатки с сумочкой, чтобы не ошибиться оттенком бордовой кожи...

Но лучше всего были, конечно, музеи.

Лувр оставили на последний день, а в первый, почти сразу после общей экскурсии, увидели афишу на бульваре Османа — и под ней длинную очередь, которую составляли в основном парижане. Узнать их было просто — все в перчатках и шарфиках. Очередь утекала во двор особняка под вывеской «Музей Жакмар-Андре». Судя по воодушевлённому настрою очереди, сегодня у этого «Андре» был бесплатный вход.

Копипаста терпеть не могла очередей, но Вера всё-таки уговорила её постоять. Не иначе в отместку, Юлька в двадцатый раз принялась обсуждать Сарматова.

— Секс очень важен для отношений, — громко заявила она, и невысокий мсье, стоявший перед ними, обернулся с таким заинтересованно-изумлённым выражением лица, что Вера пошла пятнами:

— Тише ты! Здесь могут быть эмигранты или парижане со знанием языка.

Но Юлька не умела говорить тихо.

— Если он уже сейчас не проявляет к тебе интереса, дальше-то что будет?

Они продвинулись вперёд на полчеловека.

— А если я ему просто не нравлюсь? Может, это я что-то не так делаю?

— Женщина всегда всё делает так, проблема — в мужике, — убеждённо сказала Копипаста, и мсье ещё раз обернулся с приятной улыбкой.

— Юля, давай поговорим о чём-нибудь другом! — взмолилась Стенина, и тут, словно в ответ на её просьбу, очередь резво устремилась вперёд — так что они успели войти в музей с новой партией.

Сначала оказались в небольшом изящном саду. Дорожки были усыпаны гравием, под ногами шуршало, как на стройке. Вход в особняк сторожили каменные львы — смирные и чем-то расстроенные. Вера, заодно со львами, тоже была не в настроении — из-за Юльки её личная драма начала сгущаться, как туман в фильме ужасов.

Незадолго до отъезда старшую Стенину вдруг пробило на воспоминания, и хотя Вера делала вид, что не слушает, мама всё же успела сообщить ей много лишнего. Причём такого, что в жизни не позабудешь.

Лучше бы мама, как в детстве, не начинала таких разговоров, чем признаться Вере, что после развода с отцом у неё ни разу не было *интимных отношений*. И что отношения эти, в общем, нужны только молодым.

— Поверь мне, Веруня, — клялась мама, пока Вера обшаривала кухню страдальческим взглядом, как Эйфелева башня шарит своим лучом по всем арондисманам. Неизвестно, что нужно башне, а вот Стенина тем вечером искала затычки для ушей или хотя бы водку. — Поверь, весь этот секс очень сильно перехваливают. Сейчас вообще стыд потеряли — девки ходят в нижнем белье, изображают, что это платя. А в газетах что печатают! Раньше посадили бы за все эти безнравственности. Тьфу! Пропали они пропадом со своим сексом. — Ненавистное слово мама произносила через «е».

Вера мычала и давилась чаем: хлестать при маме водку она всё-таки не решалась, а мама, судя по всему, засела в кухне плотно.

— Лет до тридцати ещё куда ни шло, — разоплаась родительница, — а потом ну просто стыдно же, Веруня! Тело дряблое, груди висят, кожа просвечивает, и туда же — секс! Вон, посмотри, в газете какая-то старуха свои фотографии напечатала, без трусов. Совсем народ с ума походил...

Вера шла следом за Юлькой по залам прекрасного особняка Жакмар-Андре — оказалось, это были фамилии жены и мужа, оставивших свою коллекцию в наследство Франции, — и вспоминала, как мама шельмовала дерзкую «старуху», посмевшую прислать в эротическую газету свои снимки. Вспоминала, конечно, и другие снимки — Герины работы, за которые он поплатился жизнью. Фотографии технически переоснащённых моделей, включая её собственный окрылённый портрет, долго хранились у Веры в письменном столе — в верхнем ящике, который закрывался на ключ. Лара уже начала интересоваться закрытыми ящиками, искала пока что конфеты, но Вера не сомневалась, что рано или поздно дочкины руки доберутся и до менее, а может, и более сладких тайн. Только в прошлом году Стенина решилась, наконец, обрамить свою фотографию — и повесить на стену в спальне. Лара этого, кажется, даже не заметила — во всяком случае, никаких вопросов матери задано не было.

Копипаста восторженно застывала перед шедеврами — правда, прежде чем застыть, она вначале шурилась в сторону таблички с подписью. В самом деле, не стоять же перед какими-нибудь третьесортными работами в музее, где хранятся Уччелло и Рембрандт!

Раздумья Стениной прервал оглушительный детский плач — так орут несчастные младенцы, которых подвергают болезненным медицинским процедурам. Вера ощутила, как страх бежит по телу, опускаясь горячими волнами в послушно каменеющие ноги.

А все вокруг делали вид, что ничего не происходит!

Юлька скрылась в одном из дальних залов, будто и не вместе пришли.

С трудом, как не свои, передвигая каменные ноги, Вера подошла к стене, откуда нёсся жуткий вой — конечно же! Кто бы не кричал, когда обрезают крылья?

— Бррр, — согласилась мышь. — Нам без крыльев никуда. — И раскрыла свой чёрный перепончатый веер — как зонтик-автомат.

«Ван Дейк», — изучала табличку Стенина, — «Время обрезают крылья Амуру». Пухленький малыш в отчаянии пытался остановить сильную руку старика своими крохотными пальчиками, но безжалостный старец — сам, кстати, при роскошных седых крыльях — лишь деловито сопел и продолжал своё злодейство с таким видом, будто всего лишь подрезал младенцу ногти!

— Отойди от него немедленно, — сквозь зубы сказала Стенина. Старец-время на секунду оторопел, а потом повернулся к Вере и так страшно щёлкнул чёрными ножницами, что она отскочила от холста на полметра.

— Мадам, в чём дело? — к ней шёл охранник, если можно, конечно, назвать этим грозным словом плешивого худого старика в пиджаке с чужого плеча. Нос покрыт винной сеточкой, глаза почти отцвели, но прежде были голубыми. — Вы говорите по-французски?

Вера кивнула, хотя это было неправдой. Её французский — хромой, если не вообще безногий. Она вдруг не к месту улыбнулась, вспомнив однокурсницу, — увлекшись выступлением на семинаре, та назвала «Обнажённую, спускающуюся по лестнице» Дюшана¹ — «Одноногой, спускавшейся по лестнице». Охранника Верина улыбка почему-то успокоила.

¹ Марсель Дюшан — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.

— Манифик! — сказал он, взмахнув рукой в сторону Ван Дейка. Ещё бы не *манифик* — сейчас, когда Амур временно молчал и смотрел на Веру испуганным взглядом, это был истинный шедевр. В пандан этой работе, решила Стенина, годится Соколов¹ из Третьяковки — «Дедал привязывает крылья Икару».

Краснощёкий граф с портрета кисти Давида возмущённо хмыкнул. Кругом гомонили картины, и каждая звучала на свой лад. Вера неслась вперёд, но всё равно успевала видеть кривые пальцы Мадонны Боттичелли и тёмную тень Рембрандтова Христа, словно вырезанную из бумаги курортным силуэтистом. Слышала, как льётся сладкий мёд итальянской речи с фрески Тьеполо — и как громко ступает мультяшный дракон Уччелло... Хмурый Иероним в элегантной красной шляпе грозил пальцем ей вслед, и лев, что спрятался за его плечом, порывивал вполне серьёзно для того, чтобы Веру вынесло, наконец, прочь — в частные покои семейства Жакмар-Андре. Там обнаружилась Копипаста — стояла перед портретом круглолицей блондинки в тройных жемчугах. Юлька смотрела на неё так же, как Лара — в аквариум. Будто ждала, что рыбка — или картина — ответит.

¹ Петр Иванович Соколов — исторический живописец, портретист.

Глава двадцать третья

Она
неразговорчива.
Она глядит
поверх.
Беспомощно.
Торжественно.
Трава судьбы
горчит...
Как много
эта женщина
знает.
И молчит.

Роберт Рождественский

Вера поднималась по знакомым ступенькам — вот здесь вечные пятна, застывшие в форме ковровой дорожки, а тут — громадная щербина, осторожно, Серёжа, не упадите! Недоумение клубилось в воздухе облаком: ступеньки, стены и почтовые ящики удивлялись — неужто Вера Степина ведёт к себе домой незнакомого мужчину, даром что доктора? Да ещё и предупреждает, чтобы не навернулся? Вера молчала — нечего было ответить. Количество вопросов без ответа росло со скоростью цен в продуктовых магазинах. Если даже не обгоняло их.

Серёжа выглядел собранным и строгим — прямо образцовый доктор из телевизионного сериала, какие любит мамина заводская приятельница, — про сложную диагностику и любовь в ординаторской. Вера долго искала ключи в сумке. За дверью было тихо, и даже телевизор молчал (обычно его слышно с лестничной клетки). Мышь взвывла:

— А что, если правда аппендицит? Или отравление? Знаешь ведь, как она питается!

Трясущимися руками Вера включила свет в прихожей — выключатель спрятан среди одежных полок, ни один гость не отыщет.

...За день до поездки в Париж Сарматов водил Веру с Ларой в дорогой ресторан, где сверкали в аквариумах рыже-розовые рыбы в пышных оборках и рюшах плавников. Сарматов, глядя на маленькую Стенину, изо всех сил сдерживал смех, но тот рвался на волю, точно кашель во время спектакля. Вера расстраивалась, но в то же время понимала, как забавно выглядит со стороны её крепенькая девочка с лохматой косичкой. Деловито смела салат, уничтожила жульен и солянку, а потом принялась за куриную ножку — и объедала её так смачно, что официантки, улыбаясь, пихали друг друга локтями.

В ожидании десерта Лара подцепила на вилку недоеденный Верой кусок сёмги и поднесла его к стеклу аквариума.

— Вот твоё будущее, рыбка, — серьёзно сказала дочь.

Рыбка не ответила. И портрет блондинки не ответит Юльке, зря она вглядывается в него так старательно. Блондинка скосила глаза на Стенину и поздоровалась — на русском!

— Иногда мне кажется, что портреты могут разговаривать, — шепнула Юлька. Блондинка хмыкнула. Элизабет Виже-Лебрён, «Портрет графини Екатерины Скавронской». — Похожа на Бакулину, правда? — сказала Юлька.

Блондинка поправила жемчуг на шее и зевнула так сладко и лениво, что Вере вдруг тоже захотелось спать. Скавронская и впрямь напоминала Бакулину, но ведь у каждого человека имеется свой двойник в мире искусства. И это совсем не обязательно Боттичеллиева Симонетта Веспуччи, кому-то надо быть и гогеновской прекрасной Анжелой... Если портрет не находился сразу, это вовсе не означало, что его не существует в природе — однажды время обязательно вынесет нужное изображение, как морская вода — водоросли на берег. Бакулина вполне могла быть

далёкой прапраправнучкой блондинки в жемчугах, но гораздо интереснее было другое. Что, если чувствовать картины умеет кто-то другой, не только Стенина?

Вера так давно свыклась со своим странным талантом, что уже не пыталась его не то что анализировать, но даже и применять. Она просто жила с ним, как люди, бывает, живут с горбом или с третьим соском. Несколько раз, может, и думала, что чисто теоретически в мире должны существовать коллеги, так сказать, по способностям — но сознаваться в этом никто не спешил, что, в общем, понятно — в психбольницу могли забрать и за меньшее.

И уж точно этим даром не владела Юлька. Только не она! Вера успокоилась, когда увидела, что Копипаста с точно таким же взволнованным интересом разглядывает в старинном зеркале теперь уже своё собственное лицо. А Екатерина Скавронская, потянувшись с такой яростью, что едва не выпала из рамы, принялась рассказывать Стениной свою историю.

Старые портреты отличаются болтливостью. Особенно групповые — там все только и делают, что перекрикивают друг друга, пытаясь привлечь к себе внимание. Желает ли Вера слушать, никто не спрашивал. К счастью, в родном музее на Плотинке картины разговаривали с ней на родном языке художников, а поскольку Вера толком не понимала ни французского, ни фламандского, то слушала эти рассказы как музыку. Иначе можно было сойти с ума. По-настоящему ей докучала разве что «Еврейская Венера» Ларионова. Эта знойная красавица с лицом завуча одной рукой прикрывала низ живота громадным фиговым листком, похожим на завядшее жёлтое сердце, а другой весьма чувствительно щипала Веру за плечо. Её пахучая нагота была так неприятна Стениной, что она проходила мимо с каменным лицом — как в толпе, где кричат гадости. Со временем научилась уворачиваться от щипков, и Венера шипела ей вслед обиженно:

— Шикса!

Скавронская не пыталась хватать Веру — сложила руки так, как нарисовал художник, и смотрела будто бы в открытый медальон. Катерина Энгельгардт была племянницей светлейшего князя Потёмкина, а также его верной любовницей. Говорят, Потёмкин перепробовал всех девушек Энгельгардт (числом пять), но пуще всех ему полюбилась Катенька. И разве могло быть иначе? Нежная, косы до колен, и улыбка вот-вот выпорхнет, как птичка у фотографа. (Странно, что у некрасивой Бакулиной — такой обаятельный двойник.) Злые языки (самый злой — у художницы Виже-Лебрён, зато кисть у неё добрая и Мария-Антуанетта — в подружках) утверждали, будто Катенька ленива, как заморская черепаха, — лежит целыми днями, завернувшись голышом в большую шубу. У Веры при этих подробностях резко и сладко оборвались внутри те важные нити, которые держат нас в реальности дня, не позволяя становиться животными. Катенька глянула кокетливо — а ты как думала, любезная? Меха и плоть должны быть вместе, и кто сказал, что зверей выпускают на волю только ночами? Даже примерять наряды Катенька ленилась, но дядюшку обожала, стала фрейлиной императрицы и вышла впоследствии замуж за Павла Скавронского, а потом — за итальянского графа Джулио Литта. Из тех самых Литта, гордо пояснила Катенька, что заказали «Мадонну» Леонардо. Папа Римский снял с Джулио обет безбрачия, который тот опрометчиво дал, вступая в Мальтийский орден, — чтобы граф мог жениться на Катеньке.

Вера уважительно покачала головой. Тем временем Юлька достала из сумочки помаду и начала красить губы перед зеркалом. К тому, что Стенина зависла перед портретом, она отнеслась с пониманием — искусствовед как-никак!

Внучка Екатерины Скавронской, продолжал хвалиться портрет, знаменита не меньше бабки. Вы её точно знаете — Юлия Пален.

— Никогда не слыхала, — сказала Вера.

— А если под фамилией Самойлова?

Конечно же — Брюллов! Несчастливый в семейных делах художник — глухой на одно ухо после воспитательного тумака папаша, а потом заставший молодую жену Эмилию в объятиях её близкого родственника, всю жизнь любил другую женщину. Эту яркую красавицу он рисовал на одной картине по нескольку раз. «Последний день Помпеи» — целых три Юлии Самойловы в разных образах. И она же на другом холсте удаляется с бала со своей юной воспитанницей...

— Упокоилась в Париже, — заявила Скавронская. — А никакие ваши Бакулины мне неведомы!

Юлька наконец не выдержала:

— Пойдем, Стенина, ну что ты к ней прилипла!

Вера незаметно помахала рукой, и Скавронская повернула к ней свой медальон, оказавшийся зеркалом — пустила солнечного зайчика в глаза.

«Оказывается, у портретов тоже есть дети и внуки, — думала Стенина. — Жаль, что нельзя рассказать об этом Юльке...»

По дороге к выходу из музея Вера испугалась портрета Матильды де Канизы, маркизы д'Антен — та была похожа на куклу и бормотала что-то бессвязное, как душевнобольная.

«А если я тоже сошла с ума? — похолодела Вера. — Может, я уже лет пятнадцать как сумасшедшая? Это всё объясняет — и беседы с портретами, и обострённое восприятие искусства, и даже Ларины закидоны».

Схватила Юльку за рукав:

— Скажи, я похожа на сумасшедшую?

— Как две капли воды, — убеждённо сказала Копипаста. — Кстати, о каплях воды — скоро будет дождь. Переждём в кафе?

Дождь Юлька всегда предсказывала безошибочно. Веру это всякий раз поражало — бывает, небо ясное, как мысль того, кто ясно излагает, но Копипаста говорит:

дождь! Небо тут же собирается морщинами, и тучи несутся как на пожар.

Вера предполагала, что в Юльке ходит-бродит древняя шаманская кровь — на Урале в кого ни ткни, непременно вылезет родство с малыми народами, так почему бы у Калининных не висеть на ветвях родословного древа какому-нибудь манси? Юльке эта идея не понравилась. У неё со времён Валечки укрепился стойкий иммунитет против всякого рода гаданий, колдунов и чародеев. Даже невинный гороскоп в еженедельнике, и тот игнорировался с ледяным постоянством, а Вера к ней — с шаманами!

Пока шли вверх по бульвару, небо затянуло толстыми, как диванные подушки, облаками, а когда заказывали графинчик с розовым, в окна кафе уже колотили капли дождя.

Вера, глотнув вина, решила, что сразу же после возвращения пойдёт на приём к психиатру, и обязательно — к тому чудесному психологу-экстрасенсу, исцелившему всех маминых подружек. Ну и диплом, конечно, допишет.

Юлька вдруг сказала:

— Всё-таки жаль, что не повидались с Бакулиной. Как представляю, что она ходит здесь по улицам каждый день, убить хочется!

— В другой раз убьёшь, — утешила её Вера. Бакулина мерещилась ей в Париже на каждом углу — то в берете, то в шортах, то с собачкой, то с сигареткой. Обычное дело: если много думаешь о каком-то человеке, его черты переходят к окружающим. В первый год после смерти Геры Стенина видела его повсюду — чаще всего почему-то в машинах, за рулём, хотя он не умел водить и никогда не высказывал желания этому научиться. Мерещился, впрочем, и в кинотеатре — за несколько рядов впереди вдруг появлялась голова знакомой формы, и Вера вздрагивала от радости...

В романе о Вере Стениной обязательно нашлась бы страничка-другая для случайной встречи с Бакулиной — в саду Тюильри, на мосту Бир-Хаким или даже в поезде

«эруэр», увозящем туристов в Версаль. В реальности они так и не встретились.

Последний день поездки пал жертвой шопинга — Юлька слишком долго возилась в бельевой лавке, а Вера неудачно выбрала босоножки для Лары, ошиблась размером. Опаздывая в главный парижский музей, журналист и *фотограф* неслись с мешками и баулами по улице Риволи, и, когда уже появились впереди величественные, как саркофаги, дымоходы Лувра, Стенина вспомнила: она так и не купила подарок для Евгении. Что-нибудь с изображением Эйфелевой башни.

Юлька орала с перекрёстка — давай быстрее! — но Вера юркнула в сувенирную лавку. Маленькая башня из шоколада — сойдёт.

В Лувр влетели, как на вокзал к уходящему поезду. Вера держалась руками за поясницу, Копипаста дышала, постанывая.

Успели. Как им объяснили, сегодня в Лувре «ноктюрн» — этим шопеновским словом в Париже называют дни, когда музей открыт допоздна. Сдали баулы в камеру хранения и теперь стояли налегке перед большой лестницей, глядя на статую крылатой богини победы.

В великих музеях — это Вера знала по Эрмитажу — сложно наслаждаться искусством. Реальность не соответствует ожиданиям, известные работы почти всегда обладают иными пропорциями, чем ты себе представлял, да к тому же у самого желанного холста стоит засада — пенсיוнерки в наушниках или студенты с блокнотами. Все подходы перекрыты, и вместо того, чтобы подглядывать за «Менялами» Массейса¹ или слушать «Сельский концерт» Тициана, приходится разглядывать причёски любопытных старушек. У той, что стенографирует сейчас в тетрадке рассказ гида, на голове — нечто восхитительно-кудрявое, похожее на седеющий розовый гиацинт.

¹ Квентин Массейс — фламандский живописец.

А ещё собственные ноги вдруг начинают предавать (как выражалась Лара, «у меня ноги стонут»), хотя всего час назад никто не вспоминал о том, что они вообще имеются. Усталость наваливается тяжело и резко, будто кто-то положил на плечи тяжёлый груз — ту самую гору, которая мешает бегать от одной стены к другой, от Рафаэля — к Беллини, от Латура — к Ватто. Тащишь эту гору на себе и всматриваешься красными глазами в чёткого Пуссена, сияющего Энгра, сладкого Буше. Когда же они кончатся, эти картины? Надо же, Караваджо — запросто, на стеночке, как в конторе календарь. А этого Клуэ повесили очень неудачно, не всякий найдёт. А ещё мне срочно нужно в туалет, хотя я прекрасно понимаю, как буду впоследствии жалеть о том, что так бездарно потратила время в Лувре...

Помимо прочего Вера чувствовала ещё и вечную ответственность искусствоведа. Она обязана показать Юльке всё лучшее в Лувре, несмотря на гиацинтовые головы старушек и ту комичную пару, которая встретила её в галерее Медичи. Тощая девушка и высокий парень, поедавший глазами пышнотелую красавицу Рубенса. «...море забвенья, бродилище плоти», — вспоминала Вера Бодлера, глядя, как жадно смотрит парень на изобильную красу Юноны и Флоренции. Худышка за руку увела своего возлюбленного из «сада лени», а тот всё озирался на этих тёплых, пышных, как будто из самого сдобного теста вылепленных женщин... Стенина рассмеялась, и Флоренция чуточку покраснела. Пахло здесь, как всегда у Рубенса, свежим потом, землёй, зрелой зеленью, и совсем немного — чесноком. Красавицы без конца охорашивались, поднимая волны душистой сладкой пыли.

Да, в музеях сложно наслаждаться искусством. Вместо того чтобы любоваться шедеврами, наблюдаешь за людьми. Вписываешь их в раму, продумываешь композицию, выстраиваешь сюжет...

В зале французской скульптуры, через силу любясь Гудоном, Вера вспомнила, как однажды в её родной музей

заявилась экскурсионная группа солдат-срочников. Эти взрослые дети, громыхая сапогами и почёсывая стриженные головы, не очень понимали, зачем их сюда привезли. Экскурсовода солдатам почему-то не полагалось, и они маршем следовали из зала в зал, прихватывая взглядами обнажённые тела на картинах. В коридоре тогда стояли мраморные «Рафаэль и Форнарина» Эберлейна¹, и Вера случайно увидела из своего зала, как один из солдатиков – самый маленький и ушастый, как летучая мышь, – незаметно отстал от марш-броска и на цыпочках, стараясь не скрипеть сапогами, вернулся к статуям. Огляделся по сторонам – и с такой грубой нежностью погладил мраморную грудь Форнарины, что грудь, хоть и была ледяной как у покойницы, затрепетала под его пальцами. Вера примёрзла к полу от страха, что их кто-нибудь заметит. Обошлось – солдатик догнал своих, а Стенина с пересохшим горлом вернулась к работе.

Скульптуры с ней разговаривали редко, чувствовали, что Вера их недолюбливает. Это из-за них античная жизнь представлялась ей объёмной, но бесцветной. Вот и в Лувре – застывший лес белых тел и соляных столбов. И, кстати, где Юлька? В последний раз Вера видела её в Большой галерее, но потом в поисках туалета Стенину вынесло на другой этаж, а Юлька, наверное, так и бродит там или, может быть, валяется в изнеможении на круглом диване, утрюмая, как Меншиков в Берёзове.

Вера дважды обошла Большую галерею, на ходу замечая, как важно для некоторых картин – быть увиденными издали. Настоящий шедевр виден за двадцать метров, настоящей Юльки – след простыл.

Группа школьников, замерев от восторга, стояла перед «Юдифью», два берета – мужской и женский – свернули в шестой зал, где одиноко висела на стене маленькая

¹ Густав Генрих Эберлейн – немецкий скульптор берлинской скульптурной школы.

«Джоконда». Интересно, что она скажет Вере? Никогда её не любила, но придётся шаркнуть ножкой.

«Джоконда» молчала и улыбалась. Самая тихая картина, самый сдержанный характер. За спиной у Веры гуляла свадьба в Кане Галилейской – Карл Пятый, Франциск Первый и Сулейман Великолепный, наплевав на историческую достоверность, веселились в компании Тициана, Тинторетто и автора холста – Веронезе. Там фыркали собаки, звенели струны, порхали голуби, там нимб у Христа сверкал и был похож на мишень...

Джоконда смотрела на Стенину с сожалением. Сквозь толстое стекло доносились гулкие звуки, с которыми капает вода в свердловских подвалах. И ещё – стеснённое дыхание, задержанное по просьбе врача: «Не дышите!»

«Она немая», – поняла Стенина, и только тогда Джоконда улыбнулась по-настоящему.

Вера обошла её, поклонившись, как иконе, чтобы освободить место другим страждущим. И увидела Копипасту – та стояла у окна, безудержно рыдая на фоне синей портьеры:

– Мне её так жалко! Почти как тебя, Верка!

Глава двадцать четвёртая

Мы по необходимости остаёмся чуждыми себе, мы не понимаем себя, мы должны путать себя с другими.

Фридрих Вильгельм Ницше

Вера включила свет в комнате дочери, метко ударив по стене, — как будто прибила комара. С постели взметнулась недовольная тень, глаза сощурены:

— Ты что, совсем уже?

— Двадцать минут назад помирала, а теперь — спишь?

Когда успела выздороветь?

— Ну да, тебе, конечно, не нравится, что я выздоровела. Лучше бы я умерла от перитонита, чем заснуть. Боже мой, какое преступление! — Дочь натянула одеяло на голову.

Серёжа пугливо топтался в прихожей, Вера крикнула, чтобы он *проходил — не стеснялся*. Подняла с пола пустую банку из-под мёда, сунула в липкую чашку пакет с хлебными крошками. Телевизионный пульт — ещё тёплый — лежал на кровати, как любимый кот.

— Евгения звонила, — сообщили из-под одеяла. — Ревела и спрашивала, где ты, а потом сбросила. Она что, в городе?

— Да, прилетела. А Юлька не появлялась?

— Не-а. Ты с кем там?

— Врача тебе привезла. Пусть посмотрит, где болело.

Как ни странно, Лара не стала спорить. Послушно задрала пижамную куртку и предъявила Серёже пухлый живот в рыжих родинках. Веру скрючило от нежности.

Доктор, пришло вдруг в голову, носит то же имя, что и её первая любовь – погибший сто лет назад Серёга Калинин. И первого мальчика Евгении тоже так звали – Серёжей, по-домашнему – Озей.

– Вас никогда не называли Озей? – спросила она у доктора, пальпирующего Ларин живот.

Серёжа оживился:

– Пытались. Маленький племянник так говорил, а сестра – она в Москве живёт – его переучивала, дескать, обращайся к дяде правильно: «Сергей». И племянник стал говорить, я извиняюсь: «Гей». Ну, тут уж я потребовал вернуть «Озю».

– Хотите чаю? – спросила вдруг Лара.

...В самолёте волчица Ира (все ещё бледненькая) несколько раз благосклонно шепталась с Юлькой – она предпочла сесть «с девочками». Деймос и Фобос, оставшись без надсмотрщицы, выпили всё, что могли предложить стюардессы. На посадке Фобос отключился, а Деймоса стошнило в бумажный пакет, который успел поднести терпеливый сосед слева.

В Кольцове Иру встречал муж – такой красивый, рослый и влюблённый, что мышь чуть не вылетела у Стениной из горла. Чем эта Ира его взяла?

– Титьками, – предположила вульгарная Копипаста.

Влюблённый муж не достаивал вниманием других женщин – даже красивой Юльке и Стениной с тяжёлым чемоданом как будто выдали по шапке-невидимке (Вера, если бы её спросили, предпочла бы скатерть-самобранку или сапоги-скороходы).

– Диму и Федю берём? – спросил муж, бережно принимая у Иры багаж и вручая ей букет вонючих лилий, словно это был заранее обговорённый обмен.

— Сами доберутся, — сказала волчица. — А вам куда, девочки? Это они мне, Петя, дали антибиотики.

В знак благодарности Петя тут же попытался отнять у Стениной чемодан. Она не дала — Петя и так был до самой шеи увешан вещами жены и напоминал торговку-мешочницу.

— Зараза, нас в упор не видел! — ворчала Копипаста, когда их высадили на углу Белореченской и Встречного: заезжать во двор Петя не стал.

Лара и Евгения выбежали в прихожую — долгожданный топоток соскучившихся детей! Вера присела на корточки и раскинула руки в стороны, без труда достав ими до стен. Маленькая была у них квартирка, и становилась всё меньше с каждым днём.

— Что ты привезла? — Лара быстро высвободилась из материнских объятий и теперь алчно смотрела на чемодан. Вера вдруг вспомнила обидное, но точное прозвище, которым наградил дочку Сарматов, — Регистратура. Сантиментов и деликатностей эта девочка не признавала, да и решительной была не по возрасту.

— Евгения, собирайся домой, — скомандовала уставшая Юлька, но дочь начала упрашивать, пусть ей разрешат остаться у Стениных с ночёвкой. Евгении нравился запах в спальне тёти Веры, нравилось не спеша завтракать по утрам в воскресенье — а завтра как раз воскресенье. Жидкий желток из сваренного «в мешочек» яйца будет течь, как густая и яркая гуашь из баночки... И тётя Вера сделает какао!

— Мама расстроится, что ты не хочешь домой, — высказалась старшая Стенина. У неё второй день сильно болела голова, девочки вели себя шумно, а *преподобная* Наталья Александровна Калинина спокойно ушла на дежурство, забросив к ним Евгению — как забрасывают газету в ящик. Старшая Стенина уже заготовила по этому поводу гневную филиппику для дочери, а пока что неискренне уговаривала Евгению:

— Тебе, наверное, подарочки из Парижа привезли, да, мама Юля?

Евгения осторожно посмотрела на Веру, и та вспомнила: Эйфелева башня! Маленькая шоколадка под пластиковой крышкой была передана девочке самым незаметным образом — к счастью, Лара была занята разыскными работами в чемодане и ничего не заметила. Она выбрасывала из чемодана мамины кофточки одну за другой и откопала, в конце концов, нарядно упакованную куклу с огромной головой. Эти пластиковые гидроцефалы пришли на смену «барбиям», Лара их сразу полюбила, и Веру пугало предпочтение, которое дочка отдавала всему сомнительному и уродливому — кукла была так безобразна, что на неё даже смотреть не хотелось. Но Лара готова была таскать эту уродку повсюду, как грудного младенца (или как Вера — зависть).

— Я буду собирать коллекцию, — заявила дочь недели через две, когда Вера уже почти забыла о том, что была в Париже. — Коллекцию кукол!

При слове «коллекция» Вера вздрагивала, как испуганный конь Стаббса¹. Ей стоило больших усилий освоиться на новом рабочем месте — учитывая, что *места* у неё как раз таки не было. В отличие от коллекций.

— Как ты представляешь себе мой рабочий день? — представляла она к Сарматову, но её новоявленный шеф отмахивался. Зачем что-то представлять, когда нужно работать?

С утра Сарматов беспокоил её крайне редко, потому что сам любил спать до обеда. Малопонятная Верина служба начиналась во второй половине дня.

В музее Стенина привыкла к одиночеству — да, она целый день находилась в окружении болтливых картин, зато реальных, надоедливых людей вокруг неё было мало. «Стульчаки» держали дистанцию, посетителей тогда приходило — два-три в день.

¹ Джордж Стаббс — английский художник и учёный-биолог.

А вот Сарматов был с ней до захода солнца, порой и дольше. Он показывал свои приобретения, делился планами, возил по квартирам — как выяснилось, у него было несколько «точек» в разных районах города, и кое-где сидели, как выразился Сарматов, *консультанты*. Все эти консультанты выглядели родными братьями: мягкие бритые затылки, плечи шириной в дверь и костяшки пальцев со следами подсохших ссадин. Хозяин и обращался к консультантам каждый раз одинаково:

— Всё нормально?

Это было разом и приветствие, и обращение, и пароль. Консультанты кивали, грызли ногти и странно контрастировали с полотнами, висевшими на стенах. Золотистая, в пику фамилии, Серебрякова и алый, сочный, как арбуз, Малявин. Пейзажи Станислава Жуковского, где всё плыло и таяло, цвело и жужжало — Вера надыхаться не могла, погружалась в них, как в букет — или в озёрную чистую воду, с головой... К сожалению, Сарматов собирал не только живопись — в каждой квартире обнаруживались всё новые и новые коллекции, пугающие своим разнообразием. Бюсты наполеоновских генералов. Веера с костяными ручками и продраным на сгибах расписным розовым шёлком — один такой веер, по уверению хозяйна, принадлежал Марии-Антуанетте. Стекланные флаконы и нефритовые Будды. Китайская бронза и османская миниатюра. У Веры кружилась голова, ноздри забивало пылью, глаза отказывались видеть чистоту линий и оценивать мощь литья, но Сарматов был беспощаден. Скрипки и лютни, библии и часословы, прялки и сёдла... Она уползала домой каждый вечер, чувствуя себя так, будто её несколько часов кряду избивали всеми этими раритетами по очереди. Вначале — скрипкой, потом прялкой, а потом ещё и роскошным часословом — контрольный удар по темечку.

Чего хотел от неё Сарматов как от специалиста, пока что оставалось загадкой. Вере казалось, она должна толь-

ко лишь слушать его рассказы о вещах (беспощадно подробные) и восторгаться. Зарплата выдавалась в конвертах, подписанных «В.С.», точно в срок.

Квартира на Воеводина служила ещё и штаб-квартирой, но и все прочие интерьеры создавались с оглядкой на внезапное желание хозяина переночевать вблизи от любимых вещиц. Однажды Сарматов раньше времени отпустил консультанта, дежурившего в «точке» на Уралмаше, — парень ушёл неохотно и был заподозрен в дурных привычках.

— Баб, поди, водит, — ворчал Сарматов. — Надо камеру поставить.

Ночь в той квартире они с Верой провели под прищуром весёлой гитаристки кисти Коровина — она наигрывала что-то испански-страстное, но это не помогло. Когда Сарматов ушёл в ванную, Вера встала у портрета притихшей музыкантши и спросила её в упор:

— Это потому, что я ему не нравлюсь?

Гитаристка пожала плечами. Больше спрашивать было не у кого, вторым шедевром «точки» был натюрморт того же Коровина — «Розы», которые благоухали, но молчали. А Сарматов, с трудом дождавшись утра, первым же делом уволил подозрительного консультанта.

Через неделю «точку» на Уралмаше обчистили. Унесли веджвудский рельефный портрет, расписанную Чехониным¹ тарелку и ещё что-то по мелочи — соседи спугнули воров, и те сбежали, оставив дверь нараспашку.

— Странно, что не взяли Коровина, — удивилась Вера.

Сарматов был в страшной печали, долго с кем-то советовался и созванивался — и в результате нанял на работу очень надёжного и грамотного специалиста. Тот был не лысым, а короткостриженным — хотелось провести ладонью по его затылку, чтобы пощекотало кожу. И брови

¹ Сергей Васильевич Чехонин — русский керамист, график, живописец.

у него были такие, что Вера с трудом удержалась, чтобы не очертить пальцем — сначала левую, потом правую.

— Валентин Аркадьевич, — представился специалист, глядя в пол, как будто именно там располагались глаза Веры.

Сарматов просил понаблюдать за надёжным специалистом до вечера — ему нужно было мчаться куда-то в Билимбай. Велел фиксировать всё, что покажется подозрительным.

— Здравствуй, Валечка, — сказала Вера, как только за Сарматовым закрылась дверь.

— Не ожидал, — признался бывший Юлькин муж. — Ты что же, с этим Кощеем живёшь?

— Работаю.

— Ну, он-то в тебе не соотрудницу видит.

Вера вспыхнула, как те розы Коровина, которые почему-то не взял грабитель. Лепестки у них были слегка угловатыми, будто свёрнутыми из папиросной бумаги, но аромат! Не хуже, чем у «Роз Гелиогабала»¹ Лоуренса Альма-Тадемы, запах которых передавали даже плохонькие репродукции. Густой, с привкусом компота, дух зрелых цветов...

— А тебя как сюда занесло? Ты больше не в церкви?

Валечка махнул рукой, задев коллекционную табакерку. Вера поймала её в воздухе:

— Осторожнее, это ценный экспонат.

— Самый ценный экспонат здесь — твой Сарматов, — парировал Валечка. — В агентстве ему отправляют лучших охранников.

— А ты что, лучший? — хихикнула Вера, и тут же поняла, что вопрос глупый. Валечка очень изменился — откровенно говоря, от прежнего мальчика в нём уцелели одни

¹ Картина Лоуренса Альма-Тадемы, голландского и английского художника, мастера исторической и мифологической живописи.

только брови. Глаза были тёмные и почему-то матовые, как пыльные камни. Плечи стали мощными, нелепая бородёнка исчезла, как и привычка облизывать губы — была у него такая, точно была!

— Я давно в охране, — сказал Валечка. — Последнее задание было в Москве, вот только на днях вернулся. И сразу же — к вам. Картинки охранять.

— Это Коровин, — зачем-то сказала Вера.

— Приятно познакомиться, — ответил Валечка. — Поп-расстрига.

— Звучит как «медведь-шатун».

— В общем, это примерно из той же оперы.

— Не сложилось в монастыре?

— Нет. Давай не будем об этом.

Обедали вместе. Вера нашла в холодильнике кусок буженины, хлеб и даже банку огурцов вполне приличного посола. Валечка поразил её тем, что прочёл молитву и благословил трапезу привычным движением.

— А что ты удивляешься? Я хоть и плохой, но всё же православный. И в Бога точно так же верую.

Мяса Валечка не ел, а вот огурцы с хлебом наворачивал с удовольствием. И серебряную вилку (других у Сарматова не было) держал крепко — Вера с одобрением посматривала на его сильные пальцы. Ей было непросто освоиться с этим новым Валечкой — прежний вызывал симпатию и жалость, а этот будил любопытство и даже, честно сказать, волновал.

Мышь проявила солидарность:

— Юлька увидит, каким он стал — сразу прибежит. А тебе опять останутся опилки да отжимки.

Впрочем, разговор о Юльке зашёл только к вечеру. Судя по всему, Валечка нарастил не только банальные бицепсы, но и душевные мышцы, ответственные за терпение. Не зря провёл в монастыре столько времени.

За окнами давно стемнело. Они сидели в кухне, плотно прикрыв дверь — запах коровинских роз к вечеру стал уж совсем нестерпимым.

— Евгении одиннадцать лет, — рассказывала Вера, — очень умная девочка, отличница.

Достижения Евгении она всегда перечисляла звонким голосом и со слезами на глазах, вызванными, как предполагалось, умилением.

— А как твоя дочка? — спросил Валечка.

— Лара совсем другая. Сарматов зовет её Регистратура.

Валечка не улыбнулся. Он слишком явно не любил Сарматова, и Вере это не нравилось.

— Юля, наверное, замужем? — предположил Валечка. Он задумчиво выкладывал на столе дорожку из хлебных крошек — она шла напрямик к Вере, указывала на неё, как стрела.

— Юля сейчас одна-одинёшенька. Можешь ей позвонить, она будет рада.

— С чего бы? — Валечка поднял глаза от «крошечной» дорожки. Мальчик-с-пальчик. Мужчина-с-дубину.

Вера зажмурилась, чтобы не сделать и не сказать чего-нибудь лишнего — но тут очень кстати вернулся из Билимбаея Сарматов. Голодный и разгневанный на Московский тракт.

— Ну как он тебе? — шёпотом спросил Сарматов, когда Валечка отлучился в туалет.

— Вроде бы нормальный, — ответила Вера.

Сарматов любил вворачивать в разговор анекдоты, притчи и цитаты, никому, кроме него, не известные. И здесь не обошлось:

— У меня был друг — отличный парень и не дурак, что достаточно редко бывает в одном человеке. И вот однажды он взял и сошёл с ума. Совершенно для всех неожиданно.

— Ну да, — подхватила Вера. — Обычно об этом предупреждают за три дня.

— Ты слушай дальше. Увезли его в шестую психбольницу, и я, потрясённый, так сказать, случившимся, поехал к нему с визитом. Апельсины, сочувствие, любопытство.

Спрашиваю его: «Как у тебя здесь соседи?» А он и говорит: «Вроде бы *нормальные*». Прямо как ты!

История Вере понравилась — ей вообще нравилось говорить с Сарматовым, слушать его, каламбурить, шутить. Он хорошо смеялся, у него был приятный, чуточку терпкий голос (точь-в-точь как у Франциска Первого кисти Клуэ). Он был умным, сведущим во многих областях, названия которых звучали для Веры прекрасной и непонятной музыкой. Жаль, что эта чудесная дневная кукушка ночью превращалась в бесцветную птицу, неспособную к пению — или же не готовую петь для неё, Веры.

Валечка давно вышел из туалета и сидел на стуле под Коровиным с профессионально-зверским выражением лица. Если забыть о том, что они знакомы (а Вера решила, что забудет — во всяком случае, не станет делиться с Сарматовым радостью от вновь обретённого друга), то можно было бы усмотреть в нём несомненное сходство с другими «консультантами». Вот только взгляд у Валечки был глубже, но глаза при этом оставались как будто присыпанными пеплом.

Тем вечером Сарматов отправил Веру домой, не предложив даже проводить до остановки. Сказал, что завтра заедет не раньше трёх — есть срочные дела.

Вера долго тряслась в троллейбусе и уговаривала себя не злиться на Сарматова. Сложно совмещать в себе сразу и начальника, и мужчину.

Этот троллейбус — просто какое-то землетрясение на колесах. Лучше злиться на него, или на мерзкую погоду, или на судьбу, которая ведёт себя с Верой как садист, вытаскивающий из собачьего желудка кусок полупереваренного мяса на верёвочке.

Мышь советовала не делиться с Копипастой новостями о Валечке — она считала, что свежие сведения нужно какое-то время *выдерживать*, чтобы они дошли до нужной кондиции. Как сыр «конте». Но зависти пришлось умолкнуть от неожиданности, потому что Юлька скакнула им навстречу, лишь только Вера вышла на Белореченской.

— Ты меня ждёшь? — удивилась Вера.

— Я всегда тебя жду, — уклончиво сказала Юлька, — но в данный момент — ещё кое-кого.

— Только не говори, что Джона! — взмолилась Вера. — Хватит стучать граблями по одному и тому же месту.

— Верка, иди домой, — попросила Копипаста. — Иначе ты поставишь меня в неловкое положение.

— Ты уже в нём стоишь, — съязвила Вера. Юльке, в самом деле, было не по себе — она переминалась с ноги на ногу, нервничала, даже ногти, кажется, грызла. Если бы Стенина не чувствовала себя такой уставшей и не мечтала срочно принять душ, чтобы смыть масляную волну королевских роз, она непременно проследила бы, кого ждёт Юлька. Вот и мышь советовала выяснить, в чём дело, но усталость оказалась сильнее зависти. Усталость, а во все не терпение побеждает всё — это чистая правда.

Дома Стенину встретили таинственные мордашки Евгении и Лары — оказывается, для Веры припасён *сюрприз*. В раковине высились пирамиды грязных мисок, а на столе красовалось блюдо с пирогом — подгоревшим сверху и абсолютно сырым внутри.

— Мы для тебя пирог испекли, — сообщила Лара на тот случай, если Вера ещё не поняла, что за счастье привалило.

— Нравится? — робко спросила Евгения. К её смуглой щеке присох кусочек теста.

— Очень, — сказала Вера. — Он похож на мою жизнь.

Глава двадцать пятая

Mulier taceat in ecclesia.

Женщина в церкви да молчит.

1 Кор. 14:34

...— А у меня бутерброды с собой! — торжествовал Серёжа. — Самое то к чаю, тем более что никакого воспаления я у вас, Ларочка, не нахожу. Можно и сыр, и колбаску. Вот так — не болит? А если я так нажму? Одевайтесь. Всё в порядке, но на сладкое не налегайте. Сахар нужно причислить к наркотикам, вот увидите, однажды человечество до этого додумается. Уж лучше жир, чем сахар, говорю это как врач.

— Я всё-таки должна поехать в Кольцово, — сказала Вера. — Сыр с колбаской — потом.

— Можно мне с вами? — спросила Лара. — А чай в термос нальём. Я быстро!

Дочь не выходила на улицу вот уже пятый день. На прошлой неделе Вера с трудом выгнала её в супермаркет за продуктами и оплатить телефоны. Лара собиралась часа два, а вернулась через двадцать минут с гигантским пакетом сладостей, сказав, что свой счёт она пополнила, но для Вериного ей, к сожалению, не хватило денег. А тут, смотрите-ка, замельтешила по квартире — и оделась быстро, и чай так сноровисто заваривает, откуда что взялось? Был бы на месте Серёжи какой-нибудь юный красавец, похожий на давешнего полицейского, Вера ещё поняла бы.

— Что у тебя с головой, мам? — заботливо спросила Лара, застёгивая шубу.

— Ничего особенного, упала, — сказала Вера. — Давай быстро, там внизу Тamarочка ждёт.

— А это ещё кто? — изумилась Лара.

— Так зовут мою машину, — объяснил Серёжа. — Мама мечтала о внучке, хотела назвать Тamarочкой в честь сестры. Но внучки как-то не получилась, да и внука тоже, а машину мы так для смеха окрестили. И прижилось.

— Вы говорите, что у мамы внуков не было, а как же племянник в Москве? Который вас называл «дядя Гей»? — спросила Лара. Как была Регистратура, так и осталась.

— Моя сестра — папина дочь от второго брака. А у мамы только я был.

По двору бродили вечерние собачники, Тamarочка грустно глядела на них круглыми фарами. Вера обошла её сзади, чтобы не упасть на льду, и тут увидела кое-что неожиданное.

Лара крикнула на весь двор:

— Серёжа, у вашей Тamarочки задний номер свинтили!

... Чем дальше Стенина работала на Павла Тимофеевича, тем чаще сомневалась в том, может ли это вообще называться словом «работа». Первая половина дня была у неё совершенно свободной, и это вводило в опасное заблуждение — казалось, что сегодня выходной. Зато задерживаться приходилось допоздна и, кроме того, проводить каждую неделю скучную ночь в одной из «точек». Сарматов в этих ночах как бы и не очень-то нуждался, но по какой-то причине не отменял эту часть отношений.

Валечка, профессиональный исповедник, выслушавший море людских тайн, Веру ни о чём не расспрашивал — она сама взяла однажды и вывалила перед ним свою историю, как незадавшийся ужин — в помойное ведро. Нет чтобы маме довериться! Старшая Стенина только и ждала, что дочь однажды попросит её совета — а чтобы

не было так скучно ждать, давала советы по собственному почину. Точнее, вещала без всякой пощады — делилась воспоминаниями, строила прогнозы... Жаль, что у мамы нельзя было убавить звук, как у телевизора.

— ...Я тогда на практике была, в совхозе. Работяги на меня глазели — все, как один, Веруня! Знаешь, как они меня звали? — Пауза. — Гурченко! Это из-за талии...

Отключить звук можно было единственным способом — спросить об отце. Вера с детства помнила: если спрашиваешь маму об отце, она тут же замолкает. Или начинает плакать.

Было имя — Виктор, а отчество-фамилия оставались неизвестными. Когда в школе рассказывали о могиле Неизвестного солдата, Вера всегда представляла своего папу. Евгения примеряла на эту роль отцов подружек, а Вера приписывала слово «папа» к каждому портрету из набора открыток «Советский киноартист».

Евгений Матвеев. Олег Янковский. Виталий Соломин. Ни одного Виктора среди популярных артистов не было, но Вера утешала себя тем, что папа мог сменить имя из скромности. Вот и дедушка Ленин называл себя просто — «литератор».

Всего лишь раз, вечером Вериного двадцатилетия, мама выпила два бокала шампанского вместо одного — и рассказала, вытирая слёзы полотенцем, что у неё была *любовь с женатым мужчиной*.

— Я ему верила, — а он бросил меня с животом, без денег! Ладно, мать меня не оставила — запомни, Веруня, никому мы не нужны, кроме наших матерей! Это святая правда. Если бы не мама, царствие ей небесное, я бы руки на себя наложила. И на тебя заодно. Мать тебя первый год нянчила, а ушла рано, совсем ещё молодая была. Ты её, наверное, не помнишь...

На другой день старшая Стенина виновато поглядывала на Веру и никогда больше не повторяла ошибки с шампанским...

Валечка сработался с Сарматовым, и тот со временем начал ему доверять.

Однажды днём Веру срочно вызвали на Уралмаш — она взяла такси на стоянке у «Буревестника», недовольная тем, что Гюстав Курбе опять остался без внимания и диплом вырос всего лишь на одну страницу. На «точке» её поджидал взволнованный Сарматов и новая коллекция: иконы. Валечка помогал распаковывать ценный груз — нёс каждую бережно, как грудного младенца. Стол в проходной комнате полностью скрылся под образами — золотые оклады кое-где почернели, но это их не портило. С реставрацией вообще надо быть очень осторожным — Вера считала, что если не можешь сделать лучше, чем было, не суйся. Кто-то показывал ей отреставрированную в лучшей городской мастерской икону Богоматери — показывал хвастаясь, но Вера кивала сочувствуя. Бездарный реставратор превратил прекрасный лик в мёртвую маску. Руки остались живыми, дрожали, но Она ничего не видела — эти глаза были слепы... Конечно, если речь идёт о «Данае» после того, как с ней поиграли в кислотный дождь, нужно спасать, пересаживать кожу и так далее. Но заказывать пластическую операцию для живого, прекрасного лика? Кошунство.

Вера склонилась над одной из икон, которая рассказывала историю подробно, как детская книжка в картинках. Или, точнее, комикс. Маленькая фигурка святого появлялась в левом верхнем углу, чтобы пережить испытания в самом центре — и принять мученическую смерть в нижнем правом.

— Прекрасная работа, — заявил Сарматов, вежливо оттирая Веру от стола. — Это очень ценная коллекция, и за ней нужно следить ещё внимательнее, чем всегда. Вы меня поняли, Валентин Аркадьевич?

Валечка скорчил профессиональную физиономию — весьма, нужно признать, убедительную. И поправил ремешок таким жестом, чтобы все убедились: охранник в равной степени бесстрашен и вооружён.

Сарматов попросил Веру побыть в квартире до вечера — нужно было проверить атрибуции икон, снять несколько копий документов, написать пару писем. Сам он уехал, когда не было ещё пяти — на прощание потрепал Веру по щеке, а потом той же самой рукой погладил икону.

— Занятный тип, — заметил Валечка, когда они остались вдвоём.

Вот тогда-то Вера и рассказала ему о себе и о Сарматове — всё как есть, без купюр и виньеток. Валечка слушал её, сидя, как всегда, под Коровиным, но розами сегодня почему-то не пахло. Можно сказать — и не пахло!

— Если для тебя это очень важно, лучше расстаться, — сказал Валечка.

— Ну не то чтобы прямо так важно, — застыдилась Вера. Ей не хотелось выглядеть при Валечке похотливой макакой, и поэтому она разозлилась на самого Валечку: — Ты-то в этом что понимаешь, монах!

Валечка поднял на неё грустные глаза, как поднимают руки, сдаваясь, и Стенина тут же пожалела — и его, и о сказанном.

— Понимаю, потому и не монах.

— У тебя кто-то был? — спросила Вера. — Реальный человек или, как это у вас называется, помыслы?

— А почему мы вдруг на меня перешли? — возмущился Валечка. — О тебе шла речь.

— Я никогда не буду с ним счастлива, — сказала вдруг Стенина. Сказала — и сама поняла, что это правда, простая и ясная. — Но при этом хочу быть с ним. Мне часто снится, что мы вместе, и он там, во сне, совсем другой.

— Таким, как во сне, он никогда не станет, — вздохнул Валечка. — Но ведь и мы с тобой не стремимся стать такими, какими нас видят в сновидениях другие люди? Кто знает, какой ты снишься Сарматову?

— Я ему вообще не снюсь, — буркнула Вера. — Я же не ценный экспонат.

— Очень ценный, — сказал Валечка. — Ты совсем другая стала, Вера. Раньше была — ну просто Юлина тень, а теперь на Юлю, наверное, никто и внимания не обращает рядом с тобой.

Мышь внутри упала в глубокий обморок с надеждой на последующую кому, а Вера зажмурилась и обняла Валечку. Пока он стягивал с неё колготки вместе с трусами, Стенина пыталась собрать обрывки мыслей и угрызений совести — но у неё не получилось. Сарматов, заброшенный диплом, даже Лара и Евгения — всё стало вдруг мелким и далёким, как сцена, если смотреть на неё с галерки в перевернутый бинокль.

Но когда она начала расстегивать его ремень, он убрал её руку.

— Почему?

— Потому что. Всё будет только для тебя, а я не заслужил.

— Валечка...

Он встал на колени перед креслом.

— Ты разрешишь? Позволишь?

— Ну, в таком виде было бы странно отказываться.

А с Юлькой ты...

— Помолчи, пожалуйста.

«Интересно, у меня будут когда-нибудь *нормальные отношения?*» — думала Вера на пути домой тем вечером. Её всё ещё чуточку подбрасывало, хотя внутри была прекрасная и лёгкая пустота. Мышь молчала, будто её и не было — скрылась в лабиринтах подсознания.

— У тебя талант, — признала Вера, прощаясь с Валечкой в прихожей и проводя пальцем по его бровям — сначала левая, а потом правая.

— Дар напрасный, дар случайный... — сказал Валечка.

— О, я много знаю о ненужных дарах и случайных талантах. Как-нибудь расскажу. Придёшь к нам в гости в субботу? Я тебя с Ларой познакомлю.

Валечка ничего не обещал. Поцеловал Веру, и она ушла, столкнувшись у подъезда с Сарматовым. Тот тащил какой-то свёрток и выглядел очень довольным.

— Хорошо, что я тебя застал! Пошли, покажу удивительную вещь.

Сарматов показался вдруг Вере очень красивым — она почему-то смотрела на него глазами чужого человека. Будто бы прошло лет пять, не меньше, с того момента, когда они виделись днём.

Удивительной вещью была икона из другой коллекции, — она так точно подходила к остальным, как будто была написана одной рукой.

— Это и есть одна рука, — ликовал Сарматов. Валечка сидел под Коровиным неслышно, как тень. — Знаменитый местный иконописец, восемнадцатый век. Я за ним давно охочусь и теперь могу сказать, что собрал лучшие экземпляры. Валентин Аркадьевич, всё нормально? Поехали, Верверочка, в ресторан — отметим покупку. Или сразу на Воеводина?

Тень кивнула: *всё нормально*, Вера пробормотала, что можно и в ресторан.

— Да что не так с этими розами? — спросила она вдруг с досадой.

Сарматов дёрнулся:

— А что с ними не так?

— Они выглядят иначе. Как будто это не Коровин.

Сарматов переводил взгляд с Веры на Валечку, так что, если бы речь шла не о натюрморте, они оба изрядно понервничали бы. Но Вера и сама теперь видела: эти розы и вправду — не Коровин. Поэтому и не пахнут. Вместо оригинала на стене висела копия.

— Посторонних не было? — спросил Сарматов у Валечки, и тот, вскочив на ноги, начал рассказывать, как ответственно и аккуратно несёт здесь свою нелёгкую службу. Никого, конечно же, не было, кроме Веры Викторовны и самого Павла Тимофеевича!

— А чем это вы обивку испачкали? — поинтересовался Сарматов. — На кресле, где час назад сидела Вера, осталось небольшое влажное пятно — острый взгляд коллекционера тут же заметил не порядок.

Стенина похолодела, но Валечка убедительно потупился:

— Простите, это я, ещё днём. Случайно уронил колбасу.

— Никакой еды в комнате, Валентин Аркадьевич! Мы же договаривались!

— Виноват. Сегодня же отнесу в химчистку.

— Сделайте одолжение, а то прямо смотреть неприятно, правда, Верверочка?

— Правда. Так что там с Коровиным?

Сарматов поманил Веру пальцем, и она пошла с ним в прихожую, стараясь не поднимать глаз на Валечку.

— Это копия, — прошептал он на ухо Стениной то, что она и так уже знала.

— А где оригинал?

— Продал за хорошие деньги, но было жаль расставаться с Коровиным. Вот Славян и сделал по моей просьбе копию.

— Славян?

— Ну да, а что ты удивляешься? Он скверный художник, но очень приличный и ответственный копиист.

— Вот только розы у него не пахнут, — сказала Вера.

— А ты и вправду разбираешься в живописи, — признал Сарматов. — Как хорошо, что ты у меня работаешь!

Он приобнял её за талию холодными пальцами и повёл вниз по ступенькам.

Вера чувствовала не только спиной, но всей кожей — и даже одеждой, что Валечка смотрит на них в окно.

Сарматов, хоть и был одним из самых богатых людей в городе, не любил автомобилей — и предпочитал общественный транспорт. Автомобиль у него имелся, но разъезжал он на нём редко, и непременно — с водителем. Сам управлять машиной не умел, считал это занятие плебей-

ским. Но в этот день у подъезда стояла машина — и шофёр открыл для Стениной дверцу.

Она села на мягкое сиденье и поняла, что больше всего на свете ей хочется поехать домой, лечь в постель и вспоминать о том, что и как делал с ней сегодня Валечка. И, возможно, мечтать о том, чтобы увидеть его во сне — хотя во сне всё будет хуже, чем в реальности. Бывает и так.

А лучше быть просто не может.

— Что-то я, похоже, заболеваю, — соврала Вера. — Отвези меня, пожалуйста, домой. И, кстати, зачем тебе фальшивый Коровин?

Глава двадцать шестая

Здравствуй, мое старение!

Иосиф Бродский

Юлькин джип летел по Россельбану, и все послушно уступали ему скоростную полосу, уходили в сторону, как сделанные дела. В салоне пахло духами — в последние годы Юлька любила только «Diog Addict» и на компромиссы не шла, как, впрочем, и в том, что касалось музыки. Шесть дисков, на каждом — джаз. Любить джаз её научил Ереваныч, спасибо ему за это большое. И ещё — за то, что джип летит по скоростной полосе и в салоне пахнет духами, а не кислыми тряпками, как в каком-нибудь такси. Юлька глянула на себя в обзорное зеркало, коснулась десны языком — наконец-то анестезия отходит. Нужно скорее забрать Евгению из аэропорта, чтобы успеть домой к ужину — Ереваныч не любил есть в одиночестве, а Юлька не любила огорчать своего мужа. И если удалить отсюда слово «огорчать», — вырвать, как больной зуб! — тоже будет правда. Юлька не любила своего мужа, но была ему бесконечно признательна и благодарна. Эта благодарная признательность была такой густой и крепкой, что на ней можно сварить хороший суп — и ничем его не заправлять. Ереваныч стал её точкой — и отсчета, и невозврата, и выбора. Неизвестно, что случилось бы с Юлькой, не повстре-

чай она в тот счастливый год своего Ереваныча. Неизвестно, что бы от неё осталось...

...Почти сразу же после возвращения из Парижа Юлька получила письмо по электронной почте. Адрес отправителя ей ничего не говорил. Конечно, Юлька знала, что письма от неизвестных лучше не открывать — но её будто под руку толкнули, и она подвела курсор к жёлтому конвертику.

«Здравствуй Юля ты меня наверно не помнишь, это Саша».

Юлька отшатнулась от монитора. Она что, всерьёз считала мужчиной-мечтой вот этого неуча? Запятые ещё можно простить, пусть и не хочется, но «помнишь» не пройдёт ни в какие ворота. Интересно, от кого в таком случае Евгения унаследовала свою врождённую грамотность? Юлька ведь тоже не была грамматическим гением, старалась писать короткими фразами и часто бегала за помощью к словарям.

Через силу вернулась к письму.

«Я часто вспоминаю нашу встречу в Оренбурге. На днях приеду в Екат. Сообщи планы. Твой адрес мне дали Калинины из Орска. Саша».

Прежде чем влюбиться, нужно попросить человека написать хоть пару строк, решила Юлька на будущее. Встретаться с отцом Евгении ей совершенно не хотелось, проклятый Джон обесценил всё, что было до него — и даже то, что пришло после, казалось каким-то ущербным.

И всё-таки интересно, каким он стал? Что с его семьёй? Жена, будем надеяться, растолстела — Юлька видела её всего лишь раз в гостях, тем летом, но та и тогда уже была — хоть на чайник сажай. Какие у него дочери? Старшие сёстры Евгении, Вика и Марина, она отлично помнила, как их звали — сейчас им двадцать три и двадцать пять, где-то так.

Юлька часто видела в дочери чужого человека — может, потому и не научилась любить Евгению хотя бы наполо-

вину так, как Стенина обожала свою Лару. Верка узнавала в Ларе любимого мужчину, видела саму себя и обеих бабушек — все они отражались в девочке то вместе, то по очереди. Жесты Веры, походка Геры, словечки старшей Стениной, взгляд Лидии Робертовны... Лара была сложена из близких и знакомых примет и чёрточек — неважно, хороши они были или плохи, но каждую можно было узнать и обрадоваться ей, как старому другу на пороге.

Евгения была наполовину Юлькина, а наполовину — чужая. Неизвестно чья. Оттопыренные ушки — папины. Смуглая матовая кожа — от мамы. Но как быть со всем остальным? Форма рук, пальцы на ногах, ресницы... Неведомые Юлке люди могли узнать и то, и другое, и третье как фирменную черту своей семьи, но Юлька любила в Евгении только то, что могла считать своим. Волосы у дочери были калининские — тёмные, кудрявые, мягкие. И зелёные глаза — точь-в-точь как у покойного брата Серёги.

Отличница Евгения, любимица учителей и предмет зависти чужих мам, раздражала Юльку ещё и тем, что была чересчур правильной. Ни намёка на недовольство, ни слова против, даже если следовало — дочь была кроткой и милой, как падчерица из нравоучительной сказки. Чаще всего Юлька слышала от неё слово «сказали»:

- Сказали выучить стихотворение.
- Сказали принести клей.
- Сказали измерить, сколько шагов в коридоре.

Всё, что «сказали», тут же превращалось в «сделали» — Юлька это просто ненавидела и всячески подбивала дочь взбунтоваться:

- Ну, хотя бы раз сделай не так, как *сказали!*

Евгения поджимала губы, бывало — плакала, но ни разу не подвела ни общеобразовательную, ни музыкальную школу.

— А как вы этого добились? — пристала к Юлке одна родительница на школьном собрании. — Вы её наказываете или мотивируете?

Юлька рассмеялась от души, оставив мамашку без ответа, а вот Стенина могла бы поделиться собственной теорией: «Чем беспечнее родители, тем ответственнее дети. И наоборот». Верка со своей Ларой только что на Луну не летала — каких только репетиторов в доме ни перебывало, сколько денег потрачено, а результат всем известен. Зато Евгения чуть руки на себя не наложила, когда обнаружила в новом учебнике геометрии за девятый класс решённые задачи — чернильной ручкой, в библиотечной книжке! Это мама Юлька не утерпела и вечером, после двух бокалов своего любимого рислинга, стащила у дочери задачник.

— Как ты могла? — спрашивала наутро зарёванная дочь, потрясая поруганным учебником. — Что ты за человек вообще?

Ереваныч, обнаружив в кухне рыдающую Евгению и весёлую, несмотря на небольшую головную боль, Юльку, тут же всё понял — выдал Евгении субсидию на покупку нового учебника, а вечером пришёл домой с работы с целой сумкой задачников для её мамы.

Но всё это было, конечно же, потом.

Тогда никакого Ереваныча в их жизни ещё не было — а было только безграмотное письмо Саши из Оренбурга.

Надо признать ошибкой и его, решила Юлька и оставила письмо без ответа.

Но Саша прислал ещё несколько сообщений, и в каждом были щедро рассыпаны, как цветы по весеннему луту, самые разнообразные ошибки — орфографические, стилистические, на любой вкус! Юлька жмурилась от досады, читая эти письма — и сама себя спрашивала, точнее, ту Юльку, которой она была двенадцать лет назад:

— Как он мог мне понравиться?

Стала вспоминать Сашу — в тумане времени на слепящем фоне любви к Джону он выглядел не слишком убедительно. Кажется, хорошая фигура, красивый голос, шутил с невозмутимым лицом. Ещё от него приятно пахло,

и в компании все девочки были в него влюблены — а это очень опасно, когда все влюблены в одного. Орфографические ошибки — ничто в сравнении с ошибками молодости. Что, если он развёлся с женой? Или каким-то невероятным образом узнал про Евгению? Что, если судьба наконец-то предъявляет Копипасте счастливый фант, пусть и несколько истрёпанный от времени?

Вот так и случилось, что Юлька назначила Саше встречу на троллейбусной остановке, получила радостный ответ (семь ошибок в девяти словах) — и в назначенное время, конечно, нарвалась на Стенину, которая задумчиво вышла из «тройки» на Белореченской.

— Ты меня ждёшь? — поразилась Верка.

Она хотела остаться, и Юлька с огромным трудом отправила её домой — Верка ушла, крутя головой, как филин. Недовольная.

Саша должен был приехать пятнадцать минут назад, но его всё не было. Троллейбусы подплывали один за другим, как медленные корабли: «тройка», «семёрка», «двойка». «Тройка, семерка, туз...» — крутилось у Юльки в голове. Она совсем не умела ждать, это у неё получалось плохо.

Да и вообще, всё у неё получалось плохо. К возрасту, в котором она сейчас пребывала, Юлька предполагала стать счастливой и успешной. Собственная красота, в которую она долго не верила, со временем стала несомненной — её видели и признавали все. Даже древняя прабабка Бакулиной однажды сказала:

— Юля, вам надо пойти в *модэи*.

Красота красотой, но «на счастье не сядешь», как выражалась старшая Стенина, до отказа набитая народной мудростью. Вот и газетная волчица Ира была почти оскорбительно некрасива — но при этом любима и счастлива.

Здесь, на остановке троллейбуса, Юлька вдруг увидела себя со стороны: почти что тридцатилетняя тётка нервно приплясывает на месте в ожидании отца своего ребёнка.

В сумке — тощий кошелёк, стрела на колготках заклеена розовым лаком для ногтей. А Джон сейчас наверняка сидит со своей Галей в каком-нибудь вкусном ресторане.

Юлькины мысли привычно сворачивали к Джону — так водитель, который многие годы ездит по одному и тому же маршруту, не может пропустить заветный поворот.

К остановке пришёл очередной «туз» — бабахнул дверцами, выпустил трёх молоденьких девиц и дедушку с авоськой.

— Юля?

Она обернулась — и увидела высокого, какого-то очень тёмного человека. Всё в нём было тёмным — и кожа, и глаза, и одежда, и пакет, который он держал в руке. Только волосы — седые.

— Саша, — он указывал на себя пальцем так радостно, словно бы сам только что узнал своё имя. Юлька не знала, что сказать — и что сделать. Куда увести его с этой проклятой остановки? Домой пойти и речи нет, ведь у него уши точно как у Евгении.

— Я тебе конфеты привёз, — Саша начал шуршать пакетом, достал коробочку «Птичьего молока». Юлька вспомнила, как они с Веркой гадали когда-то давно на этих конфетах. Белая начинка — значит, «будешь красивая», жёлтая — «богатая», а коричневая — «счастливая»! Евгения не любила шоколад и «раздевала» каждую конфету, съедая только начинку — а Стенина ворчала, что это ей не семечки.

— Пойдём в «Универбыт», там кафе открыли на четвёртом этаже.

Саша согласился, легко зашагал рядом. Походка у него была слегка подпрыгивающая, так часто ходят высокие худые мужчины.

— Ты где остановился? — из вежливости спросила Юлька.

— В гостинице «Большой Урал». Я в командировке, от предприятия. Да я ж писал тебе!

Юлька так сосредоточилась на ошибках, что упустила содержание писем. Спустя пару лет она точно так же сосредоточится на понимании того, как управлять машиной, — и упустит из виду, куда именно нужно ехать. Два этих умения придут в соответствие очень и очень не сразу, зато водитель из неё в конце концов получится хороший — лучший, чем, к примеру, мать.

В кафе было малоллюдно, но все немногие посетители отчаянно и со вкусом курили. Юльку это обрадовало, а вот Саша заскучал:

— Я бросил год назад. Совсем *не могу* этот запах.

— Давай сядем поближе к выходу, здесь вроде бы меньше наносит.

Заказали кофе, а Саша зачем-то попросил принести пирожных с кремом, Юлька никогда такие не любила.

«И тебя я никогда не любила», — подумала она, аккуратно размешивая сахар в чашечке.

Саша улыбнулся — зубы просто вопияли о необходимости срочного лечения, а лучше — протезирования.

— Я же тут развёлся между делом.

Говорил он слишком громко — одна из курильщиц обернулась к нему с недовольством оперной фанатки, слышавшей телефонную трель. Саша этого не заметил, шумно приклебнул кофе и даже, кажется, крикнул — у Юльки от ужаса выключился слух, но тут же снова включился, потому что Сашина история была интересной. Жаль, что её не излагал кто-нибудь другой.

Оказывается, все последние годы Саша и его жена Лида потратили на ссоры и обстоятельное взаимное недовольство. У них, если помнит Юлька, двое сыновей — Витя и Марк (Юлька в мыслях возопила: а куда же делись Виктория и Марина и что творится с памятью?).

— Те ещё гаденыши, — сказал Саша, и курильщица за соседним столиком — Юлька могла поклясться — сказала подружкам: «Тише, я слушаю». — Лоботрясы, вруны и подлецы. Я ведь, Юль, всегда мечтал о дочке.

— Бытует такое мнение, — светски ввернула Копипаста, — что все мужчины хотят сыновей, а любят — дочек.

Саша посмотрел на неё странно — винить в этом, скорее всего, следовало слово «бытует».

— А Лидка их только защищает да выгораживает! Виктор стащил у меня деньги из кошелька — она говорит: «Ты сам виноват, не бросай где попало!» Марик пришёл домой пьяный — «Это твоя дурная наследственность, при чём здесь бедный мальчик?» Она любит моих детей, а меня — ненавидит, вот как такое может быть?

Юлька не знала, что сказать. Внешне сочувствуя Саше, она думала: надо же, до чего затейливо обошлась с ними реальность! Подсунула зеркало под самый нос — как умирающим, проверить дыхание. Юлька не может любить Евгению, потому что видит в ней слишком мало *своего*, а Саша не любит сыновей, потому что не узнаёт в них себя. В том, что Лида права, Юлька не сомневалась — она всегда была на стороне женщин, даже соперниц.

— Поступить никуда не смогли, — продолжал Саша, — работают, стыдно сказать, на стройке. А она всё на меня тянет — твои гены!

Юлька, забывшись, ложечкой размазала пирожное по тарелке.

— Ты надолго приехал? — спросила невпопад.

Саша поднял на неё взгляд и словно споткнулся на месте.

— Я думал, мы могли бы попробовать... — неуверенно сказал он.

— Не обижайся, но я скорее попробую это пирожное.

— Девушки, сигаретой не угостите? — громко спросил Саша у соседнего столика. Столик радостно щёлкнул по доньшку пачки «Пэлл-Мэлл», поднёс зажигалку и улыбнулся. «Вот-вот, — думала Юлька, — улыбнись в ответ! А мне ты больше не нужен, и про Евгению я тебе даже слова не скажу».

— Рада была увидеться, — сказала она, пока Саша пересаживался за соседний столик, шуршал пакетом и улыбался.

ся во все свои страшные зубы. Коробка «Птичьего молока» лежала на столе, как жертва, которую должны были принять — или отвергнуть — боги.

Приняли.

— Если не хотела пирожное, нечего было портить! — сказал ей Саша на прощание. — Мне, может, тоже не понравилось, как ты выглядишь. И в Оренбурге у меня *мало же* есть. Семь лет назад дочку, а я, дурак, вначале с тобой решил попробовать.

Столик лез всеми своими руками в коробку за конфетами. Жёлтая начинка — будешь богатой, коричневая — счастливой. А если попадётся белая — останешься красивой до самой смерти. И никогда не состаришься.

Глава двадцать седьмая

Король прогуливался в любую погоду.

Название картины Александра Бенуа

Серёжа растерянно смотрел на Тamarочкин зад, где сиротливо белела оголённая панель, а Вера с Ларой смотрели на Серёжу.

— Сегодня какой-то не очень удачный день, — сказала наконец Стенина. — Лара, посмотри по сторонам, может, этот номер где-то валяется. Может, его ради баловства свинтили и бросили. А я с собачниками поговорю.

Она решительно двинулась в сторону тепло одетых людей, вокруг которых носились по снегу весёлые собаки. Одна из собак была в пальтишке, шапке и сапожках — прямо как человек, только на месте лица — мохнатая и довольно-таки свирепая морда. Вера загляделась на пальтишко и чуть не оступилась — её подхватила под руку хозяйка ряженой псины.

— У нас тут номер с машины скрутили, — сказала ей Вера. — Может, вы видели?

— Мы с Линочкой только вышли. Вот попадись нам это хулиганьё, правда, Линочка?

— Ррррр, — подтвердила собака.

— Вы, женщина, зря оставляете номера на стоянке, — подключилась к разговору другая собачница. — Кейс, ну-ка фу! Ко мне!

К ней подбежал чёрный пёс, похожий на лохматую швабру.

— А куда же их девать? — оторопела Вера.

— Я всегда их сама скручиваю и домой уношу. У нас во дворе постоянно такое творится, вы как будто не знаете.

— Вера! — махал рукой Серёжа. — Сюда!

— Спасибо, — поблагодарила собачниц Стенина. — Симпатичная у тебя шапочка, — сказала она Линочке, и та прорычала ей вслед что-то благодушное.

— Номер мы не нашли, но передний снять не успели, так что можно ехать, — сказал Серёжа.

— Точно?

— Точно. Завтра с утра поеду в полицию и напишу заявление. Давайте, садитесь! Вон Лара уже пристегнулась, молодец какая!

...Таланты истинны за критику не злятся,
Им повредить она не может красоту...

— «Красоты», а не «красоту»! И не «им», а «их»! Лара, ну что ты, совсем ничего не замечаешь? Неделю уже эту басню жуём. Давай ещё раз мораль с начала.

Дочь покорно бубнила:

Таланты истинны за критику не злятся,
Их повредить она не может красоты.
Одни поддельные цветы дождя бояться.

— Наконец-то. Садись за математику.

Вера ворчала по привычке — даже эта басня, давным-давно задолженная учительнице литературы, не испортила ей настроения. Это было именно «настроенное» — точнее, настройка. Валечка настроил в ней каждую клавишу, не забыв даже о субконтроктаве, куда добираются руки не всякого музыканта.

Сам Валечка остался всего лишь настройщиком. Он не играл на инструменте — и тем более не стремился выступать с концертами, но позаботился о том, чтобы у ценного пианино всё звучало и работало, как следует. Ненастоящий секс — и ненастоящий роман. Прекрасная полумера.

Сарматов ни о чём не догадывался. В те дни он удачно уехал — сначала в Москву, потом в Питер, а потом вообще в Хабаровск. Наказал Вере объезжать с дозором все «точки», особенно напирал на уралмашевскую, где хранились иконы.

Поддельный Коровин вскоре исчез со стены — теперь на его месте висела акварель малоизвестного художника. Вера засыпала Сарматова вопросами, но в ответ получала лишь уклончивые мычания — Славян сделал копию на память, и всё тут. Стенина не верила — она уже достаточно хорошо знала Павла Тимофеевича, он не умел расставаться с любимыми вещами. Скорее всего, в хорошие руки *ушёл* букет кисти Славяна, а подлинный Коровин скрыт в каком-нибудь укромном углу, куда у Веры нет допуска.

Она убедилась в своей правоте, осматривая «точку» на Блюхера — здесь, облокотившись на столик эпохи Наполеона III, сидел очередной «консультант»: зевал со звуком, вздыхал в полный голос. Над его пуритански-круглой головой висел странно молчаливый Петров-Водкин. Хмурый мальчик в голубой косоворотке не произнёс ни слова за всё время, что они виделись, — картина была мертвее мертвеца. Мальчик даже бровью не пошевелил, глаза не скосил — а портреты так обычно не могут. Как бы ни старались, всё равно то моргнут, то хихикнут, то губы скривят. Тем более если это дети — они всегда первыми начинали общаться с Верой: кто лепетал, кто капризничал, кто даже плакал, как тот парижский Амур.

«Одни поддельные цветы дождя боятся», — вспомнила Вера. И дунула со всей силы прямо в лицо мальчику. Кру-

глоголовый решил, что «хозяйка» явно не в себе, но мальчик никак не отреагировал.

В квартире на улице Сони Морозовой обнаружилась ещё одна явная подделка – пейзаж Лентулова. А в штаб-квартире на Воеводина стены теперь украшала целая серия фальшивых картин: Славян Кандинский, Славян Малевич, Славян Родченко и Славян Кончаловский. Все молчали, как выражалась Юлька, в тряпочку – да, в общем, и были по своей сути всего лишь крашеными тряпками.

Между прочим, подлинные холсты Родченко и Кандинского издают маловнятные звуки – там что-то скрежещет, падает, звенит и бурчит. Пахнет металлом и бинтом с подсохшей кровью. А «Чёрный квадрат», если кому интересно, звучит как скрипнувшая дверь и запах имеет несомненно гудроновый – Вера помнила, как в Эрмитаже «квадрат» напомнил ей о детстве, когда они с Юлькой жевали гудрон в тенистых дворах Посадской.

Сарматов неспроста окружал себя подделками, но вслух лишь отшучивался и отмахивался, как будто речь шла не о шедеврах мирового искусства, а о небольшой забавной шутке.

Славяна Вере довелось увидеть ещё несколько раз, но уже на чужой территории. Хан ван Меегерен из Ботанического района отныне вёл себя с ней так обходительно, что можно было счесть это хамством. Как всякий отвергнутый любовник, Славян тут же определил того, кому «дали прокатиться» (как в детстве на велосипеде, с грубоватой последующей рифмой). Он так глянул на Веру и Валечку, невинно листавшего свежий выпуск Юлькиного еженедельника, что «Женщина с гитарой», перевезённая со всеми мерами предосторожности из штаб-квартиры, сказала во весь голос:

– Ах, какой пристальный!

К несчастью, Славян приходил как раз таки за этой работой – и уже через неделю пристраивал на её место мёртвую копию.

Раньше Веру всё это бесконечно занимало бы, но сейчас — на фоне счастья с Валечкой и отсутствия Сарматова — она всего лишь делала заметки на будущее. Отсутствовал не только Сарматов — мышь тоже пропала после знаменательной сцены под картиной, но было ясно, что вернутся оба. Стенина снова забросила диплом, меньше стала заниматься с Ларой, так и не доехала до чудесного врача — психолога и экстрасенса. Счастье отнимало всё её время.

Накануне возвращения Сарматова Вера решила заманить Валечку к себе домой. Он много раз собирался, но так и не доехал до Встречного. Потом звёзды вряд ли так сойдутся (точнее, разойдутся) ещё раз — Лару с Евгенией в кои-то веки забрала к себе Юлька, мама уехала к Эльзе с ночёвкой, что бывало крайне редко.

Вера так готовилась к этой встрече! Устраивая очередную мысленную выставку — «Женщины в зеркале» (Веласкес, Тициан, Рубенс, Серебрякова, Пикассо), сама едва не просверлила взглядом дырку в мамином трюме. Стенина любила наряжаться, и у неё всегда было много одежды — но носила она при этом лишь несколько любимых вещей. Распахивала дверцы шкафа, натыкалась взглядом на платья, костюмы и кофточки — и видела вместо них людей и события. Вон тот пиджак был на ней в Лувре. А это платье — свидетель умилённый её увольнения. В синей кофточке она пыталась ограбить музей, в чёрной — хоронила Геру, в оранжевом свитерке ругалась с Лариной учительницей. Лишь несколько вещей ничем себя не скомпрометировали — вот их Вера и надевала. Другие давно пора выкинуть.

— Почему ты не носишь это платье, тётя Вера? — удивилась однажды Евгения, вытащив из шкафа трикотажную тряпку с непристойным, как теперь казалось Стениной, декольте. В нём Вера ходила в мастерскую к Вадиму Ф., а теперь у платья лежала пыль на плечах — как эполеты, заслуженные в честном бою.

Стенина смахнула пыль и приложила платье к себе, примеряя не столько наряд, сколько новую жизнь.

Пусть сегодня у нас всё будет по-настоящему, молилась Стенина, глядя в зеркало и не особо задумываясь, кого и, главное, о чём просит. Ей казалось, что вдали от сарматовских сокровищ Валечка освободится от злых чар — и они будут так счастливы, как только возможно в этой дурацкой жизни.

Вопрос о том, как вписать в счастливую ситуацию Павла Тимофеевича Сарматова и Юлю Копипасту, оставался открытым, как и дверь в подъезд этим вечером. У них ещё не было тогда кодового замка, и жители открывали дверь железным ключом, похожим на маленькую кочергу. В самых важных случаях раскрытую дверь прижимали специальным кирпичом и клеили записку с жалостливым текстом про врача, который вот-вот придёт: «Просьба не закрывать дверь!» Вера написала в точности такую записку, решив, что почти не врёт — Валечка был по отношению к ней именно доктором.

Он пришёл вовремя. В квартире пахло гиацинтами, которые Вера принесла домой накануне — через несколько дней от них пойдёт смрад, как от грязных носков, но пока что цветы источали восхитительно свежий аромат. Валечка прошёл в комнату, глядя по сторонам с несколько озадаченным видом.

— Помнишь, как мы с тобой здесь сидели в ту ночь? — спросил он.

— Конечно, помню, — ответила Вера, раздосадованная тем, как Валечка выделил «ту ночь» голосом. Если бы жирный шрифт с подчёркиванием умел говорить, он именно так и звучал бы.

Вера усадила Валечку рядом с собой на диван, взяла за руку. Рука была холодной и вялой. Валечка погладил её по голове. Он выглядел печальным.

— Давай поговорим, — предложил он.

— Конечно! У нас вся ночь впереди, можно и поговорить.

Валечка вздрогнул, но Вера этого не заметила — она услышала в подъезде шаги, детские голоса и в конце концов — двойной звонок в дверь. Фирменный сигнал Копипасты.

— Мама, открывай! — сердилась Лара и колотила в дверь кулачками. — У нас тётя Юля напьянилась!

Валечка вскочил с дивана.

Юлька ещё на пороге сфокусировала взгляд на Веринной груди:

— О, какая декольтешечка! Ты не одна, что ли? Здравствуйте (у нее получилось «зрасвуцы»), молодой человек, — церемонно, насколько могла, сказала пьяная Копипаста. То, что она не узнаёт бывшего мужа, Веру не удивило — она и сама его не узнавала: Валечка стал красного цвета и трепетал, как революционное знамя на ветру.

— Мы не будем вам мешать, — решительно произнесла Юлька и упала. Евгения заплакала, Лара засмеялась: они были как холодная и горячая вода. Холодная вода — вот что было нужно Стениной. Смыть с себя это наваждение, стряхнуть, как пыльные эполеты. Валечка бросился к упавшему телу, точно Вакх — к Ариадне на полотне Тициана, и бережно поднял его.

— Дайте мне вина! — прошептала Юлька, бессмысленно глядя куда-то в потолок. — Освежите меня яблоками!

— Ишь какой! — одобрила Валечку Лара.

— Эта — твоя, — между делом определил Валечка, унося Копипасту в комнату и аккуратно встряхивая её в воздухе, чтобы распределить вес.

— А мы есть хотим, — сообщила дочь.

— Не сомневаюсь. Мойте руки.

— Тётя Вера, а у мамы это пройдёт? — спросила Евгения, все ещё всхлипывая.

— Смотря о чём ты, — злобно ответила Вера, гремя сковородой, как гонгом.

— Как о чём? — удивилась Лара. — Евгения спрашивает, когда у тёти Юли пройдёт это пьянство?

— Завтра, когда проснёшься, всё будет хорошо.

Лара открыла холодильник и глубокомысленно разглядывала его содержимое:

— А котлетки ещё остались?

Вера надеялась, Валечка выйдет из комнаты через минуту и объявит, что *ему пора*. Так на его месте поступил бы каждый второй и первый встречный. Поэтому она без всякой жалости смотрела, как оседает мука на платье — и пудрит никому не интересное декольте.

— Котлетки! — предвкушала дочка, и даже Евгения нетерпеливо поглядывала в сторону фырчащей сковородки. Летучая мышь сидела за столом вместе с ними, как третья дочка Веры.

«Давно не виделись, — усмехнулась про себя Вера. — Тоже голодная?»

«Ещё бы», — ответила зависть.

Валечка вышел из комнаты через полчаса. «Нагляделся», — страдала Стенина.

— А что-нибудь постное есть? — спросил он у Веры.

— Лапшу будешь?

— Если тебе нетрудно.

— Лапшу никому не трудно.

— А ты кто такой вообще-то? — включилась Лара.

— Валентин Аркадьевич.

Лара хихикнула.

— Что, смешное имя?

— Как для старого дедушки.

— А я и есть старый.

— Нет, тебе ещё долго жить придётся.

— К сожалению. Тебя Лара зовут, да? А ты — Евгения?

Евгения кротко кивнула, залилась тёмным румянцем.

Валечка поискал взглядом икону, но обнаружил только чеканку — выжившую с восьмидесятых выпуклую девушку.

— Девочки, пора спать! — скомандовала Вера. — Завтра вообще-то в школу.

— А почитать на ночь? — строго спросила дочь.

— Давайте я вам лучше расскажу историю, — предложил Валечка.

— Сказку?

— Нет, настоящую историю.

— Давай!

— Вы умывайтесь, зубы чистите, а я съем лапшу — и приду.

Девочки наперегонки помчались в ванную. Лара ныла, что опять куда-то пропала её жёлтая зубная щётка, потом Евгения крикнула, что щётку нашли...

— Ты что, остаёшься? — удивилась Вера.

— Если ты не против.

— Но тебе придётся спать со мной в гостиной. Юльку ты унёс ко мне в комнату, в детской — Лара с Евгенией. — Она не стала упоминать о том, что частенько ночует вместе с девочками — на широком диване вполне хватало места троим.

— А мы не будем спать! — сказал Валечка. — Мы же поговорить хотели, помнишь?

Он снял наручные часы, аккуратно положил их на столик. С раскинутыми, хранящими форму руки ремешками, они были похожи на птицу, застывшую в полёте. Вера за чем-то смотрела на эти часы не отрываясь.

— Ис-то-ри-я! Ис-то-ри-я! — скандировали девочки.

Что это будет за история, Вера догадалась сразу. Конечно, царские останки! Видимо, за всю жизнь с Валечкой так и не произошло ничего более захватывающего.

В детскую она вошла на словах Лары:

— Ну, так пусть бы эволюционеры (так дочь произносила слово «революционеры») одного этого мальчика и убили! Раз он всё равно уже был больной наследник. Зачем же всю семью расстреляли?

— И собачку, — всхлипнула впечатлительная Евгения.

— То, что надо на сон грядущий, — похвалила Валечку Стенина.

Он смутился:

— Прости, я не подумал. Конечно, они ещё маленькие.

— Мы не маленькие, — возмутилась Лара. — Рассказывай, что было дальше.

— Завтра.

— А ты что, останешься у нас ночевать?

— Останусь. Поздно ведь уже. На улице темно и страшно.

— Тогда можешь лечь на бабушкиной софе, — разрешила дочь.

— Лара и правда Регистратура, — сказал Валечка, когда они наконец-то сидели в кухне вдвоём. Вера успела переодеться, закинув злосчастное платье в дальний угол гардероба. Теперь она была в простой серой футболке и джинсах, волосы собрала в хвост — хуже не придумаешь. Какая теперь разница.

— Вера, — Валечка так произнёс её имя, что стало совершенно ясно, какие слова последуют за ним. В принципе можно было ничего и не говорить — ограничиться одним этим обращением. Но он говорил — и при этом держал Стенину за руки и гладил их, как будто уговаривая маленькую девочку не спорить и быть послушной. — Всё равно у нас ничего не получится. Я никогда не женюсь, а эти наши *встречи* — грех. Большую беду на тебя навлеку.

Он говорил это, но смотрел на Веру таким взглядом, который начисто опровергал каждое слово. Взгляд его был — любовь.

— Да ты же любишь меня! — воскликнула Вера.

— Стенина, где ты?

Держась за стены, в кухню шла пьяная Копипаста.

— Я долго спала?

— Может, час.

— Ты нас не познакомишь?

Она протянула Валечке руку — привычка, подсмотренная в Париже.

— Вы знакомы, и он даже был твоим мужем.

Юлька отдернула руку:

— Валентин? Тебя вообще не узнать! Вот что крест животворящий делает...

— Не богохульствуй, — попросил Валечка.

— Да я в хорошем смысле! Стенина, а можно мне кофе?

— Нельзя. Воды попей, вон кувшин стоит.

— Верка у нас строгая! — сказала Юлька. Она всё никак не могла осознать, что происходит.

— А почему ты у Стениной сидишь? — осенило её наконец.

— Лучше расскажи, почему ты напилась до такого состояния, — напустилась на неё Вера, — да ещё при детях?

— У меня кризис, — сказала Юлька и вдруг зарыдала. Слезы потекли у неё из глаз сразу во все стороны — Вера так не умела, она плакала очень редко, и как правило, над грустными фильмами про собак. А Юлька всегда рыдала с удовольствием, но такого водопада на Вериной памяти не было. Даже в Лувре, когда Копипаста оплакивала Джоконду, всё выглядело куда приличнее.

Валечка подпрыгнул на месте, ударившись головой о полку, которая висела прямо над ним. Ударился, судя по звуку, изрядно, но не позволил себе даже ахнуть. Выдержка у него была, как у сыра «конте» — исключительная. Уж Вера-то это знала как никто другой.

Она бросила Юльке полотенце, та спрятала в него заплаканное лицо и тут же отбросила в сторону:

— Фу, котлетами пахнет!

— Извини, пожалуйста!

— Так что случилось, Юля? — спросил Валечка. — Какой у тебя кризис?

— Жанра! И жизни! И возраста! Я старая и некрасивая!

— Всё это чушь, — мягко сказала Стенина. — Ты очень красивая и молодая, все тебе завидуют, правда! Посмотри — у тебя джинсы размера «икс эс», а я с трудом влезаю в «эмку». Я бы хоть сейчас с тобой поменялась.

— Верка, ты такая хорошая! — всхлипнула Копипаста. — Ты мой лучший и единственный друг!

И тут же скосила глаза на Валечку — где его слова утешения, почему замешкался?

— Отлично выглядишь, — скупно признал он.

Вера с трудом увела Юльку спать, сидела с ней целый час — гладила по голове, как Евгению или Лару, говорила ей «ч-ч-ч», как малышке. Когда подруга наконец заснула, Вера на цыпочках вышла из комнаты. Ни Валечки, ни его часов с раскинутыми ремешками на кухне не было.

Как не было их ни в ванной, ни в детской, ни в пустой тёмной гостиной.

Глава двадцать восьмая

Если похвалите — я не поверю.
Если скажете правду, мне будет больно.
Лучше давайте-ка разойдёмся.

Тэффи

Пошёл снег, да сразу так густо, будто в кино.

Серёжа сказал:

— Я в такую погоду всегда думаю: Бог хочет засыпать весь мир снегом. Чтобы людей не было видно — вообще.

Лара отозвалась с заднего сиденья:

— Это как кошки закапывают экскременты, да? Или как собаки — косточку?

— Кошки здесь больше подходят.

— Кошки всегда больше подходят, — согласилась дочь. —

Но мама их не любит.

Серёжу ошпарило этими словами:

— Верочка! А как же?..

— Я не любила их до встречи с Песенкой, — сказала Вера. — Он навсегда изменил моё отношение к кошкам. Вы, Серёжа, лучше на дорогу смотрите, а то поворот проскочите. Хотелось бы доехать, с третьего-то раза.

— А что за песенка? — заинтересовалась Лара.

— Это мой кот. Сейчас покажу фотографию.

— Не вздумайте! — возмутилась Вера. — Хватит с меня одной аварии. Потом и покажете, и расскажете. А пока давайте музыку слушаем.

Серёжа обиженно включил радио. Двое ведущих в шутку препирались на тему женской дружбы: у девушки был хриплый, хорошо прокуренный голос, а у мужчины — пискливый и резкий:

— И все-таки, Наталья, я не верю в то, что женщины могут дружить. Как только между ними встанет мужчина, тут и песенке конец! — Бедный Серёжа дернулся, услышав страшный прогноз.

— Нет, Макс, мне, как женщине, виднее, — убедительно хрипела радио-Наталья. — Вот у меня, например, много подруг, и наши отношения длятся годами! А ещё у нас с тобой звонок. Слушаю вас!

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.

Радиослушатель отключился.

— Преставился, — пошутила Вера, но никто не засмеялся. Серёжа выключил радио и спросил:

— А лично вы сами, Верочка, как относитесь к женской дружбе?

— Мама дружит с тётей Юлей уже сто пятьдесят лет, — подала голос Лара. — И они никогда не ссорились, правда, мам?

...Вера проснулась оттого, что кто-то грузно сел рядом — странно, что худенькая Юлька так продавила диван. От неё плохо пахло, на лице лежали зелёные тени — как будто нарисованные Матиссом.

— Верка, а как это всё вышло, с Валентином?

Отмалчиваться было бесполезно — выпытает все подробности, на то и журналист. Проще самой рассказать, по минимуму углубляясь в тему.

— Он у Сарматова работает, охранником.

— Валентин?! — Юлька засмеялась.

— Он очень изменился.

— Я не поняла, — нахмурилась Копипаста, — у вас с ним что, роман?

— Юля! — громко и неискренне сказала Стенина. — Попей водички, у тебя обезвоживание.

— Меня это не касается, — сказала Юлька, слезая с дивана. — Роман так роман, не хватало из-за Валентина ругаться.

И так глянула на Стенину, что даже самый наивный понял бы: это ловушка! Стоит признаться — тут же провалишься в яму и будешь сидеть там с капканом на ноге.

Так что Вера предпочла сменить тему:

— У тебя вчера что-то случилось?

— С другой стороны, — продолжала мыслить вслух Копипаста, отливая каждое слово свинцом, — вы с ним ночью сидели вдвоём, а ты была в голом платье. Думаешь, я не помню?

— «С другой стороны» говорят только после того, как сказали «С одной стороны», — заметила Вера.

— А вот учить меня русскому языку не надо, я, в отличие от некоторых, с дипломом, — разозлилась Юлька. — Что у тебя с ним, Верка? Лучше сознайся.

— Или что ты сделаешь? Из моего же дома выгонишь?

Юлька выпятила губу вперёд и зарыдала.

— Как ты могла, Стенина? Это же подлость! И в такой день!

— Да что за день-то? Ну, успокойся, ничего у меня с твоим Валечкой не было, он до сих пор тебя любит.

— Правда? — Губа тут же исчезла, как будто выдвигной ящик вставили на прежнее место. — Он что, меня искал? А зачем ты была в таком платье?

— Попалось под руку, вот и всё!

— С другой стороны, — уже мирно сказала Копипаста, — я ведь тоже как-то раз поступила с тобой некрасиво. Тогда, с Вадимом и картиной. Так что чисто теоретически я должна тебя простить, но чисто практически — не смогу. Ты это запомни.

Успокоившись, Юлька принялась, наконец, рассказывать вчерашнюю драму. Она была такой длинной, что её приходилось постоянно прерывать на чистку зубов, кофе, завтрак — и склеивать спасительными «ну и вот, значит».

— Ну и вот, значит, помнишь, ты видела меня тогда на остановке? Я встречалась с Сашей из Оренбурга и поняла, что старость пришла... Мы с тобой, Верка, удалены даже со скамьи запасных.

Стениной не понравилось обобщающее «мы с тобой», хотя в целом она была согласна с Копипастой.

Этот Саша так растревожил Юлькино сердце, что она целый месяц не могла успокоиться, и вчера, с чистой совестью позабыв о том, что Вера приведёт к ней девочек, отправилась караулить Джона на Шейнкмана.

— Да сколько можно уже! — возмутилась Стенина. Мышь внутри притихла — она никогда не трепыхалась, когда Юльке было по-настоящему плохо, а внимательно слушала во все свои лопухие уши.

— Ну и вот, значит, я выпила баночку джина и спряталась за деревом. Тут подъезжает машина. Выходит эта Галя в замшевой юбке, и Джон — тащат пакеты из «Звёздного». Эта Галя вперёд пошла, а Джон остался у машины, покупать. Тут я его и окликнула. А он, Верка, ты не представляешь себе! Он обернулся, — и не узнал меня.

— Как это?

— А вот так это. Видимо, в последний год я резко изменилась в худшую сторону, но мне этого никто не говорит из жалости. Только Саша решился.

— Ты несёшь чудовищный бред! — рассердилась Стенина. — Хотя бы Супермена вспомни — обратил бы он внимание на унылую старую каргу, какой ты тут себя расписываешь?

Юлька приосанилась:

— А ведь правда...

— И ничего, кроме правды! — убедительно сказала Вера. — Джон всю жизнь близорукий, ты что, забыла? Он с пяти шагов родную мать не разглядит, даром что она на него похожа, как зеркало.

Копипаста хрюкнула, вспомнив Александру Трофимовну Пак и её пугающее сходство с единственным сыном.

— Всё равно, Верка, мы уже с ярмарки едем. Не знаю, как ты собираешься это переживать, но вот лично я завтра же пойду наращивать охренительную уверенность в себе, — обещала Копипаста.

Где она собиралась этим заниматься, Вера не знала. При всей своей нетерпимости к приметам и суевериям Юлька страшно боялась сглазить новые начинания — из неё теперь и слова не выгатишь. Да и не очень-то Вере хотелось это делать — лучше бы Копипаста ушла домой вместе с Евгенией, а Вера позвонила бы Валечке... Но Юлька сидела у Стениных почти до обеда, а потом девочки запросили оладушек, и надо было идти к мартену, а после вернулась мама с плодами чужого огорода, которые требовали скорейшей обработки... Наедине с телефоном Вера осталась только в десять вечера — но Валечка на звонок не ответил.

Зато Сарматов позвонил ей за это время три раза — сначала просто узнал, как дела, потом попросил найти какой-то фильм в телепрограмме, а в последнем разговоре велел приехать назавтра как можно раньше. Ему не терпелось показать Вере какую-то особенную Богоматерь. Эта икона так долго ускользала от Сарматова, что верующий человек усмотрел бы в затянувшейся череде совпадений высший промысел. Сарматов же только злился — но в конце концов вытянул из шляпы нужный фант.

Утром перед школой Вера успела проверить у Евгении стихотворение. Гумилёв, отрывок из «Капитанов». Эта литераторша просто какая-то ненасытная, каждую неделю — два стиха наизусть! Евгения отбарабанила текст без ошибок, только под самый конец насмешила:

Меткой пулей, острой железной
 Настигать исполинских китов
 И приметить в ночи многозвездной
 Охренительный свет маяков.

— Какой свет? — поразились Стенина.

— Охрнительный.

— В книге — «охранительный».

— Ой, это я, наверное, спутала. Спасибо, тётя Вера!

— На здоровье. Не забудь проследить, чтобы Лара переделась на физру.

С недавних пор Лара ненавидела физкультуру, где раньше блистала, а новая учительница — крашенная вобла со свистком на шее — ненавидела Лару. Вера однажды подсмотрела, как дети в спортивных костюмчиках обходят спортзал послушным гуськом, а позади них плетётся Лара в шерстяных гамашах и школьной блузке... Толку от таких занятий — чуть, а из всех спортивных секций Лару выгоняли после первого же пробного занятия. Предлагали группу здоровья, но это казалось унижительным.

Однажды дочь проявила интерес к скалолазанию, кто-то из её класса занимался с тренером. Вера записала адрес секции и тем же вечером привезла дочку на смотрины.

По стенам с искусственными уступами поднимались дети, и у Веры даже голова закружилась — так высоко они забирались. Лара открыла рот, очарованная и напуганная сразу.

Тренерша — пожилая миловидная татарка — едва глянув на дочку, сказала:

— Ой, нет, у вас *излишний* вес.

— А если ребёнок мечтает заниматься? — спросила Вера.

— Тогда не надо было так раскармливать! — И тут же диким голосом закричала паукам-скалолазам: — Я кому сказала — *ищем зацепу!*

...Когда девочки ушли в школу, Вера с часок посидела над дипломом (Юлька задела её вчера за живое), а потом не спеша и с удовольствием наряжалась. Даже решила надеть чулки — их ей подарила на день рождения Копипаста. Мышь внутри заухала:

— И как тебе не стыдно? Врать подруге, а потом в её подарке, да к её бывшему...

— Молчи, гадина, — сказала Стенина. Она демонстративно не замечала вернувшуюся зависть. Сегодня Вера увидит Валечку. И, к сожалению, Сарматова.

Почту принесли рано — Вера сунула в сумку газету и письмо от свекрови из Питера. Почитает в такси.

Письмо оказалось длинным, непривычно радушным и откровенным. Настолько откровенным, что Вера, читая его, вздрагивала, как в юности над романом Анаис Нин¹.

Лидия Робертовна писала, что Лара вступила в тот возраст, который ей близок. «Не люблю, никогда не любила младенцев — даже Герман был мне противен, я превозмогала себя, чтобы подойти, сменить пелёнку.. Мой возраст — начиная со школы, когда они уже хоть что-то понимают. Лару надо учить музыке, надеюсь, ты не будешь против, если я дам ей первые уроки? Очень важно, чтобы учитель не испортил руку, а то была у нас такая Марина Леонидовна, после которой уже и не переучишь».

В Питере свекровь теперь жила отдельно от родственников, сумела купить квартиру — наверное, благодаря проданному жилью на Бажова. Она приглашала Веру приехать с Ларой на осенние каникулы и — внимание! — оставить у неё девочку до Нового года. «Будет ходить в школу в Петербурге, я договорюсь. У меня здесь полно знакомых учителей, найдём и французского преподавателя. В любом случае, два месяца ничего не решают — можно и пропустить».

Вера призадумалась. Питер — это, конечно, неплохо, но у Лидии Робертовны чисто умозрительные представления о Ларе. И пропускать школу — невысказанно, они

¹ Анаис Нин — американская и французская писательница, автор эротических романов.

потом в жизни не нагонят, а бабушка за всё это время научит лишь гамму играть! Но всё же — *бабушка*. Родной человек. А вдруг у Лары что-нибудь волшебным образом щёлкнет — и настроится? Вдруг рядом с Лидией Робертовной дурная дочкина лень возьмёт и растает, будто её и не было?

Сейчас, во втором классе, они делали уроки каждый день по два часа — и Лара всякий раз поражала мать неспособностью запоминать элементарные вещи. В телепередаче однажды говорили, что самая короткая память в природе — у белки. Так вот, белка по сравнению с Ларой — Сократ! (Кажется, это он знал каждого из двадцати тысяч афинян в лицо и по имени.)

— Как спрягается глагол *avoir*? — спрашивала Вера после того, как они не меньше чем триста раз проспрягали этот проклятый глагол и устно, и письменно. Лара невинно молчала, раскрашивая ногти чернильной ручкой.

— Хотя бы скажи мне, как он переводится? Что такое «авуар»?

— Шкаф? — предполагала дочь.

— Что такое глагол? — бесилась Вера.

— Часть речи, — шипела Евгения. Она сидела на диване с книгой и всякий раз невозмутимо застывала над страницами, когда к ней поворачивалась разъярённая Стенина. Лара хохотала — довольнѐхонька.

— Когда мама сердится, у неё такие красные щѣки! — делилась она в школе с подружками.

Сможет ли свекровь ежедневно терпеть такие выходы? К тому же Лидию Робертовну, насколько помнила Вера, не особенно интересовал презренный быт, а Лара ещё с утра первым делом выясняла, *что у нас сегодня на обед и ужин?* Завтрак обсуждался накануне.

«Приедем на каникулы, а там видно будет, — решила Стенина, зная, что не сможет прожить без ненаглядного и невыносимого детѐныша долгих два месяца. — Сегодня же ей напишу».

Уралмашевский дом Сарматова стоял чуть в стороне от жилого квартала — будто школьник-изгой на перемене, вдали от дружных компаний. Единственный подъезд, два в равной степени вонючих лифта, грузовой и пассажирский. Вера вошла в пассажирский, он вздрогнул, как от удивления. Стенина привыкла к этому грязному лифту, к стрельбе кнопками, к пятнам на потолке и неприличным картинкам на стенах (одна была — ни дать ни взять злобная карикатура на Веру и Валечку, а для сомневающихся имелась уточняющая подпись). Шестой, седьмой, восьмой — она вышла из лифта и позвонила в дверь.

Никто не ответил.

Вера позвонила ещё раз, чувствуя смутную тревогу, — ощущение было как невесомый ветерок, щекочущий ноги там, где заканчивались чулки. Левый, кстати, начал потихоньку сползать.

Тишина.

Вера коснулась двери и чуть не упала, по выражению мамы, «вперёд себя».

Замок был открыт, а сигнализация выключена. И свет в прихожей не горел... Тревога с каждой секундой набирала баллы, как шторм.

В квартире было тихо, лишь одна из оставшихся в живых картин — «Натюрморт с гипсовым черепом и картонным стаканчиком» какого-то современного художника — производила малоприятные звуки — череп лязгал челюстями, а из картонного стакана лилась вода, как будто протекал унитаз.

Мёртвая гитаристка и мёртвые розы встретили Веру ожидаемым молчанием. На пыльном столе темнели ровные пятна — прямоугольники разных размеров.

— Валентин Аркадьевич, ну как дела? — раздался из прихожей весёлый голос Сарматова, и Вера вдруг почувствовала жалость к нему — она током пробежала от макушки до пят, как по клавишам.

— Это я, Павел, — сказала Вера. — Кажется, нас опять обокрали.

В этот момент чулок упал — и лёг на пол смирно, как верный пёс.

Месяца через три, когда Сарматов уже почти смирился с утратой икон, а Вера — с потерей Валечки, Стениным пришло письмо. Вера думала, от свекрови, но почерк на конверте был незнакомым и отправили его из Москвы. Валечка писал, что иконы он не похитил, а *вернул* туда, где им место, — в храм! В какой именно, не сообщил. Веру занимали не столько иконы, сколько сам Валечка — идейный вор, церковный Робин Гуд, Винченцо Перуджа с Уралмаша... Перуджа стащил «Джоконду» из Лувра, представляя акт воровства героическим действием — шедевр итальянского мастера должен принадлежать родине! Валечка вынес иконы из чужого дома, оправдываясь тем, что они должны служить предметами культа. И оба начисто забыли о том, что как Франциск Первый, так и Сарматов честно заплатили за обладание шедеврами...

Спустя годы одна из коллекционных икон появилась в храме, где служил старый приятель Копипасты, — весёлый иеромонах любил красивые вещи, знал толк в антиквариате и увещевал прихожан *не целовать по возможности* эту икону, так как у неё *большая ценность*. (Прихожане всё равно целовали, и некоторые даже — покрашенными губами.)

Веру куда больше волновало бегство Валечки — слишком уж легко он с ней расстался. В письме об этом была всего одна строчка — неприятная, со словами «пожалел», «забыть» и «грех».

Бедный Сарматов долго пребывал в тяжком горе — первые дни лежал в нём неподвижно, как в ванне. Устроил скандал охранному агентству, даже подозревал Веру — та обижалась, пока не вспомнила, при каких они познакомились обстоятельствах.

Павел Тимофеевич отвёз самые ценные экспонаты в Сейф-банк, который только что открыли в районе Втузгородка. «Точки» опустели, выцветшие пятна на обоях складывались в неизвестные письма, пытавшиеся предупредить Веру о новой беде. Мышь дёргала крыльями, но Стенина не собиралась её слушать.

«Я ещё и от прежних бед не оправилась, — думала она, — может, не надо вываливать на меня всё разом?»

Вопрос был адресован на самый верх, но ответа не было. Было только молчание — как на поддельной картине.

Глава двадцать девятая

Способность и потребность завидовать являются неотъемлемыми свойствами человека.

Гельмут Шёк

Справа на обочине стояли машины экономных водителей – с недавних пор за парковку в аэропорту нужно было платить, и многие дожидались звонка от прилетевших пассажиров на трассе. Юлька считать копейки не любила и всякий раз, возвращаясь из Парижа, устраивала водителю Ереваныча сцену. Ей хотелось, чтобы Марат встречал её в зале прибытия, а не мчался откуда-то по звонку.

– Что, так трудно заехать под шлагбаум? – сердилась она, вручая водителю чемодан и хлопая дверцей. Марат с барыней не спорил, но чувствовал свою правоту так же ясно, как резкий запах её духов. Человеку, привыкшему к экономии, трудно тратить деньги впустую – даже те, которые вернут.

Юлька открыла окно джипа, дотянулась до кнопки – автомат послушно выплюнул парковочную карту. Неподалёку от входа нашлось свободное место, и она заняла его с радостью захватчика.

– У тебя такое счастливое лицо, когда ты паркуешься, – заметила как-то раз Стенина. И Ереваныч однажды сказал что-то похожее – впрочем, Юльке никогда не уда-

валось скрывать эмоции от близких, да и от неблизких тоже.

Ереваныч будто услышал, что она его вспомнила, — позвонил:

— Ты уже в Кольцово? Я минут через пятнадцать буду. Дождитесь. И если Евгения сыр привезла, пусть никому не отдаёт — сам съем!

— Юрочка... — растаяла Копипаста. — Вот какой ты у меня всё-таки прекрасный! Я прямо сама себе завидую.

...Юлька любила говорить про себя (здесь, кстати, можно поставить точку), что ей незнакома зависть — что она вообще никому не завидует. Милая приветливая женщина радуется удачам других людей — это так естественно и просто! Более того, эта женщина старается помогать людям: делится удачей, подсказывает верную дорогу, иногда — спасает от чужой зависти. Например, однажды на рынке Юлька увидела девушку, которая примеряла шапочки — и одна из этих шапочек была ей просто очень к лицу. Юлька немедленно включилась в процесс и быстро объяснила, какую именно шапочку нужно выбрать, но тут откуда-то из-под земли выросла, как гриб, подруга той девушки и начала подсовывать ей самые неудачные головные уборы. Одна шапочка была похожа на будёновку, другая — на презерватив. Та подруга была даже не гриб, а змея подколодная, хотя источала сплошные комплименты — дескать, этот презерватив тебе очень идёт, а будёновка выглядит очень *аристократично*. Юлька возмущённо рассмеялась и тут же растолковала девушке, на что похожи эти шапки, но здесь в разговор влезла недовольная продавщица:

— Они уже почти *определились*, а вы мешаете!

— И вообще, какое вам дело? — возмутилась змеюка.

Юльку прогнали, но, обернувшись, она заметила, что девушка всё-таки выбрала правильную шапочку.

Казалось бы, нехитрое дело — взять, да и полюбить тех, кто превосходит нас красотой или талантом, только

вот беда — на этом пути, как срубленное дерево, лежит зависть. Бревном лежит — ни проехать ни пройти. Юлька несколько раз в жизни ощущала присутствие зависти, и ощущение было как от помойной кучи. Неясно, откуда исходил запах, сразу не найдёшь — так, они с Ереванычем часто не могли найти, где именно напакостил в доме их старый кот. Незадолго до смерти кот стал весьма изобретателен — гадил всякий раз в новом месте, а потом следил, не отрывая глаз, за тем, как Юлька с мужем принохиваются, заглядывая в каждый угол. Но это было временное присутствие — зависть появлялась и исчезала, поэтому Юлька честно считала, что не способна на это чувство, как не способна, к примеру, определять неполадки в автомобильном двигателе. Копипаста любила, жалела, опекала людей. В самом угрюмом незнакомце видела маленького мальчика, в самой желчной тётке узнавала нежную мать. Стенина, наоборот, заранее всех ненавидела — знакомилась с новыми людьми, как сапёр с миной. Юлька улыбнулась, вспомнив подругу, — та умела испортить и вполне пристойные отношения. Одну их общую знакомую Стенина однажды спросила, разглядывая фото в рамке:

— Это ваша внучка?

— Дочь, — был дан раздражённый ответ, но Верка не успокоилась:

— Надо же, совсем на вас не похожа — такая красавица!

Иногда Юльке казалось, что Стенина делает это специально. Как-то раз в самолёте, когда они летели с Евгенией и Ларой в Турцию, девочки были ещё маленькие, Вера жёстко поставила — точнее, посадила на место и пристегнула ремнём — недовольную пассажирку.

Дама сидела позади и громко страдала от того, что девочки шумят:

— Женщины, уймите ваших детей! Я тоже платила за билет и хочу путешествовать с комфортом!

Верка, обернувшись, поняла, что любительнице комфорта вряд ли исполнилось больше пятидесяти — это

была ухоженная, но не ушедшая с поля битвы за красоту женщина, для которой очень важна визуальная сторона жизни. Жаль, что красавица не усвоила элементарное правило: если хочешь быть красивой, стань для начала доброй. В противном случае тебе дадут бесплатный урок доброты в исполнении Веры Стениной. Верка дождалась очередного — неизбежного! — взвизга Лары, после чего громко, как стюардесса в микрофон, сказала:

— Девочки, немедленно прекратите шуметь! Сзади вас сидит бабушка, а пожилых людей нужно уважать.

Юлька до сих пор помнит, как позади неё вздрогнул и рассыпался на тысячи мелких частиц хрустальный дворец чужого счастья. Это было ужасно и восхитительно! Сама она так не умела — зато могла сделать кое-что другое, недоступное Стениной. Вот, например, в прошлом декабре Юлька ужинала в ресторанчике у Сен-Жермен-де-Пре и случайно плюнула огурцом в незнакомого старичка. На гарнир к мясу ей принесли салат и маленький солёный огурчик, и Юлька зачем-то стала резать этот огурчик ножом — кусок полетел прямо в лицо старичку. Копипаста извинялась на всех языках, которые пришли ей в голову, предложила старичку мозговую кость из собственной тарелки (она всё равно такое не ест). Пострадавший смеялся приятным, лишь самую малость сушёным смехом. Они познакомились — оказывается, старичок приехал в Париж из Канады навестить маму, которой в пятницу исполняется сто один год. За десертами обсудили русскую литературу (старичок читал *Толсто* и *Солшенисин*) и французскую политику, после чего Юлька получила приглашение в гости к столетней маме. Юлька пришла на праздник с Евгенией, и Евгения, как водится, влюбила в себя всех, включая благородную древнюю даму, её сына и, главное, правнука по имени Жан-Бенуа — симпатичного молодого врача. Юлька надеялась, что у дочери хватит ума продолжить это знакомство, а не сводить перспективного молодого человека с какой-нибудь

французской подружкой, как та делала обычно. И всего этого не случилось бы, если бы Юлька не ухитрилась повернуть себе во благо неприятный расклад — началось-то всё со стрельбы огурцом!

Конечно же, Юлька научилась этому искусству не сразу. Годы, спасибо им, удачно обтесали Копипасту — как волны, смыли всё лишнее и сомнительное. Годы — и Ереваныч.

Подумать страшно, что они могли бы не встретиться.

И какой же глупой она тогда была, решив, что лучшее время позади! Караулила Джона, жадно разглядывала Галю, впервые в жизни завидовала молодым девчонкам, что хохотали рядом в кафе... Это зависть вцепилась в неё тогда как перепуганная кошка — и пронзила всеми когтями разом. Нужно было срочно что-то придумать, заново поверить в себя и, главное, оторвать от себя эту мерзость.

Валентин посоветовал бы пойти в храм — исповедь, причастие, светлая грусть и чистая радость. Супермен предложил бы коньяк. Джон... вот не надо про Джона! Хватит думать, кто бы и что посоветовал...

В тот день Юлька с трудом дождалась двух часов и ушла из редакции будто бы на пресс-конференцию в мэрию — а на самом деле в художественное училище имени Шадра.

— В принципе, вы можете прямо сейчас попробовать, — заявила тётенька, которую Юлька поймала в коридоре. — У нас как раз не пришла натурщица — запила, видать. А у вас есть опыт работы?

Юлька сказала, что у нее есть не только опыт, но ещё и впечатляющие результаты. Слышала ли тётенька про такого художника — Вадима Ф.?

Тётенька радостно встрепенулась — ещё бы! Вадим — выпускник училища, вот здесь висит его фотография, видите? Действительно, висит. Вадим с нахмуренными бровями смотрел на Юльку с неодобрением.

— Красивый, — сказала тётенька.

И вправду — красивый. Есть у этих старых фотографий изумительное свойство — хорошеет с годами. Юлька знала это по своим школьным снимкам: раньше они казались ей уродливыми, а сейчас она любила каждый из них.

— Вадим написал несколько моих портретов, один находится в коллекции знаменитого миллиардера, — рассказывала тётеньке Копипаста. — А я решила, что смогу быть полезной новым поколениям художников.

Тётенька тихо сказала:

— Для нас это большая честь. Пойдёмте, я вас познакомлю!

Группа студентов была небольшой, восемь человек. Преподаватель пошептался с тётенькой, потом присвистнул:

— Вы не представляете, как нам повезло, ребята!

Юлька разделась за ширмой, и вышла оттуда, как Афродита из пены морской. Легла на скамью, приняла нужную позу.

— Прекрасное тело, — с уважением сказал преподаватель, а студенты поспешно зашуршали грифелями — или чем они там рисовали? — по бумаге.

Юлька лежала под взглядами, как под солнечными лучами, чувствовала каждый из них, как жаркую волну. Один, второй, третий — и вот уже зависть корчится, тает, исчезает. Преподаватель и сам схватил чистый лист — рисует, чтобы по праву разглядывать Юлькину наготу... Она прекрасна по всем канонам — хоть в круг вписывай, хоть в квадрат. Длинные сильные ноги. Грудь, которую удалось сохранить, даже несмотря на то, что она кормила Евгению (правда, лишь первые полгода). Спина вообще совершенство — даже купальщица Энгра отдыхает (она, впрочем, и так отдыхает).

Лежать нужно неподвижно, единственное занятие натурщицы — думать. Например, о том, что в здании училища раньше была гостиница — «Американские номера». Несколько лет назад Юлька писала о ней для еженедель-

ника — здесь останавливались Менделеев и Чехов — проездом на Сахалин. Чехову Екатеринбург не понравился, люди за окнами гостиницы казались жуткими — и он специально опустил шторку в комнате, чтобы не видать этой «азиатчины».

Когда преподаватель сказал: «Спасибо вам, Юлия» и студенты зашумели, собираясь, она не поверила — неужели сеанс окончился? Ей казалось, что время будет тянуться медленно, но оно пролетело мигом — как в кино!

— Вы ведь придёте ещё? — с надеждой спросил преподаватель, подавая ей руку — чтобы не упала, вставая с ложа.

Юлька улыбнулась, по всегдашней привычке не показывая зубы. В этот момент дверь открылась, и кто-то вошёл.

— Юрий Иванович, привет, — обрадовался преподаватель. — Подожди, отпущу натурщицу, и пообщаемся.

В дверях стоял мужчина — рот у него был открытым, и он походил на собаку, которая только что увидела своего любимого хозяина. Или — на гелиаста перед Фриной¹.

Впоследствии Ереваныч любил вспоминать, что вначале увидел Юльку голой, а только потом — в одежде.

— У меня просто не было выбора, — говорил он. — Я остолбенел от этой красоты!

Он и вправду долго торчал у дверей, как жена Лота на Содомской горе.

Юльке померещилось, что мужчину зовут «Ереваныч» — так слились воедино имя и отчество её будущего мужа, и, самое интересное, прозвище оказалось в точку. Четверть той крови, что текла по жилам Ереваныча, была армянской — и хотя её сильно разбавили русской, казацкой и татарской, армянская осталась главной. Именно она определяла характер и поступки Ереваныча: он был

¹ Ф р и н а — гетера, модель Праксителя для статуи Афродиты, обвиненная в безбожии; гелиаст — судья, потрясённый красотой Фрины.

великодушным, ревнивым, щедрым, заботился о своих стареньких родителях и даже о маме своей бывшей жены, которая жила в купленной им квартире.

Почти сразу же всплыла важная подробность: Ереваныч оказался богат. Таких людей старшая Стенина звала «наворишами» — он сколотил капиталец в самом начале девяностых и не любил вспоминать те годы. Преподаватель из художественного училища был его старым приятелем, но виделись они редко.

— Я ведь чисто случайно к нему в тот день зашёл, — сокрушался впоследствии Ереваныч, — а ведь страшно подумывать, что мы бы с тобой не встретились!

Последующие сеансы позирования, разумеется, не состоялись — Ереваныч был убеждённым собственником и ревновал Юленьку не только к мужчинам, но и к работе, подругам, маме и, самое неприятное, к Евгении.

— Юленька, а сколько у тебя было мужчин? — спрашивал Ереваныч.

— Ни одного настоящего — до тебя! — сияла Юлька.

У Ереваныча был серьёзный аргумент «против» — Евгения. Вот почему он не любил её и сделал всё для того, чтобы отправить девочку учиться за границу после девятого класса. Выглядело это поступком нежного и заботливого отчима, на деле было актом ненасытной ревности.

С Веркой у Ереваныча тоже не сложилось — поначалу-то он был с ней приветлив, даже предлагал взять «по бартеру» шубу в магазине, владелец которого пребывал у него в вечных долгах. Но Стенина от шубы отказалась и, вообще, говорила с Ереванычем, как царица с холопом. Юлька, увлечённая устройством своей свадьбы, а потом — строительством дома в Карасьеозёрском, эту напасть прощёлкала — и когда осознала, что любимый муж и лучшая подруга терпеть друг друга не могут, было уже поздно.

— Нельзя иметь всё сразу, — сказала мать, когда Юлька с Ереванычем отмечали новоселье и коллеги из журнала

ели у неё за столом чёрную икру, а давились при этом — завистью. Неизвестно, что имела в виду мама, потому что новый Юлькин дом был — целое поместье со слугами, собаками и даже лошадьми и потому что сама Юлька была почти всегда счастлива с Ереванычем — за исключением тех ежедневных минут, когда она думала о Джоне.

Стенину тоже позвали на новоселье — денег на дорогой подарок у неё не нашлось, зато хватило вкуса на хорошую идею. Она принесла дешёвый чайный сервиз — и с весёлой яростью грохнула его об пол:

— На счастье!

Глава тридцатая

Живопись — и вообще подражательное искусство — творит произведения, далёкие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далёким от разумности; поэтому такое искусство и не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно.

Платон

Ветер сметал снежную пыль с лобового стекла Тamarочки — пыль эта летела вверх, струясь, как фата. Вера опустила спинку кресла и неожиданно наткнулась рукой на веник. Стенины держали дома точно такой же, только у их веника ручка была аккуратно обтянута старыми колготками — *чтобы не сыпалось*.

— Серёжа, а зачем вам веник в машине? Следы замечать?

Доктор рассмеялся:

— Не угадали, Верочка. Я им снег очищаю — ничего нет лучше веника, поверьте! Импортные щётки даже в сравнение не идут.

Тамарочка встала у шлагбаума, Серёжа открыл окно, чтобы взять парковочную карту.

— Уже приехали? — удивилась Лара. Она, конечно, задремала — у неё был талант засыпать в любых положениях и ситуациях. Эта способность имелась и у Веры, но в Ларе она раскрылась по максимуму. Дочь была — генный лёгкого сна.

Вера достала из сумки пудреницу, проверила, на месте ли морщины. Мышь возмущалась:

— Ну ладно, приехала ты в порт, и что? Лучше бы работала, экспертиза сама собой не напишется!

...Тогда на Уралмаше, утешая Сарматова, Вера сразу поняла, что Валечка унёс вместе с иконами и её счастье — пусть кривое и стыдное, но всё равно — несомненное. Теперь на месте бывшего счастья вольготно расселась зависть — и бубнила без передышки:

— Конечно, у нас всегда так! Если нам сделали что-то хорошее, его нужно вырвать с мясом — чтобы мы не считали, что достойны. Чтобы не привыкали! Ты, Стенина, не сомневайся — как только появится что-то стоящее, будь готова сдать назад при первом же требовании. Как библиотечную книжку!

— *На счастье не сядешь*, — оправдывалась Вера. Ей было тоскливо без Валечки, стыдно перед Юлькой, жаль Сарматова. Сразу столько чувств — и все, как на подбор, паршивые.

Днем она ещё как-то держалась, но ближе к ночи начала злиться на весь свет — покрикивала на девчонок, грубила матери, пила уже по целой бутылке вина за вечер... Старшая Стенина в очередной раз сунулась к Вере с клочком бумажки, где был записан телефон врача-экстрасенса — и тут же получила пару рекомендаций «не лезть» и «не вмешиваться». Но бумажку из рук у неё потом всё-таки вырвали.

Вера решила не откладывать звонок ещё на пару лет. Поговорить всё равно было не с кем — Юлька опять где-то пропадала, да и не Юльке же плакаться на вероломного Валечку.

Подвыпив, Стенина любила послушать, что называется, сама себя. Она говорила и сама заводилась от своих речей, смеялась своим шуткам, только наутро — и то не всегда! — догадывалась, каким несвязным и глупым был давешний разговор. Жаль, что не каждый собеседник имел смелость его прекратить. А вот чудодейственный врач, оказавшийся женщиной по имени Галина Григо-

рьевна (убийственное для пьяного языка отчество), такую смелость имел.

— Я по телефону не консультирую, — отрезала экстрасенс. — Приходите завтра к пяти, посмотрим, что там у вас за зверь такой.

Вера попросила Сарматова отпустить её в четыре, и тот, недовольно вздыхая, согласился.

Галина Григорьевна принимала «на дому» — в старой пятиэтажке на улице Громова. Вера с трудом нашла этот дом — его как будто специально прятали от окружающих, и номер на нём не значился, и местные люди отказывались верить в его существование.

— Дома с таким номером на Громова нет! — заявила Стениной бабка, к которой она сунулась с вопросом, и долго потом подозрительно глядела вслед.

Но дом всё же отыскался — он был единственный без номера, так что Вера вычислила его методом исключения. Квартира, как предупредили, — на первом этаже. С улицы видны кастрюля на подоконнике и белая кошка с обеспокоенной мордой.

Стенина позвонила в дверь — кто-то крикнул: «Входите!», и она вошла, сейчас же споткнувшись о другую кошку — *черепашковой*, как выражалась мама, масти. Кошка была похожа на крупное членистоногое и смотрела на Веру так, что сразу стало ясно: шансы очаровать это животное отсутствуют в принципе.

— Собаку запру, подождите! — прокричал всё тот же голос откуда-то из глубины квартиры. Послышались звуки борьбы человека и зверя — человек в конце концов победил и появился в прихожей, потирая руки.

— Вы на пять часов?

— Да, — сказала Стенина. — А вы — Галина Григорьевна?

Ей не верилось, что эта маленькая толстая женщина в спортивных штанах, украшенных налипшей шерстью, — и есть тот самый чудо-врач, на которого Вера надеялась вот уже несколько лет.

Женщина кивнула.

— Фотографии принесли? — спросила она.

— Какие фотографии? — испугалась Вера, сразу же вспомнив Герины снимки.

— Ну, вы же хотели узнать будущее дочери и её жениха?

— Моей дочери ещё рано думать про жениха.

— Никогда не рано, — возразила Галина Григорьевна. — А, я поняла! Это я вас спутала с женщиной на шесть часов, у неё дочь собралась замуж. А вы — это которая мне вчера поздно вечером звонила. У вас рак, да?

— Почему вы так решили?

Галина Григорьевна с раздражённым видом взяла тетрадку, лежавшую на тумбочке у телефона — и зачитала вслух:

— «Внутри постороннее существо, которое пожирает». Что это, если не рак?

— Мышь, — сказала Стенина. И шёпотом уточнила: — Летучая.

В дальней комнате очень кстати завывла собака.

— Герда, молчать! — крикнула Галина Григорьевна. — А вы проходите в комнату. Разберёмся.

Вера уселась в кресло, обивка которого некогда была сделана «под гобелен», но теперь кошачьими стараниями превратилась в букле с бахромой. На спинке дремала третья кошка, серая и пушистая, как кролик, — она тут же спрыгнула и, замяукав, пошла к хозяйке.

— То есть, — продолжала Галина Григорьевна, подхватив серенькую на руки, — вы называете свою болезнь «мышью», чтобы не произносить слово «рак», да? Оно вас травмирует, я правильно поняла?

— Неправильно. Я ничем не болею, вот только в горле у меня уже лет пять сидит комок — и он никак не проглатывается и не уходит.

— Это ваша невысказанная боль, — сказала Галина Григорьевна. — А у вас есть с собой какие-то фотографии?

Вера нашла в сумке завалившийся конверт с давними снимками — летом водили Евгению и Лару в зоопарк.

— Интересная девочка, — заметила чудо-врач, указывая на Евгению.

— Да, она всем нравится, — вздохнула Стенина.

— А вот у вашей дочки я вижу серьёзную проблему. У неё не развивается душа.

Галина Григорьевна послонила ладонь и начала собирать шерсть со своих штанов, которые выглядели почти как меховые. Чудо-врач ждала вопроса, но Стенина молчала.

— Вам нужно завести какое-нибудь домашнее животное, — посоветовала Галина Григорьевна. — Кстати, у моей кошки скоро будут котята, могу отдать по сходной цене. Девочке это очень полезно.

— Но я хотела о другом... Мне говорили, что вы ещё и психолог, а не только экстрасенс.

Вера, сама не заметив, как это произошло, рассказала Галине Григорьевна всю свою жизнь, начиная с девятого класса. Чудо-врач слушала и по-прежнему собирала шерсть со штанов — так что к финалу рассказа у неё на коленях лежал серый клубок размером с кошачью голову.

— А почему вы пытаетесь решать все ваши проблемы за счёт мужчин и детей? — спросила Галина Григорьевна уже другим, психологическим голосом, когда Вера наконец замолчала. — Вы вполне могли бы сделать карьеру, но даже института не кончили.

— Я пишу диплом, — вскинулась Стенина и тут же покраснела, вспомнив, сколько минут ей довелось провести на этой неделе с Гюставом Курбе. (Пять. Или семь.) — А у вас, если не секрет, есть высшее образование?

— Два, — сказала Галина Григорьевна. — Вы обязательно подумайте о том, что я сказала, и не заикливайтесь на этой своей зависти. Подумаешь, зависть! Все люди завидуют, грешок-то популярный!

Во время разговора Галина Григорьевна волшебным образом изменилась — беседу начинала запущенная тетёха, но с каждой минутой из неё прорастала тонкая, интеллигентная дама, по неудачному стечению обстоятельств угодившая в этот дом и в это тело. Дама с отвращением разглядывала собственные штаны.

— А как у вас, кстати, с алкоголем? — спросила она у Стениной.

Вера смутилась.

— Ясно, — кивнула Галина Григорьевна. — Сделайте, как я скажу. Глубокий выдох на счет «раз», глубокий вдох — «два». Раз, два. Раз, два. Раз... два...

Кто-то громко щёлкнул пальцами перед носом — как в танце фламенко. Вера открыла глаза и увидела перед собой лицо Галины Григорьевны, которая снова превратилась в неряшливую любительницу зверей.

— Ну вот, — сказала Галина Григорьевна, — пить вы больше не будете.

На этих словах собака Герда прорвала оборону — и гигантскими скачками примчалась к хозяйке. Это была весёлая рыжая псина. Кошки птицами вспорхнули на шкафы, а из предположительной кухни донёсся клёкот попугая.

— Всё будет хорошо! — кричала Галина Григорьевна, пытаясь заглушить лай Герды. — С вас девятьсот рублей. И не забудьте про домашнее животное!

Вера пришла в себя только на улице — навстречу шла давешняя бабка и разглядывала её без всякой симпатии.

— Нашла дом? — ехидно спросила она.

Стенина не ответила.

На другой день в зоомагазине были куплены три рыбки и вместительный аквариум со всеми необходимыми приспособлениями. Лара отнеслась к новинке равнодушно, а вот Евгению аквариум просто заморозил. Она часами сидела перед стеклом, разглядывая, как две белые рыбки гоняют серую, гораздо меньше их по размеру. Продавец

в зоомагазине почему-то отговаривал Веру от приобретения серой рыбки, но Стенина не стала его слушать. Он мог говорить со стеной с таким же успехом, как со Стениной.

Подробности похода к чудо-доктору Вера почти сразу же забыла. Помнила только кошку рядом с кастрюлей, тогда как на месте лица Галины Григорьевны прыгали тёмные квадратики, как в криминальных теленовостях. Самое же удивительное — она теперь действительно не могла выпивать. Любимое шардонне, закупленное по оптовой цене в количестве десяти бутылок, вызывало тошноту при одном лишь взгляде. Вера через силу сделала глоток — и едва успела добежать до туалета.

Она твёрдо решила ещё раз прийти к Галине Григорьевне — показать ей Лару, и вообще, посоветоваться. Видимо, у этой тётки и вправду был какой-то особенный дар. Попыталась записаться по телефону — трубку снимала какая-то нервная женщина, доказывая: «Такие здесь не живут».

Тогда Вера снова поехала на улицу Громова, — пыталась найти дом по памяти, но на сей раз у неё ничего не получилось. Она даже ту зловредную бабку не встретила — просто без толку прогуляла половину рабочего дня, вернулась домой уставшая и злая. К счастью, Сарматов уехал в город-рифму Саратов. В последнее время шеф часто — и справедливо! — упрекал Веру в том, что она «пренебрегает» и «манкирует».

— Мама, а у кого ты брала телефон той докторши? — спросила вечером Стенина.

— Какая ещё докторша?

— Экстрасенс, Галина Григорьевна.

— Веруня! — расстроилась мама. — Как верующий человек, я не приемлю никаких экстрасенсов и тебе не советую.

— Но ведь ты сама мне дала её номер.

— Я? Ты что-то путаешь, Веруня. Наверное, Юля твоя посоветовала экстрасенса. Это — в её духе.

Мама до сих пор считала Копипасту источником всех Вериных бед.

«Наверное, я всё-таки сошла с ума, — думала Стенина. — Надо было ещё тогда, после Парижа, сдать в психушку, а теперь уже поздно, не вылечат. Запрут на Агафурах — и привет».

Мысли эти были тяжёлыми, как чемодан после отпуска. Вера промучилась ими несколько дней, а потом пришёл денежный перевод от Лидии Робертовны — чтобы Вера *не тратилась на дорогу*.

Стенина купила два билета в Питер — только два, хотя бессовестная Копипаста всячески навяливала ей Евгению, а сама Евгения безутешно молчала, глядя, как Вера пакует вещи.

Сарматов тоже долго обижался и ворчал, но потом договорился о встречах в Питере с какими-то коллекционерами — и сразу же повеселел. Вера поклялась, что сделает всё по списку, — нужно было забрать какие-то редкие конверты у одного специалиста и отвезти экспертное заключение другому. И, возможно, доставить в Екатеринбург некий загадочный холст — Сарматов надеялся, что это Бурлюк, хотя шансов было мало.

Накануне отъезда Вера меняла воду в аквариуме — и заметила, как вымахала серая рыбка — она была теперь ровно в два раза больше своих бывлых обидчиц. Евгения утверждала, что рыбка с лёгкостью катает по дну аквариума небольшие камни, которыми Вера украсила подводный пейзаж.

Доехали до Питера, можно сказать, без приключений — спасибо Евгении, которая одолжила Ларе свой «гейм-бой». Эту электронную штуковину Юлька купила совсем недавно, и девочки просто жить без неё не могли.

Лара увлечённо жала на кнопки гейм-боя, машинка послушно пицала, по экранчику носились цветные фигурки. Вера достала из сумки первую главу диплома – здравствуйте, господин Курбе!

Шутки шутками, но за сутки в поезде она успела написать едва ли не больше, чем за весь последний месяц.

Лидия Робертовна заранее предупредила, что встретить их на вокзале не сможет – у неё целый день уроки. Но она так подробно расписала дорогу, что Вера не переживала – доберутся!

Метро Лару совершенно очаровало.

– А если толкнуть человека под поезд, он сразу умрёт или будет долго мучиться? – кровожадно спросила дочка.

– Какая милашка! – засмеялся стоящий на перроне мужчина. Вера глянула на него своим фирменным «нелезлучше» взглядом, и тот опустил глаза.

Когда они добрались до Лидии Робертовны, там шёл урок – бабушка поспешно открыла дверь и, указав пальцем в сторону кухни, вернулась к ученику. Вера не поняла, в каком смысле был этот палец – им следовало выпить чаю с дороги или приготовить обед? В холодильнике не нашлось ничего, кроме полуфабрикатов довольно прискорбного вида, а на столе стояла вазочка с затхлым печеньем.

– Фу, – сказала дочка.

В комнате ученик долбил по клавишам, а Лидия Робертовна раздражённо считала вслух:

– И раз, и два, и три!

Стенина смотрела по сторонам и удивлялась – надо же, как быстро человек заполняет собой пространство! Кухня на Бажова почти не отличалась от петербургской – такие же (возможно, те же самые) пожелтевшие шторы, вечные крошки на столе и, главное, запах – он тут же перенёс Веру на десять лет назад. Пахло кофе, геранью и пылью.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В прихожей наконец затопали — ученик намотал на шею шарф жестом висельника и так быстро исчез, что Вера не успела ни поздороваться с ним, ни попрощаться.

— Бездарь, — махнула рукой Лидия Робертовна. — Ни слуха, ни желания.

— Зачем тогда? — поинтересовалась Вера.

— Да это всё родители! Платят, занимаюсь — а толку нет. Как он у меня Моцарта корёжит — сердце кровью обливается!

— Сердце и должно обливаться кровью, — вмешалась Лара. — Иначе оно остановится.

Часть
ЧЕТВЕРТАЯ

Глава тридцать первая

Это одна из тех картин, которые скорее слушаешь, чем смотришь.

Поль Клодель

Вера наблюдала за тем, как Серёжа пытается пройти через рамку металлоискателя – живой портрет в раме хайтек. Меланхоличная сотрудница в строгом пиджаке и намотанном поверх шарфе играла роль второстепенного персонажа – но при этом упрямо возвращала Серёжу к исходной точке.

– Мужчина! Вы из карманов достаньте всё, что есть, а то так и будете тренькать!

Серёжа послушно доставал из карманов телефон, ключи, мелочь и снова, налегке, пытался преодолеть коварную раму. Давно проскочившая вперёд Лара сочувственно смотрела на его мучения. Дочь успела снять шапку, и длинные волосы торчали теперь во все стороны – сколько раз Вера советовала ей постричься, но Лара считала, что ей идёт женственная причёска. Роковая ошибка, одна из многих.

Наконец рама удовлетворённо промолчала, и Серёжа уступил место Стениной.

Вера в секунду миновала препятствие, думая о том, как они выглядят втроем со стороны? Например, глазами вот этой девушки в шарфе? Наверное, девушка видит перед

собою семью: Серёжа — заплотный отец, Вера — его обожаемая жена, Лара — юная, единственная дочь...

— А где именно она ждёт? — спросила юная дочь, одним махом вытащив Веру из мира грёз. — Что-то я не вижу никого похожего на Евгению.

...Лидия Робертовна не спешила признавать в Ларе родную душу, хотя Вера наивно ждала обыкновенных для всякой пожилой женщины открытий: «Ой, ну как на Марию Петровну-то похожа! А ходит — точь-в-точь как тётка с маминой стороны...»

Увы, ни Марию Петровну, ни тётку с маминой стороны Лидия Робертовна в Ларе не увидела. Не пожелала брать на себя ответственность за Верину дочку, как будто это был не живой пухлый человек с косичками, а террористический акт... А ведь у Стениной все надежды были на эту линию — другая бабушка тоже всячески открещивалась от Лариных «особенностей».

Лидия Робертовна внимательно оглядела внучку и без одобрения сказала:

— Какая сдобнушка!

Лара вскинула голову, так что щёки дёрнулись, а Вера крепко сжала в руке её пальчики. Поторопились они с приездом! Как можно было забыть, что Герина мать — довольно-таки странная особа. Это всё письма виноваты, они размягчили Стенину. Письма были мягкие, тёплые, родные, а встретила их сухая подтянутая дама, даже не поцеловавшая Лару. Вера встречалась с подобным и после — когда в письмах человек совершенно не походил на себя же в реальности. Но это был первый случай, и он её изрядно озадачил.

Лидия Робертовна провела гостей в комнату, разделённую пополам складной китайской ширмой. Вот здесь её половина — кровать, столик, пианино, шкаф. А вот здесь — раскладной диван для гостей и тумбочка, куда можно сложить вещи.

При виде этой тумбочки Стенина вздрогнула — даже Ларино бельё не поместится, не говоря уже о вещах самой Веры. Наверное, можно было одолжить пару свободных плечиков в хозяйском шкафу, но Вера не решилась. Вовремя вспомнила просторную квартиру на Бажова и то, как Гера сказал:

— Но это же *мамина квартира!*

Лидия Робертовна существовала вне прозы быта — её мало занимали такие земные вещи, как удобная мебель или свежее молоко к завтраку. Из Екатеринбурга помимо обожаемого фортепиано свекровь перевезла своё старинное зеркало («псише», уточнил бы Сарматов), которое ещё тогда, в прошлой жизни, напоминало Вере огромную рамку для фотографии. Вера заклинала Лару держаться от «псише» подальше — не дай бог разобьет ценную вещь. Но всё остальное в квартире явно осталось от прежних жильцов — и Лидию Робертовну совершенно не смущали просиженные подушки дряхлых стульев, горелые кастрюли и выцветшие, засиженные мухами шторы. Окон в квартире не мыли как минимум лет пять, из холодильника дурно пахло, унитаз не работал — рядом стояла трехлитровая банка с водой. Вера с отвращением натянула пододеяльник на линялую тряпку с жёлтыми пятнами, выданную им в качестве одеяла. Подушки были серыми и жёсткими.

— Мама, а мы долго будем здесь жить? — шёпотом спросила Лара, когда они улеглись наконец спать.

— Не знаю, — ответила Вера. И, засыпая, собирала в мыслях выставку, посвящённую уютным интерьерам и прекрасным домам. Вермеер. Фрагонар. Боннар¹. Утром, раскрыв глаза и соображая, где они, увидела, что пол покрыт густым слоем пыли.

¹ Жан Оноре Фрагонар — французский живописец и гравёр, работавший в стиле рококо. Пьер Боннар — французский живописец и график, один из величайших колористов XX века.

— Лидия Робертовна, к вам приходит домработница? — осторожно спросила Вера за «завтраком» (яйцо всмятку и давешнее затхлое печенье плюс чай на воде из-под крана).

Свекровь удивилась.

— Зачем она мне?

— Если вы не против, мы с Ларой можем помочь вам с уборкой... Окна мыть уже холодно, но хотя бы кухню и ванную? И полы в комнате.

Вера боялась, что Лидия Робертовна обидится — и откажется, но та величественно согласилась, подчеркнув, впрочем, что не видит причин делать это именно сегодня.

— Я взяла билеты в филармонию, на вечер. Ларочка любит Малера?

— Естественно!

Днём свекровь ушла в магазин за продуктами, взяв с собой Лару. Пока они отсутствовали, Вера обыскала всю квартиру в поисках тряпки — и не нашла ничего даже приблизительно похожего. Пожертвовала штопаные колготки Лары, набрала воды в туалетную банку — ведра в квартире тоже не имелось. Розовые колготки стали чёрными, Вера кашляла все полчаса, что отмывала их с Ларой утол — но успела. Даже прополоскала колготки под краном и развесила их на батарее, как ёлочную мишуру.

Добыткики вернулись с крохотным пакетиком, откуда норовили выпасть бутылка молока и полкило сосисок. На мордашке Лары застыло недоумение.

— Эта бабушка мне что-то не очень нравится, — сказала она Вере, дождавшись, впрочем, пока Лидия Робертовна скроется в кухне. — Даже булочку не купила. Говорит, я и так булочка.

— Тише, Лара! Лидия Робертовна, давайте я вам помогу! У вас есть крупа какая-нибудь? Рис?

Лидия Робертовна распахнула дверцы буфета — тоже, кстати, старинного, резного, жаль, здесь не было Сарма-

това для более полной атрибуции. Нашли пустую коробку с надписью «Мумиё», леденец, покрытый пушистой пылью, и полбанки муки с чёрными жучками — наследие прежних жильцов.

— Я редко ем, и запросто, — призналась Лидия Робертовна. — Если хотите чего-то эдакого, придётся самим готовить.

«И продукты покупать», — поняла Вера. Лара ныла, что хочет рисовую кашу, и Лидия Робертовна демонстративно сдёрнула с вешалки пальто.

— Нет-нет, что вы! — заспорила Стенина. — Мы сами ходим в магазин.

Пока что всё было совсем не так, как она себе напридумывала, — не хотелось жить в этой квартире целую неделю, есть что придётся, да ещё и оставлять здесь Лару...

Дочь шла, обхватив грудь руками крест-накрест — как будто замёрзла; на самом деле она таким образом являла миру своё недовольство. Вера попыталась отвлечь сердитое дитя — обращала внимание на незнакомые улицы, вывески, собак и птичек, но, увы, спальный район, где обитала Лидия Робертовна, не мог предложить ничего особо выдающегося.

— Мама, давай поедem домой, — сказала Лара, когда они стояли в очереди к кассе.

— Давай, — согласилась Стенина. — Поживём недельку, а потом сразу же поедem!

После каши (и булочки) Лара заметно подобрела. Охотно влезла в новое красное платье с широким поясом и теперь молча терпела заплетание кос — дома этот мучительный процесс, как правило, сопровождался антрактом и конфетным подкупом. У дочки были очень густые волосы — «Не прочешешь!», гордилась старшая Стенина, которую Вера уже не в первый раз вспомнила сегодня тепло и с симпатией.

Лидия Робертовна тем временем принимала очередного ученика — это был снова мальчик, но не такой бестолко-

вый, как вчерашний. Он довольно уверенно стучал по клавишам, играя Моцарта, но Лидия Робертовна всё равно была недовольна и в конце концов согнала его с вертящегося стульчика. Сыграла вначале нужный кусок, а потом, увлекшись, и всю сонату. Вера выронила из рук расческу и недоплетённую косу — внутри неё лопнула и разорвалась давно позабытая боль. Теперь она расходилась по всему телу, и ноги стали тяжёлыми, как степные каменные бабы.

— Мама, ты плачешь? — удивилась Лара.

... — Пустят только на хоры, — сокрушалась Лидия Робертовна. Они опаздывали на концерт — и это была целиком вина Стениной. Но что поделать, если Ларе приспичило поесть «макарончиков»? Пока сварили, пока съели, пока замыли масляное пятно на воротнике нового платья... Лидия Робертовна в суматохе не участвовала, но угнетала своим скорбным присутствием. Вера пыталась объяснить ей, что голодная Лара вообще не даст им послушать концерт — Лидия Робертовна разговор не поддержала. И вот теперь они неслись как сумасшедшие к филармонии — разумеется, на входе уже никого не было. Но и концерт, к счастью, не начался — публика в зале гудела ровно, как пчелиный улей.

Сели на свои места — Вера пригладила потную чёлочку Лары, глянула на камейный профиль Лидии Робертовны. Всё-таки она изрядно постарела — и прежде изящная, Герина мама выглядела теперь почти что бесплотной. Чёрные с проседью волосы скручены в узел, на шее — коричневые пятна и каменные бусы в тон. Нервные сильные руки лежат на коленях, вздрагивая. Любые попытки Стениной завести разговор о Гере приводили только к тому, что эти руки начинали плясать на столе или в воздухе, играя неизвестную мелодию. Лидия Робертовна по-прежнему не позволяла себе думать о смерти сына, а если её к тому понуждали, пускала в ход свою главную защиту — музыку.

На сцену один за другим выходили музыканты в разных вариациях чёрной одежды, — и Вера вдруг ощутила

давно забытое чувство горячей благодарности. Здесь, в малом зале чужой филармонии, сидя между Ларой и её бабушкой, она была надёжно спрятана от мыслей, которые донимали её в Екатеринбурге. Беглец Валечка, Юлька с её тайнами, Сарматов, *с которым нужно что-то решать*, и мышшь, не желавшая покидать нагретое местечко в богатом внутреннем мире Веры Стениной, — все они благополучно отъехали на задний план. Сейчас Стенину занимали сиюминутные проблемы: как совместить макароны и Малера, чистоту и вежливость, Лару и Лидию Робертовну, небесное фортепиано и Гюстава Курбе.

— Малер во втором отделении, а сейчас будет Чайковский, — шепнула Лидия Робертовна на ухо Вере. У неё пахло изо рта — к счастью, не слишком противно. — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор.

Вера уважительно кивнула. По всей видимости, Лидия Робертовна ждала, что Стенина передаст эту ценную информацию Ларе, но тут на сцене появилась, наконец, первая скрипка — дама в неожиданно смелом корсете, похожем на те, что продают в секс-шопах. За скрипкой, под аплодисменты, вышел дирижёр: седой полноватый мужчина, напоминавший известный портрет Тургенева.

Дирижёр благосклонно повернулся к первой скрипке, пожал ей руку, а на сцену вышел главный герой сегодняшнего концерта (если не иметь в виду Чайковского и Малера). Молодой и, как решила Вера, красивый скрипач встал рядом с дирижёром, глядя на него преданным щенячьим взглядом. «Тургенев» махнул палочкой, и скрипки затрещали как спички, которые зажигают о серный бочок коробка. Эфы виолончели походили на усы опереточного злодея. Солист играл уверенно и страстно, дирижёр порой подпрыгивал на месте, первая скрипка железной рукой держала оркестр — и он расцветал дивной, сочной, темпераментной музыкой. Стенина чувствовала, что может закутаться в неё, как в покрывало — точнее, в лёгкую и чистую вуаль. Один из контрабасистов забыл перелист-

нуть ноты, шея солиста пошла красными пятнами, мужчина в соседнем ряду надсадно кашлял — но Вера слышала только музыку, более того, она *видела* её. Гитаристка Ренуара, шагаловские скрипачи, вирджинал Вермеера, флейта Джорджоне и «Юноша с лютней» звучали как единый оркестр, спеть с которым почёл бы за честь даже ангельский хор Ван Эйка¹. Солист, казалось, готов был надвое перепилить скрипку смычком, с которого уже свисал длинный порванный волос. Лидия Робертовна пыталась унять свои руки — они беспокойными птицами бились в подлокотники. На сцене бушевало море...

И вдруг Веру дёрнули за рукав, вытащили из музыки, как рыбу сачком из аквариума.

— Ты что, не слышишь? — сердилась дочь.

— Потом поговорим, — шепнула Вера.

— Мне надо в туалет!

Оркестр играл анданте. Вера, наступая на чужие ноги, шла, красная, как Ларино платье, к выходу из рая под мысленные проклятия публики. В холле Лара тут же замедлила шаг, да и страдальческое выражение на лице куда-то улетучилось.

— Ты не хочешь в туалет! — рассвирепела Вера Стенина.

— Хочу, но уже не так сильно, как раньше, — призналась дочь.

— Давай быстрее! Из-за тебя всё пропустим!

— Я вас теперь только в антракте обратно пущу, — вмешалась контролёрша, и Вера с трудом сдержалась, чтобы не поставить её на место. Вот встала бы, в самом деле, на Верино место — а Стенина посмотрит, как она будет выкручиваться! Но у этой злорадной дамочки, скорее всего, нет детей. По глазам видно.

¹ Ян ван Эйк — выдающийся нидерландский живописец, один из основоположников искусства Раннего северного Возрождения.

Лара скрылась в туалетной кабинке, концерт звучал теперь далеко и не по-настоящему, как будто его передавали по радио. Вера включила воду, зачем-то вымыла руки — и расстроилась, столкнувшись взглядом в зеркале с собой. Она никогда не была в восторге от собственной внешности, но в последние годы отражение вообще отбилось от рук — Вера всякий раз неприятно поражалась, узнав в стеклянной витрине или в зеркальной стенке, которыми обзавелись вдруг практически все городские киоски, своё скучное лицо. Копипаста, та, напротив, с удовольствием замедляла шаг, когда они шли мимо зеркал — и оглядывала себя с нежнейшим восторгом.

— Мама, — задумчиво сказала Лара, бахнув дверью кабинки. — Дай мне, пожалуйста, гейм-бой!

— Ни за что! Мы музыку пришли слушать!

— Это скучно, — надулась дочь. — Я не хочу. Ты посиди в зале с бабушкой, а я вот здесь подожду, на лавочке. С гейм-боем.

Стенина задумалась. Честно говоря, это был не самый плохой вариант, но неизвестно, как отнесётся к нему Лидия Робертовна. И вообще, надо приучать Лару к музыке, а не толкать её собственными руками в болото игромании.

— Гейм-бой получишь дома, если высидишь концерт.

Лара захныкала. Бездетная контролёра изобразила, что закатывает глаза, и Стенина почувствовала страстную потребность ударить её со всей силы по голове, чтобы «такая и осталась». Тонечка Зотова из детского сада говорила, что этот способ действует наверняка — но она много чего говорила.

Например, утверждала, что «завидовать нехорошо».

В зале гремели аплодисменты — как будто катились сами собой тяжёлые камни. Кто-то умоляюще кричал: «Браво!»

— Давай-ка в буфет сходим, — примирительно сказала Вера.

Лидия Робертовна удивилась, когда они появились в зале после антракта. Лара сыто вздыхала, осмысляя только что съеденный эклер.

— Я думала, вы ушли, — сказала Лидия Робертовна. — Гениальный мальчик, не правда ли? Но во втором отделении его не будет. Зато там будет... — она таинственно улыбнулась, и неожиданно больно напомнила этой улыбкой Геру, — там будет сопрано! Приглашённая солистка из Мюнхена!

Малер звучал не хуже Чайковского, дирижёр целовал первой скрипке ручку, сопрано вышла в золотистом платье, бросавшем вызов люстрам. В горле у певицы журчало и переливалось, как будто она полоскала горло шампанским, но на нижних нотах голос, к сожалению, проседал — держался с трудом, как на шаткой ступеньке. Лара начала хныкать, ещё когда никакой певицы на сцене не было и оркестр играл скерцо. Вера, не сдержавшись, больно дёрнула дочь за косичку. От изумления Лара умолкла — и продержалась почти до конца.

Они молча вышли из филармонии. Вдруг пошёл дождь, и вкусно запахло прибитой намокшей пылью.

— Станный в этом году ноябрь, совершенно не питерский, — заметила Лидия Робертовна.

Вечером, когда Лара уже спала, наигравшись в драгоценный гейм-бой, Лидия Робертовна сказала:

— Вера, я, наверное, не очень хорошо представляла себе девочку в таком возрасте. Боюсь, я не сумею оставить у себя Лару. Ты ведь не обидишься, правда?

Глава тридцать вторая

Соперничество — пища для гения.

Вольтер

В зале прилёта толпились таксисты и встречающие — напряжённо всматривались в бледных людей с чемоданами, являвшихся из раздвижных дверей, как из другого мира.

— Это Прага прилетела?

— Да, уже выходит.

— С приездом!

— Как добрались?

— Осторожней с этой сумкой, там чашечки, карловарский фарфор — всю дорогу боялась грохнуть.

Вера шла сквозь чужие разговоры, отгоняя их как сигаретный дым, — но слышала и вникала поневоле.

Серёжа предложил разделить Кольцово на две зоны — в первую он отправил Веру, а вторую пошёл исследовать вместе с Ларой. Логично, не придерёшься: доктор понятия не имел, как выглядит Евгения, а отпускать Лару в одиночное плавание Стениной не хотелось.

В кофейне на Верином «участке» только что сменилась смена — официантки понятия не имели о заплаканной высокой девушке. Продавщица цветов — юная, с тугими щёчками — тоже не помогла: она как раз получала товар и *откры-*

лась сегодня с большим опозданием. Вера зашла в туалет, дождалась, пока освободятся все кабинки. Самая дальняя была закрыта подозрительно долго, и Стенина постучала в дверь согнутым пальцем:

– Евгения?

– Занято! – гаркнули в ответ голосом, какой обычно бывает у опытного товароведа.

Как и сто лет назад, в петербургской филармонии, Вера включила воду, вымыла руки и без всякой радости глянула на себя в зеркало. Рама превращала её отражение в унылый, но честный портрет.

...Как только Вера поняла, что ей не придётся оставлять Лару в Питере, а Лидия Робертовна убедилась в отсутствии всяческих обид по этому поводу, натянутость между ними исчезла. Будто бы Вера вымела её из квартиры вместе с многолетней пылью. Свекровь оценила Верины таланты по части стряпни – теперь она входила в свою кухню вежливой гостьей и с удовольствием принюхивалась к ароматам грибного супа и рулетиков из индейки. С Ларой у бабушки не потеплело – мало того что девочка не проявляла никакого интереса к музыке, так ещё и единственная попытка «поставить руку» окончилась тем, что детские пальцы придавило крышкой пианино. На этом музыкальное образование завершилось – и выглядело по-своему символичным. По аналогии с призывниками, которые наносят себе увечья разной степени тяжести, лишь бы не ходить в армию.

Дня через два после этого прискорбного случая Лидия Робертовна раскрыла перед Верой дверцы шифоньера (гостья так и не осмелилась попросить убежища для своих вещей – и они продолжали мяться в чемодане) – и вытащила оттуда длинное чёрное платье. Сверху донизу по нему бежали крупные чешуйчатые искры, сзади был пришит то ли хвост, то ли шлейф. Лиф – тяжёлый, как кираса, открытые плечи...

Вера испугалась, что платье предназначается ей в подарок. Единственный повод, по которому она могла бы его надеть, — собственные похороны.

Зря беспокоилась.

— Посмотри, это не слишком? — спросила Лидия Робертовна, прикладывая к себе платье.

— Надо примерить! — сказала повеселевшая Стенина.

Лидия Робертовна выгнала недовольную Лару из-за ширмы, переделалась — и явилась снова. Смущённая, с румянцем на щеках, она почему-то напомнила Вере одну из богинь, представших перед Парисом — и тянувшую руку за яблоком.

Платье сидело отлично, но Вере поразило не это. Каким-то непостижимым образом Лидии Робертовне удалось сохранить фигуру. Сзади, если не видеть лица, можно было принять Герину мать за тридцатилетнюю женщину — кожа была подтянутой и ровной, молодой. Вот только шея посыпана коричневыми пятнами, но их можно загримировать.

— Прекрасно! — сказала Вера.

— Бабушка, а куда ты пойдёшь в этом платье? — удивилась Лара.

Лидия Робертовна поправила бретельку.

— Меня давно уговаривают дать концерт, и я решила согласиться. А эти бусы пойдут сюда, как думаете?

Они ещё с полчаса втроем обсуждали серьёзный вопрос о концертном наряде (бусы одобрили, а вот причёску Вера с Ларой решительно забраковали — бабушка хотела заплести косичку, но здесь требовался строгий пучок), после чего Лидия Робертовна сказала:

— Жаль, что вы уедете — а то послушали бы, как я играю в большом зале. Шопен и Шуберт. Может, задержитесь ещё на недельку?

...Вера стояла в очереди в Эрмитаж — и думала, а что, если правда остаться? Быт здесь утомительный, зато она сможет услышать божественную игру — и вообще, Петер-

бург явно идёт ей на пользу. Валечку она вспоминала каждый день, но уже не с тоскливой болью, а с чем-то вроде благодарности. Ждать от Валечки большего, чем он дал, было не только наивно, но ещё и нечестно.

Лара тоже будто бы стояла в очереди — но на самом деле сидела на корточках в стороне и пилила гейм-бой с тем же остервенением, как давешний скрипач — свою скрипку. Продвигаясь вперёд, Вера окликнула дочь, и та не вставая, на корточках, как русский плясун, нагоняла очередь вприсядку.

Стенина не была в Эрмитаже с юности и теперь волновалась, как перед встречей с дальними, но влиятельными родственниками. В прошлый раз на практике ей удалось перемолвиться словечком лишь с несколькими портретами. Кругом было столько людей! Некоторые буквально оттирали Веру от картин, но кое-что она запомнить успела. Младенец смотрел на Веру снисходительным взглядом победителя. Мадонна Литта чуть-чуть говорила по-русски — старомодно, со смешным акцентом:

— Выплакал, что я могла поделать? Я уж и платье зашила, да пришлось разорвать. Так плакал, что сердце не выдержало. Буду кормить, пока просит.

— Откуда вы знаете русский? — удивилась юная Стенина.

— Так мы давно здесь, — сказала Мадонна. — Сначала на доске были, а потом нас на холст перенесли.

Младенец недовольно закричал. Нитки на платье Мадонны и вправду были разорваны, пахло сладким, как ладан, молоком... Ребёнок начал засыпать, в синих окнах уютно пели птицы, и Вера на цыпочках вышла из зала.

А вот «Данаю» ей тогда увидеть не удалось — картина была на долгой реставрации и на публике появилась сравнительно недавно.

Сегодня, если Лара не взбунтуется, первым делом — к ней.

— Мама, у тебя телефон звонит! — крикнула дочь, не отрывая взгляд от треклятой игрушки.

— Тётя Вера, это Евгения! У меня для тебя очень плохая новость!

Стенина ненавидела такие заходы. Что-то с матерью или, может, с Юлькой?

— Ты только не расстраивайся... — тянула Евгения.

— Хватит уже! — взорвалась Вера, напугав соседей по очереди. — Быстро говори, что случилось?

— Та серая рыбка убила двух беленьких. Я к вам пришла ночевать, а они плавали в воде и плохо пахли. Бабушка Нина сказала достать их сачком и бросить в унитаз, но я не смогла. Потом мама их рукой выгатила... — Евгения разрыдалась.

— Ну не плачь, — сжалилась Вера. — Может, это какая-то бойцовая рыбка? Или ей просто захотелось побыть одной? Знаешь, иногда все так надоедают, что взяла бы — и прибила!

Женщина из очереди отпрянула в сторону.

— Она давно за ними гонялась, — плакала Евгения, — а вы все мне не верили! Она разорвала плавник Луше, а Кларе хвост прокусила!

— Ты что, имена им дала?

— Конечно!

— А серую как назвала?

— Марина, — призналась Евгения.

— Это Евгения звонила? — поинтересовалась Лара, когда они уже купили билеты и Вера отобрала у дочки раскалённый гейм-бой. — Что там такое?

— Золотые рыбки умерли.

— Ну вот, — расстроилась Лара. — А я хотела загадать им ещё одно желание!

Вера в очередной раз изумилась способности Лары воспринимать реальность на свой лад. Для Евгении смерть миленьких рыбок была трагедией античного размаха, для Лары — всего лишь потерей шанса выпросить у судь-

бы какую-нибудь материальную отраду вроде собственного гейм-боя. Стенина так крепко задумалась об этом, что свернула не туда — и вместо зала Леонардо да Винчи, который тоже был у неё в плане, они оказались в Военной галерее 1812 года.

— Фу, мама, здесь плохо пахнет, — сказала дочь и в доказательство зажала нос ладошкой.

Смотрительница — а в Эрмитаже, как Вера помнила с прошлого раза, работают убеждённые мизантропы и детоненавистницы, — возмущённо вспыхнула:

— Что это ребёнок придумывает? У нас здесь замечательно пахнет! Чистотой, искусством!

От неё самой долетал дешёвый, но приятный аромат ландышевых духов. На лацкане пиджачка оскорблённо посверкивала серебряная брошка — будто мелкий хищник скалил зубы.

«Знала бы ты, чем на самом деле пахнет искусство», — усмеялась про себя Вера, но наружу выпустила миролюбивую улыбку. Проявила коллегияльность и здравый смысл.

— Не болтай ерунду, Лара. И руки от лица убери!

На глазах у бравых генералов, чьи эполеты напоминали крышки от банок с вареньем, они прошли к портрету фельдмаршала Кутузова. Генералы негромко роптали, посмеиваясь в усы, но лишь только Вера встала перед Кутузовым, смолкли как по команде.

Этот портрет кисти английского художника Доу восхищал своей нелепостью. У фельдмаршала было не две, а три руки — такая иллюзия возникала у зрителя благодаря белой перчатке, которую крепко сжимал Кутузов. Хвойная лапа над головой фельдмаршала передразнивала направление реальной правой руки — она указывала на поле боя, который шёл где-то очень далеко. Крики бойцов были практически не слышны, в отличие от тяжёлого, прерывистого дыхания Кутузова.

— Да, — вздохнул фельдмаршал, — глаза б мои на всё это не глядели.

Вера некстати вспомнила икону «Богоматерь Троеручица», которую ей показывал Сарматов. Некстати — потому, что она не разрешала себе приземлять божественное. Это появилось у неё недавно — не исключено, что подцепила от Валечки. Увидев в какой-то книге средневековое распятие, где Христос был похож не на себя, а на Икара, привязанного к крыльям, она осудила себя со всей строгостью. Но это был максимум, который Стенина могла предложить религии, — в храм она не ходила, постов не соблюдала и, когда видела, как люди крестятся, всякий раз испытывала неловкость, будто застала их за чем-то неприличным.

— Вот здесь совсем не пахнет, — вмешалась в её размышления Лара. — А вон там, мамстер, просто невозможная вонь. — Дочь указывала пальцем на конный портрет Фридриха-Вильгельма. — Наверное, лошадь пукнула. Или дяденька.

Фридрих-Вильгельм, и без того глядевший на Стениных без малейшей симпатии, скорчил высокомерную гримасу.

— Гутен таг, — пробормотала Стенина, ощущая горячий запах конского навоза, которым действительно был пропитан этот строгий парадный портрет. До последней клеточки! — Как вы это выносите?

— Так ведь животный, — на ломаном русском объяснил Фридрих-Вильгельм. — Бывает и хуже, гнедиге фрау. Этот ваш девочка слишком избалован.

— Я же говорила тебе, мама, что здесь пахнет! — торжествовала дочь. И только тогда до Веры дошло, что Лара тоже видит картины не так, как все...

Она за руку вытащила ничего не понимающую дочку из галереи, не удостоив раздражённую смотрительницу ни взглядом, ни словом. Ей нужно было срочно проверить, права она, или это какое-то нелепое совпадение?

Обоняние у Лары всегда было острым — в подъезде она перечисляла, кто что из соседей сегодня готовит, у кого стореда каша или убежало молоко... Юлькины духи опознавала на раз, при том что у Копипасты была целая коллекция — и французские, и американские.

— А вот здесь — пахнет? — спросила Стенина, подводя дочь как можно ближе к «Блудному сыну» Рембрандта.

— Ногами, — задыхаясь, ответила Лара. — Вот от этого человека. И немножко — свиньями, как в деревне у тётки Эльзы.

— А что ты слышишь?

— Тебя слышу, — удивилась дочь. — И вон тех людей.

Вера с надеждой обернулась, но увидела только группу иностранцев с экскурсоводом.

На холсте звучала флейта, блудный сын громко плакал, а отец успокаивающе похлопывал его по спине, повторяя: «Ну, полно! Полно!» Рембрандтовский свет; при всей его мягкости, бил в глаза, и Вера щурилась, разглядывая картину. В другое время она вспоминала бы своё любимое:

Рембрандт, скорбная, полная стонов больница,
Чёрный крест, почернелые стены и свод,
И внезапным лучом освещённые лица
Тех, кто молится Небу среди нечистот.

Теперь же ей было не до Бодлера. И даже не до Рембрандта. Сухо кивнув растроганному отцу на портрете, Вера скомандовала:

— Так. Ну-ка, пошли!

Адским галопом добрались до зала Леонардо да Винчи. Мадонна Литта мельком глянула на Стенину и улыбнулась Ларе.

— Чем здесь пахнет? — спросила Вера.

— Молоком и хлебом, — ответила дочь. — Тут есть буфет?

У нежного юноши Караваджо Лара учуяла запахи цветов и перезрелых фруктов.

— Покорми дитя, — пропел юноша и протянул лопнувший инжир прямо в лицо Вере так, что она отшатнулась.

— Мам, ты чего? — удивилась Лара, но Вера уже тянула дочь вперёд и дальше. Раньше её удручала красота Эрми-тажа — взгляд уставал от скачек по золочёным люстрам, расписным потолкам, резным дверям и мозаичным полам, с трудом фокусировался на картинах — и тут же сбегал прочь при виде мраморных колонн и бесценной мебели. Стенина мечтала о музеях пустых, скучных и серых, как коробка из-под обуви — не догадываясь о том, что они уже существуют и что не только её, несчастную, измучили лепнина с позолотой. Но сейчас Вера не замечала ни причудливых хрустальных люстр, ни инкрустированных полов, ни атлантов, забравшихся под самый потолок. Она видела только Лару — раскрасневшуюся, с увядшим бантом, — и очередную картину, бессмертный шедевр, материал для опыта.

На подступах к пейзажу Каналетто — «Приём французского посла в Венеции» — Лара вновь закрыла нос ладошками:

— Опять воняет! Рыбой! — Запах стоячей воды был и вправду очень сильным — шибал в нос на расстоянии.

«Бобовый король» Йорданса¹ оскорбил дочь духотой и спёртым воздухом — Вера была с ней полностью солидарна, воздух отсюда действительно спёрли. «Лавка с дичью» исходила пряным запахом убоины, а ещё там лаяла во весь голос собака и ругался хозяин, но этого дочь не почувствовала. Как не заметила и солёных капель, летящих в лица с рубенсовского «Персея», и камешка из-под копыт Пегаса, и хулиганской туфли с картины Яна Стена², которая мелькнула перед глазами Веры как будто крыса.

¹ Якоб Йорданс — фламандский живописец эпохи барокко.

² Картина «Гуляки» одного из ярких мастеров голландской бытовой живописи XVII века, Яна Стена.

— Девушка напьянилась, — отметила Лара. — Пахнет, как от тёти Юли.

— А ты слышишь что-нибудь? — спросила Вера. — Эти люди на картине, они издают какие-то звуки или нет?

— Мама, ты что, они же нарисованные! — изумилась Лара. — Пойдём в буфет, ты обещала.

— Последняя картина, — попросила Вера. — Я никогда её не видела, потому что её совсем недавно отреставрировали. Один злой человек облил «Данаю» кислотой...

Лара обожала слушать истории о злодеяниях, поэтому перенесла новость об «ещё одной картине» стоически. Даже взяла мать за руку, что случилось с ней редко. Вера же, рассказывая давно утратившую свежесть историю про «Данаю» и Бронюса Майгиса, думала вовсе не о поруганном шедевре и чудесах реставраторского мастерства. Она думала о том, что Лара унаследовала лишь малую часть её дара — девочка ощущала запах, исходящий от картин, а в остальном была такой же обычной зрительницей, как вон та девушка, что смотрит на «Данаю» застывшим взглядом. Девушка была стройной, будто кариатида — и держалась так прямо, что мучительно хотелось положить ей что-нибудь на макушку. Например, собственную сумку, ставшую в последние часы тяжёлой, как мрамор.

— Ну а здесь чем пахнет?

— Краской, — сказала Лара.

Стройная девушка возмущённо оглянулась на Стениных — и даже причмокнула особым образом, как, бывает, чмокают в театре ревностные зрители, когда рядом шуршит конфетной фольгой захожанин. В другое время Вера испепелила бы эту кариатиду убийственным взглядом, выращенным в суровых условиях долгой уральской зимы, — но сейчас она даже буркнула ей вслед что-то вроде извинения.

У «Данаи» и в самом деле не было запаха — как не было и звука, и вкуса...

Перед Стениными висела копия — безвозвратно мёртвая картина.

Глава тридцать третья

Граница между двумя мирами! Не ёли мы находим на другом уровне в музеях, за поблёскиванием стекла и лака, когда мы сопоставляем нашу хрупкую реальность с этими ликами, запечатлёнными для нас искусством на окне в прошлое? Какие они настоящие! Как хорошо позируют! Как крепко спаяны с собственной долговечностью!

Поль Клодель

Серёжа с Ларой, словно полицейские, прочёсывали аэропорт по квадратам. Лара пыталась непринуждённо щуриться и кривить губы, как героиня любимого сериала (позади шесть сезонов, седьмого ждала, как из печи пирога). Серёжа кидал по сторонам цепкие взгляды, но так и не увидел ни одной девушки с заплаканным лицом. И это при том, что девушек в аэропорту было в изобилии — с цветами, чемоданами, рюкзаками и кошачьими переносками. Встретились им также девушка на костылях, пьяная девушка (Серёжа метнулся к ней с надеждой, но Лара его тут же остановила — Евгения не пьёт и на голову выше этой страшилы), девушка с татуировкой на шее... В общем, перечень встречных девушек занял бы столько же места, сколько приснопамятные корабли Гомера, и Серёжа принял суровое мужское решение прекратить поиски. Он вытащил из кармана телефон, чтобы позвонить Верочке (улыбаясь при мысли, что теперь у него есть её номер), как вдруг его осенило:

— А на второй этаж подняться? Может, она в зале вылета?

Лара уже мчалась вперёд — подвижная девочка, при такой полноте! Она, разумеется, не догадывалась, что Серёжа считает её толстухой, — чувствовала себя подтянутой, собранной и меткой, как стрела в руках зоркого лучника.

Лара вспомнила, как они с матерью носились с такой же скоростью по Эрмитажу — и на пару нюхали картины. Смешное было время! Сейчас кому расскажешь — не поверят. Да она и сама не верила, что у неё была когда-то такая способность — считала, что причина в маминых странностях, которые та хотела видеть и у дочери.

...В давние дни эрмитажной практики студентам рассказывали, что «Даная» находится на реставрации и над ней работают лучшие мастера. Вера не сомневалась, что Даная, попавшую вначале под золотой, а потом ещё и под кислотный дождь, действительно отреставрировали — после чего спрятали от греха где-нибудь в запасниках. А здесь, пусть и под непробиваемым стеклом, скорее всего, выставлена работа очередного Славяна.

Лара поела бутерброды и пирожные, от души запивая их молочным коктейлем, а Вера, на автомате выдавая дочери то салфетку, то улыбку, была целиком занята попыткой вспомнить — когда же она впервые почувствовала, что картины — живые?

Прежде Стенина считала, что этот дар разбудила в ней школьная учительница эстетики, Эмма Витальевна. Мягкое имя, плавные движения, невозмутимое, как у героинь фламандских портретов, лицо. Эмма Витальевна любила розовую, как сырая сосиска, помаду, приносила на уроки зефир в шоколаде, и смех был у неё глуховатым, раскатистым — с хрустальной нотой под занавес, похожей на звонок в конце строчки, когда печатают на машинке «Москва».

Репродукции в тяжёлых альбомах, первый в жизни Веры поход в картинную тогда ещё галерею на улице

Вайнера... Открытием было не то, что жизнь в шедеврах ничем не отличается от реальности — Стенина как будто бы всегда знала о том, что внутри резных тяжёлых рам живут настоящие чувства. Если ещё не в более концентрированном виде. Открытием стало то, что не все, оказывается, чувствуют картины так, как она, Вера. Например, Эмма Витальевна даже не догадывалась о том, что от холста Хондекутера нестерпимо пахнет помётом и слипшимся пером. Ей бы и в голову не пришло заткнуть нос кулаком, как это сделала Лара. Однажды учительница так долго простояла у работы «птичьего Рафаэля», что Вера начала покрываться красными пятнами — у неё была аллергия на перья.

— Смотри, они как живые! — восхищалась Эмма Витальевна, но Вера-то знала, что они *и в самом деле живые*. Не зря тот петух так мрачно косит в её сторону — примеряется, как бы половчее клюнуть.

Сейчас, в буфете Эрмитажа, глядя, как методично Лара уничтожает армию бутербродов и эскадрилью пирожных, Вера осознала, что вовсе не Эмма Витальевна разбудила в ней дар проникать в картины и открывать каждую из них с усилием не большим, чем дверь в свою комнату. Этот дар присутствовал у Веры с рождения, сразу, всегда — и теперь она думала об этом с уверенностью ребёнка, выучившегося читать в несознательном возрасте.

В раннем детстве, когда Вера листала альбом «Избранных картин» — тот самый том печальной эпохи настройщика и его фальшивой сестры, — облака на пейзаже ван Рейсдаля¹ вдруг поплыли вправо и в лицо девочки дохнуло свежим ветром. Она не испугалась, да и какой ребёнок на её месте испугался бы? Живая книга показалась ей восхитительной. Вот почему Вера так любила этот альбом —

¹ Якоб ван Рейсдаль — нидерландский художник-пейзажист.

в нём было спрятано множество историй, важно было не раскрыть его на чём-нибудь страшном вроде Маньясковой «Пытки».

И тогда же, в детстве, Вера убедилась в том, что никогда не сможет шагнуть через раму — и оказаться на лугу вместе с пляшущими музами.

Незадолго до отъезда в Питер Вера читала девочкам перед сном любимую книгу Евгении — «Мэри Поппинс». Стенина тоже любила эту сказку, и более того, считала её мудрым, философским, несправедливо приписанным к детским сочинением. Читали они тем вечером главу о капризах Джейн — как мальчики, изображённые на Королевском Фарфоровом Блюде, что висело у Бэнксов на стене, пригласили её войти — и стать частью нарисованного мира, *жизнью за рамками жизни*. У Джейн это получилось без малейших усилий — и, что особенно восхищало Евгению, за пределами нарисованной картинки действительно имелась другая жизнь, невидимая тем, кто смотрит на обрамлённый сюжет. Там был дом, где жил загадочный и страшный Прадедущка, была некая девочка — старшая сестра нарисованных мальчиков, но увидеть их можно было единственным способом — пройти через раму, как будто это дверь. Читая сказку, Стенина думала о том, что ей этот фокус не по плечу — картины были живыми, но при этом оставались недоступными.

Портреты часто позволяли себе лишнее: пытались ухватить Веру за плечо, кто-то даже хлопал её игриво пониже спины, как тот старичок из Лувра — Вера не помнила названия и автора картины, но не могла забыть блестящие глаза и щегольской жест, каким старичок поправлял свои седые усищи, похожие сразу на две курительные трубки. Пробовать отвечать тем же, как она пыталась делать в юности, — не только бессмысленно, но и опасно. Вера отлично знала, чем это кончится:

рука, попытавшаяся нарушить покой картины, наткнётся на мощную стену и будет болеть несколько дней, как от сильного удара.

А ведь в некоторые полотна ей очень хотелось войти — как входят в реку жарким днём. И далеко не всегда это были уютные пейзажи. Несчастный блудный сын у Рембрандта падает в объятия отца так, будто это объятия Бога — вечный приют. Вера, глядя на картину, стоя перед ней в добровольном почётном карауле, всякий раз чувствовала головокружение — ей хотелось упасть на колени вместе с этим износившимся, промотавшим свою жизнь человеком, — упасть вместо него, и чтобы её точно так же обняли, прижали к себе и простили. Рембрандт писал эту картину в конце жизни — на самом деле блудный сын не возвращается домой, а умирает, и его принимает не отец, а Бог — без всяких «будто». Действие невозможно удержать на холсте и ограничить рамой — настоящим мастерам не требуются уловки вроде трюмплёев¹ для того, чтобы зритель почувствовал себя соучастником.

— Мы тут до вечера будем сидеть? — с надеждой спросила Лара, успешно выигравшая сражение с бутербродами. Сытая мордашка лоснилась, как новая кожаная сумка. Надо будет сегодня позаниматься с ней математикой — а то за каникулы окончательно всё позабудет. И ещё сочинение задали по картине Левитана «Золотая осень» — где одна берёзка как будто бы перебежала на другой берег и теперь тоскует по подружкам.

— Ты обещала в «Детский мир», — напомнила дочь. — И в музей я больше никогда не пойду, лучше с бабушкой останусь.

В «Детском мире» Лара долго не могла ничего выбрать — а потратить деньги, выданные «на поездку» стар-

¹ Тромплёй, или обманка (фр. *trompe-l'œil*, «обман зрения») — технический приём в искусстве.

шей Стениной, хотелось. Вера с ног падала от усталости, когда дочь отыскала наконец прилавок с игровыми приставками.

— Подбавь пару тысяч на гейм-бой, — попросила она.

Дома Лару с трудом уняли к полуночи — никак не хотела ложиться, капризничала. То обнимала с разбегу Лидию Робертовну, так что бедняжка, не успев сгруппироваться, сгибалась пополам, как неудачливый вратарь. То заворачивалась в штору — а штора была пыльная, и девочка принималась кашлять. Вера не удержалась, шлёпнула её по заднице, получилось — сильно. Ладонь горела, дочка рыдала в объятиях бабушки и уснула с ней рядом, как маленькая.

Последний петербургский день мать и дочь провели порознь — Лара играла теперь уже в собственный гейм-бой на бабушкином диване, а Вера бродила по ещё одному известному музею, где было выставлено непостижимое количество мёртвых картин. Подделки чередовались с оригиналами с частотой шахматной клетки.

«Хорошо, что никто не видит того, что вижу я», — размышляла Стенина, а потом её как будто дёрнули за рукав. В точности как Лара, которой здесь не было.

Вера остановилась перед вне всякого сомнения подлинным Левитаном, вдохнула пряный аромат осенней листвы — и вслух сказала:

— Да ведь этим можно зарабатывать!

— Если научитесь так рисовать — несомненно, — тут же ответил ей какой-то болтливый портрет.

— Не собираюсь я рисовать! — ликовала Вера, слегка, впрочем, кривя душой — потому что занималась в настоящий момент именно тем, что рисовала себе картины бурного коммерческого успеха и безбедной жизни.

Сарматов позвонил, когда она шагала к станции метро с поглупевшим от счастья лицом.

— Ты не забыла о моих делах? — спросил он.

Экспертизу Вера отвезла на Васильевский в один из первых дней, Бурлюк оказался не Бурлюком, и покупку отменили, так что в списке дел значился единственный пункт — встреча с продавцом редких конвертов. Человек по имени Степан Ильич назначил Вере встречу на Финляндском вокзале, сегодня, в пять. Сочетание слов «Ильич» и «Финляндский вокзал» звучало вполне обнадёживающе.

— Не волнуйся, всё будет исполнено, — обещала Вера.

— А ты почему такая счастливая? — подозрительно спросил Сарматов.

— Да просто погода хорошая, — сказала Вера. Тут очень уместно задул буйный ветер, и последних слов Сарматова в трубке она не расслышала. Зато почувствовала знакомое царапанье в горле — там скребли тонкой лапкой с когтями.

— Ты чего это вдруг? — изумилась Вера. — Кому мне сейчас завидовать?

— А ты посмотри по сторонам, — заняла летучая мышь, — какой прекрасный город! Вот чего бы нам с тобой не переехать сюда лет десять назад? Сейчас-то понятно, что поздно. Сейчас нам всё поздно...

Мышь давно объединила себя и Стенину в неделимое целое — подчёркивала, что и не думает покидать нагретое местечко. Да что там местечко! Целые хоромы — с бассейном, с подземным гаражом!

— Нам поздно, — гундела мышь, — а Лидия живёт припеваючи, ходит по филармониям! В Эрмитаж может хоть каждый день!

— У нас тоже неплохой город, — попыталась спорить Вера, — похорошел в последнее время. И рестораны любые есть, и магазины.

— Ну да, конечно. Плюнь в глаза — божья роса!

— Отстань от меня! — крикнула Вера, и встречный мужчина поднял на неё изумлённые глаза.

Мышь бурчала, пока Стенина не вышла наконец из метро — и не увидела Степана Ильича: он описал себя точно, не хуже, чем Стенина описывала боль. Высокий, в серой куртке, с блестящим чемоданчиком-«дипломатом», каких Стенина не видывала с девяностых и даже слегка обрадовалась, как при встрече с добрым знакомым. Степан Ильич был похож на белого медведя и ещё, как ни странно, на Сарматова — физическое сходство отсутствовало, но общий для всех коллекционеров озабоченно-безумный вид считывался с первого взгляда.

— Давайте отойдём в сторону, — сквозь губу сказал коллекционер. Они сели на скамью, и Степан Ильич открыл чемоданчик так, что ни один прохожий не увидел бы содержимое. После этого Вере с трепетом были предъявлены ценные конверты в заклеенном пакете. Она вскрыла пакет, пересчитала конверты, передала Степану Ильичу деньги. По ногам бежал страх, снизу вверх — как мурашки. Неизвестно чего она боялась, скорее всего, на неё воздействовал шпионский антураж.

— Уходим по одному, — шепнул Степан Ильич и стартовал первым, небрежно насвистывая. Вера посидела на скамейке пару минут, умудрившись за это время выкинуть из головы коллекционерскую чушь и *сосредоточиться на главном*.

Зависть, как обычно, пыталась перетянуть всё на себя — но Вера почувствовала, что впервые в жизни может дать ей отпор. Странно, что она столько лет сидела на ящике с сокровищами и не догадывалась в него заглянуть. Учитель, «стульчак», консультант... Почему ей раньше не приходила в голову светлая мысль стать экспертом? Да не таким, чьи решения подвергаются сомнениям, а то и судебным разбирательствам! Эксперт-искусствовед В. В. Стенина никогда не допустит ошибки, а юная Лара станет её верной помощницей, продолжательницей семейной традиции. Естественно, для начала нужно будет получить диплом искусствове-

да (и снова — «Здравствуйте, господин Курбе!»), потому что ни один нормальный клиент не поверит историям о «говорящих портретах» и «пахнущих натюрмортах»: в лучшем случае припишут к странностям, в худшем — Сибирский тракт, областная психбольница. Диплом прикроет все Верины секреты и Ларины заскоки надёжно, как щит!

В таких приятных мыслях Вера дошла почти до самого дома Лидии Робертовны и вдруг вспомнила — у них нет ни молока, ни хлеба. Поезд — завтра вечером, Ларе можно будет сварить молочный суп на обед, она его любит. Тогда нужна ещё мелкая вермишель, «паутинка». Вера повернула на соседнюю улицу к магазину — и вдруг увидела знакомое лицо. Среди фотографий эстрадных артистов, отфотошопленных до состояния вечной молодости, висела элегантная чёрно-белая афиша с автопортретом Бори Б. — того художника из юности.

Крик чайки, два тела, похожих на трупы в прозекторской... «Выставка работ Бориса Б. Автопортрет и другие истории в галерее Горячевой», — прочла Вера. Если верить афише, открыто у них до восьми, а галерея Горячевой — рядом с магазином.

Купленные продукты Вера спрятала в сумку, порадовавшись, что взяла с собой такую вместительную. Разве что пакет молока не давал закрыть «молнию» и упирался в подмышку.

В галерее Горячевой — чистом и пустом, не считая охранника и картин на стенах, помещении — бродил единственный посетитель, мужчина в возрасте за сорок, от которого даже на расстоянии долетал затхлый запах одиночества. Мужчина медленно переходил от холста к холсту, и Вера, чтобы не столкнуться с ним, пошла в обратном направлении. От новых работ — к ранним.

Выставка состояла из двух частей — это были автопортреты и... мальчики. Вера начала с мальчиков и почти сразу же поняла, кого напомнили ей эти полуодетые дети,

пойманные в сомнительных позах. Бальтюса с его «лолитами»! Колорит, сюжет, та же умышленно-театральная композиция. Только вместо Бальтюсовых котов у Бори были собаки, а вместо «лолиток» — мальчишки. Один из них, в рубашке, но без штанов, томно выгнувшись на стуле, сказал Вере то, что она и так уже поняла:

— Ну да, я нравился мастеру, а что такого?

Борино искусство выгащило наружу предпочтения, так тщательно скрываемые в юности. Неудивительно, что ночь с Верой стала для него испытанием — а тот крик чайки... вдруг это был плач?

— Вряд ли, — зевнул мальчик с другой картины и снова уткнулся в компьютер, где мерцала заставка с Бориным лицом.

Автопортреты, к которым Вера перешла с облегчением — педофильские полотна показали ей омерзительными, хотя сделаны были мастерски, и это расстраивало ещё сильнее — охватывали последние двадцать лет Бориной жизни. Он, как вспомнила Вера, и начинал, кажется, с автопортретов: своё лицо было ему интереснее всех прочих. Во всей истории искусств, пожалуй, только Рембрандт писал такое количество автопортретов — и Фрида Кало. И Дюрер.

От работы к работе Боря всё молодел — это потому, что Вера шла по выставке неправильным маршрутом. Первый на пути — недавний, судя по датировке, — представлял одутловатого лысого мужчину, уже ничем не напоминавшего подростка, каким Боря выглядел лет до тридцати. Парафиновый мутный взгляд, под носом — жёлтые усы, похожие на клочок тюфячной ваты.

— Ты тоже не особо выглядишь и поправились, — огрызнулся Боря-с-портрета. Вере не хотелось с ним разговаривать, к тому же одинокий посетитель был от неё на расстоянии метра. Она кивнула постаревшему художнику и перешла к другой работе — здесь Боря

был запечатлён с посмертной маской Пикассо в руках. Боря с котом, Боря – в рифму – на берегу моря, сразу три Бори в образах Геры, Афины и Афродиты (и как это Стенина проглядела его женскую сущность?). Автопортреты лопотали и бурчали, и, поскольку голоса у них были примерно одного тембра, звучание складывалось в спетый хор.

Одиноким посетителем поравнялся со Стениной – этого любителя искусств можно было без всяких кинопроб утверждать на роль убийцы. Тяжёлый взгляд, меховые брови, рот, словно застёгнутый на «молнию»... К тому же шёл он как-то странно и шевелил пальцами, как будто разминался перед нападением.

Вера оглянулась на охранника – но тот всем своим видом воплощал безмятежность. До выхода было рукой подать – и всего три недосмотренных портрета на стене. Боря в чёрной шляпе, Боря верхом на стуле и ...Боря с Верой Стениной.

Она сразу же узнала себя в перепуганной девочке с румяными щеками, которая сидела на диване, поджав под себя ноги. Боря, закинув ногу на ногу, внимательно вглядывался в шахматную доску – она лежала между ними как меч в средневековом романе. Из фигур выложено слово: «Нет».

– Привет, – пискнула Вера-с-картины.

Реальная Вера не успела ответить, потому что в галерее Горячевой завывала сигнализация, – и едва ли не громче закричал человек.

– Убери его от меня! Убери! – вопил срывающимся голосом подросток, и Вера не раздумывая бросилась к картинам с мальчиками. Человек с меховыми бровями снял штаны и всем телом прижался к портрету, будто к живому существу. По лицу нарушителя разливалось блаженство – как краска из опрокинутой банки.

Охранник вскочил, выронил из рук чашку, зачем-то начал её поднимать... Владелица галереи, кем бы она

ни была, любила экономить рублик — охранник был старым, толстым дедушкой. Не охранник, а сторож.

Стенина размахнулась, как юный Давид, и ударила сумкой с продуктами по носу «убийцы» — хотя какой уж он там убийца, обычный извращенец... Пакет с молоком, разумеется, лопнул — и на любителя мальчиков пролился белый дождь. Извращенец поскользнулся, упал и даже не пытался встать — поджал под себя ноги в грязных ботах, закрыл рукой голову. Покорно ждал, пока начнут пинать в живот... Удивительно много молока помещается в стандартном пакете — хватило на любителя мальчиков, залило пол и, к сожалению, картину. Мальчик молчал: портрет был испорчен.

Зато сторож пришёл в себя — трясущимися пальцами набирал какой-то телефонный номер, кричал, как перепуганный попугай. Вера смотрела на человека, лежащего у её ног, чувствуя к нему жалость и отвращение: в равных пропорциях это было почти непереносимо.

Она хотела уйти, но её остановил сторож — он на глазах обрстал уверенностью в себе, так что стало понятно, каким образом ему досталась эта работа. Уже не старый толстый старик, а склонный к полноте мужчина в самом благонадёжном возрасте схватил Стенину за руку:

— Сейчас приедет хозяйка, надо решить, что делать с картиной.

— Но мне домой нужно... Ребёнок один, голодный.

Сторож вдруг выпустил её запястье, ринулся к выходу — судя по всему, он, как собака, заранее чуял приближение хозяев. И точно — через минуту в галерею появилась довольно упитанная женщина в белом пальто. Точнее, в белоснежном! Вера только в модных журналах такие видела. Пальто выделялось даже на фоне белых стен галереи — они вдруг стали желтоватыми, как кипячёное молоко.

— Горячева, — представилась женщина, по-мужски пожав руку Вере, и тут же проследовала вперёд, к лежащему на полу телу, которое можно было принять за инсталляцию.

— Вы его убили, что ли? — нервно спросила Горячева.

— Да вроде бы дышит, а вот картину — убила точно.

— Боже мой! — воскликнула хозяйка, увидев поруганного мальчика. — Женщина, вы что натворили? Это же искусство! Вы представляете себе, сколько стоит такая картина?

— Её так и так бы испортили.

Лежащий человек вдруг дёрнулся и задрожал всем телом. На губах у него выступила пена — густая, и тоже почему-то молочная.

— Петрович, вызывай милицию и «Скорую»! — командовала Горячева и всего через секунду добавила: — Журналистов тоже зови! Будем делать из лимонов лимонад. Вы, женщина, не вздумайте уходить! — повернулась она к Стениной. — Я сейчас позвоню художнику, он как раз в Петербурге, подъедет.

Вера сдалась — что ей оставалось делать? Вытащила телефон, набрала Лидию Робертовну. Чтобы не пугать, наврала про давнюю подругу — *случайно встретились у музея, представляете?*

— Отдыхай, — милостиво разрешила Лидия Робертовна. На заднем плане мирно басила Лара. — Мы сходили в магазин, купили сосиски и пряников. Сейчас поужинаем.

Вера встала напротив шахматного автопортрета — но Боря-с-картины и Вера-с-картины делали вид, что в упор её не видят. «Убийца с молоком! Кто знает, что ещё взбредёт ей в голову», — проворчал Боря-с-котом.

Приехала «Скорая», врач — крашеная блондинка — прошла в галерею, печатая шаг, и тут же велела нести больного в карету, но Горячева заспорила — пусть внача-

ле дождутся милиции. Сторговались на десяти минутах, блондинка поставила нарушителю какой-то укол, и тот затих. Милиция появилась одновременно с Борей — художник ворвался в галерею с таким разгневанным лицом, что Вера, не выдержав, рассмеялась. Борин гнев тут же исчез — как будто стёрли с лица тряпочкой.

— А ты зачем здесь? — испугался Боря.

Через час они сидели в итальянском ресторане, и Боря хвалился перед Стениной своими успехами — и вправду впечатляющими. Выставка в Лондоне, заказ от американского коллекционера, премия — бедная мышь даже растерялась, не понимая, *чему вперёд* завидовать.

— «Мальчика» я перекрашу, — обещал Боря, — можешь не волноваться. А может, и таким оставлю — сильный, кстати, ход. *Жертва попытки изнасилования в культурной столице России*. Если честно, я польщён, что моя работа вызвала у этого бедняги такой приступ желания. Это ответ на вечный вопрос искусства — как добиться того, чтобы картина стала живой по-настоящему...

— Ответы репетируешь? — съязвила Вера, потому что Боря и вправду вёл себя, как на интервью: впадал в транс от звуков своего голоса. — А я ведь ещё ни о чём тебя не спросила.

— Да все вокруг спрашивают одно и то же, — пожаловался Боря. — Правда ли мне нравятся мальчики, и нельзя ли получить в подарок картинку.

— И так понятно, что нравятся.

Официантка принесла какие-то богатые салаты — Вера, взглянув на них, подумала: а мой ребёнок сейчас ест сосиски... Впрочем, дети всегда рады сосискам! Сама Вера не могла проглотить ни кусочка, зато с удовольствием выпила вечернюю чашку кофе.

Боря, приобидевшись, молча разглядывал Стенину. Он выглядел несколько лучше, чем на поздних автопортретах — тюфячных усов уже не было, а возраст добавил ему

основательности. Невозможно поверить, что однажды они лежали рядом совершенно голыми.

— А ты что, часто даришь картинки? — спросила Вера.

— Чаще, чем надо, — ответил Боря.

— Подаришь ту, где мы вместе?

— Не, старуха, — рассмеялся художник, — эта работа мне давно не принадлежит. Для выставки взяли, из частной коллекции.

— А кто владелец? — удивилась Вера. Надо же — какой-то человек ежедневно ходит мимо её лица — и привык считать его своей собственностью.

— Да почём я знаю? — сердито сказал Боря. Ему хотелось говорить не о давно минувшем творческом этапе, а о мальчиках, которые целиком занимали его в последнее время и как художника, и как человека. — Агент продажей занимался.

— У тебя есть агент?

— Конечно. Слушай, Вер, я тороплюсь. Рад был повидаться, насчёт молока — не переживай. Это мне только на пользу.

Он выскочил из ресторана, буквально на лету оплатив счёт. Вера попросила официантку упаковать несъеденный салат и ещё какие-то щедро заказанные Борей разносолы. Пока девушка выполняла просьбу, Стенина догадалась: Боря сидел бы с ней ещё и сидел — хоть до утра, если бы она смогла чуточку покривить душой и похвалить его работы. Человек без кожи, как все художники, Боря хотел слушать одни восторги — а если критику, так только пустячную, не всерьёз.

Но у Веры было плохо с криводушием — её душа могла передвигаться лишь по прямой, как пешка. Боря был талантлив, только дар его оказался ущербным, ядовитым — ни за что не хотела бы Стенина видеть каждый день перед собой его мальчиков... Другое дело — «Автопортрет с Верой и шахматами»... Надо же, *частная коллекция!* Веру

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

всегда волновали эти слова — слыша их, она представляла себе не сарматовские «точки», а замок, апартаменты или ещё что-нибудь роскошное, где на стенах запросто висят вандейки и ренуары, боттичелли и мемлинги. Над камином — Эль Греко, справа и слева по Рембрандту, а над комодом — «Белые розы» Ван Гога, написанные им за два месяца до смерти и, в отличие от подсолнухов, незасмотренные.

Сумасшедший выдался денёк — и бездонный, как пакет молока. Экспертизы, музеи, ценные конверты... О боже, конверты! Вера сунула руку в сумку (как Грека в реку) — и достала намокший пакет.

Глава тридцать четвёртая

На каких широтах мы наконец поймём, что оказались в плену неистовства символов; мы жертвы демона аналогии, мы распознаём это по нашим последним действиям, по необычным, специфическим склонностям.

Андре Бретон

Какая-то красноволосая дама, не глядя на Стенину, прошествовала в сторону кабинок. Уединилась — и так яростно зажурчала, как будто включила там до отказа кран с водой. Вера достала из сумки расчёску и помаду — причесалась, насколько позволила повязка, подкрасила бледные губы.

Дверь хлопнула, и дама появилась рядом в зеркале. Веснушчатая, перепелесая...

— Вместе в зеркало смотреться нельзя, а то влюбитесь в одного парня, — могла бы сказать Тонечка Зотова из детского сада.

— Вера?.. — спросила женщина в зеркале, и Вера, тоже глядя почему-то в зеркало — можно ведь и напрямую! — созналась, что это она. И тут же вспомнила детскую присказку — в ответ на оскорбление «Дура!» надо быстро выкрикнуть: «Это ты, а я кто?» Подобный обмен любезностями мог длиться бесконечно, но только в детстве. Взрослая Вера натужно улыбалась (родить можно от такой улыбки!) и, глядя на перепелесую женщину, лихорадочно думала: «Это я, а ты кто?» Перебирала в памяти имена и фамилии, случаи и ситуации — и не находила ничего подходящего. Когда ищешь нужный документ, под руку вечно лезут атте-

статы о среднем образовании или давным-давно устаревшие страховые полисы («*палюса*», говорила старшая Стенина). Вот и здесь так: вспомнилось чуть ли не семь колен своих знакомых, но никто нужный не всплыл.

— Лена, — подсказала красноволосая. Вот спасибо! Елен в поколении Стениной — не меньше, чем сейчас Анастасий. Верин Свердловск был самым настоящим *Ленинградом*, и, услышав от учителя: «Лена», поворачивалось не меньше пяти девичьих головок в каждом классе. Сейчас мучаются бедняжки Анастасии — как в том анекдоте: у вас кто родился, сын или Настя?

«Ну, назови фамилию, не мучай», — мысленно взмолилась Вера Стенина, и красноволосая откликнулась:

— Я раньше была замужем за Славой.

(«Замужем за славой» — звучит ещё лучше, чем «Женился на удаче».)

Ах, вот какая это, оказывается, Лена! Та самая жена Славяна, заморённая мать семейства — помнится, Вера так ни разу и не решилась взглянуть ей в глаза. Однажды Копипаста рассказывала о какой-то своей однокурснице — девушка поделилась с подругами своими постельными предпочтениями, и так грубо, телесно прозвучали от неё эти подробности, что все тут же, с маху, запомнили их на долгие годы. Когда та девушка стала известной на всю округу телеведущей, подруги каждый раз тыкали в экран пальцем и в сотый раз сообщали всем окружающим, что «Ирка любит раком». Надо бы принять их скопом в «Общество Добрых Красавиц».

Вот так и эта несчастная Лена была связана в памяти Веры с давнишней фразой Сарматова — ведь первое, что он сообщил о жене Славяна, была её прискорбная фригидность. *А ведь чья бы, как говорится, корова*, — думала теперь Стенина, по-прежнему отчаянно улыбаясь.

Лена сполоснула руки под краном и взбила влажными пальцами свою гриву. Это была, честное слово, совсем другая женщина — почти не напоминавшая прежде арен-

довавшую тело домохозяйку. На ногах её были ярко-красные сапоги, на которые отважилась бы не всякая юная девушка, а под шубкой дышало что-то шёлковое.

— Меня почему-то никто в последнее время не узнаёт, — самодовольно сказала Лена. Она явно ожидала комплимента — как сдачи с крупной купюры, но Стенина скорчила недоумённую гримасу, которая ей обычно удавалась.

— Мы же виделись с тобой пару раз, да? — уточнила Вера. — Странно, что ты вообще меня запомнила.

— Да трудно было не запомнить. Славка делал повтор с твоего портрета — в берете. Который Вадим писал. Но ты, конечно, очень изменилась с тех пор.

— Спасибо за честность, — сказала Вера. — Ты, кстати, не видела тут где-нибудь высокую девушку? Смуглую такую? В слезах?

Помотав головой в ответ на «высокую» и «смуглую», Лена отозвалась на уточнение «в слезах».

— Слушай, кажется, видела! Полчаса назад, на втором этаже. Я же тут рейс встречаю — муж из Франкфурта прилетает.

Лена торопилась рассказать Вере как можно больше — на пути к эскалатору закидывала её словами, как будто камешками:

— Мы со Славой давно развелись («и с удачей расстались», — в мыслях добавила Вера). Я теперь сама рисую, на тюрморты — недавно была выставка в ресторане. Алиска учится в медицинском, Ваня окончил юридический, Даша в Англии. А у тебя что нового?

— Да у меня, не поверишь, всё старое, — созналась Стенина.

Лена зачем-то чмокнула её в щёку, и Вера так растерялась, что машинально спросила:

— А как Слава, не знаешь?

— Сидит Слава! — басом сказала Лена. И запахнула шубку игриво, как ещё одна Елена — Фурмен.

— Внимание, — вмешался в разговор громкий женский голос, — совершил посадку рейс авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта.

Красные сапоги замелькали в толпе встречающих, а Стенина поднялась на второй этаж, размышляя о том, как просто сделать женщину счастливой: нужно лишь взять и поменять всю её жизнь. И ещё — о том, что верить в своего мужчину недостаточно. Даже к самой крепкой вере должен прилагаться талант.

Вера выглядывала Евгению, — но увидела вместо неё Серёжу с Ларой: они сидели в зале ожидания и пили чай из термоса, как туристы советских времён.

...— Ничего мы с тобой не успели, — грустно сказала Лидия Робертовна. — Ты хоть фотографии посмотри, Гера снимал тем летом.

Она вручила Вере какой-то конверт и ушла за ширму — такая вдруг старая, маленькая... Питается исключительно музыкой и верит, что сын — в порядке, просто живёт далеко.

— Но ведь жадная при этом, — ворчала мышь, — помнишь, подарила тебе при знакомстве утягивающие трусы и сломанную цепочку?

— Да уймись ты наконец, — прошипела Стенина, и Лидия Робертовна спросила:

— Неужели Лара проснулась?

Вера достала фотографии из конверта, с досадой вспомнив при этом загубленные сарматовские экземпляры — два из пяти можно было смело выбрасывать. Хорошо хоть впереди полтора дня в поезде — за это время надо придумать для Сарматова что-нибудь убедительное.

Первый взгляд на снимки — до обидного незнакомые! — и вот она уже напрочь забыла про Сарматова и перенеслась в чёрно-белое лето тысяча девятьсот девяносто уральского года. Раскладывая фотографии на одеяле как пасьянс, Вера шла рядом с Герой к своему дому. Это была дорога от автобусной остановки, заснятая в деталях и ме-

лочах: погнутый светофор, знакомая щербина на асфальте, гараж с буквами «Пакля». От снимка к снимку Вера узнавала дорогу фотографа — он приближался, намеренно фиксируя свою тень, которая торчала в кадре, оставаясь единственным Гериным портретом.

Это была прекрасная, но не понятная никому, кроме Стениной, выставка. Возможно, что прекрасной она была именно поэтому.

— Лидия Робертовна, вы спите? — шёпотом спросила Вера.

— Да я никогда по-настоящему не сплю, — ответила свекровь.

Они просидели в кухне почти до утра. Лидия Робертовна рассказала, как у неё оказались последние Герины снимки — он зачем-то оставил их в квартире на Бажова, а потом они случайно попали в коробку с документами и переехали в Питер вместе с паспортом, трудовой книжкой и пенсионным удостоверением. Говорила в основном свекровь — вспоминала свою бедную свердловскую юность. Они с подругой снимали угол в частном секторе на Красноармейской — рядом с ними жил профессиональный вор. Однажды подруга уронила их единственный ключ от комнаты в зловонную дыру сортира, и вор, проникнувшись бедой соседок, на глазах подобрал к замку отмычку. «Пальцы у него гибкие, как у Ван Клиберна», — мечтательно сказала Лидия Робертовна, на глазах молодая от воспоминаний... Стениной хотелось спать, этот бесконечный день выпил её, вытряс все силы — как молоко из пакета. Но при этом ей хотелось слушать Лидию Робертовну — и пока та не опомнилась, что ночь прошла, они сидели в неудобной кухне...

Поспали всего час, до восьми, потом проснулась Лара и затребовала манную кашу с вареньем. Лидия Робертовна безропотно отправилась за молоком, а Стенина открыла крышку пианино — и погладила гладкие желтоватые клавиши. Попыталась сыграть гамму — единственное, что

помнила из детства, но пальцы не слушались. Человек может начать рисовать в тридцать лет и написать первый роман в пятьдесят — но никогда не станет хорошим музыкантом, не пережив обучающей каторги в детстве.

— Жаль, что вы не сыграли мне Шумана, — сказала Вера на прощание, когда Лара уже сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью парадного. Провожать их на вокзал никто, естественно, не собирался.

— А я его больше не играю, — сказала Лидия Робертовна. — Не могу я с тех пор Шумана...

В поезде Лара прилипла к гейм-бою (бабушка подарила ей на прощание картриджи с играми, обговорёнными и утверждёнными заранее), а Вера вновь извлекла из небытия (точнее, из чемодана) свой диплом. Попыталась слиться в научно-исследовательском экстазе с Гюставом Курбе, но, увы, экстаз не задался, все мысли были о Лидии Робертовне.

«Интересно, какой я стану к этому возрасту?» — ёжилась Стенина, глядя в грязное окно поезда и ничего не видя, как сквозь чужие, «толстые» очки. Соседка по купе безуспешно пыталась завести с ней разговор и теперь обиженно перелистывала страницы «Космополитена». Парень на верхней полке спал, спускаясь вниз только для перекура — ноги в носках появлялись над Вериной полкой так внезапно, будто там вздёргивался висельник.

«А Юлька какой будет в старости? Наверняка самой симпатичной из всех бабулек. Я-то пойду морщинами и, безусловно, облысею. И характер прокиснет — бедной Ларе придётся сдать меня в старушатник».

Вере стало так жаль себя, что она уснула, даже не сводив дочку в туалет, — как выяснилось наутро, это сделала сердобольная соседка. И она же угостила девочку домашними пирожками с капустой — добрая попалась женщина! Бессовестная мать спала всю ночь крепчайшим сном — под утро ей привиделся Сарматов в образе Гюстава Курбе, и она проснулась с чувством, как будто её обокрали.

На соседней полке умытая и причёсанная Лара щебетала с соседкой — косы у дочки были аккуратными, как колосья на гербе Советского Союза. Парень-висельник сошёл с поезда ранним утром, а соседка покинула их часа через три. На свободные места попутчиков не нашлось.

Приехали утром, за окном было столько снега, что смотреть нестерпимо. Васнецов. Куинджи. Рерих. У Веры ломило под веками.

На перроне их встретил Сарматов.

— Конвертики не забыла? — первым делом спросил он.

— Привезла, но есть одна проблема.

Сарматов выронил чемодан.

— Что не так?

— Потом поговорим, я при Ларе не хочу.

Он мужественно держался, пока ехали в машине, но стоило Ларе забежать в родной подъезд, схватил Веру за руку:

— Рассказывай!

Никакой легенды Стенина не придумала, поэтому выложила всю правду, как примерный муж — зарплату в день полочки. Протянула пакет с конвертами — Сарматов вытащил их и застонал так, будто это были фото его изувеченных родственников. В родном окне Вера видела тоненький силуэт Евгении и думала: «Да отпусти ты меня уже со своими конвертами, вот пристал!»

— Не представляешь, какие это были ценные экземпляры, — убитым голосом сказал Сарматов. — Завтра в два на Воеводина.

И сел в машину, за это время успевшую обзавестись небольшим сугробом на крыше.

Глава тридцать пятая

Все люди видят предметы одинаково.

Эдгар Дега

Лара не узнала мать — сначала увидела в ней чужую тётку с криво покрашенными губами и только через секунду осознала, кто это стоит перед ними и сочтётся недовольством. Серёжа засуетился, отобрал у Лары колпачок термоса:

— Верочка, чаю? Здесь в кафе очень дорого, мы решили с Ларочкой перекусить по-быстрому, а вы на звонки не отвечали.

— Мама подумает, что мы решили без неё съесть все бутеры, — высказалась Лара. Ей и вправду не хотелось делиться с матерью ни едой, ни Серёжиным общением.

Этот врач ей почему-то сразу же понравился. С ним было уютно, тепло и, главное, не страшно. Лара была, конечно, не такой трусихой, как Евгения, — та с детства боялась темноты, чужих людей, крови, простых и летучих мышей, высоты (а сильнее всего почему-то — клоунов), — но с утра и до вечера ждала от жизни какой-нибудь пакости. Весь вопрос в том, какой окажется эта пакость — большой или маленькой, легко будет её пережить или придётся убить на это несколько дней-часов-месяцев?

Лара ненавидела любые жизненные перемены, точные науки, физкультуру и спорт, Ереваныча, холод, мультфильмы, полезную пищу, зазорные голоса на радио и своих ровесников. Список объектов ненависти регулярно обновлялся и пополнялся.

— Ты считала, сколько раз в день говоришь слово «ненавижу»? — упрекала мать. Лара отвечала невнятно-оскорбительно. Пыталась составить перечень того, что любит, — но даже сочинение начисто лишённого фантазии пятиклассника не выглядело бы таким сиротливым. Она любила Интернет, сетевые игры, вкусную и вредную еду, Евгению, американские сериалы и, временами, мать. Вот, пожалуй, и всё. Этот список не менялся.

Принимая вечером ванну, смотрела на своё розовое, пышное тело — и ненавидела его. Такие толстые руки! Можно одним плечом накормить целую семью людоедов. Остывшая мыльная вода напоминала мрамор, Лара восставала из неё с плеском, как бегемот из гнилой речки. И снова ненавидела — мерзкие пупыри, которыми покрывались руки и ноги. В ней было столько ненависти, сколько в Саудовской Аравии — нефти.

Мать всё детство таскала её по театрам и филармониям — и это было первостатейное мучение. Музыканты, все в чёрном, как омовцы, выходили каждый со своим инструментом специально для того, чтобы мучить маленькую слушательницу — перепиливать её звуками скрипок и добивать ударом в гонг.

Дирижёр трясётся как припадочный. В зале млеют «сухофрукты» — так Лара называла меломанящих старух, которые громко хлопают и срывающимися голосами кричат «Браво!». Одна из таких старух, морщинистая и на вид мягко-сладкая, как курага, басом кричала пианисту «бис», и он, к Лариному несчастью, откликнулся. Вышел на сцену, встряхнулся, как мокрый пёс, — и сыграл ещё одно ужасно длинное и скучное произведение. Курага плакала, слёзы катились по щекам и застревали в морщинах.

Именно в этих культпоходах Лара полюбила смотреть на часы — время шло, пусть и по чуть-чуть, но всё же ползло вперёд, и проклятый концерт однажды оканчивался.

В опере было чутьочку лучше — там можно было смотреть на артистов, хотя разобрать, что за слова они поют, даже мать не умела. Сухофрукты водились и здесь — вставали с мест, хлопали скруглёнными ладонями — чтобы громче! — зато на бис здесь никто не пел, разве что кланяться выходили по двести раз...

Наблюдательная Лара вскоре заметила, что голоса в природе распределяются в точном соответствии с внешними данными: тенорам выдают кряжистые, невысокие тела и короткие шеи, басы вкладывают внутрь высоких и худых мужчин с длинными руками и ногами, сопрано — сплошь дебелие рослые тётки. Коротая бесконечные оперные вечера, девочка думала о чём угодно, кроме сюжета и музыки — а потом к ней однажды явилась подмога. Пришла, откуда не ждали, то есть из оркестровой ямы. Мать достала билеты в первый ряд на «Мадам Баттерфляй», и Ларе со своего места отлично было видно женщину, которая била в тарелки и дула в свисток, изображая пение птичек. В тарелки нужно было ударять редко, и оставшееся время женщина просто сидела на своём месте или даже выходила из ямы через особую дверь. Лару тарелочница так зачаровала, что она почти не заметила, как прошло бесконечное первое действие. Обычно приходилось ждать смерти главной героини — это всегда совпадало с финалом, когда можно будет вскочить с места и бежать в гардероб. Но в случае с «Мадам Баттерфляй» всё вышло иначе. В антракте Лара даже в буфете вела себя не в пример сдержаннее обычного и удивила мать скромным заказом — всего одна «корзиночка» и сок.

— Тебе нравится опера! — ликовала мать. Лара не стала ей рассказывать о женщине с тарелками, но с того дня притаила в глуби душевной мечту. Однажды сама Лара будет с деловитым видом входить в оркестровую яму лишь

затем, чтобы с силой бахнуть одной золотой тарелкой по другой! А потом, в охотку, посвистеть. Вот и вся работа! И мать будет довольна, она всегда мечтала, чтобы Лара стала музыкантом, как бабушка Робертовна.

Единственным человеком, которому Лара решилась доверить свою мечту, была Евгения — та всегда её внимательно выслушивала, да и вообще относилась к ней серьёзно.

— Мне тоже нравятся тарелки, — призналась Евгения и, заметив, что Лара насупилась — кому понравится, если твою мечту тут же вырвут из рук и начнут примерять на себя, как платье? — чутко исправилась: — Я считаю, эта работа как раз для тебя, Лара. Ты будешь отличным тарелочником!

Тем вечером Евгения даже нарисовала афишку — «Выступает заслуженный мастер игры на тарелках артистка Лара Стенина!». Она хорошо рисовала, но на этой афишке тарелки почему-то были похожи на крышки для бака, в котором кипятят бельё.

У Евгении почти всё получалось отлично — за исключением домоводства. В гимназии не было такого предмета, как труд, — директриса считала, что современной барышне не обязательно уметь шить ночнушки. Ну а Вере не хватало терпения методично учить девочек варить суп или мыть окна — она вскипала от ярости, что всё делается не так, как следует, и тут же вырывала у них из рук поварёшку или тряпку.

Однажды матери взбрело в голову отдать их в балетную школу — в холодном зале кряхтели от боли маленькие девочки, которых целеустремлённо тянула за ноги тощая дама. С такой силой тянула, будто ноги были у девочек лишними — и следовало вырвать их с корнем, как выржалась бабушкина подруга Эльза про сорняки на огороде. На Лару тощая даже смотреть не стала — вместо этого удивлённо вперилась матери в лицо: вы что, дескать, с ума сошли? Вера прижала к себе дочь так сильно, что у бедной

Лары затряслись щёки — и через весь зал пробежало, как мышь, гадкое слово:

— Жирная!

Вера шла к дверям не оборачиваясь, а вот Лара оглянулась перед самым выходом. Увидела, что тощая дама берёт Евгению за ногу и легко поднимает в сторону, а потом, нахмурившись, заводит эту же ногу Евгении за голову. Евгения даже не пикнула, стояла с таким видом, как будто это была не её нога — а совершенно посторонняя. Случайная такая нога.

— Не больно? — с интересом спросила тощая.

— Нисколько, — сказала Евгения.

— Давай скорее, мы уходим, — крикнула мать от дверей. Но тут вдруг тощая дама в три шага допрыгнула до выхода и буквально втащила их с Ларой обратно.

— У этой вашей девочки уникальные данные. Они что, сёстры?

— Нет, — сказала мать.

— Тогда понятно, а то я прямо удивилась. И подъём высокий, и гнётся во все стороны... Уникальный ребёнок! Связки не растягивали?

— Да вроде не было такого.

— Я спрашиваю, потому что многие балерины своим дочкам ещё в колыбели ноги до ума доводят, — разоткровенничалась дама. — Но вы-то, конечно, не из наших! Отдайте девочку в балет, такие данные редко встречаются. Не пожалеете!

Мать честно рассказала всё тем же вечером тёте Юле, но та заявила — никакого балета! Ещё чего! Пусть лучше мозги до ума доводит, а не ноги. Саму Евгению спросить, как обычно, забыли — и вечером перед сном она плакала, потому что уже представляла себя балериной на сцене. А Лару — тарелочницей в яме.

Насчёт бабушки Робертовны Лара тогда фантазировала напрасно — карьера *тарелочницы* её не впечатлила бы. Сейчас-то Лара это понимает.

Бабушка Робертовна умерла через год после той поездки в Питер, оставшейся в памяти Лары яркими, но не всегда связанными друг с другом эпизодами.

Лара помнила пыльную и тёмную комнату, маленького ушастого ученика — и ещё двух учеников, близнецов, похожих сразу и друг на друга, и на мартышек. Близнецы играли в четыре руки, тот, который трудился в нижнем регистре, был очень сутулым — и бабушка поминутно кричала ему:

— Митя, не горбись!

Все ученики её отчего-то были мальчишки.

Ещё Лара помнила вечер в филармонии — то, как злилась мать, и скрипача с бархатной тряпочкой между щекой и скрипкой. У других скрипачей в оркестре были обыкновенные носовые платки, а у этого — бархатный лоскуток. Сам Петербург Ларе не очень понравился. Во-первых, мать восхищалась им почти до истерики, а Лара была ревнива и не любила делить её ни с людьми, ни с городами. Во-вторых, здесь было слишком уж много обязательной для усвоения красоты — все эти дворцы, фонтаны, мосты и памятники становились преградами на пути к обычной жизни. Их нужно было преодолевать как испытания в компьютерной игрушке — переходить с одного уровня на другой, теряя силы и заработанные преимущества.

— Ещё один дворец — и всё! — обещала мать, но уже через пять минут выяснялось, что совсем рядом, буквально в двух шагах, находится собор, в котором нужно побывать каждому... Полоса культурных препятствий — вот чем стал для Лары тот давний Петербург, ну и ещё — городом, где ей купили собственный гейм-бой. Событие, определившее, как считает мать, всю её неудачливую судьбу.

О том, что Лидия Робертовна умерла, матери сообщили по телефону из Питера — то ли тётка, то ли, наоборот, племянница бабушки. Мать уже потом однажды сказала, что никому не могла объяснить, как неподъёмна была для неё эта утрата. Что первым человеком, о котором она

вспомнила, чтобы вместе поплакать, была сама покойница. Это показалось Ларе очень понятным. Она подумала, что, когда мать умрёт, ей тоже наверняка захочется рассказать об этом горе... матери.

Мать ездила на похороны, но на сей раз Лару с собой не взяла. Квартиру бабушка Робертовна оставила той самой родственнице, атрибуцию которой так и не удалось установить. Но мать и не рассчитывала ни на какое наследство, хотя втайне — Лара знала — мечтала переехать в Петербург. А для Лары та первая поездка так и осталась единственной, и она часто вспоминала, как в Эрмитаже мать таскала её от картины к картине. Матери всегда хотелось найти в Ларе талант — а он всё никак не отыскивался. Прятался. Поэтому в конце концов она решила, что её дочка должна обладать ярким даром восприятия живописи, приняв за него чрезмерно развитое воображение.

Лара хорошо помнила тот день в Эрмитаже — вот он-то схватился в памяти крепко, как добротная картина фламандской кисти. Помнила малахитово-зелёные жилетки смотрительниц — одна из них так сладко спала на своём стуле, что посетители шли мимо на цыпочках (*вопиющий непрофессионализм*, сказала мать.) Стены — в трещинах, щели в окнах заклеены бумагой, а сами стёкла грязные, так что синяя Нева сквозь них видится серой. Инкрустированные полы как деревянный калейдоскоп. Царский сервиз «С лягушкой», где Лара никак не могла найти лягушку — пока мать не помогла, чуть ли не ткнув в витрину пальцем. В зале Да Винчи окна были почти что чистыми — и синяя мощь реки отразилась, как в зеркале, в «Мадонне Литта». Матери не нравилась «Мадонна Бенуа» — она считала её олигофренической, как и томных красавиц Кранаха. Уже с лестницы, из-за громадной зелёной вазы («наш, уральский, малахит», гордилась мать) показались блудный сын Рембрандта и его терпеливый родитель, а напротив — другая семья с проблемой отцов и детей: Авраам,

который вначале родил Исаака, а потом принял сложное решение его зарезать.

В галерее 1812 года на стенах плотно висели портреты вояк — как фотки на заводской Доске почёта, которые Лара видела на ВИЗе. Именно в этой галерее, от скуки, она решила подшутить над матерью — и зажала нос руками, как от невыносимой вони.

Вечером, лёжа на раскрытом диване бабушки Робертовны, провалившись в мебельную расщелину и представляя себя закладкой в книге, Лара никак не могла уснуть — её как будто щекотало изнутри пёрышком. Так бывает, если выпавший длинный волос вдруг застрянет под майкой — с ума можно сойти, пока не вытащишь! Она плакала, смеялась, требовала то есть, то пить — но не помогали ни еда, ни вода, проклятое чувство не исчезало, и девочка утомилась только потому, что вымоталась в попытках с ним бороться. Ну и ещё потому, что мать шлёпнула ей по заднице со всей силы.

Тогда Лара не смогла найти этому пёрышку название — а сейчас, умудрённая девятнадцатью годами жизни, сумела. Конечно, совесть! Вот что щекотало Ларины нервы — и щекотка эта была тяжелее материнской руки, довольно-таки увесистой. Не зря говорят, что человека легко защекотать до смерти!

Радость матери от дурацкой Лариной выдумки была такой сильной, что сама выдумка начисто скрылась в её тени. Лара решила, что ей теперь остаётся только одно — поверить, будто бы она и в самом деле умеет различать запахи, которые будто бы источают картины. И она поверила бы, жаль, что щекочущая совесть ей этого так и не позволила. Какое неприятное чувство! Впрочем, почти все человеческие чувства так или иначе неприятны.

Мать часто повторяла, что Лара слишком быстро созрела, не успев при этом повзрослеть. Как тот ухажёр Евгении, который подбивал к ней клинья незадолго до Франции — он был усатый и здоровенный, как Геркулес

у Рубенса, но под этой мужественной внешностью таился совершенный пупс. Так и Лара уже в тринадцать лет выглядела даже не девушкой, а женщиной, что не делало её ни взрослее, ни умнее. Медсестра в детской поликлинике однажды сказала ей:

– Ребёнка заводите в кабинет.

– Так это я – ребёнок, – ответила бедная Лара, проклиная весь мир.

Может, оттого она так страстно и ненавидела всё то, что считается детским, – ведь, по мнению окружающих, девочка с дополнительным подбородком и тяжёлыми, как у кустодиевской купчихи, грудями не имеет права выступать с танцами на школьных вечерах или уезжать вместе с классом на турбазу. Сперва Лара разлюбила кукол, потом – людей, а после этого научилась добывать радость из компьютера.

Компьютер не интересовался тем, как выглядит Лара, кем она собирается стать в будущем и *на что собирается жить*. Он, как домашнее животное, принимал и любил хозяина в любом облике и состоянии. Слушался, развлекал, заполнял лакуны и зализывал раны. Началось всё в Питере с гейм-боя, а когда тётя Юля подарила им с матерью стационарный компьютер, Лара ушла из этого мира в лучший. Виртуальный.

Мать ничего не заметила – тревогу забил Ереваныч.

Он не понравился Ларе с первой же минуты знакомства, задолго до компьютера. Однажды тётя Юля появилась у них без предупреждения и велела срочно собираться – их ждут! Лара с Евгенией выглянули в окно – у подъезда стоял такой большой автомобиль, каких они ещё ни разу не видели. Мать, усаживаясь в машину, даже юбку порвала – так высоко пришлось поднять ногу. Настроение у неё тут же испортилось – оно у неё вообще всегда очень легко портится, как молоко без консервантов. А в тот день искрило с самого утра – во-первых, матери не давал работать Сарматов, звонил сто раз подряд «со всякими

глупостями», во-вторых, рыбка Марина, как выяснилось из справочника, оказалась астронотусом — и могла дать сто очков вперёд любой пиранье. Мать в страхе смотрела, как Марина мечется по аквариуму и скалит зубы.

— Давайте её выберем, — предложила бабушка Андреевна, но Евгения, конечно же, заплакала. Она любила скользкую гадину, как другие девочки любят бархатных котиков и плюшевых собак.

Решили выпустить Марину в Исеть — и через два дня действительно увезли и выплеснули вместе с водой, как младенца из поговорки. Безутешной Евгении подарили черепаху, назвали Дашей. Черепаха тут же уползла куда-то в дебри квартиры и появилась только через месяц — вытягивала шею в поисках еды. Потом бабушка Евгении куда-то сбагрила черепаху, придумав для внучки историю про Дашино бегство. Бедняжка Евгения написала объявления и развесила их по всему району — «Убежала черепаха!». И долго не понимала, почему все так смеются над этими грустными словами.

Как сложилась судьба Марины, неизвестно. В теленовостях через пару месяцев прошёл взволнованный репортаж о загадочном появлении в водах Исети таинственного зубастого монстра — и Лара, и Евгения очень надеялись, что монстром была Марина. На этом глава про домашних питомцев окончилась, а вот глава про Ереваныча — та, к сожалению, ещё только начиналась.

Глава тридцать шестая

Стиль — это душа.

Ромен Роллан

Мать переводила взгляд с Лары на Серёжу, как будто пыталась найти в них сходство — или отличия, как в детских задачках. А ведь мы правда похожи, подумала вдруг Лара — не с матерью, конечно, с ней-то у нас ничего общего, кроме того что мы семья. Но вот с этим чужим Серёжей, явившимся как бог из машины, действительно похожи. У него такая же белая кожа и волосы раньше были рыжими — кое-где в седине дотлевали огненные пряди. Что, если мать всю жизнь её обманывала и настоящим отцом Лары был как раз этот врач, к которому притягивает незнакомая, властная сила? Может быть, это и есть чувство родства, правда крови? Тогда всё становится по местам, как в чисто убранной квартире. Мать встретила с *отцом* (какое приятное слово!), открыла ему *тайну Лариного рождения* — а всё остальное они придумали для того, чтобы познакомить Серёжу с дочерью. Евгения, которая почему-то не может сама добраться домой из аэропорта, тётя Юля, которая никогда не отвечает на телефонные звонки, — эти важные для Лары люди вдруг превратились в статистов, а на главную роль в спектакле внезапно утвердили её, Лару.

— Смотри, там Ереваныч! — вскрикнула мать. Лара повернула голову — и увидела крупного мужчину с квадратной стрижкой. Он быстро шёл к выходу, но его ещё можно было догнать. Лара вскочила с места, уронив недоеденный бутерброд, и побежала за Ереванычем, надеясь, что Серёжа (папа!) смотрит ей вслед и любителю тем, какая она у него быстрая и ловкая.

...Большая машина долго везла их по городу, а потом вылетела из Екатеринбурга, как ракета — и понеслась по тракту, мимо лесов и шашлычных. Водитель был молчалив, но в зеркале подмигивал. Его звали Марат — «как революционера», объяснила шёпотом Евгения.

Мать молчала, переживая за рваную юбку, а тётя Юля нервно болтала всю дорогу, пока машина не въехала под шлагбаум и не остановилась перед большим красивым домом за оградой, напомнившей Ларе заточенные копы. Двери открылись сами собой, где-то залаяла собака. Тётя Юля с проворством постоянной гостьи поднялась на крыльцо — и махала оттуда девочкам: что вы там копаетесь! Верка, не страдай из-за юбки — зашьём!

Марат тоже шёл следом, и Лару это обрадовало — мысленно она уже вышла за него замуж, наивно приписав водителю и обладание хозяйской машиной, и даже какие-то права на этот удивительный дом.

А дом был правда удивительный. Лара в таких раньше не бывала — и полагала, что загородный дом должен быть похож на убогую хибарку тётки Эльзы в коллективном саду «Комсомолец». Дом Ереваныча состоял из десяти, а то и больше комнат, наполненных самой разнообразной мебелью, какую только можно было купить в те годы. Лару особенно потряс белый кожаный диван — она с удовольствием представила себе, как кто-нибудь садится на него в грязной одежде. Полы во всех комнатах были устланы мягкими коврами, а в гостиной, где стоял белый рояль, пол оказался прозрачным, как аквариум — и под ним плавали рыбы! Лара с Евгенией помянули добрым словом

несчастную Марину, давным-давно издохшую в исетской клоаке, и тут их позвали в следующую комнату.

Экскурсию по дому вела тётя Юля на правах даже не постоянной посетительницы — а хозяйки:

— Обратили внимание, что свет во всех комнатах включается автоматически? Это он реагирует на наше появление.

— А почему хозяин на него не реагирует? — спросила мать. Она первым делом оглядела себя сзади в зеркале — и успокоилась. Разрез на юбке стал чуть глубже, ну и ладно.

— У него срочный разговор с Лондоном, — объяснила тётя Юля. — Прошу к столу!

Стол был накрыт как для парадного банкета в ресторане, куда Сарматов однажды водил Лару с матерью. Всё сверкало, искрилось и сияло. Еду подавала строгая женщина в белом, как раньше был у школьниц, фартуке — она поморщилась, увидев девчонок, а Евгения потом уверяла, что у неё ещё и задёргался левый глаз.

Тётя Юля называла женщину в фартуке просто по имени — Люда и вела себя с ней так, будто очень хотела этой самой Люде понравиться. Вообще-то тётя Юля всегда всем нравилась — у неё постоянно спрашивали дорогу на улице, а случайные знакомые в поезде обязательно давали ей свой адрес и телефон, чтобы она приехала к ним когда-нибудь в Москву, Воронеж и Череповец. Но на строгую Люду в фартуке тётя-Юлины чары почему-то не действовали — она раздражённо плюхнула на стол очередную тарелку (с печёночным паштетом) и ушла восвояси.

— Мало радости — жить в таком доме и не быть в нём хозяйкой, — заметила мать, а тётя Юля возмутилась:

— Люда здесь не живёт! Это домработница, Марат её привозит и увозит.

— Я не про Люду, — сказала мать, но тётя Юля в отличие от Лары её не услышала — вся вскинулась навстречу мужчине, который входил в комнату:

— Юрочка! Знакомься, Вера, Лара. Евгению ты, надеюсь, помнишь.

— Как тут забудешь, — задумчиво сказал Ереваныч, глядя на несчастную Евгению таким взглядом, что все поняли: он рад бы о ней забыть, да не знает, как это сделать.

Лара надеялась, что Марат сядет с ними ужинать — но в этом доме прислугу держали строго. Через минуту водитель мелькнул в дальних комнатах, за ним семенила непреклонная Люда. Дверь, мотор, шелест шин по гравию...

Ереваныч общаться не спешил, всем своим видом показывая, что мысли его заняты значительно более интересными и важными вещами, чем гости. К Юльке он обращался благосклонно, подливал ей вина, шептал что-то на ухо, и шея его становилась при этом тёмно-розовой, как ветчина. Мать почти ничего не ела, хотя на столе было много всего вкусного, а поужинать дома они не успели.

Наконец Ереваныч снизошёл до неё:

— Юля сказала, вы по части искусства?

Мать начала рассказывать о своей работе, но Ереваныч не слушал — ему достаточно было задать вопрос, а ответ его не интересовал. Ответы он и сам знал, на любые вопросы. Так что мать замолчала, на глазах вскипая возмущением, а Ереваныч тем временем принялся кормить тётю Юлю с ложечки — как маленького ребёнка. Это было невероятно противное зрелище, но тётя Юля послушно облизывала ложечку и открывала рот, как птенец.

— Ну что, нам, пожалуй, пора! — решила мать и встала из-за стола, решительная, как Родина-Мать из Волгограда (недавно Лара видела этот памятник в слайдовой презентации на уроке истории).

— Да уж посидите ещё, пожалуйста! — сказал Ереваныч таким голосом, что все опять же сразу поняли: он нисколько не хочет, чтобы они тут сидели, но при этом ему приятно хвастаться перед ними своим красивым до-

мом и послушной тётёй Юлей, которая опять раскрыла рот в ожидании ложечки.

Вечером по телефону мать сказала тётё Юле, что на её месте она бы ткнула Ереванычу ложкой в глаз (Лара подумала, что лучше бы — вилкой). А тётя Юля обиделась на маму, и они целую неделю не разговаривали. Но до вечера и телефона ещё нужно было дожить — Ереваныч долго не разрешал им уходить и после чая с красивым, но приторным тортом повёл их вниз по лестнице, в бассейн и сауну.

— Раздевайтесь! — скомандовал он. Тётя Юля послушно ушла за ширму и появилась оттуда в купальнике. Ереваныч тоже разделся, и оказалось, что он весь покрыт седыми и чёрными волосами, густыми и блестящими, как бабушкина шуба из нутрии.

— Меня сейчас стошнит, — сказала Евгения. Мать отрез отказалась раздеваться, и они втроём сидели, потея, в пезлонгах, пока Юлька и Ереваныч плавали в бассейне и ходили в сауну. Волосы Ереваныча плыли за ним по воде как водоросли.

На прощание, когда уже был вызван Марат с машиной, чтобы отвезти гостей в город, Ереваныч сказал матери:

— А я бы приобрёл какие-нибудь картины.

Мать не успела даже рта раскрыть, как тётя Юля выпалила:

— Юрочка! Я тебе сама нарисую, что захочешь!

На обратном пути мать молчала, Евгения уснула, а Лара напряжённо всматривалась в зеркало, чтобы поймать взгляд Марата, — но он почему-то смотрел только на дорогу.

— И давно ты рисуешь? — спросила мать вечером по телефону, когда Лара уже будто бы спала, а на самом деле, как обычно, подслушивала взрослые разговоры. — Не покажешь, что у тебя за работы?

Дальше мать молчала, повторяя через паузу «угу, угу». Тётя Юля, видимо, рассказывала о том, как она стала ху-

дожницей — а потом они начали говорить о Ереваныче. Мать заявила: я даже не догадывалась о том, что можно быть настолько неприятным и скверно воспитанным человеком. А тётя Юля ей, наверное, сказала, что Ереваныч не всегда такой — просто он очень волновался и совсем не умеет общаться с детьми. Потом мать сказала про глаз и ложку, тётя Юля ей ответила, и мать так громко повесила трубку, что у Лары подпрыгнуло сердце.

Самой Ларе Ереваныч в тот раз так не понравился, что она отказывалась приезжать в дом с рыбками и белым ро- ялем, даже когда туда переехала Евгения.

Впрочем, Евгения там тоже надолго не задержалась — Ереваныч затеял строительство нового дома в Карасье- озёрском, и всем было удобнее, когда та жила у бабушки и *паслась* (по выражению бабушки Андреевны) у Стени- ных. К Ереванычу все они в конце концов привыкли — как привыкают к неудачной картине, которую нельзя снять со стены, потому что это подарок художника. Во имя прав- ды Лара должна признать, что таким же отвратительным, как в первый раз, Ереваныч больше не был — каким-то таинственным образом ему удавалось всякий раз быть от- вратительным по-новому.

— Мамстер, но ведь дядя Паша Сарматов тоже бога- тый, — неловко утешала она Веру. Мать дёрнулась после этих слов, как бык из телепередачи про родео: передача была экологически чистая, и ведущий скорбным голосом осуждал жестокость ковбоев, сующих в зад невинным жи- вотным колючку.

— При чём тут богатство? — спросила мать, глядя на Лару чужими, страшными глазами. Такое с ней часто случалось — девочке в эти минуты казалось, что мамино тело занял кто-то другой и теперь выглядывает из неё, как новый жилец из окна. Лара смотрела много фильмов, и больше всего ей нравились фильмы про обмен тела- ми — когда люди случайно или сознательно меняются друг с другом телесными оболочками. Дочка — с матерью, муж-

чина — с женщиной, давно умерший преступник — с инспектором полиции, дьявол — с чудесным большеглазым мальчиком.

Лара хотела бы поменяться с Евгенией — но не временно, как в фильме, а навсегда. Скинуть жировой панцирь, как надоевшую за долгую зиму шубу, — и стать лёгкой, невесомой, носить платица размера XXS и безрукавые блузочки («блузочки», как она называла их в детстве). Евгения на обмен согласилась бы — она любила Лару сильнее, чем могла бы любить сестра (тем более сёстры друг друга любят редко — этот факт Лара также почерпнула из кино, неиссякаемого кладезя голливудской психологической мудрости). Евгения согласилась бы поменяться ещё и потому, что осуществить это было невозможно...

Мать много раз объясняла Ларе, что существуют разные типы красоты — например, во времена Йорданса и Рубенса никто не оценил бы Евгению, никто её даже не заметил бы. А в женственную, плавную Лару тут же влюбились бы все придворные, князья и герцоги. Что поделать, не в те родилась времена!

Лара ненавидела картины Рубенса — потому, что смотрела на них, как на себя в зеркало. Мать считала, что она похожа на Андромеду. Конечно, похожа! Такая же пышная, белая, и даже ступни у этой Андромеды один в один Ларины — широкие, крестьянские, ни намёка на подъём. У Рубенса и природа была под стать человеку: деревья, лошади, небеса буквально лопались от собственной мощи, и облака бутрились, как мускулы несчастного Самсона, лежащего на груди Далилы беспомощным младенцем...

В школе о Рубенсе никто не слыхивал — а Лару, естественно, дразнили жирной коровой и тушёнкой. Толстая бочка родила сыночка, не успела пятого — родила десятого. Дети удивительно добры к своим сверстникам — да и родители им, в общем, не уступают. Мама Лариной одноклассницы однажды зажала Веру в углу гардероба — объясняла, что ей нужно научить дочку пользоваться дезодо-

рантом, потому что Лизе, Даше и ещё одной Лизе трудно находиться с ней в одном помещении. А Ларе было тогда всего десять лет, к тому же старшая Стенина решительно возражала против дезодорантов — считала, что они могут вызвать рак так же легко, как горожанин — такси по телефону.

Мать тайком от бабушки купила скромное шариковое средство от пота — они прятали его в шкафчике под ванной. Теперь от Лары веяло свежим утром, однако Лиза, Даша и ещё одна Лиза не спешили с ней дружить. С ней вообще никто не дружил — но, к счастью, у неё была Евгения. И компьютер!

Появился он у Стениных примерно через год после того, как тётя Юля переехала к Ереванычу. Они жили вместе, но ещё не поженились — и хотя тётя Юля всячески изображала, что не спешит замуж, на самом деле она только об этом и думала. У тёти Юли имелась собственная система примет и обычаев, которые нужно было строго соблюдать, — например, нельзя рассказывать о том, чего желаешь, даже самым близким людям. Поэтому она так долго прятала от всех Ереваныча — ей повсюду мерещилась чья-то злая воля, способная одним махом уничтожить бесценную мечту. Лишь когда Ереваныч стал полностью готов к употреблению в совместной жизни, лишь тогда тётя Юля познакомила его с друзьями — ни минутой раньше. Были у неё и другие приметы, все как на подбор причудливые. Например, она верила, что нельзя надевать новые вещи в дорогу — даже скромные капроновые носочки могли вызвать многочасовую задержку рейса, аварию и ураган. Не разрешала Евгении показывать на себе чужие травмы. Вернувшись с полпути домой за диктофоном, обязательно высовывала язык перед зеркалом и делала маникюр строго по вторникам или пятницам — чтобы в доме водились деньги. Деньги у неё действительно водились — не исключено, что благодаря маникюру, хотя, скорее, всё же — Ереванычу.

Тётя Юля с удовольствием осваивала все этапы богатой уральской жизни. Салоны красоты и фитнес-залы, косметолог, которая приезжала к ним два раза в неделю, — и для этого в доме был оборудован специальный кабинет. Два автомобиля — громадный джип, чёрный, как смертный грех, и забавный жёлтый «мини-купер». Одевалась тётя Юля в Милане — летала туда как на работу и относилась к этому именно как к работе. Мать однажды обмолвилась, что Юлька никогда не отличалась хорошим вкусом — у неё случались настолько яркие провалы, что при счастливом стечении модных обстоятельств смогли бы сойти за успех. Однажды тётя Юля простодушно рассказывала при Ларе, что старается покупать вещи вслед за какой-нибудь модницей в магазине — наряды, которые та трогала, особенно те, что прикладывала к себе перед зеркалом, тётя Юля уносила в примерочную, а то и сразу покупала.

Деньги Ереваныча падали сверху как золотой дождь или манна небесная — и однажды сумели превратить тётю Юлю в настоящую леди: она научилась носить бежевый и серый, выучила, что самое главное — это обувь и дорогое бельё. И теперь уже мать иногда спрашивала у неё совета, носят ли ещё такие пиджаки и не смешно ли будет примерить такой *в наши годы?*

Тётя Юля на глазах обростала затейливыми манерами богачки. Полюбила вдруг одаривать Стениных — корзины экзотических фруктов, туфли ручной работы, специально заказанные для Лары в Лондоне, кашемировый джемпер для Веры — и всё это не к празднику, а просто так, потому что Ереванычу ничего не стоит выбросить несколько тысяч долларов — и смотреть, как красиво они летят.

Иногда Лара чувствовала нечто вроде жалости к Ереванычу — но это была особая жалость, сильно разбавленная злорадством и застарелой, неотстирываемой, крепко въевшейся обидой, которую не сможет вывести даже время, лучшая прачка на свете. Поначалу Ереваныч не был жадным, но тёти-Юлина расточительность довольно бы-

стро сделала его внимательным к расходам. Более того, он полюбил мелочную экономию — и наслаждался, смакуя жалкие скидки в супермаркете, как дорогое вино. Заставлял Евгению привозить из Парижа сыр — та жаловалась, что от её чемодана пахнет хуже, чем в собачьей передержке (прошлым летом Евгения целый месяц проработала там на каникулах и знала, о чём говорит). Забирал в гостиницах мыло — и потом гордо раскладывал маленькие брикеты по всем ванным (их в доме было пять). Не разрешал сыну Стёпе заводить новую тетрадь по математике, пока тот не испишет старую до последней странички — а потом отдирали от тетради обложку и велели использовать её как черновик. Несчастный Стёпа испытывал адские сложности не только с алгеброй, но и с самоидентификацией — то ли его отец богат, то ли они страшно нуждаются и вот-вот пойдут по миру, как нищие с картины Журавлёва, которую им показывала однажды тётя Вера Стенина¹.

Стёпа приезжал к отцу на выходные, а жил постоянно с матерью — наивная женщина родила Ереванычу ребёнка, ожидая, что будет за это осыпана милостями и приглашена замуж. Получила она в итоге только Стёпу.

— Зато на свою фамилию записал, — похвалялась женщина, и нельзя было не почувствовать, какое это имеет для неё значение. Ереваныч, конечно, содержал не только Стёпу, но и его родительницу, — и всегда подчёркивал, как мало она для него значит. Он даже к прислуге Люде и водителю Марату относился теплее. Стёпина мать была простой и скучной, как больничная каша на воде. И сообщала плохо — почему-то решила, что Лара учится вместе со Стёпой в кулинарном колледже (он поступил туда сразу после девятого класса), и однажды спросила её громко при встрече:

— Ты ведь тоже *с училища?*

¹ «Дети-нищие» — картина Фирса Сергеевича Журавлёва, русского жанрового живописца.

— Вы даже не представляете какая! — ответила злая Лара, *сучилища* ещё та.

К Стёпе Ереваныч относился немногим лучше, чем к его матери, — но он вообще не любил детей, считая их неудачными версиями взрослых. В этом отношении армянская кровь, увы, помалкивала — известно, как нежно относятся армяне к своим отпрыскам, как мудро воспитывают чад. Стёпе ещё повезло по сравнению с Евгенией — ту Ереваныч просто на дух не переносил, но при этом воспитывал всех троих, включая чужую Лару, буквально не покладая рук.

Когда они приезжали с ночёвкой в дом — полностью отбояриться от этой почётной обязанности Ларе не удавалось, да и Евгению было жаль, — Ереваныч выстраивал всю троицу в одной из ваннных — и следил за тем, как они чистят зубы. Маленький тщедушный Стёпа был года на три младше Лары и боялся отца так сильно, что это ощущалось физически. Ереваныч повторял с садистскими интонациями:

— Чистим, чистим! Не отлыниваем! Чтобы не платить потом за ваши зубы!

Ровно через три минуты чистки зубов Ереваныч давал команду:

— Дёсны!

Это означало, что нужно прекратить чистить зубы, — теперь следовало провести щёткой по дёснам *массирующим* движением. А после команды «Полощем!» — шесть раз прополоскать рот, старательно сплёвывая воду.

Зубы у всех детей, за исключением Евгении, были плохими, но Ереваныч не сдавался — он был упрям и последователен во всём, что касалось воспитания и здорового образа жизни. И сам мог служить вдохновляющим примером — к вожделенному дамскому «не курит, а пьёт только по праздникам» прилагались полезное питание, ежедневная двухчасовая разминка на тренажёрах, тридцать минут плаванья, обливания ледяной водой и прочие страшные вещи.

— Вечно жить собирается, — съязвила однажды мать, и Лара, хихикнув, заметила вспышку страха в Стёпиных глазах: его испугало, что мучитель действительно будет жить целую вечность! Тётя Юля, когда дети начинали жаловаться на Ереваныча, каждый раз отмахивалась — ерунда! Он такой заботливый-щедрый-внимательный! Воспитывает вас, будто у него других дел нет! Уроки учит со Стёпой, сам ему математику объясняет! Да о таком отце любая мечтала бы!

Лара и Евгения утрюмо молчали и только поздним вечером, перед сном, шёпотом сверяли показания. Обе страшно жалели Стёпу, которому доставалось ещё и за то, что он был мальчиком. Чаще всего Ереваныч обращался к нему со словами: «Ты чё, как баба», и непрестанно ждал от хрупкого семилетнего мальчика решительных мужских поступков, а возможно, даже героических подвигов.

Стёпа тоненько плакал за стеной, и Евгения утешала его как могла — когда Ереваныч уходил тренироваться, она рисовала для мальчика истории в картинках. Он сидел рядом и счастливо дышал, раскрыв рот. Совсем недавно Лара нашла в шкафу один из этих комиксов, случайно попавший к Стениным, — сквозным героем был сам Стёпа, взрослый и сильный, немного, впрочем, похожий на шинного мишленовского человечка. Нарисованный Стёпа успешно боролся со злом, принимавшим самые неожиданные формы: иногда оно представало в облике старушки, иногда принцессы, но чаще всего это была опасная компания мужчин, вооружённых гигантскими зубными щётками. У каждого злодея бугрились рельефно прорисованные мышцы — Стёпа бдительно следил за тем, чтобы с этим Евгения не халтурила.

— Нарисуй *мускулистов*, — попросил он её однажды, и девочки поняли, что это слово для Стёпы — не прилагательное, а существительное, сущность, суть. Он так волновался, рассматривая нарисованные фигурки качков, что Лара и Евгения решили ни при каких обстоятельствах

не рассказывать об этом взрослым. Ереванычу бы это явно не понравилось.

Большой красивый дом, построенный с любовью и заботой о самых незначительных мелочах, постепенно превратился в казарму. Сильнейшим впечатлением в жизни Ереваныча была срочная служба в армии — и он, скорее всего неосознанно, перенёс в мирную жизнь кое-какие военные привычки. Любил добродушно поглумиться над младшими по званию, требовал безусловного подчинения и стопроцентной аккуратности. Его боялись все, и даже рыбки под стеклянным полом старались забиться в дальний угол, стоило Ереванычу войти в гостиную. Единственным исключением была тётя Юля — когда она возвращалась домой, дух армии истаивал, как привидение при свете дня, а Ереваныч превращался в доброго дядьку с вполне простительными причудами. Этот дядька вдруг начинал совать в карман Стёпе тысячные купюры, гладить по голове Евгению и дружелюбно щипать за попу Лару.

Как всякие дети, они умудрялись быть счастливыми, несмотря ни на что. Ереваныч владел не только домом, но и впечатляющим куском леса, и даже выходом к озеру. Летом, когда они с тётей Юлей уезжали в Ниццу, Евгения каждый день водила Стёпу и Лару на прогулку — и это было прекрасно без всяких оговорок. Лара, как сейчас, видела перед собой Евгению в синем сарафане: вот она с серьёзным видом объясняет Стёпе, почему не нужно хватать руками бабочку:

— Ведь у неё и так очень короткая жизнь!

Увы, возвращались хозяева, и всё начиналось по-новому, точнее — по-старому. «Десны!», «Ты чё, как баба!» и так далее. Бизнес Ереваныча давно обходился без его прямого участия — не было нужды ежедневно ездить на работу и проводить там дни напролёт, как в начале славных дел. Он вставал в двенадцать, зевая, звонил в офис — иногда приезжал на пару часов, но чаще всего руководил своим предприятием по телефону и очень этим гордился.

— Я всегда мечтал работать поменьше, — говорил он в добром настроении. И с наслаждением тратил время на путешествия, театры, друзей, тётю Юлю — но в первую очередь, конечно же, на *воспитание детей*. Ереваныч следил за всеми новостями из мира медицины и почти каждый месяц заводил в доме новые правила. Детям нужно было пить по два с половиной литра воды ежедневно — он требовал, чтобы это происходило в его присутствии. Для Стёпы заваривали какую-то специальную траву, пахнущую не слабее собачьей какашки, прилипшей к подошве. Евгению пичкали чесноком и свекольным соком, а Лару Ереваныч каждый день изводил гимнастикой, пока она не отказалась наотрез от регулярных поездок — и с тех пор бывала в Карасьеозёрском лишь несколько раз в году, на днях рождения и праздниках. Евгения была безутешна, теперь ей приходилось отдуваться за двоих, точнее — за троих, потому что Стёпу вскоре после Лариного дезертирства отправили учиться в Америку. Это была ещё одна причуда Ереваныча: он считал, что детей нужно как можно раньше отправлять из дома, и желательно как можно дальше. Для Стёпы нашли симпатичную школу-интернат, но мальчик пробыл там всего полгода — вернулся домой за гранью нервного срыва. Он был ещё мал, не умел завязывать шнурки и оставлять после себя чистоту в ванной — а именно эти вещи в определённом возрасте имеют решающее значение. Ещё и это имя нелепое — Стёпа. Одноклассники потешались: Стёпа, стьюпид, глупый по определению.

— Так ты бы представился Стивенном, — сказала ему потом Евгения, но Стёпа только рукой махнул. Хоть бы позабылась скорее эта Америка!

Английский язык мальчик знал неважно, кроме того, был мучительно застенчив, — и на русском-то не всегда решался сказать, что думает, не то что по-английски. В столовой ему ничего не нравилось, он скучал по маминой еде, и по самой маме, и по Ларе с Евгенией. Единственная радость — отсутствие отца — погасла в тоске по дому.

Взрослые американцы были ничем не лучше детей — заводили со Стёпой разговоры о Чечне, и он нёс на своих тощих плечиках ответственность за всю российскую политику. Спрашивали, почему он повсюду таскает с собой рюкзачок — «Putin may call?». Стёпа не отвечал, хотя ему было обидно и за себя, и за Путина, а в рюкзачке лежала мамина фотография и два письма от Евгении, которые он перечитал, наверное, раз четыреста. В один из конвертов был вложен листок с «мускулистами» — мальчики из класса выкрали его и начали дразнить *стьюпида* голубым. Когда ездили на экскурсию в Гранд Каньон, одна женщина в парке спросила Стёпу, откуда он, — и, услышав про Россию, отпрыгнула так, будто боялась, что он, как в фильме, достанет «калаш» и начнёт стрельбу в упор. В общем, Стёпе с лихвой хватило Америки — бесценное время телефонных разговоров с мамой он целиком тратил на уговоры забрать его отсюда — и в конце концов женщина поддалась. Ереваныч был страшно разочарован тем, что сын не использовал «жирный шанс хорошо устроиться в жизни». Объявил, что больше не собирается ему помогать. Стёпа не без труда окончил девять классов — и поступил в кулинарное училище, где ему сразу же понравилось. Сейчас он работает в ресторане — много раз приглашал Лару с мамой на ужин, но они всё никак не соберутся. Да и мать переживает, что Лара слишком много ест — какие уж там рестораны.

Ереваныч постоянно внушал тёте Юле, что Лара слишком полная и надо бы её хорошенько обследовать. Тётя Юля в ответ говорила, что Верка, дескать, и так отлично следит за ребёнком, а вот давай лучше подарим им компьютер к Новому году? Не обязательно дорогой, и можно даже не новый.

— У меня в офисе как раз освободилась старая машина, я скажу Марату, — обещал Ереваныч. Так что под ёлкой в том декабре вместо привычных свёртков Лара обнаружила бумажный конверт с запиской — внутри был нари-

сован план со стрелками и подсказками, следуя которому девочка нашла за кроватью в спальне картонную коробку.

Компьютер сразу же стал лучшим другом Лары и, как подобает лучшим друзьям, навсегда изменил её жизнь. Игры, в которые она играла, были ярче и понятнее реальности, в них царили логика и красота. Божий мир заметно уступал виртуальному – в играх она была не Ларка-тушёнка, но прекрасная воительница в блестящих доспехах. А потом тётя Юля купила им модем – и Лара, поначалу робко заглядывая в Интернет, как в тёмную комнату, однажды хлопнула за собой дверь. И если бы Ереваныч, по привычке отслеживающий жизнь Лары, пусть он и видел её теперь трижды в год, не забил тревогу, что *ребёнок* слишком много времени проводит перед компьютером, – она была бы счастлива и теперь.

Кстати, в том же самом году под той же самой ёлкой лежал ещё один необычный подарок.

Картина.

Глава тридцать седьмая

Художник бывает художником только в определённые часы благодаря усилию воли...

Эдгар Дега

Отношения с удачей складывались у Веры неудачно. Она никогда не выигрывала ни в одной игре — даже в детстве. Она не находила на улицах деньги — тогда как Копипаста постоянно подбирала с асфальта монетки, а однажды наступила на старинное кольцо с аметистом. Бакулина советовала его продать — все знают, что с *колец переходят грехи*, но Юлька не соблюдала чужих примет, только свои, и потому оставила кольцо на память. Оно до сих пор валяется в недрах позабытой шкатулки, как сокровище в трюме затонувшего корабля. Вере не везло в лотереях и на экзаменах — она как будто специально вытягивала тот единственный билет, который не успела выучить. Кроме того, Стенина ни разу в жизни не оказывалась в том счастливом пересечении координат, которое любимчики фортуны называют «в нужное время и в нужном месте». В случае Веры всё происходило ровно наоборот — она вечно оказывалась в ненужном месте, в ненужное время, да и сама при этом чувствовала себя не нужной ни людям, ни миру. Но всё-таки порой удача вспоминала о Вере — и поворачивалась к ней вполоборота. В самые трудные времена, в те дни, когда прекрасный окружающий мир и счастливые

люди скрыты за серой плёнкой, Вера не сомневалась, что судьба вскоре пошлёт ей утешительную весточку. Или же столкнёт с человеком, который будет стоять всех выигрышей мира, всех этих старинных перстней и бликующих на асфальте монет.

Сейчас Вера смотрела на дочь, распушившуюся перед доктором, будто голодная кошка, — и думала, что ещё утром они с Ларой знать не знали никакого Серёжи. Ещё утром каждая тетёшка свою обиду. Лара не могла простить мать за то, что та отключила её от Интернета, как от системы жизнеобеспечения — взяла и убила собственную дочь, хрупкую воительницу в новых, на днях выбранных доспехах. Друзья, с которыми она играла по сети, наверняка засыпают её сообщениями — но мать, словно умелый полководец, перекрыла все подступы: отключила роутер и заблокировала выход с телефона. Вера же злилась на Лару за то, что та бросила университет, в котором училась платно — ведь даже платно её удалось пристроить с огромным трудом.

— Тогда иди работать! — требовала мать. Лара была не против — вот только куда пойти? Везде будут требовать каких-то действий, нужно будет услужливо улыбаться и терпеть чужих людей вблизи, с утра до вечера. Да и платят везде копейки, а мать хорошо зарабатывает.

Вера сказала, что не подпустит дочь к компьютеру, пока та не устроит, наконец, свою жизнь, как подобает взрослому человеку, а Лара в ответ сказала, что взрослому совершеннолетнему человеку нельзя запрещать пользоваться личным компьютером, а Вера в ответ — что этот новенький личный компьютер купила мать, на заработанные тяжёлым трудом деньги, а Лара — что «тяжёлый труд» — это не в свою радость листать альбомчики и ходить по музеям... Так они ругались всю неделю, бросая друг в друга обидные слова, как комья грязи, — самые близкие люди, мать и дочь. Лара, будучи менее сильной, в конце концов сдалась — и замолчала. Спала с утра до вечера, как в поезде

или больнице, а просыпаясь, смотрела на часы. Ну а Вера надеялась на удачу — что она о ней вспомнит. Сегодня, когда позвонила Евгения, Вера думала именно об этом: когда-нибудь ей всё же должно повезти! Хотя бы один раз в жизни крупно везёт каждому — это правило судьба соблюдает неукоснительно, но только от человека зависит, сможет ли он верно распорядиться этим выигрышем, а главное — заметит ли, что выиграл...

Мужчина с квадратной причёской оказался двойником Ереваныча — но только со спины. Стоило ему обернуться, как сходство тут же исчезло.

Серёжа сказал, что готов бродить по аэропорту хоть до утра, но, наверное, лучше поехать домой. Он был прав. Скорее всего, Евгению забрала Юлька — но как странно, что ни старшая, ни маленькая Калинина так и не связались с Верой. Ереванычу Вера звонить не хотела — что бы ни случилось, только не ему.

Тамарочку засыпало снегом, Серёжа сметал сугроб венником с крыши — и Вера поняла, что не хочет оставлять этот день в прошлом.

— А что сказала тебе утром Евгения? — спросила дочь, когда они устроились на заднем сиденье. — Почему она просила приехать не тётю Юлю, а тебя?

...В университете Веру научили сравнивать одного мастера с другим, проводить параллели между работами, находить общее в манере. Рубенс копировал антики, Геррит Доу цитировал Ван Эйка, Карл Фабрициус¹ одолжил у Рембрандта романтический взгляд на мир, Буше поначалу интерпретировал Ватто, а Сальвадор Дали адски завидовал Вермееру. Искусствоведение прокладывало дорогу от одной картины к другой, связывая их невидимыми, но прочными нитями. Жаль, что это умение не пригоди-

¹ Геррит Доу — нидерландский художник круга «малых голландцев»; Карл (Карел) Фабрициус — ученик Рембрандта.

лось Стениной в обычной жизни, которая, увы, ничем не напоминала изящные искусства. Как ни пыталась Вера сравнивать Сарматова и Ереваныча, при обманчивом сходстве натур (оба были богаты и при этом практически нигде не работали, оба обладали выдающимся запасом всяческих странностей) у них не находилось ровным счётом ничего общего.

Сарматов редко выходил в свет, предпочитая чахнуть над своими бесценными экспонатами в одиночестве. Ереваныч обожал навещать друзей, проживающих — за исключением преподавателя из художественного училища, имени которого наша история не сохранила за ненадобностью, — в просторных и хорошо обставленных дворцах. Сарматов презирал театр, а Ереваныч таскал Юльку на все премьеры, причём, если он вдруг опаздывал, спектакль тоже задерживали и директор мялся в вестибюле, ожидая появления главного гостя. Вера никогда не забудет, как однажды Ереваныч махнул рукой — *можно, дескать, начинать*, но, когда директор рванул с места, выяснилось, что Юльке нужно в туалет, и поэтому спектакль задержали из-за них ещё на десять минут. В финале Юлька так яростно аплодировала, что камень выпал из её кольца, и директор театра лично искал его под креслами. Нашёл. Кольцо было обручальным. В день своей свадьбы вместо букета, как в американских фильмах, Юлька бросила взгляд — и он прилетел в Веру камнем. Спрессованная, окаменевшая жалость высочайшей пробы, сочувствие и даже стыд за то, что вновь присвоила себе чужую мечту.

Сравнительные изыскания тем временем продолжались. Сарматов походил на автопортрет Дюрера в шапочке, Ереваныч — на самописанного Жака-Луи Давида с проколотой клинком щекой. Сарматов предпочитал прятать свою «Верверочку» от человечества, тогда как Ереваныч устраивал для Юльки встречи с интересными людьми. Однажды Копипаста рассказывала про обед в японском ресторане в компании известной балерины — эта балерина

ела за троих! Вначале уничтожила собственную порцию роллов, а после этого начала бросать такие выразительные взгляды на Юлькину, что та предложила поделиться — и счастливый Ереваныч, хохоча, заказал ещё один *суперсет*.

Сарматов не воспринимал свои многочисленные квартиры как место для жизни — ему всякий раз жаль было ложиться на ценную кушетку или оскорблять дорогой фарфор салатом оливье. Ереваныч любил гнездование как процесс и без конца что-то переделывал сначала в одном своём доме, а потом и в другом, когда решил жениться на Юльке. Он был вечно недоволен строителями, пламенно ссорился с ними, придирался к мелочам — при таком не скалтуришь, уважительно сплёвывал сквозь зубы про-раб. Сарматов не умел общаться с людьми физического труда, не понимал, как с ними нужно разговаривать, — и они платили ему ровно той же монетой, выкованной из презрения. А Ереваныч сходил с водопроводчиками, слесарями, кафельщиками и другими работягами так же просто, как ругался с ними. Ну и, наконец, Сарматову не нужны были женщины — он легко обходился бы без Стениной, если бы не вечно бдительное око общественности. Появление Веры в жизни Сарматова стало решением двух сложных задач: он познакомил её с несколькими важными людьми, считавшими наличие жены чем-то вроде отметки «пригоден», а ещё представил её своей дряхлой, но бодрой маме. Мама регулярно посещала косметолога и носила накладные ногти на руках и ногах. К Вере она тут же прониклась довольно докучливой симпатией.

Ереваныч любил женщин — точнее, он любил Копипасту и в её лице — всех женщин планеты. Глядя, как он провожает Юльку взглядом, — ведь только что рядом сидели, а живут вместе уже год! — Вера всякий раз тоскливо вспоминала жалкие объятия Сарматова. То, что происходило между ними, было похоже на остывшие объедки невкус-

ной трапезы. Да и происходило оно, честно сказать, всё реже и реже.

Сразу после возвращения из Питера Вера засела за диплом — и к концу декабря сдвинула с места большую часть работы. Господин Курбе мог быть доволен Верой Стениной, хотя навряд ли: ведь она вдохновлялась словами Проспера Мериме: «Я утверждаю, что невозможно более жизненно написать плоть, но почему господин Курбе не пошлёт своих “Купальщиц” в Новую Зеландию, где судят о пленнике по тому количеству мяса, которое он может дать к обеду своих хозяев. По правде говоря, на эту картину грустно смотреть».

Мясистые купальщицы увели Верину мысль к далёкой античности, потом она очутилась в лесу прекрасных тел Микеланджело («*Их тело — роскошный панцирь, который покидает душу*»), после рассуждала о Рубенсе, Тициане и Ренуаре — трёх главных мастерах обнажённой натуры, сравниться с которыми так никто и не смог. Руководительница дипломной работы попросила Веру представить полный текст не позднее февраля — так что время у неё ещё было, как было и право расслабиться, спокойно встретив Новый год. Она возлагала на этот год серьёзные надежды, хотямышь считала, что рассчитывать им не на что, а ждать — нечего.

Праздновали дома у Стениных. Юлька захала за час до полуночи — и умчалась с Ереванычем чуть ли не на тройке с бубенцами. Старшая Стенина в муках переживала Юлькин счастливый роман — то так, то сяк примеряла Ереваныча к Веруне, жалея, что не дочь ухватила такого красавца, да ещё и богатого! Сарматов маме не нравился — слишком худой, подарки дарит редко, замуж не зовёт. Впрочем, сегодня в доме царил пусть и шаткий, но всё-таки мир: старшая Стенина *резала* салаты и проверяла, как там гусь в духовке, Лара и Евгения спешно дорисовывали картинки в подарок взрослым (точнее, Евгения делала это за Лару — у неё-то всё было готово заранее, а Лара, как

обычно, проленилась), а Вера водила вокруг ёлки одинокий хоровод, мрачно поглядывая на картину, лежавшую под нижними ветками. По заведённой в семье традиции, снимать обёртки с подарков следовало не раньше, чем пробьют куранты и Путин в телевизоре произнесёт последнее слово. Так что Вера терзалась, раздираемая на части жаждой скорее увидеть Юлькину мазню и убедиться в том, как она безнадёжна, — и желанием никогда не видеть эту картину, потому что она вполне может оказаться гениальной. Мышь заходила шипением, как утюг, на который плюнули сразу несколько гладильщиц. Настроение у Веры было отнюдь не новогодним, слава богу, что Сарматов соскочил в последний момент — и улетел, несмотря на праздник, в Москву, принимать какую-то коллекцию — «пока не перехватили». Сарматов почти что простил Вере страшное преступление с конвертами, но её это совсем не занимало, как не занимал её теперь и сам Павел Тимофеевич. Насколько прекрасным было начало знакомства с ним, настолько же вялой и утомительной оказалась их связь. Честно говоря, Вера много раз собиралась с духом, чтобы прекратить её — останавливали традиционные женские опасения: вдруг-останусь-одна, больше-никого-не-встречу, моложе-я-не-становлюсь, да-ещё-и-с-ребёнком-кому-я-нужна... Эти жалкие мысли были, конечно же, недостойны самостоятельного, крепко стоящего на ногах эксперта по культурным ценностям, но приходились в пору той Вере Стениной, которая пока что работала арт-консультантом Сарматова.

Нельзя врать себе, — думала тогда Вера, безуспешно пытаясь разглядеть Юлькину картину сквозь плотную обёрточную бумагу. Врать другим — дело простительное, порою даже благородное. Но обманывать себя — тягчайшее из преступлений, а Вера совершала его столько раз, что могла бы выступать экспертом ещё и в этой области.

Старшая Стенина поставила на стол блюдо с гусем — пора! Евгения зажигала гирлянду, Лара прятала под ёлку

свёрнутые вчетверо листы — подарки маме с бабушкой. На экране телевизора появился президент, похожий сразу и на господина Арнольфини с картины Ван Эйка, и на преподобного Уолкера с холста Рёберна¹. Он почувствованно поздравил Стениных и примкнувшую к ним Евгению с Новым годом, пожелав оставить в прошлом все неудачи и разочарования. Вера сделала бы это с удовольствием, но, увы, президент не оставил точных указаний, как именно следует поступить, чтобы неудачи и разочарования не просочились в грядущий год — такой пока ещё свежий, чистый, неведомый. Когда-то давно Вера читала французский роман о женщине, которая вдруг решила выбросить всю свою прежнюю жизнь в помойку — в буквальном смысле слова разложила все свои вещи по пакетам и вынесла вон. Потом она продала дом, бросила мужа и работу и на перекладных уехала прочь из родного города — после чего, разумеется, поняла, что, сколько ни бегай, от себя всё равно не убежишь. Но как же это было соблазнительно — бросить всех и уехать, начать с самого начала, с чистой строки, с первого января...

— С Новым годом! — сказал Путин.

— С Новым годом! — закричали девочки и наперегонки бросились к ёлке. Евгения нашла шоколадку от старшей Стениной и сертификат в книжный магазин от Веры (дома девочку ждали куда более впечатляющие дары от матери и Ереваныча). Бабушка получила рисунок с Дедом Морозом и тапочки, фасон которых в деталях обсуждался с Верой не одну неделю. Лара обнаружила листок с планом, который привел её к коробке с компьютером, а в перспективе — к полной деградации. Веру ждали конверт с деньгами от мамы, бисерная фенечка от Евгении и картинка будто бы от Лары — но на самом деле тоже

¹ Картина «Священник Роберт Уолкер, катающийся на коньках на озере Даддингстон» шотландского портретиста, живописца романтического направления Генри Ребёрна.

от Евгении, почему-то изобразившей акулу. Эта акула широко раскрыла пасть, и на зубах её красовались буквы — «С Новым годом!» Отличное получилось поздравление.

— Тётя Вера, а теперь посмотри мамину картину, — предложила Евгения.

Вера сняла обёртку и ударилась взглядом о Юлькино художество — как будто попыталась пройти сквозь чисто вымытую стеклянную дверь, что нередко случалось в доме Ереваныча.

Она ожидала чего угодно: обёрточная бумага могла скрывать псевдогреческий пейзаж вроде тех, которые рисуют взрослые на курсах «Живопись маслом для всех». Это мог быть букет цветов — сирень или маки, возможно, дерево в лесу или котёнок, играющий с клубком. Вера полагала, что Юлькины возможности в живописи будут ограничены этой незатейливой тематикой, как холст — рамой. Но мышшь завыла, как ветер в каминной трубе (Ереваныч ненавидел этот вой — и добился-таки, чтобы каменщики разобрали камин, сложив его заново). Мышь выла, причитая, что Копипаста — прирождённый художник, а будущий эксперт В. В. Стенина не находила слов, чтобы с этим поспорить.

— Тебе нравится? — с надеждой спросила Евгения, поправляя очки. Ей было очень важно, чтобы Вера осталась довольна подарком — ребёнку ведь не объяснишь, что радость от обладания этой картиной Вера не задумываясь променяла бы на счастье не видеть её. Ребёнок — пусть даже такой умный, как Евгения, — никогда не поймёт, как тяжело видеть перед собой свидетельства чужого успеха — особенно если самой не перепало и крошки.

Вслух Вера сказала:

— Конечно, очень нравится!

— Слава богу, а то мама говорила Ереванычу, что ты, наконец, будешь смеяться.

— Ничего смешного здесь нет, — пошутила Стенина. Делала она это с большим усилием — мышшь сидела в гор-

ле и царапалась гадкими лапками, пытаясь дотянуться до языка.

— Расскажи ей, что ты на самом деле видишь! — советовала зависть, но Евгения успела выбежать из комнаты, так как Лара вопила, что не может подключить клавиатуру. Старшая Стенина уже спала, лёжа на диване перед телевизором — её нахмуренное лицо резко контрастировало с ядрёным весельем экрана. Вера выключила свет и телевизор, велела девочкам не засиживаться допоздна — и ушла к себе в комнату, забрав картину.

От неё все ещё немного пахло свежей краской — как в доме Ереваныча, где вечно тлел какой-нибудь ремонт...

В те дни Стенина была так поглощена дипломом — не столько самой этой работой, сколько возможностями, которые она перед нею откроет, — что забросила своё излюбленное развлечение — мысленные выставки. В первый же час нового года — хорошенькое начало, однако! — она вдруг поймала себя на том, что подбирает один за другим автопортреты разных эпох и развешивает их в длинном помещении, похожем на поезд парижского метро.

Сначала на стене появился, конечно же, Дюрер в шапочке, с невинным взглядом. Потом — раздражённый Жак-Луи Давид, который будто сам на себя сердился, что его оторвали от дела, чтобы нарисовать... самого себя. Следом явилась целая череда Рембрандтов — от юного весёлого безобразника до печального, но всё равно при этом светлого старика. Никакой хронологии и чистоты жанра — автопортреты всплывали в памяти один за другим. Вот свежая, как раннее утро, Зинаида Сербрякова расчёсывает волосы перед зеркалом и не догадывается о том, какое невеселое ждёт её будущее. Вот маленькие автопортреты бедняжки Фриды Кало, такие яркие и страшные, что глазам и душе одинаково больно смотреть. Вот Эжен Делакруа — слишком рафинированный для своих буйных полотен. Вот обожаемый Верой

Николя Пуссен — уставший мастер, чем-то неуловимо напоминающий Валечку. Вот автопортрет Казимира Малевича, угадать в котором черты Малевича мог бы, вероятно, только сам автор — даже с «Чёрным квадратом» у них куда больше общего. Вот работы Бори Б. — с котом, шахматами и Верой Стениной. И вот, наконец, Юлькин подарок — потому что это тоже был автопортрет. Да какой!

Рядовой искусствовед чаще всего рассуждает о сюжете картины, но не о её композиции, ритме или динамике. Прыгает от штампа к штампу: «Важное место среди работ Хогарта¹ занимает «Девушка с кроватками». Глубокий анализ произведения искусства — Вера знала это по собственному опыту — не может ограничиваться сюжетом. А как же пространство, пластика, линии?.. Но сегодняшней арт-критике не хватает, как ни странно, ещё и пристрастности, непосредственности чувств.

Говорят, что Гейне плакал от восторга перед «Сикстинской мадонной» — одной из самых переслащённых картин Рафаэля, успех которой может быть объяснён в пяти словах: «Потому что она нравится всем». Точно так же всем нравится Мона Лиза — «Модна Лиза», как назвала её однажды Лара, сохранившая своё трогательное косноязычие чуть ли не до совершеннолетия. Русский вариант картины *для всех* — «Неизвестная» Крамского, портрет высокомерной красавицы, которой, по мнению Стениной, подходило имя Татьяна — не меньше, чем шляпка и коляска. Но как же это скучно — признаваться в любви и без того признанным, насмерть залюбленным публикой работам! И как сложно бывает сказать себе — не говоря уже об окружающих! — правду о том, что тебе не нравится проверенный веками шедевр.

¹ Уильям Хогарт — английский художник, основатель и крупный представитель национальной школы живописи.

Давным-давно, на абитуре, Вера познакомилась с двумя мальчиками, которые тоже поступили на факультет искусствоведения — но, как чаще всего случается с гуманитарными мальчиками, исчезли ко второму курсу. Один из них по фамилии Феклистов впоследствии ненадолго всплыл, успев сообщить Вере, что живёт в Нижнем Тагиле и в сезон работает Дедом Морозом по вызову. В далёкое время совместной учебы Феклистов, помнится, любил смущать преподавателей — и однокурсников, и среди них Веру, — тем, что отрицал всеми признанные авторитеты и злобно критиковал великие картины. Констебл казался ему слишком тёмным, Пуссен — скучным, Бронзино — непристойным, Жерико — надуманным...

— Что же вам нравится, Феклистов? — спросила его однажды преподавательница. Феклистов гордо ответил: *актуальное искусство!*

Тогда Вера была ещё слишком молода, мало что понимала в искусстве и совсем ничего — в людях. Она уважительно молчала, слушая, как дерзкий Феклистов разглагольствует об инсталляциях и творчестве за рамками ремесла. Спустя годы все мы готовы дать ответ, который не смогли найти раньше, — жаль, что никто не спешит заново задавать нам вопросы. Вот и Веру, сидящую в спальне с Юлькиной картиной в руках, уже не спрашивали о том, какое искусство можно считать подлинным, — но если вдруг спросили бы, она знала, что ответить.

Настоящее искусство не нуждается в дополнительных пояснениях — оно с лёгкостью обходится без слов вообще. Чем больше буклетов с толкованиями, критических статей и искусствоведческих догадок сопровождает выставку — тем хуже для художника и тем более для зрителя (впрочем, кто из современных художников, будучи в здравом уме, принимает в расчёт каких-то там зрителей, а также читателей и слушателей?). Так считала Стенина, но у неё были дополнительные преимущества, в существование которых никто не поверил бы: Вера знала, что

плохие картины молчат точно так же, как поддельные — то есть они, конечно, могут подавать признаки жизни, но сказать им нечего, как безъязыкому туристу среди аборигенов.

Юлькин автопортрет начал болтать сразу же, лишь только они остались с Верой наедине:

— Видишь, что мы с тобой похожи? Да не в жизни, бог с тобой, а на портрете. Понимаешь, Верка, я нарисовала нечто среднее между нами — если бы у нас был ребёнок, господи, какую чушь я горожу, он выглядел бы как эта девушка, правда?

Вера смогла бы догадаться и без подсказок — действительно, девушка на портрете была так же красива, как Копипаста, но взгляд у неё был мрачный, веро-стенинский. Она позировала, сидя за пустым мольбертом и просунув голову сквозь рамку, так что всё это напоминало комнатную казнь — пустой мольберт всегда похож на гильотину. Но это ничего не значило бы, не будь портрет написан столь совершенно, ясно, мастерски. В нем соединилось всё: любимая Юлькина геометрия, неожиданно смелая палитра, чётко выстроенная композиция... Не «*trait roug trait*» в первоначальном смысле слова — «черта в черту», а что-то совсем другое, свежее...

— Назови хотя бы одну известную художницу, — вдруг вспомнились Герины слова, и внутри поднялась, как рвота, мощнейшая волна зависти. Мышь бесновалась точно фурия, да это была уже никакая и не мышь — а настоящий демон, достигший, наконец, своих истинных размеров. Он запросто мог опрокинуть Веру и размазать её по полу, но вместо этого шептал горячо и влажно:

— Зачем ты живёшь, Стенина? Зачем всё это нужно, если Юлька получает то, о чём мечтала ты? Красота, любовь, умный ребёнок, счастье, деньги, брак, а теперь ещё и талант... Ты правда хочешь знать, что будет дальше?

Лицо Веры было мокрым от зловонных капель, падавших из пасти демона, — он дышал ей в лицо, крепко

схватив за плечи когтистыми лапами. Глаза зелёные, как светофорные сигналы. Вера не могла вырваться из этих объятий и кричать не могла — потому что горло сдавило как обручем. Единственное, на что еёхватило, — бросить подаренный холст за шкаф.

— Ай! — взвизгнула Юлька-с-портрета. — Зачем ты это сделала?

Происходящее напоминало какой-нибудь из Лариных комиксов, где персонажи общаются друг с другом при помощи криков и тумаков. Вера переводила дыхание, глядя в окно — в доме напротив люди праздновали Новый год. Демон уменьшился до размера летучей мыши, но горло по-прежнему крепко сжимал стальной обруч.

— Ты никогда не скажешь ей, что она отличный художник, — ворчливо заявила мышь, но Вера просипела в ответ неожиданное обещание:

— Скажу.

Глава тридцать восьмая

А я всегда предпочитаю оставаться трезвой. Я должна быть трезвой. Гораздо более увлекательно быть трезвой, быть точной, сосредоточенной и трезвой.

Гертруда Стайн

Евгения была убеждена в том, что единственный способ победить хаос — это признать за ним право на существование и только потом пытаться упорядочить терпеливыми и последовательными действиями. Хаос тоже имеет свои законы — Евгения знала это, потому что выросла в царстве хаоса, а мама была его королевой. И сама же была своими подданными, любимым народом — миллионом разных Юль. Только приспособишься к одной системе, как её вдруг тут же отменяли — на смену шли новые правила, законы и порядки. Мама и сама менялась следом — раньше Евгения удивлялась, почему её не узнают на улице старые знакомые, а потом поняла: это была каждый раз совсем другая женщина. «То в виде девочки, то в образе старушки». То она курит двадцать сигарет в день, то записывается в тренажёрный зал. То кофточка вяжет — лицевая, накид, лицевая, — то пьёт на скамейке пиво с бомжами. Одному бомжу мама даже подарила свой старый мобильник — нашла на дне сумки. (Там много чего можно было найти — и, разбирая сумку, мама становилась похожа на шимпанзе: находила расчёску — причёсывалась, натыкала на конфетку — съедала.) Восхищалась, какие у это-

го божья необыкновенно красивые глаза — фиалковые! Бывший архитектор, интереснейший человек, такая судьба — а через пять минут всё напрочь забыто и даже не рассказано до конца.

Мама — надменная красавица, не замечающая никого вокруг себя. Но если эта красавица вдруг увидит сумасшедшую старуху, которая, потерявшись, бредёт по улице — тут же остановится и будет подтягивать старухины панталоны, потому что они сползли до колен. А потом вызовет её «Скорую» или даже приведёт домой ужинать. Евгения любила мать, но всегда ужасно её стеснялась. Вот, например, в трамвае кто-то матюгнулся — слегка, вполноги. Мама тут же, громко, на весь салон: «Молодые люди! Нельзя ли потише — здесь дети!» Дети — это они с Ларой едут в зоопарк, где у входа уже стоит с двумя шариками из фольги в руках тётя Вера Стенина. Вечная, как Эйфелева башня.

Тогда же, в трамвае, посрамив матерщинника, мама углядела у какой-то девушки ниточку в разрезе юбки — и по доброте душевной дернула её, порвав бедняжке ряд. Евгения вывалилась из вагона с такими красными щеками, какие у других детей бывают только на морозе. И вместо жёлтого медведя в клетке (на ней было написано — явно по ошибке — «белый медведь») маленькая Евгения долго видела перед собой расстроенную девушку в рваной юбке и маму, которая извинялась и совала ей деньги. Мама забыла об этом, когда они не дошли ещё даже до бурых мишек — она была рекордсменом в спорте по забыванию на время.

Мишки тёмные и плохо пахнут, шерсть у них как будто вымазана чем-то сладким и липким. Хочется верить, что мёдом. Лара обожает медведей, но совсем недавно узнала, что медведи, оказывается, не ходят на задних лапах, как на иллюстрациях к русским сказкам, и не носят синих штанишек с жилетками. Было большое горе.

Тётя Вера слушает маму, поджав губы — а они у неё от природы не тонкие, красивые, хотя и не такие краси-

вые, как у мамы: «У вас чёткий лук Купидона», — лебезят косметологи. Вот и сейчас тётя Вера наверняка поджимает губы и, как считает взрослая Лара, деньги. У Лары множество претензий к родительнице.

Лара никогда не понимала, как ей повезло. В детстве Евгения поменялась бы с ней местами, не раздумывая.

...Вечером накануне вылета она ещё раз проверила вещи в чемодане — как шутил Джон, уже притуманившийся в воспоминаниях: «Всё забыли, ничего не взяли?» Борьба с хаосом шла по всем направлениям — упустишь мелочь, пожнёшь беспокойство.

Собрано всё идеально, решила Евгения. Профессионально! Мама с третьего класса отправляла её в детские лагеря, Ереванч после девятого отослал учиться во Францию. Тётя Вера хотела пристроить с ней вместе Лару, но Лара не пожелала жить с незнакомыми людьми в чужой стране. *Ну и что, подумаешь, Франция, это не моя мечта, а твоя. А моя мечта — что ты отстанешь от меня когда-нибудь со своей Францией. Сказала не поеду, и всё.* И, нервно, к холодильнику — за утешением.

Евгению утешало всегда только одно — порядок. В нём скрывалась надежда на лучшее, в нём — да ещё разве что в материнстве, но это пока умозрительно — был смысл жизни.

А чемодан был собран идеально, потому что Евгения вникала во все тонкости. Балетки, без которых в Екатеринбурге не обойтись. Внутри каждой — носки и тюбики с кремами. Свитеры сложены так, что не будет ни одной складочки. Сыр для Ереванчя. Подарок маме — шёлковая пижама — хранится внутри кремовой керамической вазы, купленной в Шотландии в октябре. Ваза очень красивая, Евгения надеялась, что тётя Вере понравится.

Евгения завела будильник на пять утра, потом вспомнила, что две станции метро завтра будут закрыты и ей придётся пересаживаться на «эруэр» с другой ветки. Парижские автобусы она так и не полюбила, спускалась вместе

с туристами в метро. Будильник на четыре тридцать — так будет вернее. И лучше переложить пижаму с вазой в портфель, который возьмёт с собой в самолёт — там же лежал планшетник (по-французски «таблетт» — как таблетка!) для Лары.

Утренний Париж — пусть и серый, февральский, с мельчайшим манным снегом — прекрасен. Евгения любила Париж даже в такой день — когда утром птичка капнет на плечо, а вечером вступишь уже ногой, для разнообразия, в собачье. Пусть в квартире холодно (так и тянет развесить по стенам гобелены, любимых тётки-Вериних дам с единорогами), и метро бастует, и очередь в Гран-Пале на выставку Эдварда Хоппера¹ такая, как на старых советских фотографиях — в польский магазин «Ванда» в Москве. Тётя Вера как-то убивалась там в очереди за лаком для ногтей — потом подарила флакон маме, а та — своему гинекологу. Цвет был вполне себе гинекологический — мясной, с блеском.

Евгения тянула чемодан за ручку, на плече висел портфель, раздувшийся, как рыба фугу. Забыла оставить записку для Люс! Придётся отправить ей text'o из Москвы — сейчас слишком рано, разбудит... Люс оканчивала Сорбонну, они снимали квартиру на двоих. Шустрая девушка из Тулузы — они сразу подружились, но дистанцию Люс всё равно вымеряла до сантиметра. Как все французы: уж к чему к чему, а к этому Евгения привыкла ещё в школе. Дружба дружбой, но не надо переходить границы.

Чемодан пришлось нести по ступенькам — здесь никто не поможет, не принято. Один только раз за всё время у Евгении вырвала из рук набитую сумку пожилая африканка — Евгения решила, ограбление, но нет, это африканка её пожалела: хрупкая студентка, бедное дитя.

¹ Эдвард Хоппер — американский художник, основной представитель прецизионизма (разновидности магического реализма).

Евгении везло на людей.

Поезд пришёл почти сразу, она даже не успела достать книгу из сумки. Это был старый роман Хандке «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым». Вдруг захотелось, как шоколада. Или селёдки — точнее, наверное, селёдки.

Хандке, Борхес, Кортасар, Амос Тутуола, Фриш — это были герои маминой книжной полки. Запустил их туда Джон, как рыбок в аквариум, и они прижились. Евгения тоже потом перечитала все эти книги до последней строчки. А мама в последние годы выбирала совсем никудышные сочинения — даже иные сериалы лучше, чем эти мелодрамчатые книги, все как на подбор с претензиями.

Евгения никогда не будет так писать.

На Северном вокзале она пересела в «эруэр», через полчаса — Шарль-де-Голль, потом — Москва, а вечером («Радость после одиннадцатичасовой дороги») уже увидит маму, Лару и тётю Веру Стенину. Увидит, к сожалению, ещё и Ереваныча, которого никак не выкинешь ни из песни, ни с возу.

Евгения положила ногу на ногу. Мамочкины ноги, высочайшее качество. Чернокожий паренёк в наушниках, сидевший напротив, одобрительно подвинулся.

За окнами поезда с ней прощался Париж — чем ближе к аэропорту, тем скучнее становились виды. Граффити, утрюмые фабричные фасады... Париж — или же любой другой город мира.

Евгения прикрыла глаза, но портфель-фугу всё равно придерживала рукой — даже если задремлет, осязание вырочит. В портфеле были не только подарки и документы. Там лежало главное — сюрприз для тёти Веры Стениной.

Деньги.

В один из недавних приездов мама при Евгении выговаривала Ереванычу, почему это он перестал преподносить ей личные подарки? Никаких любовно выбранных украшений, тщательно выисканных шуток и пышных бу-

кетов к Восьмому марта (мама хоть и называла этот праздник днём Клары и Розы, всё равно любила его). В какой-то момент отчим действительно начал дарить маме только деньги — и даже не всегда в конвертах, а в ответ на её возмущение сказал: «Есть ли, Юленька, что-то более личное и дорогое, чем деньги?» Порой в Ереваныче оживал тот сорт юмора, который любила Евгения, — за это она прощала ему пусть и не всё, но многое.

Деньги для тётки Веры Стениной — это будет очень личный и дорогой подарок. Кроме того, к этому подарку прилагалась история — по мнению Евгении, невероятная.

Сразу после рождественских каникул к ней на факультет заявила тётя Оля Бакулина — она близоруко разглядывала студентов и так радостно вцепилась в Евгению, когда узнала её, что внутри у девушки горячо вспыхнула жалость. Ей часто становилось жаль людей, даже если они того не стоят и более того — не ждут. Тётю Олю жалеть было не за что. Выглядела она как настоящая парижанка — вся в сером с ног до головы, удобные туфли, дорогая сумка и голое лицо — его хотелось разрисовать как детскую раскраску. Приложилась щёчкой, привядшей, как забытый абрикос, к Евгении, два раза чмокнула воздух и ни разу не промазала. Евгения даже позавидовала — у неё этикетные поцелуи не получались, она часто попадала губами в чужие уши и волосы. Евгения с детства была неловкая, *руки как из одного места растут*, ворчала тётя Вера Стенина.

Тётя Оля обошла вокруг Евгении, как вокруг Венеры Милосской, похвалила фигуру, вспомнила маму. Евгении всегда было неловко слушать такие комплименты — если учёбу в Сорбонне она заслужила сама, то ноги и талия достались ей от мамы бесплатно, и все, кто знал маму, как будто намекали таким образом, что однажды Евгении придётся их вернуть. Возможно, что подобные мысли — результат долгой жизни в Париже, где все первым делом учатся считать и выгадывать.

Занятия уже окончились, так что Евгения позвонила Люс — сказала, чтобы та не ждала её в кафе, как договаривались!

— Какой у тебя французский! — поразились тётя Оля. — Никогда не скажешь, что родилась на Урале.

Тётя Оля была невысокой, а Евгения в тот день как нарочно надела новые ботильоны — на небольших, но всё-таки каблуках. Вместе они выглядели достаточно нелепо для того, чтобы окружающие безошибочно принимали их за тех, кем они и были — девушку и её тетюшку. Пусть и неродную.

— Ты прости, что я не звонила тебе, — каялась тётя Оля. — Я обещала Юльке, но у меня столько всего случилось, не перескажешь.

Евгения молчала. Ей поначалу и вправду нужен был в Париже если не пригляд, то добрый совет и возможность поговорить с кем-то на русском. А сейчас она не без усилий разбирала беглую русскую речь тётки Оли, даже поймала себя на мысли — может, предложить перейти на французский?

Рассказывать о себе и о том, «что случилось», тётя Оля, впрочем, не спешила. У неё был шпионский дар слушать — делала она это так талантливо, что хотелось рассказать всё-всё-всё. Евгения пыталась вспомнить, кем работала тётя Оля или за кем она была замужем, но не смогла. А если спросить напрямую — будет невежливо. Европейская девочка Евгения очень боялась показаться невежливой.

В музей Клюни стояла небольшая очередь — сегодня здесь открылась новая выставка, «Старинные игры». Евгения любила Клюни больше других музеев. В первый парижский год она приходила сюда чуть не каждый месяц, сидела в зале Дамы с единорогом, шёпотом жаловалась ей, что холодно, одиноко и страшно. Дама считала, Евгении не стоит жаловаться: она испытывает все эти чувства потому, что живая. А вот я, говорила Дама, отказываюсь

от своих ощущений добровольно. Кто-то считает, я делаю это для того, чтобы стать монахиней, но на самом деле это история о том, как человек умирает. Уходит зрение, вкус, обоняние, осязание, а последний всегда — слух...

В конце тоже было — слово.

Про «Даму с единорогом» Евгении рассказывала тётя Вера — она писала ей чаще всех, присылала длинные послания на листах с загнутым полем, — чтобы влезли в конверт. Мама обычно набирала пол-листа на компьютере, самым большим кеглем.

— Пойдёмте в Кюни, тётя Оля, — предложила Евгения, и Бакулина согласилась.

У Евгении был студенческий билет, а тётя Оля заплатила полную стоимость и заметно этим расстроилась. Как обычно, застряли в магазинчике на входе, но потом шли из зала в зал, и Евгения думала: сколько веков прошло, а здесь по-прежнему пахнет, как в бане.

— Римские термы, — покивала тётя Оля Бакулина. Она часто поглядывала на Евгению, было видно, что та интересуется её куда сильнее выставленных экспонатов. Хотя экспонаты были замечательные. Шахматы Шарлеманя¹ — ладью не сдвинешь с места, такая она тяжёлая. Евгения вдруг вспомнила слово «тура» — когда они играли в шахматы с Ереванычем, он всегда называл ладью турой, а слова — офицером. А в городе Нижняя Тура жили какие-то родственники или знакомые Стениных.

Или вот — египетская игра. Что-то похожее на маленький рояль, фигурки — шакалы и собаки на тонких ножках... Евгения начала было читать объяснение, дотошное, как в любом музее, но тётя Оля потянула её за рукав:

— Давай где меньше народу?

Золотую коллекцию Евгения не любила — как тётя Вера не любила ювелирку и прикладное искусство. Несчастливая

¹ Знаменитые шахматы, принадлежавшие, по легенде, Карлу Великому.

царица Савская (*лихо одноглазое*) с её кобыльим взглядом тоже не внушала доверия... Они шли дальше по коридору, мимо укрепленных на стенах надгробных плит (поверху — овалы следы, как будто это не плиты, а плакаты в парке развлечений, где можно подставить лицо и превратиться, к примеру, в Николая Фламель¹) перешли в зал иудейских царей. Зимой здесь проходят концерты средневековой музыки — цари слушают их с благодарностью, разумеется, те из них, *кто имеет уши*. Прекрасные статуи, украшавшие фасад Нотр-Дама, пали жертвой утара и невежества революционных масс. Нашли их только в семидесятых, думаете, где? Рядом с Оперой Гарнье, совершенно случайно!

Тётя Оля слушала Евгению внимательно, ужасалась в нужных местах, кивала и поддакивала с той же чёткостью, с какой целовалась на французский манер, — но Евгения видела, что вся эта история её нимало не занимает. Ей же самой головы царей всегда казались невероятно трогательными — они были такими живыми, эти бедолаги. У одного нет глаза, у соседа — половина лица стекала, как жидкая... От третьего уцелели только глаза, лоб в удивленных морщинах и корона, похожая на тибетейку. Полежи-ка в земле столько лет.

— Да-да, — нервно сказала тётя Оля, — ты всё очень интересно рассказываешь, Евгения. А вот скажи, у тебя нет в ближайшее время повода съездить в Екатеринбург? В университете отпустят?

— Скоро лыжная неделя, — сказала Евгения. — Я бы и без повода съездила, а зачем?

Тётя Оля опасливо покосилась на ближнего к ним царя, но у него не было ушей. Вообще.

— Тут такая история. В общем, на меня вышел один человек — он работает с очень известным художником, Вадимом Фамилией, ты, конечно, про него слышала.

¹ Н и к о л я Ф л а м е л ь — французский алхимик, которому приписывают изобретение философского камня и эликсира жизни.

Когда тётя Оля волновалась, в её речи автоматически включался уральский говорок. Это было очень приятно, Евгения заслушалась и чуть не упустила смысл. Очнулась только на имени – Вадим Фамилия. Конечно, она знает, кто это. Фамилия написал мамин портрет, они дружили в юности.

Тётя Оля при слове «дружили» хмыкнула, но факт оспаривать не стала.

– В силу моей работы я имею дело с очень влиятельными людьми, – объясняла она, подозрительно глядя на бедного глухого царя. – Агент Фамилии попросил меня выяснить, каким образом можно передать Вере Стениной в Екатеринбург некоторую сумму денег наличными. И я вспомнила про тебя.

«Интересно, а почему не про себя?» – удивилась Евгения, но сделала это тоже – про себя. А тётя Оля очень уместно сказала в этот самый момент:

– Мне пока что не следует появляться в России, а у тебя ведь всё в порядке с документами?

Разумеется, всё было в порядке – только так и может быть у дочери королевы Хаоса. Евгения, как истинная парижанка, собирала все квитки и справки, нужные и ненужные бумажки, не выбрасывала даже посадочные талоны, что уж говорить о паспорте!

– Если ты сможешь это сделать, я буду тебе очень признательна, – сказала тётя Оля.

Хор царей молчал. Конечно же, Евгения поедет в Екатеринбург! Ещё бы она не поехала! Сделать что-то хорошее для тётки Веры Стениной – её давняя мечта.

На прощание тётя Оля ещё раз ловко приложила к щекам Евгении, пообещав приехать к ней завтра домой, на площадь Италии. И ушла, оставив девушку в компании каменных голов.

И вот они – деньги, плотный свёрток разноцветных купюр плюс несколько монет. Общее количество укладывается в таможенные правила. 9999 евро – остроумная,

и, по мнению Евгении, красивая сумма. Она любила девятки.

Евгения снова проверила свёрток — он послушно лежал в сумке, не помышляя о побеге. Опять раскрыла Хандке. В кратком сетевом пересказе роман характеризовали так: «Голкипера футбольной команды удаляют за грубое нарушение правил. Он проводит ночь с девушкой — кассиром кинотеатра, а потом убивает её».

Хотели минимализм? Получите.

Первая часть путешествия прошла благополучно. В аэропорту Евгению никто особо не допрашивал, правда, мсье-таможенник изо всех сил разглядывал её ноги, но к этому она давно привыкла. Всё-таки это очень приятно, когда у тебя такие ноги. Спасибо маме, что не просит вернуть.

Выход для московского рейса объявили вначале один, потом поменяли на другой. Евгения не смотрела на табло, не слушала объявлений — просто шла следом за русской речью, за самыми краснолицыми мужчинами, за самыми крикливыми тётками, за самыми красивыми девушками на самых высоких каблуках. Никто не подвёл — все вышли к нужному выходу, а с ними и Евгения.

Когда поднимались по трапу в самолёт, Евгения зажала портфель-фугу под мышкой и перекрестилась щепотью, как её научили в детстве.

Место оказалось у прохода, рядом — свободное, а у окна идеальный сосед — крепко спящая девушка. Как она успела уснуть, если все только что вошли в самолёт? Воистину загадочная русская душа. Девушка, конечно, была русская — акриловые ногти, наклеенные ресницы.

Портфель Евгения положила себе под ноги. Потом скинула туфли и начала рассматривать окружающих.

Всякий раз в самолёте ей приходила одна и та же мысль: сколько же тайн везут с собой все эти люди! С виду толпа как толпа — но если знать историю каждого... Кто-то, не исключено, что та милая пожилая дама, усевшаяся

впереди Евгении, смертельно болен. Кто-то вчера принял самое важное решение в своей жизни, но поймёт это лишь спустя много лет. Кто-то завтра изменит жене, а кто-то дал себе слово никогда больше не обманывать мужа. Кто-то, например, эта негромко похрапывающая девушка, везёт с собой гроб — сопровождает тело сестры. А у кого-то три часа назад разбилось сердце, и он вообще не понимает, зачем теперь лететь в Москву.. Тайны летали в воздухе и сталкивались между собой, как самолёты на детских рисунках. И у Евгении была тайна — сюрприз для тёти Веры Стениной. И ещё один, для всех — ведь она не предупредила ни мать, ни Ереваныча, ни Лару.

Симпатичная стюардесса прошла через весь салон к аварийному выходу, у которого сидела Евгения и спала девушка. Попросила надеть туфли и убрать портфель на полку для ручной клади. Евгения заспорила, но стюардесса была непреклонна:

— Только на время взлёта и посадки! Потом, в горизонтальном полёте, сможете взять вашу сумочку *обратно*.

Евгения знала, что людей, которые злоупотребляют уменьшительно-ласкательными суффиксами, переубедить невозможно — такой была, например, Нина Андреевна, Ларина бабушка. Проще послушаться. Она вынула из портфеля свёрток с деньгами, а портфель закинула на полку. Стюардесса холодно улыбнулась, и тут её окликнула коллега:

— Ян, у меня там мужчина сидит с лишним весом, надо бы переместить.

— Очень толстый? — спросила Яна.

— Ну такой, турбулентный...

Стюардессы пошли перемещать *турбулентного* пассажира, а Евгения пристегнула ремень и снова открыла роман Хандке. Свёрток лежал на коленях, как зримый образ материальной ответственности. Тётя Вера обрадуется, даже если не покажет этого — а Евгении и не нужно ничего видеть, она и так знает, что Стениным всегда нужны

деньги. Тётя Вера слишком много работает, а Лара, ду- рочка, бросила учёбу. Надо как-то уговорить её вернуться в университет...

Евгения покосилась на девушку, но та спала так крепко, что даже слюну пускала — интересно, где она умудрилась так вымотаться? Через проход сидела семья с младенцем, полностью этим младенцем порабощённая. Никто не смотре- л на Евгению и не осуждал её — а она между тем делала кое-что предосудительное. Развернула свёрток и вытащи- ла оттуда конверт с чужим письмом.

Евгения ещё в Париже решила: если конверт заклеен, то она не будет его читать, а если нет — тогда пусть это письмо станет одной из тех тайн, которые так легко дове- рить случайному попутчику.

Конверт был плотно запечатан.

Что ж, пусть таким и останется.

Самолёт набирал высоту.

Глава тридцать девятая

- Как повеселилась?
- Так себе.
- В метро прокатилась?
- Нет.
- А что ты вообще делала?
- Старела.

Раймон Кено

Сколько помнила себя Евгения, столько же она примеряла тётю Веру Стенину на роль своей мамы. Ей, конечно, стыдно было этим заниматься, но слишком уж сладкой была мечта. Слово «сладкий» чем-то походит на слово «стыдный», решила Евгения впоследствии, но легче ей от этого не стало. Роль матери подходила тёте Вере так, будто *шли под неё* специально – не топорщилась, сидела точно по фигуре. Родная мама Юлька была для этой простенькой одежды слишком уж оригинальной. Нечего, как говорят артисты, играть.

В памяти Евгении хранился косою десяток историй о мамином подходе к воспитанию. Хотя это был скорее *уход от воспитания*, помноженный на буйную фантазию. Например, однажды в детском саду Евгения, подбиваемая смелой подружкой (сама – ни за что бы!), съела несколько сушёных горошин. Воспитательница наябедничала родителям – смелой девочке хоть бы хны, а маленькой Евгении мама рассказала страшную историю. Теперь, объясняла мама, горошины обязательно прорастут и будут лезть из ушей и носа кудрявыми зелёными веточками, помнишь, мы видели такие летом в Орске? На этом месте мама по-

теряла интерес к описанию и унеслась вначале мыслью в Орск, а затем — и сама унеслась на целый вечер в какие-то гости, подбросив Евгению на порог к Стениным.

Евгения в ту ночь никак не могла уснуть — горошины внутри разбухали, из них вылезали ярко-зелёные ростки и пёрли вверх. Девочка чувствовала, как её заполняют изнутри кудрявые веточки, о которых с такой симпатией рассказывала мама. Она плакала тихонько, чтобы не разбудить Лару, и щипала себя за живот, чтобы горошины прекратили своё страшное дело. А потом в комнату зашла тётя Вера.

— Ты чего не спишь?

— Горох растёт, — шёпотом объяснила Евгения.

Тётя Вера потребовала полного рассказа, а выслушав, переспросила:

— Ты сколько горошин съела?

— Три, — пролепетала Евгения. Именно в этот момент ей вдруг показалось, что из правого уха торчит зелёная веточка.

— Оставь ухо в покое, — рявкнула тётя Вера. — Если только три, ничего не вырастет. Главное, больше никогда не ешь сухой горох, поняла меня?

Евгения уснула успокоенная, но горох с тех пор не ела никакой вообще.

В другой раз маме кто-то пожаловался, что Евгения плохо *кушает* в детском саду — а она там вообще не могла есть, потому что рядом сидел мальчик, у которого лицо всегда было перемазано кашей или соплями, одно из двух. Мама сказала, что в группе у них вот прямо с сегодняшнего дня будет установлена камера, как в кино, — и она, мама, всегда сможет видеть, ест Евгения или не ест. И если та опять закочевряжится, то вечером её будет ждать хороший дрын.

Что такое хороший дрын, Евгения не знала — и решила, что это кто-то из маминых знакомых, которых у неё было не меньше, чем депутатов в телевизоре. «Хороший» — зву-

чало обнадёживающе, но вот «дрын» доверия не внушал. С перепугу девочка начала есть — на неопрятного соседа не смотрела, а вместо этого крутила головой, соображая, куда именно в группе мама могла поставить камеру? Решила, что камера, скорее всего, хранится на шкафу, вместе с игрушками, которые им не разрешалось брать самостоятельно — и начала вставать перед этим шкафом, улыбаться и махать маме рукой. Даже иногда говорила шёпотом: «Мамочка, ты меня видишь? Это я, Евгения!»

Ещё одно воспоминание — эпохи Джона. Мама тогда передвигалась по городу исключительно в такси — «на тачке». Сажала Лару с Евгенией на заднее сиденье и весело предупреждала:

— Ведите себя хорошо и не думайте, что я ничего не вижу! У меня глаза на затылке.

Ларе хоть бы хны, а Евгения класса до третьего считала, что у мамы под пышными кудрями скрываются сзади дополнительные глаза. Поэтому она так боялась трогать мамину голову — чтобы не повредить эти глаза (и не увидеть — ещё неизвестно, чего она боялась больше).

Евгения очень не любила, когда в игрушечных магазинах мама вдруг хватала плюшевого медведя — и начинала говорить будто бы его голосом, поднося игрушку так близко к лицу дочери, что той становилось щекотно и стыдно. Медведи, кролики, белки — все они говорили у мамы одинаково гнусавыми голосами, а заводные игрушки бились на полу в агонии.

В общем, мама делала всё для того, чтобы приблизить знакомство Евгении с теорией и практикой психоанализа, зато рядом с тётей Верой царилла успокоительная, надёжная тишина. Евгении не встречались в жизни люди, умевшие молчать так выразительно, что с помощью этого молчания можно было рассказывать длинные истории. Когда тётя Вера имела дело с Евгенией, то чаще всего ворчала на неё, но это девочку тоже странным образом успокаивало.

Ей просто было хорошо рядом с ней — и всё.

Случались, конечно, и огорчения.

Серьёзное разочарование Евгении маленькой состояло в том, что тётя Вера нередко сердилась на них с Ларой.

Не менее серьёзное расстройство взрослой — в том, что та ничего не позволяла для себя сделать. Сколько раз Евгения приглашала её в Париж — проще пересчитать все картины в Лувре! Вот мама с Ереванычем приезжали несколько раз в год, особенно после того, как Евгения переехала на площадь Италии. Люс к этому относилась нормально, у неё тоже постоянно гостили какие-то друзья — Париж город дорогой, все ищут, на чём сэкономить.

А тётя Вера так ни разу и не приехала — отговаривалась то работой, то Ларой. С Ларой и вправду было много забот, но так повелось с самого детства — можно уже и привыкнуть.

— Ты про эту Лару говоришь как про ребёнка, — удивлялась Люс. — А ей лет почти как нам!

Евгения не спорила с подругой, не пыталась ничего доказать — она просто любила Лару. Дай бог ей полюбить потом так же сильно собственного малыша — если он, конечно, будет. Евгения пока что не имела дел с мужчинами, боялась секса и опасалась, что не перенесёт родовых схваток. Люс хохотала: да о чём ты беспокоишься? Сделают тебе кесарево, раскроют как матрёшку — и достанут ещё одну, маленькую!

Семья деревянных матрёшек стояла у них в гостиной на книжной полке — и когда к Люс приезжали друзья, кто-нибудь обязательно собирал их, складывая одну в другую, а потом развинчивал заново, с восторгом и скрипом. Матрёшки вновь рождались на свет одна за другой, пока, наконец, не появлялась самая маленькая и бесплодная, гладкая, как жёлудь.

Стюардесса сообщила, что можно отстегнуть привязные ремни. Евгения поспешно достала с верхней полки портфель и запихнула туда свёрток.

Спящая красавица у окна неожиданно проснулась:

— Напитки ещё не привозили? — у неё был бас, как у Лары. Евгения вежливо сказала, что *обслуживание пока не началось*.

— *Ложь* свой портфель сюда, — девушка приглашающе похлопала рукой по свободному сиденью. Евгения послушалась. Она была благодарна девушке, хотя неправильная речь всегда вызывала у неё спазм брезгливости — как если бы она видела чужие волосы, прилипшие ко дну ванной. Эта грамматическая брезгливость — Евгения не сомневалась — досталась ей в наследство от тёти Веры Стениной. Мама была в этом смысле гораздо добрее — но она в целом была добрее к чужим людям, прощая им то, чего не терпела в родных. Для малознакомого человека мама готова была сделать всё, что попросят, — с улыбкой, с удовольствием! А вот повторить тот же номер для Евгении или бабушки — не дождётесь.

Получалось, что она смакует претензии к своей маме, ничуть не уступая в этом Ларе, вечно недовольной тётёй Верой. Лара любила тётю Веру, но любить кого-то и быть им довольным — совершенно разные вещи. Вот и Евгения такая же. Эта мысль её странным образом утешила — Евгении часто хотелось быть такой же, как все, неотличимой деталью. Во всём, кроме главного.

Через проход от Евгении сидела семья из трёх пассажиров — четвёртым был младенец, кочевавший от матери к отцу и старшей сестре. Он сосредоточенно посасывал кулачок и смотрел на Евгению умными чёрными глазками. Евгения улыбнулась младенцу — вежливый человек должен восхищаться чужими детьми и животными и каждый раз проявлять к ним интерес при встрече. А вот Лару *бесило*, когда Евгения склонялась над незнакомой шавкой во дворе и чесала ей за ухом.

Стюардесса по имени Яна, которая заставила Евгению убрать портфель, катила по проходу тележку с напитками.

— Для вас водичку или сок? — спросила она вначале у соседки Евгении.

— Винишко, — в тон ответила девушка. И уточнила: — Красненькое.

Яна налила вино в пластиковый стакан — и Евгению обдало неприятным резким запахом. Она не пила алкоголь — можно сказать, и не пробовала. Мать однажды настояла, чтобы Евгения выпила бокал шампанского, и после этого у неё целый вечер болела голова.

— Мне воду, пожалуйста, — попросила Евгения.

Ей показалось, что соседка недовольно хмыкнула. Евгения решила не обращать на это внимания — она знала, что многие люди, испытывающие зависимость от алкоголя, осуждают тех, кто не пьёт. Возможно, им кажется, что непьющие люди претендуют на ту часть здоровья, которую теряют алкоголики, — хотя это, конечно, глупости.

Уж лучше думать про матрёшек. Или дочитать Хандке.

В семье через проход тоже разбирались с напитками — отец взял пиво, мать — красное вино, дочка — пепси-колу. Младенец не получил ничего и теперь тянулся к *материному* бокалу с таким вдохновенным лицом, как будто видел перед собой чашу Грааля.

Евгения ещё раз вежливо улыбнулась младенцу, который как раз мигрировал на колени к отцу, приговорившему своё пиво.

— Тебя как звать-то? — спросила девушка у окна. Евгения назвалась, как всегда, полным именем.

— А Женей можно?

Стиснув зубы, Евгения сказала, что если очень хочется, то можно.

— Ясно, — кивнула девушка. Её звали Дапа, и она впервые побывала во Франции — в гостях у друзей, которые, как поняла Евгения, жили где-то в Лангедоке.

— Дыра дырой, — сокрушалась Даша. — Хотя природа красивая, лошади. Люблю лошадей, а ты?

Евгения сказала, что ей симпатичны все живые существа.

— Ясно, — опять кивнула Даша, но всё же решила уточнить: — И комары?

Тут рядом с ними очень вовремя припарковалась тележка стюардессы, окутанная тяжёлым духом разогретой пищи. Русское слово «дух», неожиданно пришедшее на ум Евгении, напомнило о тех многочисленных случаях, когда Ереваныч выгонял их с Ларой из комнаты за какую-то провинность, повторяя:

— И чтобы духу вашего здесь не было!

— Для вас — курочка или рыбка? — спросила Яна у Даши. Даша выбрала курицу. — А вам вегетарианское питание, — сказала стюардесса Евгении. — Придётся чуточку подождать.

— Ты мяса совсем не ешь, что ли? — удивилась Даша. Евгения терпеливо объяснила, что, если человек в самом деле любит животных, он не должен их есть.

— Ясно, — сказала Даша. Судя по всему, это было её любимое слово. Евгения жалела, что Даша проснулась — лучше бы дальше спала. — А я вот спокойно их ем. У французов в деревне был кролик, я его каждый день ходила гладить — а потом они из него сделали этот... как его... фритатуй. Очень вкусный! Ты, Жень, должна понимать — бог дал нам животных, чтобы мы ими питались.

Евгения не любила споров о вегетарианстве, а также о религиях и той особой роли, которую играет в мире Россия. Поэтому быстро кивнула, признав таким образом Дашину правоту, — и сняла раскалённую фольгу с порции овощей, которую принесла другая стюардесса.

Даша почувствовала себя обманутой — она рассчитывала на спор, в котором сможет блеснуть ещё какими-нибудь познаниями, а Евгения как будто хлопнула дверью у неё перед носом. Какое-то время соседка угрюмо жевала свою

куру, запивая вином, но вскоре снова принялась за Евгению:

— А ты в Париже чё делала?

Евгении не хотелось рассказывать, что она там живёт и учится, — во-первых, Даша ей не нравилась, во-вторых, если бы даже на её месте был кто-то более приятный, заканчивалось это всегда одинаково: просьбой дать адрес, телефон и мейл. Потому что скоро в Париж поедет чей-то внук, чья-то дочь, чей-то начальник и чья-то жена — и все они дружно придут к Евгении за консультацией, помощью и советом, а возможно, ещё и переночуют. У неё есть раскладушка?

— Как все, — сказала Евгения, — смотрела город.

— Магазины у них нормальные, — признала Даша, — но еда — отстой. А на могилку Наполеона ты сходила?

Евгения вспомнила Дом Инвалидов и величественный саркофаг, в котором лежали ещё пять гробов — один в одном, как матрёшки. Тело императора было спрятано там, словно сердце сказочного Кощея.

— Нет, не довелось, — соврала она, и Даша обрадовалась:

— А я сходила!

Евгения почувствовала благодарность к младенцу, который вдруг завопил, перекрыв своими воплями Дашины откровения, как советские спецслужбы глушили в своё время вражеские радиоголоса. Этим воплем он предвосхитил объявление стюардессы — таинственным голосом та попросила всех привести кресла в вертикальное положение и пристегнуть ремни, потому что самолёт вошёл в зону турбулентности.

Евгения послушно пристегнулась и постаралась как можно скорее доесть свои овощи, на редкость безвкусные. Самолёт трясся и звенел, точно бубен в руке цыганки. За иллюминатором мелькали молнии.

— Гроза, — подтвердила Даша. Она не выглядела испуганной — преспокойно дожёвывала булочку. Евгения,

впрочем, тоже не слишком боялась, в отличие от Ереваныча, который всякий раз шёл в самолёт, будто на казнь. При слове «гроза» она не встревожилась, а вспомнила, как маленький Стёпа услышал за окном раскаты грома и закричал: «Салют!»

Самолёт тем временем трясся всё сильнее. У семьи с младенцем что-то упало со столика, но ребёнок почему-то замолчал. Евгения ощущала рваные движения машины, поглотившей её и других пассажиров на долгих четыре часа – и прокладывающей дорогу сквозь грозовые тучи. Вдруг сильный удар подбросил Евгению в кресле, и недодуманная мысль вылетела из головы, как вылетает из горла застрявший кусок.

– Что происходит? Что случилось? – закричал кто-то позади Евгении. И, словно в ответ, раздался женский вопль:

– Мы падаем! Мы все умрём!

На несколько секунд Евгения очутилась в эпицентре чужой паники: люди кричали, плакали, молились, угрожали кому-то, обнимались, прощались друг с другом. Коробки с недоеденной едой падали на пол. Стюардессы страшно молчали, никто ничего не объяснял. Евгения зажмурилась, пытаясь вспомнить молитву «Отче наш», но вместо этого вспомнила весёлого монаха, который приходил к ним однажды в гости и сказал очень странную фразу:

– Я, конечно, хочу попасть в царствие небесное – но я там ни разу не был и не знаю, на что оно похоже. А вот эту грешную земную жизнь я знаю – и очень люблю.

Евгения пришла тогда к выводу, что если уж даже монах не знает, на что похоже царствие небесное, то мирянам об этом и вовсе не стоит задумываться. В остальном-то он, кстати, был безупречен: ходил в длинном платье, освятил новый дом Ереваныча, подарил девочкам «святыньки» и молился перед ужином. А потом, когда детей отправили спать, – долго, красиво пел, и Стёпа наутро спросил у мамы Юльки:

– Монах-то когда уехал? Я полночи не мог уснуть, слушал его *звуки*.

Самолёт дёргался почти что в конвульсиях, пассажиры кричали хором, сверху падали кислородные маски. Сзади кто-то выл, сбоку мать прижала к себе младенца и что-то шептала в его велюровую макушку.

– Давай сфоткаемся! – прокричала вдруг Даша. Она уже включила камеру и протягивала руку, чтобы обнять Евгению. Та покорилась и даже изобразила что-то вроде улыбки.

– Главное, чтоб маски в кадр попали, – сказала Даша. От неё сильно пахло сразу несколькими парфюмами – Евгения уже потом догадалась, что соседка коротала время в магазине дьюти-фри, *знакомясь с новыми ароматами*.

Странно, но после этого дурацкого эпизода Евгения почему-то перестала бояться. Даша ведь не боится – делает снимки, чтобы потом показать их кому-то, а значит, не собирается умирать.

– Чё так выть-то, – заметила соседка, адресуя свои слова пассажиру сзади, который и вправду чересчур долго тянул одну ноту.

Пассажиры надели кислородные маски, и младенец горько расплакался, когда увидел мать в жёлтом наморднике. Евгения старалась смотреть только на Дашу, невозмутимую как скала. Соседка сложила руки на груди, как будто шла к причастию. Или это была поза Наполеона?

Самолёт передёрнуло ещё раз – и вдруг всё разом стихло, успокоилось.

– Уважаемые пассажиры, – сказала стюардесса, – наш самолёт покинул опасную зону, и теперь вы можете снять кислородные маски и отстегнуть привязные ремни. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы *дальнейший* полёт стал для вас максимально комфортным.

Люди аплодировали, как в театре. Яна и другая стюардесса, обе, надо сказать, бледненькие, катили по проходу мусорную тележку, собирая остатки пищи и разбросанные

повсюду пластиковые вилки. Сзади остро пахло рвотой. Даша достала из сумки ярко-красный лак для ногтей — и начала делать себе маникюр.

Евгения откинула спинку кресла и вздохнула так глубоко, как только могла. Какое счастье, что она снова летит из Парижа в Москву, а не падает на землю, чтобы погибнуть! Она ещё не осознавала, что начиная с сегодняшнего дня будет вечно бояться полётов.

Мама Юлька в юности прыгала с парашютом — из самолёта, на высоте в километр. Выпив с гостями лишний бокал, любила прихвастнуть этим — и обязательно при-таскивала в качестве доказательства изрядно зажульканную бумажку: *«Свидетельство парашютиста, стабилизация 3 минуты, оценка «отлично»*. Женщины ахали, мужчины нервничали — прыгнуть с парашютом раз в жизни должен вроде бы каждый, да всё никак не собраться. Мама Юлька объясняла им: пусть лучше даже не думают! Вот она, например, никогда не боялась высоты, а после того прыжка каждый полёт для неё испытание — она напивается ещё в аэропорту и потом лежит на плече у соседа как мёртвая.

— Самое сложное, — делилась мама с гостями, — это вышагнуть из самолёта и не дёрнуть сразу же за кольцо. Нужно спокойно сказать: «Раз-кольцо, два-кольцо, три-кольцо» — и только после этого дёргать. А я, конечно, выпала с криком «Три-кольцо!». Зато приземлилась хорошо. Но пока летела — материлась, как Юз Алешковский!

Стюардесса Яна ещё раз провезла мимо них тележку с напитками. Даша попросила колу, Евгения — воду.

— Ты модель? — с интересом спросила Даша. Евгения сказала, что нет, хотя это тоже было неправдой — иногда она подрабатывала, снимаясь для каталогов, но никогда не думала превратить это в настоящую работу.

Настоящей работой Евгения всегда считала литературное творчество и в будущем представляла себя только писательницей. Пока что она изучает чужие сочинения — в основном французских писателей девятнадцатого века,

но как только окончит университет, так сразу же примется сочинять. Рассказы, романы, повести... В мечтах Евгения видела свои книги в витринах Gibert Joseph с бумажными звёздами: «Бестселлер номер один! Лучшие продажи месяца!» Видела рецензии в газетах, хвалебные фразы из которых издатель будет выбирать тщательно, как листья салата: «Новый роман Эжени Калинин хорош настолько, насколько вообще могут быть хороши романы!», «Калинин безжалостно препарирует мир чувств современного человека. Блестяще!», «Молодая русско-французская писательница не имеет себе равных — каждая новая книга Эжени Калинин становится событием мирового значения! Грандиозно!»

Конечно, Евгения краснела от подобных мыслей и радовалась тому, что никто не догадывался, о чём она мечтает. Помимо хвалебных откликов читателей и критики она не сочинила ни строчки — эссе, которые приходилось регулярно писать в Сорбонне, не в счёт, хотя они, между прочим, всегда получали высший балл.

Самолёт вдруг снова дёрнулся, и его как будто что-то ударило снизу, под дых. Евгения в ужасе взглянула на Дашу.

— Шасси, — объяснила соседка. — Садимся, мать, а ты всё спишь.

Даша махала руками, и Евгению обдал резкий запах ацетона. Неужели она правда спала? На коленях у Даши лежала горстка загаженных алым лаком кусочков ваты, — выглядело это так, будто девушка успела провести небольшую, но кровавую операцию.

— Лак, зараза, смазался, — сказала Даша.

На этих словах самолёт мягко, почти незаметно задел землю, как будто пробуя — достаточно ли удобно будет сесть именно в этом месте. Пассажиры аплодировали, как в опере, проснулся и горько зарыдал несчастный младенец.

Евгения вспомнила недавний разговор в очень милой французской семье, где всем заправляла столетняя бабу-

ля. Один из гостей оказался пилотом, им угощали, как изысканным ужином (ужин, кстати, был не менее изысканным). В самом деле, кругом сплошные писатели, художники, актёры, в крайнем случае — врачи и адвокаты, но кто может похвастаться личным знакомством с пилотом или капитаном первого ранга? Евгения теперь могла: к неудовольствию правнука хозяйки, молодого доктора Жана-Бенуа, пилот спикировал на стул рядом и развлекал Евгению занятными историями из жизни на борту — каждая была отшлифована не хуже тех стёклышек из Лазаревской бухты, которые тётя Вера Степина считала в своём детстве морскими камушками. В числе прочего прозвучало неожиданно серьёзное восхищение российскими лётчиками — «ваши сажают самолёты как в масло», признал француз. Он был прав, решила теперь Евгения, аплодируя вместе со всеми и пытаясь вспомнить, куда дела визитную карточку пилота. Жана-Бенуа она почти сразу же свела с двоюродной сестрой Люс.

Самолёт тем временем подрулил к рукаву и уткнулся в него мордой, как лошадь в кормушку. Люди поспешно забирали свои вещи, стремясь как можно скорее покинуть опасную машину.

— Женька, запиши мой адрес, — сказала вдруг Даша. — Я тебе ссылку кину на мою страничку. И фотку пришлю.

У Евгении было то, что французы называют «savoir faire» — интуитивная способность поступать в любой ситуации правильно. Вот и сейчас она знала, что не должна отказываться, — даже при том, что продолжать это знакомство ей не хотелось и она с удовольствием оставила бы его в самолёте навсегда. Это как в кино — вдруг появляется не слишком симпатичный и малоинтересный зритель персонаж, но он зачем-то нужен режиссёру, и только потом выясняется, что на нём держалась важная сюжетная линия: лежала на нём, как балкон на каменных плечах атланта.

Даша уже диктовала мейл, используя неповторимую русскую транскрипцию:

– S как доллар, i с точечкой, V галочкой, E как наша E...

Евгения поблагодарила Дашу, но та не спешила прощаться:

– Ты сама-то с какого города? Екатеринбург? Дык мы с тобой почти землячки. Я-то с Оренбурга. Сейчас в Москве живу, но полечу прямо домой, к родителям. Отец у меня болен, рак простаты, а от братьев никакой помощи...

Евгения оторопела, не зная, что сказать. Она каждый раз терялась, когда малознакомые люди начинали вдруг рассказывать о себе интимные вещи. Мама Юлька, преспокойно раскрывавшая душу и кошелёк перед каждым, кто попросит, объясняла это *комплексами*, но Евгения с ней не соглашалась. Ей нравилось упрямое молчание тёти Веры Стениной, скрытной и временами болезненно застенчивой. Тётя Вера отказывалась обсуждать как свои романы, так и свои болезни (все знают, что у женщин по достижении определённого возраста первое плавно перетекает во второе), и за годы, проведённые рядом с ней, Евгения ни разу не видела её голой. Мама Юлька, та, напротив, с удовольствием разгуливала по дому в одних трусах – отучил её от этой привычки только Ереваныч, сам, впрочем, в любую погоду спавший нагишом. Евгения пару раз имела несчастье случайно застать его в спальне частично сбросившим одеяло – пусть она и не увидела Это Самое, всё равно зрелище совершенно голого мужчины, густо покрытого шерстью, показалось ей до того отвратительным, что она всерьёз решила остаться девственницей. Или же заранее договориться с будущим мужем, что у него не будет волос на теле – если только совсем чуть-чуть. Парижская подружка наверняка высмеяла бы подобные мысли – у прошлогоднего любовника Люс, частенько остававшегося в квартире с ночёвкой, густые чёрные волосы росли на груди в виде креста, и он носил этот крест

с явной гордостью. К счастью, Евгении хватало сдержанности не обсуждать с Люс свои планы на личную жизнь. Для откровенных разговоров годилась только Лара.

Очередь наконец тронулась, и все пошли к выходу. Евгения вежливо попрощалась со стюардессами, и Яна, кивнув ей, перевела взгляд на Дашу, идущую следом *такой же точно* походкой.

— Запомни этих девчонок! — шепнула Яна другой стюардессе, не переставая обворожительно улыбаться, прощаясь с *пассажиропотоком*. — Я потом тебе кое-что про них расскажу.

Яна была дочерью, сестрой и женой охотника — к счастью, не одного и того же, а трёх совершенно разных и к тому же дружных между собой мужчин. Вот почему эта миловидная стюардесса была так внимательна к любым событиям, которые происходили вокруг, — в самолёте она замечала непристёгнутый ремень или припрятанный, но включённый плеер так же неизбежно, как её отец, брат и муж видели притаившегося в траве глухаря или замершего, как меломан в опере, зайца.

Евгения стояла в очереди на паспортный контроль, подпिनывая ногой портфель-фугу. Он был слишком тяжёлый, и менее лояльная авиакомпания потребовала бы сдать его в багаж. Зимой, в первом классе гимназии, Евгения точно так же пинала перед собой школьную сумку: сумка была ярко-жёлтая, с гигантским красным цветком и ехала по снегу, как по лыжне. Даша стояла в соседней очереди и слушала музыку в наушниках так громко, что вместе с нею вынужденно наслаждались и все вокруг.

Вот тогда Яна и сказала подруге:

— Эти девчонки — сёстры! Только одна высокая, а другая — низенькая.

Провидение, звёзды, судьба, случай, удача, рок и фатум дружным коллективом работали для того, чтобы Евгения могла познакомиться со своей сводной младшей сестрой из Оренбурга, но никто, кроме наблюдательной

стюардессы, питавшей пристрастие к уменьшительно-ласкательным суффиксам и не возражавшей против дробы в тушке рябчика, даже если та попадала прямиком в пломбу, не заметил сходства обеих девушек. В первую очередь его не заметили сами девушки — мы не знаем, как выглядим со стороны, а накладные ресницы и грубые манеры скрывают похожие черты не хуже заносчивой брезгливости и привычки держать в тайне истинно глубокие чувства. К счастью, Евгения записала Дашин мейл, так что у провидения оставалась надежда на то, что дитя Саши и *той, что моложе*, из Оренбурга сможет продолжить общение с внебрачной дочерью мужчины-мечты.

Но сюрпризы на том не закончились — Евгению поджидала ещё одна встреча, которая и привела её в конце концов к слезам и отчаянию. С помощью турбулентности и Даши провидение, звёзды, случай, рок, фатум и судьба лишь только разминались, а настоящее веселье должно было явиться с началом второго акта.

Точнее, рейса.

Глава сороковая

Профессия писателя, поэта — выражать чувства. Ошибочно считать, что он хороший советчик.

Хорхе Луис Борхес

До вылета в Екатеринбург оставалось больше двух часов, но Евгения уже сидела перед указанным в посадочном талоне выходом — она всегда приходила на указанные встречи загодя, терпеть не могла, когда опаздывают и вообще старалась быть пунктуальной во всём, тем более что это не так уж сложно.

Читать не хотелось, Хандке бесполезным грузом лежал в портфеле. От скуки Евгения принялась наблюдать за людьми, которые сидели в соседних креслах.

Слева от Евгении — пожилая женщина с шишковатыми, как имбирные корни, руками. Лицо в глубоких морщинах — на правой щеке они перекрещивались, точно линии для игры в «крестики-нолики». Тёмное пальто, парик, старомодная внешность (чудесный Ларин вариант этого слова — «старомордая»). У ног женщины лежал упакованный в плотную бумагу багет. Постер? Картина? Жаль, что нельзя спросить — Евгения не любила, когда незнакомые люди проявляют любопытство, и поэтому не разрешала этого себе самой. Она была очень молода и верила в то, что можно быть последовательной во всём.

Глядя на упакованную картину, Евгения вспоминала прошлогодний разговор тёти Веры с мамой, тот, что под-

слушала случайно. В саду нового Ереванычева поместья, неподалёку от домика для гостей, который хозяин туманно обещал отдать когда-нибудь Евгении, стояла нарядная беседка, увитая плющом. Осенью этот плющ пламенел не хуже своих собратьев откуда-нибудь из Новой Англии — Евгения вдоволь нагладелась на такие в Америке. Тогда, в самом начале лета, плющ только входил в силу, но кое-где уже захватил территорию целиком.

Казалось, что жёсткие, крепкие, словно капроновые верёвки, стебли плюща растут прямо на глазах — как в тех учебных фильмах по биологии, которые показывали в пятом классе: благодаря ускоренной съёмке почка набухла и лопалась за секунду. Евгения часто видела то, чего не замечали — или попросту не желали видеть другие: это качество необходимо настоящему писателю.

В этой части сада мама Юлька не позволила Ереванычу разбить газон, и дикая трава, усеянная белыми маргаритками и жёлтыми одуванчиками, выглядела так, будто кто-то разбросал по ней сваренные вкрутую яйца, порубленные для крошки. Нарциссы тянули к Евгении свои локаторы и тоже почему-то напоминали варёные яйца. Возможно, она проголодалась — хорошо бы домработница Люда вспомнила, что крошка для Евгении должна быть без мяса. Люда терпеть не могла маму Юльку, но с годами смирилась с ней, как люди смиряются с бедностью или тюрьмой. Домработница демонстративно предпочитала Стениных. (Некрасивых и бездарных все любят — так мог бы сказать кто-нибудь злой, не Евгения.)

Солнце мигало за верхушками сосен, будто кто-то снимал Евгению на фотоаппарат со вспышкой, каким строго запрещено пользоваться в музеях. Тётя Вера в музее уже лет десять как не работала — теперь она была экспертом по культурным ценностям, определяла происхождение спорных произведений искусства и безошибочно диагностировала подделки. Евгения обожала читать тек-

сты экспертных заключений, которые составляла тётя Вера, — они напоминали детектив. «На экспертизу в багажном отделении вокзала представлена картина. Холст на дереве/смешанная техника, 62 x 44. Приобретена, по словам владельца, на онлайн-аукционе. Картина вставлена в старую раму, на обороте фанеры по центру — две наклейки. На лицевой стороне, на фактурно прописанных местах — поверхностные загрязнения». И так далее... Каждую такую работу, будь то картина, статуэтка или даже настольная игра, тётя Вера описывала столь тщательно, что Евгения могла представить предмет воочию, ни разу не взглянув на оригинал.

— А как определить, оригинал это или нет? — волновалась Евгения. Тётя Вера объясняла, что искусствоведческая экспертиза не может дать стопроцентной гарантии — бывает, что и лучшие знатоки ошибаются. В прошлом веке был крупный скандал с подделкой Вермера — а ведь его подлинность признал не менее крупный знаток творчества делфтского мастера. Другая, ближе к нам по времени история — с «Одалиской» Кустодиева, которая решительно ничем не напоминала певца купчих, но тем не менее смогла ввести в заблуждение вначале эксперта, а затем и покупателя. То есть, объясняла тётя Вера, единственный способ определить авторство, это *сопоставить* сомнительную работу с известными, уже имеющими атрибуцию:

— Берём картину, которая «хочет быть Жоаном Миро», и сравниваем её с безусловными подлинниками, которые хранятся в музеях. Хотя знаешь, сколько подделок выставляют даже самые известные музеи?.. Ещё эксперт обращает внимание на детали, которые считаются характерными для стиля художника, — например, никто не писал таких глаз, как Модильяни.

— Но ведь тогда получается, что для фальшивого Модильяни надо нарисовать *именно такие глаза*, — осторожно заметила Евгения.

— Соображаешь, — почему-то недовольно сказала тётя Вера, и Евгения смущённо улыбнулась. Порой она ощущала, что между нею и Стениной витает странное чувство, которому Евгения не могла найти определения. То есть, говоря языком экспертов по культурным ценностям, она не знала ни атрибуций, ни провенанса этого чувства, но ощущала его дыхание, как присутствие сильного, самостоятельного и, пожалуй, недоброго существа.

Задумавшись, Евгения частенько выпадала из реальности («опять зависла», говорила в таких случаях Лара) — вот и тогда она унеслась мыслями куда-то далеко из летнего сада с его яичными нарциссами. Очнулась, лишь когда услышала вначале шаги, а потом голоса. Евгения собиралась обогнуть беседку и предъявить себя маме Юльке и тёте Вере — но остановилась, потому что они в тот момент разговаривали и разговор был, судя по всему, не из лёгких.

Евгении всегда было сложно объяснить окружающим, что мама и тётя Вера — всего лишь подруги, а не родные сёстры, как, впрочем, и они с Ларой. Жаль, что окружающие не могли слышать маму и тётю вот в этот самый момент — они звучали как один человек. Точнее, как артист, которому нужно отрепетировать сцену сразу за двух персонажей. Одни и те же интонации, похожий смех, словечки, которыми обе обзавелись в юности и даже не пытались от них избавиться. Современный сленг тётя Вере не давался — языковая мода менялась так быстро, что стоило ей выучить какое-нибудь словечко вроде «няшить», как оно тут же объявлялось устаревшим. Эти слова были недолговечными, как бабочки, и тётя Вера запоминала их медленнее, чем они умирали. Прижилось только старое мамино прозвище «Копипаста», но Евгения его не любила. Мама же обожала *молодёжный жаргон* и часто требовала от Евгении с Ларой объяснений. Что такое «мненра», «прив», «мне без ра» и «очхор», она догадывалась сама, более сложные выражения вроде

«взорвать пукан» или «залипать» толковались значительно хуже. Но в разговорах с тётёй Верой мама обходилась без новшеств.

— Так всё же почему ты больше не рисуешь? — спросила тётя Вера, а мама ответила:

— Потому что мне интереснее просто жить, Верка. Неужели ты не понимаешь? Смотри, какой день сегодня! Травка, цветы. Птички поют. Лес...

— Подумаешь, лес! У тебя талант, Юля, а ты остановилась после третьей картины.

Евгения вспомнила мамины работы — автопортрет, который висел в квартире Стениных, и два холста, подаренных Ереванычу. Геометрический натюрморт и пейзаж, тоже словно бы сложенный из разных фигур: треугольные ели, овальные кипарисы, кусты в форме эллипса. Тётя Вера нечасто приезжала в загородное имение Ереваныча, но каждый визит начинался с того, что она замирала перед мамиными картинами — и дышала глубоко, как в трудную минуту.

Если честно, почти все, кто впервые приезжал к ним в Карасьеозёрский — а Ереваныч был не просто хлебо-сольным хозяином, но ещё и любил прихвастнуть перед знакомыми («Смотри, какую конюшню отгрохал! Юля у меня любит ездить верхом» и так далее), — столбенели перед натюрмортом и пейзажем. Но мама Юлька отмахивалась от просьб «написать что-нибудь специально для нас или хотя бы сделать авторскую копию», как от мошки-гноса.

— Я больше не рисую, — говорила она в таких случаях и улыбалась, не разжимая губ. Зубы у неё были неважными, мама стеснялась их — особенно когда гостила у Евгении в Париже или путешествовала по Европе с Ереванычем.

Надёжно укрытая плющом Евгения считала, что маме стоит прислушаться к мнению тёти Веры Стениной — та ведь была профессиональным искусствоведом, экспер-

том, кандидатом наук! Но мама почему-то не хотела с ней об этом говорить. Спросила тётю Веру:

— У тебя есть с собой?

Тётя Вера щёлкнула зажигалкой. Евгения знала, что они покуривают тайком от Ереваныча — тот терпеть не мог запаха сигарет, поэтому сразу после сеанса курения тётя Вера и мама закапывали окурки в землю, после чего съедали каждая по две мятные таблетки «Рондо» и мыли руки с мылом. Мыть руки с мылом было особенно важно, потому что Ереваныч в армии курил и хорошо помнил, что после этого воняет не только изо рта, но ещё и от руки, в которой держали сигарету. Когда тётя Вера заподозрила (справедливо, между прочим) Лару в курении, Ереваныч при каждой встрече стал требовать:

— Ну-ка, дыхни! А теперь палец на правой руке дай понюхать!

— Извращенец, — с ненавистью шептала Лара, протягивая самозваному отчиму пухлую лапку. Лапка была тщательно протёрта влажной салфеткой «для интимной гигиены» (она прятала их в потайном кармане сумки вместе с пачкой сигарет) — так что Ереваныч зря дёргал своим римским носом, покрытым довольно-таки заметными чёрными волосками.

Евгении нравился сигаретный запах, он её почему-то успокаивал. Вот и сейчас она с наслаждением вдыхала сладкий дымок.

Тётя Вера не унималась:

— И всё-таки если у тебя есть талант, ты должна его отрабатывать. Ведь тебе его не просто так подарили, понимаешь? Кто-то, — голос её немного дрогнул, — кто-то жизнь готов отдать за то, чтобы уметь так *писать*, а ты берёшь и выбрасываешь всё это в помойку.

— Да мне просто неинтересно! — рассердилась наконец мама Юлька. — Ну и пусть талант, я о нём не просила! Может, я балериной стать мечтала, так что теперь? Верка, что ты из-за этого нервничаешь? — И снова завела песню

про «посмотри, какой прекрасный сегодня день». Предложила прогуляться по лесу — так что они закопали, как собачки, свои окурки и ушли, оставив в беседке синее облачко дыма и куда более густое, осязаемое недовольство тёти Веры, тучей висевшее над скамейкой.

...Интересно, что сказала бы эта старая дама в парике, узнав, что рядом с ней в Шереметьево сидит дочь талантливой художницы, не придающей своему таланту ни малейшего значения? Да и сама дочь однажды, несомненно, станет прославленной писательницей — возможно, напишет роман о людях из мира актуального искусства. «В своём романе Эжени Калинин совершенно по-новому трактует ставший уже традиционным взгляд на современное искусство». «Её героини состоят не из чернил и бумаги — это живая кровь и плоть». «Молодая русско-французская писательница совершила настоящую революцию в арт-пространстве: теперь мы знаем об искусстве намного больше, чем раньше». «Место нового гения в современной литературе долго оставалось свободным, но теперь его по праву заняла Эжени Калинин». «Беспощадно красивая проза!» Евгения была готова к самым заковыристым вопросам журналистов, впрочем, скорее всего, она будет отказываться от встреч с прессой, цитируя Толстого: «Встречаться с великим писателем нет смысла, потому что он воплощён в своих книгах». (Возможно, она опустит слово «великий» — это звучит нескромно.)

— У вас свободно? — мужской голос взял Евгению за шкирку, как котёнка, и перенёс из дивного мира будущих свершений в реальные обстоятельства. Евгения смутилась, как будто мужчина мог услышать её мечты, которые искрились тщеславием не хуже, чем оголённые провода — электричеством.

— Конечно, садитесь, — она поставила портфель-футу себе под ноги, и он опрокинулся, как собака, подставляющая хозяину живот. Даже не взглянув на ожидающий хо-

зайской ласки портфель, мужчина занял освободившееся кресло и достал из кармана куртки книгу.

Евгения разглядывала мужчину искоса, насколько позволяли приличия. Он был значительно старше её, но выглядел намного лучше большинства своих русских — да пожалуй что и французских — ровесников. Похож, как решила будущая писательница, на сибирского хаски. Она любила собак и для каждого человека подбирала породу, как тётя Вера — портрет. Например, Лара была чау-чау. Ереваныч — бультерьер. Мама Юлька — колли. Люс — пудель. Тётя Вера, как ни странно, боксёр. Внешнего сходства здесь было не очень много, но Евгения любила боксёров больше всех других собак, вместе взятых. На днях увидела такого пса на улице, начала его гладить — а он на радостях ударил её головой в нос. Думала, перелом, но обошлось. Хозяин перепугался, смешно вспомнить!

Идём дальше. Нина Андреевна, бабушка Лары, — болонка, а бабушка Евгении — йоркширский терьер, она с годами стала точно такая же маленькая и суетливая. Джон, насколько Евгения его помнит, был скотчтерьером, а дядя Паша Сарматов — овчаркой. А этот, сидящий рядом человек — настоящий сибирский хаски. Блондин, тёмные брови и ярко-голубые, как больничные бахилы, глаза. Всё такое сине-белое, как дневное небо за иллюминатором самолёта. Веджвудский фарфор. И одет с пониманием: рубашка и брюки в тон, начищенные туфли блестят, как спинки жуков (тараканов, уточнила бы Лара). Обложку книги, которую он читал, Евгения не видела — но решила на всякий случай достать Хандке, вдруг получится завязать разговор о книгах?

Она нервничала в ожидании следующего полёта и хотела хоть с кем-нибудь поговорить. Честно сказать, сейчас она не возражала бы даже против Даши! Чем ближе к посадке — а оставался всего час, — тем страшнее было Евгении думать, что ей снова придётся лезть в брюхо ме-

таллического кита и два часа греметь у него внутри вместе с другими Ионами, купившими билет.

Хаски невозмутимо перелистывал страницы, и Евгения, наконец, успела прочесть название на обложке. К её удивлению, незнакомец читал тот самый роман, о котором говорил в последние месяцы весь Париж. Конечно, в русском переводе.

Евгения давно прочла эту книгу в оригинале, и после этого её довольно долго распирала мысли, которыми она ни с кем не могла поделиться – и страшно по этой причине мучилась. Подрута Люс читала только те произведения, которые нужны были для учёбы («Мне достаточно, спасибо» – она отказывалась от книги теми же словами, что и от новой чашки кофе поутру). Мама Юлька и тётя Вера ждали русский перевод. Ереваныч не интересовался зарубежной литературой: во-первых, его напрягало количество иностранных имён, которые он должен запоминать, во-вторых, он предпочитал отечественные детективы. Лара любила комиксы. Прямо хоть иди и приставай к покупателям в книжных магазинах: скажите, вы уже читали этот роман?

Нельзя было сказать, что роман *понравился* Евгении – это обесцвеченное слово не подходило к смутившему её произведению. Она влюбилась в этот текст, как сверстницы влюблялись в мальчиков, и чувствовала, что завидует автору – ведь он уже сумел произвести на свет такое чудо, тогда как сама Евгения сочинила пока лишь только восторженные всхлипы критиков для обложки своей будущей книги.

Как многие её ровесники, Евгения была полностью поглощена учёбой – и лишь готовилась к тому, что однажды начнёт жить по-настоящему. Латынь, древнегреческий, французский, английский, испанский, плюс к этому – бессчётное количество литературных произведений. *Жить* было некогда – она то читала, то думала о том, что прочитано, то писала об этом в эссе. Люс

умудрялась совмещать учёбу с романами — да не с теми, которые в обложках, а с теми, что превращают Париж из просто прекрасного города в город поистине восхитительный. Амур был лучшим другом Люс, и они вместе с ним пускали стрелы в сердца наивных студентов (а порой — и преподавателей, но об этом больше ни слова, ведь мы не хотим, чтобы из-за нашей болтовни кого-то уволили). Для Евгении такое поведение было невыносимо — учёба, как религия, требовала исключительной концентрации и полной отдачи.

В книге, которую читал теперь Хаски, перелистывая страницы с несколько высокомерным видом, — как будто был не во всём согласен с автором, но предоставлял ему шанс высказаться, — речь шла как раз об этой опасной привычке человека всю жизнь готовиться к тому, что однажды он сможет начать настоящую жизнь. То есть порвать черновики, выбросить дешёвую одежду, купить, наконец, домик в *провинции у моря* или хотя бы собаку, чтобы провести с ней вместе последние годы — те, что уцелели после всесторонней подготовки к успешному старту. Автор книги писал в первую очередь об этом — и Евгения узнавала в его героях себя, умную дуру, распланировавшую своё будущее для того, чтобы прозевать главное: оказывается, жизнь давным-давно началась и к самым важным её событиям человек никогда не готов.

Интересно, Хаски согласился бы с такой интерпретацией?

Тем временем вокруг начинало гудеть людское море — как в оркестре перед концертом, когда каждый музыкант настраивает инструмент, не обращая внимания на соседа.

Старая женщина в парике неожиданно сказала громким шёпотом:

— Вот чёрт, а! — и поднялась с места так резко, будто её дернули за волосы. Она была похожа на шарпей, да, точно — шарпей!

— Девушка, вы не посмотрите за моими вещами? — обратилась она к Евгении. — Я совершенно забыла принять лекарство, и мне нужно купить бутылочку воды.

— Конечно, посмотрю, — сказала Евгения. У женщины были такие глубокие морщины, что Евгения не посмела ей отказать, хотя и знала, что террористы могут выглядеть безобидно и она не должна брать на себя ответственность за чужие вещи. Даже на минутку. Евгения была коренной екатеринбурженкой и знала, что граница между Европой и Азией проходит не только на Московском тракте, но и внутри неё самой. Европейская часть Евгении в данный момент пришла в ужас и требовала немедленно догнать старую даму — лучше уж она сама купит ей воды! На расстоянии дама выглядела подозрительно, и зачем ей парик? Что, если её разыскивает Интерпол за многократные попытки взрывов в аэропортах разных стран? Азиатская часть Евгении предложила европейской заткнуться и не дёргаться. Желательно — принять позу лотоса и глубоко дышать, чтобы лёгкие раскрылись, как бабочкины крылья. Старая дама носит парик, потому что у неё за плечами — долгая, как уральская зима, и такая же нелёгкая жизнь. Волосы давно выпали, а парик возвращает уверенность в себе — кроме того, если у тебя есть парик, ты можешь не носить зимой шапку. Это практично.

— Какая вы добрая, — сказал вдруг Хаски, вновь выдернув Евгению из мыслей, как котёнка.

— Ничего особенного, — отозвалась Евгения. — Вы сделали бы то же самое. Или нет?

— Или нет. А вдруг она перевозит наркотики?

Европейская часть Евгении вздрогнула. Ну, конечно, наркотики! Сейчас её заметут в полицию и найдут при ней не только крупную сумму в евро, но ещё и партию героина! Старуха, скорее всего, уже арестована, а Евгения пойдёт под суд как сообщница.

Хаски с интересом наблюдал за лицом Евгении, которое превратилось вдруг в поле битвы Европы с Азией — тяжёлые думы пролетали по нему, как тучки по небу. И наконец расхохотался:

— Да я шучу, девушка!

Как подтверждение его словам, на горизонте появилась старая дама — она победно держала в руке бутылку минералки и улыбалась во все зубы (скорее всего, вставные).

Евгении стало так стыдно за свои мысли, что щеки её вспыхнули (*вся пятнами пошла*, сказала бы старшая Степина).

Хаски будто в утешение достал из кармана тубочку мятных конфет «Рондо» — и предложил одну штучку Евгении.

Это было удивительно. Не потому, что случайный знакомый вдруг проявил к ней внимание — в таком возрасте и с такой внешностью Евгения могла рассчитывать не только на мятные конфетки. Это было удивительно потому, что Евгения считала «Рондо» своим личным наркотиком, единственным русским лакомством, которому не нашлось замены в Париже. Покурив, мама Юлька всегда кидала в рот мятную таблетку, и Евгения привыкла к этому запаху, а потом и к вкусу. Никакой «Тик-так» не мог сравниться с конфетками «Рондо» — они были восхитительно вкусные, самую чуточку, в меру, шершавые. Запас «Рондо», сделанный в Екатеринбурге полгода назад, давным-давно вышел — и вдруг ей предлагают взять конфетку прямо сейчас, не дожидаясь возвращения... Евгения поблагодарила Хаски и отказалась. Обиделась на дурацкую шутку.

— Я положу их здесь, вдруг вы передумаете, — сказал Хаски.

Старая дама вновь уселась слева от Евгении и начала открывать бутылку с водой. Руки, усыпанные коричневыми пятнышками, не могли справиться со зловердной пробкой, — и Евгения предложила помощь.

— Спасибо вам, девушка, — расчувствовалась дама. — Такая тяжёлая поездка, прямо я не знаю! Из Германии лечу, от дочери. Подарили мне зачем-то картину с кораблём. Зять специально заказал у художника, а почему там корабль, я так и не поняла.

— Может, он имел в виду «Плыви отсюда»? — громко шёпнул Хаски прямо в ухо Евгении. Гадость сказал, но от него хорошо пахло, а губы слегка прикоснулись к её коже так, что Евгения вдруг почувствовала странный озноб внизу живота. Возможно, это был оргазм? Евгения ещё ни разу не испытывала этого ощущения и не очень понимала, на что оно должно быть похоже. Показания подруг и глянцевого журналов, которыми Евгения время от времени оскоромливалась, изрядно расходились. Люс говорила, что после оргазма сразу же засыпает и что ни один мужчина не делал ей так же хорошо, как гибкий шланг душа с открученным верхом. Поэтому она часто засыпает в ванне и просыпается от того, что остыла вода. В журналах писали, что женщина должна получать оргазм, а мужчина во время секса *обязан предоставить ей это ощущение*. Про душ с гибким шлангом информации не было.

Евгения обратилась к своей европейской части с просьбой унять азиатскую — мысли пошли совершенно не в том направлении. Азиатская обещала помолчать, но требовала в обмен на это мятную конфетку.

— Возьмите две, — предложил Хаски. — Как вас зовут?

— Евгения.

— Грандэ? — Эта шутка понравилась ей больше, чем та грубая, про корабль. К тому же она писала большое эссе про Бальзака в прошлом семестре.

Хаски вновь наклонился к Евгении, и в ожидании его губ, его мятного, одновременно тёплого и свежего дыхания она вдруг почувствовала, как между ног у неё распускается цветок. Те фильмы, которые им показывали в школе на биологии, злоупотребляли подобными кадра-

ми — когда тугой бутон, спелёнутый зелёными листьями, взрывается цветом. У Евгении так перехватило дыхание, что она поперхнулась мятной конфеткой. Хаски тут же умело шлепнул её по спине, и конфетка вылетела у девушки изо рта, приклеившись к полу. Всё это было чертовски романтично!

— Я не хотел вас напугать, — оправдывался Хаски, — я только собирался сказать, что у нас одинаковые имена. Я тоже Евгений.

Евгения вспыхнула от радости. Она ещё не знала, что в жизни совпадения случаются намного чаще, чем в романах.

Людской гул между тем усилился — у выхода появилась сотрудница авиакомпании. Лицо её было несколько ошарашенным.

— Внимание! — раздался вдруг голос с небес. — Рейс номер сто семьдесят один, вылетающий до Екатеринбургa, задерживается на неопределённое время ввиду неблагоприятных погодных условий в пункте прибытия. Просим пассажиров в порядке живой очереди обратиться к сотруднику авиакомпании, чтобы получить талоны на питание.

— О нет, — простонала дама в парике.

— В Екатеринбургe сильная метель, — сказал Евгений.

Сотрудница проверяла посадочные талоны и вручала пассажирам талоны на ужин в ресторане. Умело оперируя авиационно-бюрократическим языком, она сообщила, что борт будет отправлен, скорее всего, не раньше шести утра, поэтому пассажирам предоставят ещё и номера в гостинице аэропорта. Евгения вертела в руках розовый бумажный талончик и пыталась понять, почему её так взволновало и, честно сказать, обрадовало это известие — про задержку рейса и гостиницу. Она должна быть расстроена тем, что попадёт домой только завтра и потеряет столько времени зря. А вместо этого чувствовала жгучую радость, и эта радость покалывала её изнутри тысячей острых иго-

лочек. Евгений тоже не выглядел особо расстроенным, зато старая дама с картиной страдала за обоих.

— Нам что же, придётся платить за гостиницу? — волновалась она, и сотрудница, терпеливо закатывая глаза, объясняла, что все расходы возьмёт на себя авиакомпания, так что им решительно не о чем беспокоиться.

Вначале отправились в ресторан. Евгения шла рядом с Евгением — как будто они путешествовали вместе. У него был отличный рост и походка спортсмена. Старая дама пыталась было нагнать *милую девушку*, но отстала от быстрой пары уже на первом повороте.

Взяли борщ, два салата и по куску пирога с изюмом, который, конечно, уступал кексу «Свердловскому», но повар сделал всё, что мог.

Евгений не спешил рассказывать о себе, но европейская часть Евгении знала, что молчать за столом — верх неприличия, поэтому начала беседу первой. Как будто бросила в пруд кусочек хлеба, на пробу рыбам — будут есть или нет?

— Та книга, которую вы читаете, то есть *ты* читаешь (по пути в ресторан Евгений предложил перейти на «ты» — возможно, чтобы не утяжелять речь окончаниями)... Я в прошлом году была от неё в восторге.

— Да, но ты не могла читать её в прошлом году, — заметил Евгений. — Это новинка, только что издана.

(Рыба клюнула, корм пошёл на ура.)

— Я на французском читала, — рассекретилась Евгения. Обычно она не сообщала о себе ничего, что способно вызвать хотя бы тень чужого недовольства. Мало кому нравилось слышать, что другие люди знают иностранные языки и могут читать на них — причём не ресторанные меню, а романы! Таким образом люди с языками как будто бы напоминают людям без языков, что те так и не удосужились выучить английский и французский. А если *люди с языками* ещё и живут в Париже, и учатся в Сорбонне, тогда люди без языков могут почувствовать себя уже совершенно

несчастными: потому что их собственные дети окончили монтажный техникум и спиваются на глазах или же сами они всю жизнь безуспешно мечтают жить в Париже... Вариантов множество и все как на подбор — один другого хуже.

Евгения тщательно следила за тем, чтобы ненароком не ранить кого-нибудь случайно сказанным словом — к этому её тоже приучила тётя Вера. Не хвастайся, по любому поводу говорила она, и Евгения добавила этот запрет в тот же список, где хранились «Не убий» и «Не укради». И вот теперь, в ресторане, стараясь не расплескать остывший борщ, Евгения вдруг поняла, что *хочет похвастаться* — возможно, этого требовал распускаявшийся цветок, правильному обращению с которым ей лишь предстояло научиться. Она хотела рассказать новому знакомому всё-всё: что учится в одном из лучших университетов Европы, и что она там на хорошем счету и у неё уже сейчас есть несколько завидных предложений по работе, и что станет писательницей, и что порой подрабатывает моделью (цветок подсказывал, что на Евгения этот факт произведёт особенно сильное впечатление — *девушка-модель* всегда интереснее, чем девушка-студентка; впрочем, у Евгении было и то, и другое).

— Так хорошо знаешь язык? — спросил Евгений. Честно говоря, он не выглядел особо удивлённым, и Евгению это задело — чуть-чуть, как птичьим пёрышком, но всё же поэтому она сказала только:

— Неплохо вообще-то. Учусь в Сорбонне.

Помолчали. Евгений сосредоточенно ел борщ. У него были красивые руки с длинными пальцами, и Евгения задрожала, потому что цветок сообщил ей, что хочет опутить эти пальцы на своих лепестках прямо здесь и сейчас. Это была настолько неприличная мысль, что от стыда будущая писательница пронесла ложку мимо рта, заляпав джинсы. Merde!

Евгений опрокинул солонку на жирное пятно:

— Моя бабушка всегда так делала.

— А вот моя бабушка говорила, что рассыпать соль — это к ссоре, — делано засмеялась Евгения, с надеждой, впрочем, глядя на курганчик белых кристаллов, выросший на её бедре.

— Так что ты хотела сказать про книгу? Понравилось?

— Ой, ну я не знаю, какой там русский перевод (Евгения вновь начала говорить не как обычная Евгения — а как неведомое ей доселе хвастливое существо), но по-французски это прекрасно. Очень глубокий роман, герои как будто из крови и плоти (от смущения Евгения обильно цитировала будущие рецензии на её собственную книгу), и автор поднимает такие важные темы! Читаешь и чувствуешь — для него это не просто игра. Он писал то, что пережил на самом деле.

— А по мне, всё это чушь собачья, — сказал Евгений, бесшумно уложив ложку в пустую тарелку. Во время еды с его стороны не поступило ни единого громкого звука — и Евгения была потрясена этим не меньше, чем странным поведением собственного тела, выросшего какой-то диковинный цветок. Вспомнила, как шумно ел Ереваныч: делить с ним трапезу было каким-то адским мучением.

Мама Юлька пыталась облагородить застольные манеры отчима: объясняла, что нужно как бы рисовать ложкой небольшие кружочки на дне чашки с чаем, и тогда ложка не будет греметь, а все вокруг начнут любить Ереваныча ещё пуще прежнего. Ереваныч на это сказал, пусть Юленька сама рисует кружочки сколько хочет, а он предпочитает размешивать сахар в чае так, как привык делать в армии. Разговоров об армии в доме все опасались ввиду их бесконечности, поэтому мама закрыла тему этикета, как закрывала ежедневно по сто раз все крышки на всех унитазах в доме. Никто не мог запомнить, что открытый унитаз — это плохой *фэн-шуй*, ну а Люда, конечно, делала всё наперекор хозяйке. Если мама и мечтала о чём-то в по-

следние годы, так это о том, чтобы уволить с глаз долой склочную домработницу. К сожалению, Ереваныч не желал расставаться с Людой: она вкусно готовила и гладила рубашки так, как этого не умела делать мама. Ночная кукушка падала с ног от усталости, но никак не могла перекуковать дневную — и в конце концов сложила крылья.

Так вот, Евгений вёл себя за столом так безупречно, что запросто мог быть представлен английской королеве — да хоть сегодня! Он, как заметила Евгения, вообще всё старался делать незаметно — как если бы опасался быть пойманным. Тихая походка, беспшумное обращение со столовыми приборами — по определению громкими! — сдержанная манера речи...

Вот только говорил он очень обидные, несправедливые слова. И Евгения обиделась за книгу, как за живого человека:

— Но ты ещё не дочитал! Там столько всего произойдёт!

— Обычно я даю автору десять страниц, — заявил Евгений. — Этого достаточно.

— Кто ты? — засмеялась Евгения. — Литературный критик?

— Хуже, — ответил Евгений. — Смотри, к нам идёт твоя подружка!

К ним действительно пробиралась между столиками дама в парике — глаза у неё блестели как у человека, который узнал последние новости и рад, что может их сообщить:

— Что же вы тут сидите, молодые люди? Там уже второй автобус отправляют в гостиницу!

Евгений вытер губы салфеткой, улыбнулся Евгении — и галантно выхватил у старушки упакованный багет:

— Я поставлю ваш корабль в гавань. Вперёд, девочки!

В холле гостиницы пахло табаком, одна из картин на стене висела криво, и у девушки-администратора были грязные волосы. На этом минусы отеля заканчивались —

комнаты, которые заказала для своих клиентов авиакомпания, были чистыми и свежими, как майское утро в детстве. Евгений и Евгения получили соседние номера, старушку поселили на другом этаже. Открывая дверь своей комнаты, Евгения трепетала от страха — боялась и того, что Хаски войдёт за ней следом, и ещё больше того, что он этого не сделает.

— Вылет обещают в шесть, подъём в четыре, — зевнул Евгений. — Спокойной ночи, Евгения! — И захлопнул дверь своей комнаты, даже не шепнув ничего на ухо мятлыми губами.

Евгения приказала цветку прийти в себя и сложить лепестки на ночь, как это делают многие растения. Она достала из портфеля-фугу свёрток с деньгами — и развернула его. Евро были на месте, как и письмо в конверте.

Нужно поспать несколько часов, но сначала она примет душ и обязательно вымоет голову. Администраторша отеля с её грязными сосульками никак не выветривалась из памяти.

Евгения разделась, ушла в ванную, потом вспомнила про пятно на джинсах и вернулась. Соль не слишком-то помогла, но если она застирает пятно под краном, к утру всё высохнет. Стоя перед зеркалом ванной, наряженная, как говорят американцы, в *birthday's suit*, Евгения намылила пятно с усердием, как учила тётя Вера. Прополоскала, отжала, встряхнула, повесила на дверь ванной. А потом вдруг глянула в зеркало — и не узнала себя.

Там была совсем другая Евгения. Она и выглядела, и смотрела иначе — как будто внутри знакомого тела жил теперь чужой человек. Этот человек смотрел так дерзко и требовательно, что Евгения растерялась — что ему нужно-то? Европейская часть советовала немедленно пойти спать, надев футболку и трусы. Азиатская бормотала что-то неразборчивое.

Слово «обнажённая» очень смешило маленькую Лару: она считала, что речь идёт о женщине, в которую воткну-

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ли ножи. Обнажённые святые на картинах из альбомов тётки Веры как будто специально напрашивались на пытки и мучения, которые устраивали для них одетые персонажи. Странно, что Евгения думает о пытках, глядя на себя в зеркало.

Она провела рукой по своей груди, это было очень приятно. Волоски внизу живота всегда раздражали её, но сегодня вдруг показались красивыми, как ажурное чёрное кружево. Евгения вспомнила руки Хаски — и положила свои пальцы на трепещущие лепестки.

И тут в дверь тихо постучали.

Глава сорок первая

Я враг омерзительной современной
изнеженности чувств.

Фридрих Ницше

У Евгении была одна особенность — точнее, особенностей у неё было много, как и у любой другой девушки, но именно эта доставляла ей массу проблем самого разнообразного масштаба, от незначительно-бытового до грандиозно-всеобъемлющего. Евгения смущалась любых физиологических потребностей и однажды убежала со свидания только потому, что захотела в туалет. Хотя тот мальчик ей в самом деле нравился. Она стеснялась своей и чужой наготы — и как раз таки поэтому не любила сниматься для каталогов. Вокруг было слишком много раздетых девушек. Голые ноги, попы в трусиках-стрингах (Евгения не могла носить стринги, ей казалось, что между ягодиц застрял кусок туалетной бумаги), блестящие от пота гладкие подмышки — за телами было не видно людей, как обычно не виден лес за деревьями. К тому же на съёмках приходилось пользоваться чужими туалетами — а Евгения была брезглива и каждый раз свивала себе гнездо из туалетной бумаги, и всё это отнимало столько времени и сил!

Мама Юлька считала эти привычки блажью и, как обычно, с гордостью приводила в пример себя:

— Проще надо быть, Евгения! Вот я недавно в Москве еду в такси и вдруг понимаю — забыла дезодорантом намазаться. Достаяю дезик и прямо при водителе — чух-чух. Он был, конечно, в шоке, совсем ещё молодой мальчик. Но мне — всё равно. Проще надо быть!

Евгения хотела быть проще, но у неё не получалось. В Шотландии, куда они ездили вместе с Люс прошлой осенью, они жили в настоящем замке, недалеко от Перта. Теперь этот замок переделан в отель, где сохранились старинная мебель, камин, портреты героических мужчин в килтах и, судя по всему, сантехника. Однажды Евгения десять раз пыталась спустить после себя воду в унитазе, но бумага всё никак не уходила — и бедная девушка провела в туалете почти полчаса, ожидая, пока наполнится бачок. Люс давно болтала в баре с шотландскими мальчиками — хейя! А Евгения куковала одна-одинёшенька, гипнотизируя взглядом коварный бачок.

К телу своему у неё тоже было немало вопросов. Ноги, грудь, шея, живот по отдельности выглядели замечательно, но вместе получалась какая-то жирафа. И попы почти нет. И на редкость уродливые ступни — Евгения стеснялась их до такой степени, что даже самым жарким летом не носила туфель с открытым носком. Ей казалось, что у неё чересчур длинные пальцы на ногах — как у некоторых людей на руках.

А вот, к примеру, Ереваныч совсем не стеснялся своих страшнящих босых ног — более того, однажды обратил на них внимание всех гостей за столом. Между сырами и десертом задрал, как балерина, ногу в сторону. Растопыренные пальцы были украшены пучками жёстких чёрных волосков, напоминавшими голые ветви кустарника.

— Я тут вчера узнал, что второй палец на ноге у аристократов должен быть длиннее первого, — сообщил Ереваныч. — Так вот, я аристократ.

— Юрочка, — умилилась мама Юлька, — мы и раньше не сомневались.

Лара со Стёпой тут же сняли носки и начали разглядывать свои ступни — у Стёпы пальчики шли один за другим вниз, как лесенка, а у Лары была широкая и плоская стопа, словно обрубленная со всех сторон.

Тётя Вера злобно сопела, и Евгения в очередной раз подумала: а может, она все-таки её, тёти-Верина дочь? Может, они с мамой Юлькой решили поменяться девочками, как сама Евгения меняется иногда с Люс украшениями или платками? Правда, у тёти Веры никогда не было таких длинных ног... Когда Евгения смотрела себе под ноги, у неё порой кружилась голова. А сейчас она кружилась по другой причине — ведь за дверью наверняка стоял Евгений, но нельзя же открыть ему дверь голышом! Ни за что на свете. Да и джинсы — мокрые, переодеться не во что, багаж — в аэропорту.

— Кто там? — спросила она, пытаясь завернуться в полотенце, слишком узкое и маленькое.

— Открой дверь, пожалуйста, — сказал Евгений. — У меня для тебя кое-что есть.

В одной руке он держал бутылку шампанского, в другой — мятные конфетки «Рондо». Чуть не уронил и то, и другое, когда увидел Евгению в полотенце: оно выглядело на ней как свадебное платье, только очень смелое, короткое. Евгений поставил шампанское на столик и медленно стянул с девушки полотенце, точно обёртку с долгожданного подарка. Он не спешил и даже вначале как будто избегал смотреть на неё. Окунул лицо в её длинные волосы, шепнул на ухо несколько слов, после которых пришли в полное смятение и европейская, и азиатская части — только цветок ликовал, раскрывая лепестки и ожидая вначале рук, потом, может быть, губ, а после всего остального.

Этот проклятый цветок был, наверное, розой. Из тех тёмно-розовых сортов, которые могут быть разных оттенков, даже если выросли на одном и том же кусте. Евгении стало страшно, и в какой-то момент она решила зажмуриться, как всегда делала в кино, услышав тревожную му-

зыку. Потом всё-таки открыла глаза — Евгений был рядом, и тоже без одежды, и у него росли волосы на груди и внизу живота, но это оказалось совсем неважно. И то, что он был старше лет на двадцать, тоже неважно. Как и то, что она — такая осторожная, любившая порядок, правильная девочка — позволила совершенно незнакомому человеку целовать её там, где она и сама-то боялась к себе прикасаться. Всё было неважно.

Евгения вновь закрыла глаза, пытаясь не смотреть на то, что с ней делают, и думая, что должна это прекратить — и не могла сказать ни слова, потому что лепестки цветка стали тяжёлыми, будто к ним привязали грузила. Ей было так приятно, что становилось почти больно, а Евгений, слизывая росу с лепестков, сладко дышал в сердцевину — и будто бы облегчал это чувство, но оно становилось всё сильнее, нестерпимее, и в конце концов цветок вспыхнул, взорвавшись. Обе части Евгении, европейскую и азиатскую, прошило насквозь чередой горячих, нежных молний. Она даже крикнула — чужим, незнакомым, женским голосом, и Евгений, отдыхающий от трудов на её бедре, укоризненно сказал:

— Тссс! Люди спят!

— Я... в первый раз... — пыталась объяснить Евгения.

— Кончила в первый раз? — деловито уточнил Евгений. — Или...

— Both, — почему-то по-английски ответила она. И тут же уснула.

Очнулась — через час. Евгений лежал рядом, закинув руку за голову — как в фильме, и смотрел перед собой так внимательно, будто ему показывали тот самый фильм.

— Давай откроем шампанское, — предложил он, но Евгения сказала, что вначале примет душ. Боялась, что от неё неприятно пахнет. Включив воду в ванной, вновь смотрела на себя в зеркало — и там опять была незнакомка, и она нравилась Евгении больше той жирафы, которую обычно показывали зеркала.

В ванной не нашлось других полотенец — и Евгения выбежала оттуда дрожа, с мокрыми каплями, стекавшими по коже, как дождь по стеклу.

— Какая ты гладкая, — восхитился Евгений, вытирая её вначале полотенцем, а потом, как будто насухо, ладонями. Ладони были тёплыми, и Евгения вдруг поняла, что снова хочет ощутить их на себе — а лучше бы прикрепить навсегда и не расставаться ни на секунду!

Филологическая барышня Евгения могла вспомнить подходящий сюжет для любой жизненной ситуации — и сейчас ей вдруг пришло в голову кое-что неприятное. А что, если это странное чувство, на глазах превращавшееся в зависимость, было вызвано не столько естественным влечением женщины к мужчине, сколько их истинным *родством*? Что, если Евгений — её биологический отец? Она любила роман «Ночь нежна» Фицджеральда, и помнила, как потрясла её драма главной героини. Да и другие персонажи в книжках часто принимали за физическое влечение нечто совсем иное: близкое духовное родство, кровную привязанность, сходство привычек и вкусов.

Спрашивать о возрасте было неудобно, но она чувствовала, что между ними лежит не меньше двадцати лет — почему-то Евгения увидела вдруг эти годы в виде громадных срубленных деревьев, которыми ей предлагали любоваться в Шотландии. Они в тот день гуляли в лесу с новыми приятелями Люс, обраставшей знакомыми с такой же скоростью, как уличная собака — блохами. Евгению поразили те деревья с перекрученными стволами — казалось, их только что насухо выжали, будто постиранное бельё. Кругом бегали серо-коричневые белки, их шерстка была как металл, чуть тронутый ржавчиной. То там, то сям попадались глубокие заячьи норы — возможно, это были норы кроликов, но Евгения видела хозяев только раз и не успела спросить, кто они такие. Пела птица — все надеялись, что соловей. Внезапно тропинку одним прыжком пересёк

молодой олень, а потом они увидели фазана, ясно-коричневого, как свежезаваренный чай.

Люс шла далеко впереди с мальчиком по имени Джеймс — вначале оттуда доносился хохот, потом треск веток под ногами и вполне определённые стоны: Джеймс не терял времени даром. Евгения и Майкл деликатно отстали от друзей на пару сотен метров, а потом свернули куда-то не туда и заблудились. Майкл совсем не знал французского, да и по-английски говорил с сильным акцентом — до смешного напоминавшим русский. Евгения понимала примерно половину из его речи, к тому же юноша очень стеснялся и, говоря, прикрывал рот рукой, так что пропадала и другая половина сказанного. Но когда они вышли на ту дорогу, заваленную срубленными деревьями с перекрученными стволами, Майкл вдруг забыл о том, что Юджиния прекрасна, а его выговор — нет, и начал громко восхищаться пейзажем. Возможно, он мечтал стать лесорубом.

— У тебя есть дети? — спросила она у Евгения, не зная, как начать разговор.

— И жена, — ответил Евгений так грустно, как будто жена была чем-то вроде болезни Лайма.

Европейская часть Евгении подпрыгнула от возмущения. Какого *merd'a!* Зачем он тогда пришёл к ней с шампанским? Хитрую азиатскую часть интересовало другое:

— А почему ты не... — скромность не позволила Евгении назвать верное слово, хотя она его, разумеется, знала. — Почему ты не хочешь ничего для себя? — не слишком-то ловко вывернулась она.

— Я переживу, — сказал Евгений. — В первый раз это должно быть с кем-то очень важным. С тем, кого любишь, ну или хотя бы думаешь, что любишь. Если бы я знал, что ты ещё девушка, я бы никогда... Но ты не думай, что я жалею. Это было прекрасно. Ты восхитительна, и у тебя там настоящий цветок. Роза!

Евгения чуть не расплескала шампанское.

— А ты жалеешь? — спросил Евгений.

— Нет! — горячо сказала Евгения и залпом, как водку, выпила шампанское. Оно было не очень холодным, и тут же вспенилось во рту множеством колючих пузырьков, а потом ударило мягкой лапой куда-то в затылок. Евгений наполнил бокал снова, они ещё раз выпили, а потом лежали рядом, как супруги из всё того же невидимого фильма, и разговаривали. В основном, честно сказать, болтала Евгения. Она говорила — и слышала себя со стороны, как будто кто-то одолжил её голос и вещал им по радио. Европа и Азия единодушно молчали, шампанское превратило их в Атлантиду, зато Роза старалась за троих. Именно благодаря ей в голосе Евгении зазвучали кокетливые нотки, именно Роза заставляла её принимать томные позы, лежать и сидеть в которых было неудобно — зато Евгений тут же менялся в лице: оно становилось счастливым, мягким, расслабленным, как... как у мёртвого! Прошлой осенью в Эдинбурге, куда она с огромным трудом заставила приехать Люс — подруга так бы и просидела все каникулы в кустах со своим Джеймсом, — Евгения увидела гипсовые посмертные маски знаменитых шотландских убийц. Маски выставлены в библиотеке Национальной портретной галереи в Нью-Тауне — и Евгения так долго разглядывала их, что Люс ушла ждать в кафе. На мёртвых лицах после всех смертных мук лежал отпечаток равного покоя и счастья, была начертана какая-то главная тайна. Евгений становился таким же, когда смотрел на её ноги и грудь, — теперь он делал это смело, но, к сожалению, не дотрагивался до неё после того, как узнал, что она была (и осталась) девственницей. Пока Евгения принимала душ, он успел полностью одеться и даже привести в более-менее человеческий вид постель, при одном только взгляде на которую у девушки вспыхнули щёки.

Если честно, ей нравилось слушать себя как по радио — звучало таинственно и необычно... Глухо смеялась,

говорила по-французски, рассказала очень неприличный, по её мнению, анекдот — Евгений благосклонно усмехнулся. Она чувствовала такое доверие к нему, такую благодарность, что эта вспышка чувств ослепила и оглушила её (подумать только, а ведь считала себя фригидной, потому что её никогда не тянуло ни к мальчикам, ни к девочкам, ей и в голову бы не пришло ласкать себя, как это делала Люс, — в ванной, отвинтив головку душа).

И кто мог назвать эти нежные молнии тяжёлым и ржавым словом «оргазм», больше походившим на диагноз тяжёлого заболевания? И она не без изумления продолжала слушать радио, где её голос намекал на влиятельные знакомства в высших кругах парижской знати, рассказывал о Ереваныче, тётке Вере и маме Юльке и, главное, сообщил о том, что она, Евгения, везёт в Екатеринбург десять тысяч евро и письмо от известного художника.

— Что ж это за картина такая? — спросил Евгений, рассеянно поглаживая Евгению по обнажённой руке. Его пальцы передвигались вверх от запястья к локтю, как ножки того человечка, что путешествует по коже всех детей, когда с ними играют взрослые. — Неужели она может столько стоять?

Голос по радио усмехнулся — и поведал о том, что художник Вадим Фамилия на самом деле стоит значительно больше, но (это рассказала тётя Оля Бакулина) его жена ведёт все дела. Она столь же властная, сколь и — алчная, поэтому Вадим и смог передать Вере лишь эту небольшую, по его меркам, сумму.

— Миллионы, — с гордостью сказал по радио голос Евгении, — на самом деле, его картины стоят миллионы.

— То есть, — уточнил Евгений, — он ещё раз обманул твою тётку?

Радио призадумалось, и в этот момент раздался неприятный писк.

— Будильник! — вспомнил Евгений. — Нам пора собираться, а то опоздаем. Я — к себе, мне тоже нужно в душ.

Он быстро чмокнул Евгению в губы, а после поцеловал ещё раз там, внизу, и, не сумев остановиться, заново провёл девушку тем же путём — на сей раз путь занял намного меньше времени, но молнии были такими же горячими и нежными, и, кажется, она снова кричала.

Потом Евгений ушёл, а Евгения целых полчаса не могла заставить себя подняться с кровати.

Она села в автобус одной из последних — джинсы не высохли до конца, но кому есть дело до джинсов? Портфель-фугу стоял у ног, Евгений был рядом, и та старая дама с картиной, наверное, обо всём догадалась — потому что демонстративно перестала общаться с ними обоими.

Теперь Евгения боялась не полёта в чреве кита, а только того, что Евгений скажет ей: «Пока!» — и они больше никогда не увидятся. Вся жизнь Евгении, её семья, друзья, даже её блестящая литературная карьера вдруг показались чем-то очень далёким. Словно услышав эти мысли, Евгений крепко взял её за руку. У девушки кружилась голова, она впервые ощущала муки похмелья — и решила, что должна вытерпеть их достойно, как плату за счастье. В силу своей молодости бедняжка и понятия не имела, кто устанавливает эту плату — и как на самом деле собирают налоги с людских удовольствий.

В аэропорту вновь гудел человеческий оркестр, вчерашняя сотрудница сообщила, что Екатеринбург *открыли* — и почти сразу после этого объявили посадку на рейс. Евгений по-прежнему не выпускал её руку из своей, и казалось, что все люди вокруг догадались о том, как они с Евгенией распорядились подарком авиакомпании. «Я же кричала!» — в ужасе вспомнила Евгения. — Наверное, все слышали!»

Места в самолёте у них были в разных рядах — Евгению достался четвёртый, Евгений — восемнадцатый. 4А и 18F. Евгений пошептался с плешивым молодым человеком, который занимал место 4С — и тот согласился поменяться с Евгенией. В уплату за любезность он окинул де-

вуху таким откровенным взглядом, что азиатская часть предложила вlepить ему пощечину, а европейская посоветовала не обращать внимания. Кресло 4В оставалось свободным — Евгения положила туда портфель-фугу, прикрыв его сверху курткой.

Хорошо, что к ней вернулось умение размышлять, почти утраченное ночью. При этом она видела всё вокруг расплывчатым, затуманенным — как в Эдинбурге, когда они с Люс пытались выйти из Нью-Тауна, а город лежал укутанный в молочную перину, таинственный и молчаливый. Прохожие выплывали навстречу как призраки знаменитых шотландских убийц — и вновь пропадали в тумане.

— Туман очень полезен для кожи, — дрогнувшим голосом сказала тогда Люс. — Отличное увлажнение!

Сразу же после тех слов Евгения увидела впереди высоченный чёрный шпиль — монумент Вальтеру Скотту! Шпиль парил над городом, как улыбка Чеширского кота — и теперь стало понятно, куда нужно двигаться. Евгения шёпотом сказала сэру Вальтеру «спасибо» и в очередной раз подумала о том, что ни в одной стране мира не умеют так чествовать писателей, как это делают в Шотландии. Монумент был выше любого храма! Может, когда-нибудь блестящая русско-французская писательница Эжени Каллинин тоже удостоится почестей? Она согласна и на более скромный памятник.

Евгения хотела бы рассказать об этом Евгению — да и вообще, нужно было рассказать ему обо всех её мечтах, знакомых людях, о европейской и азиатской частях, о Люс, Бальзаке и Даме с единорогом...

И, кстати, почему Евгений так ничего и не рассказал о себе? Ночью, покраснела Евгения, им было, конечно же, не до этого — но он и потом молчал, внимательно слушая её болтовню, — а она хотела бы знать его фамилию. И где он живёт? Кем работает?

— Ты из Екатеринбургa? — робко спросила она, когда самолёт вырুল на взлётную полосу.

— Не совсем. — ответил Евгений.

Командир корабля сообщил, что самолёт готов к взлёту.

Большая часть катастроф происходит во время взлёта и посадки — об этом Евгению много раз говорил Ереваныч. Вчера она боялась лететь, а сегодня ей было абсолютно всё равно — пусть они разобьются, пусть самолёт угонят и возьмут всех в заложники. Лишь бы не расставаться с Евгением!

Она разглядывала его почти не дыша. Рядом с ухом — морщинки, самая верная примета человеческого возраста. Мама Юлька в последние годы была страстно увлечена омолаживающими процедурами и делилась своими открытиями со всеми желающими (и с теми, кто не хотел слушать, — тоже). Новый мамин косметолог, внешне напомилавший серийного убийцу, заявлял, что эти коварные морщинки нужно *убирать* в первую очередь.

Сколько же лет Евгению? Тридцать пять? Сорок? А что, если ещё больше? В прошлом году в Америке Евгения познакомилась с молодым человеком, который выглядел лет на тридцать пять, но на самом деле ему было шестьдесят! Это раскрылось случайно, когда одна девочка в компании предложила составить всем астрологические прогнозы. Кстати, если верить тому прогнозу, Евгению ожидало *впечатляющее будущее*. А на шестидесятилетнего молодого человека она с тех пор старалась не смотреть — хотя прежде он ей немного нравился.

Воздушное судно, которое им досталось, было небольшим и тоже довольно стареньким. Внутри всё дребезжало, и даже стюардесса на время взлёта пристёгивалась, — сидела в своём кресле гордо, будто царица на троне.

Евгений молчал, закрыв глаза. Евгения не решалась его тревожить — ещё в детстве тётя Вера объяснила ей, что многие люди в самолётах молятся, поэтому их нельзя беспокоить.

— А ты когда-нибудь молишься, тётя Вера? — спросила её тогда Евгения.

— Каждый день, — был ответ. Непонятно, всерьёз или нет.

Евгения попыталась отвлечься — как учили на курсе психологии. Старалась представить себе радость тёти Веры, когда та получит посылку от Вадима — конечно же, это будет не бурная радость с подпрыгиваниями и «Юхх-хуу!», а весьма сдержанный кивок и наморщенный лоб, но Евгения знала, чего стоят этот кивок и этот лоб на самом деле.

В кармане *впереди стоящего кресла* лежал позабытый кем-то журнал Cosmopolitan. Евгения покосилась на соседа, но тот, кажется, уснул во время своей молитвы и не подавал признаков жизни. Ну да, они ведь не спали всю ночь. Странно, почему саму Евгению ни капельки не клонит ко сну — когда остатки шампанского выветрились, она почувствовала себя бодрой и свежей, как летний газон. Достала журнал и раскрыла его на странице, которую кто-то заложил бумажной салфеткой, — рубрика «Секс». Цветок, о существовании которого ещё вчера Евгения даже не подозревала, немедленно оживился и заставил её перелистывать страницы. В прошлом Евгения старалась пропускать подобные статьи, а теперь вдруг начала читать и поняла, о чём идёт речь, — более того, ощущала некоторое превосходство, потому что в статье рассказывалось о десяти процентах несчастных женщин, которые ни разу в жизни не испытывали оргазма.

Погасло табло «Пристегните ремни», и стюардессы — не такие хорошенькие, как Яна с предыдущего рейса, — покатали тележки с напитками. Евгения убрала журнал на место, переложив бумажную закладку в невинную рубрику «Путешествие». Так, на всякий случай.

Она надеялась, что Евгений заговорит с ней, но тот по-прежнему спал.

Привезли завтрак.

Стюардесса спросила при помощи жестов, будет ли Евгений завтракать — и Евгения попросила не будить его. Ей нравилось предъявлять права на этого мужчину.

Она поковыряла вилкой блинчики, съела сыр, выпила чай. Старичок, который сидел через проход от неё, никак не мог снять пластиковую крышку с контейнера — Евгения с удовольствием помогла ему, подумав, что превращается в маму Юльку.

После еды Евгения почему-то снова почувствовала себя пьяной, откинула спинку кресла — и крепко уснула. Ей снился гигантский цветок — раффлезия, и она ощущала себя невероятно — как никогда прежде! — одинокой.

Проснулась она в тот самый момент, когда «самолёт совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбург». Даже не услышала, как шасси коснулись земли.

Местное время — девять часов десять минут.

— Хорошо спала? — шёпот, мятное дыхание (только соловей остался в Шотландии).

Уставшие после тяжёлой ночи пассажиры спешили к выходу. Евгения достала пудреницу — боялась, что у неё блестит нос, но с носом всё было в порядке. И с портфелем-фугу тоже — она проверила, свёрток лежал на месте.

— Ты дашь мне свой номер? — наконец-то спросил Евгений, когда они ждали багаж в аэропорту. Евгения продиктовала одиннадцать цифр, больше всего на свете опасаясь того, что Евгений запишет их неправильно.

— И ты мой запиши, — велел он. Евгения записала и ещё раз повторила вслух, пока он кивал, одновременно стаскивая с ленты довольно дешёвый чемодан.

На прощание Евгений поцеловал её в губы — кратко, как жену перед выходом на работу, — и послал воздушный поцелуй цветку. Старая дама в парике случайно увидела этот возмутительный жест — и стала багровой, точно борщ: «Никаких понятий о нравственности!»

Евгения не услышала обидных слов старой дамы — она смотрела вслед мужчине, похожему на собаку хаски, и чувствовала себя в зале прилёта такой же одинокой, как в недавнем сне.

«Позвоню ему завтра», — решила Евгения. Кстати! Она забыла отправить текст для Люс — та, наверное, волнуется. И чашка кофе не помешает, прежде чем она возьмёт такси и поедет в город.

Евгения села в кафе у выхода, махнула рукой официантке и достала мобильник. Последним забитым в него номером был телефон Евгения. Цифровой доступ к счастью, как выразилась бы известная русско-французская писательница Эжени Калинин.

Она не собиралась звонить ему — это вышло само собой.

— Номер, который вы набрали, — раздражённо сказала автоматическая телефонная девушка, — не существует.

Евгения позвонила снова — и голос автоматической девушки прозвучал ещё более раздражённо, хотя сказала она ровно то же самое.

Эти слова — «не существует» — звучали страшно. Что, если не существовало ни чудесной ночи в Москве, ни самого Евгения? Может, это был сон?

Европейская часть Евгении посоветовала набраться терпения — и позвонить через какое-то время или, ещё лучше, дожидаться звонка от него. Могли отключить номер за неуплату, да мало ли что может случиться со связью! Азиатская часть считала, что Евгений сознательно дал ей неверный номер — выдуманный в ту же самую минуту, от фонаря.

Официантка принесла кофе, к которому подавались уставшее выражение лица и просьба:

— Девушка, у нас *пересменок*. Вы не могли бы сразу расплатиться?

Евгения сунула руку в портфель, но кошелек там не было.

Холодея — в кошельке было почти пятьсот евро и кредитки! — она вытащила из портфеля всё содержимое. На столе лежали паспорт, Ларин планшетник, ваза для тёти Вёры, пижама для мамы, роман Хандке и свёрток

с деньгами. Кошелёк отсутствовал, а свёрток с деньгами показался вдруг Евгению не таким аккуратным, как раньше. Каким-то более длинным и округлым. Ледяными пальцами она развернула бумагу и увидела внутри номер журнала «Cosmopolitan» с закладкой на рубрике «Путешествие». Журнал был свёрнут в трубку, из которой выпало девять монет. Евгений оставил ей ровно девять евро и конверт — по-прежнему запечатанный...

Евгения так рыдала над чашкой нетронутого кофе, что старая дама в парике — она лишь сейчас выплыла вместе со своим кораблём из ворот, и её, конечно, никто не встречал — тут же забыла о *безнравственном поведении*.

— Что случилось, маленькая? — спросила она, будучи, к слову сказать, ровно в два раза ниже Евгении.

— Деньги! — рыдала Евгения. — Он украл все мои деньги, и не только мои! И не только — деньги!

Старая дама поняла, что Евгения имеет в виду девичью честь, доверие, наивность и ещё много всего, что не имеет особой ценности в наше время. Она заплатила за кофе и предложила бедной девушке вместе поехать в город на автобусе.

— Нет, я не могу, — мотала головой Евгения. — За мной сейчас приедут. Моя мама. Или тётя Вера!

Старая дама покачала головой и оставила Евгению пачку бумажных салфеток — вытирать слезы.

Евгения набрала мамин номер, но та не ответила. Тогда — второй номер из тех, которые помнила наизусть. Мысленно она спрашивала: ведь ты мне поможешь, правда? Ты ведь всё поймешь, да?

— Да! — сказала тётя Вера. — Что стряслось и почему ты рыдаешь?

Потом она долго ничего не говорила — как будто перевернула трубку динамиком вниз, а Евгения не могла сказать ни слова, не могла ничего объяснить и только рыдала как дитя, повторяя одни и те же слова:

— Приезжай, пожалуйста!

Евгения не сомневалась, что тётя Вера приедет — она никогда не бросала *своих*. В её случае самым сложным было попасть в список *своих*, но если это уже случилось — она не бросит.

Тётя Вера научила Евгению многим важным вещам. Обнаружив в туалете почти полностью размотанный рулон бумаги, объяснила, как ею правильно пользоваться. Сказала, что джинсы не будут расстёгиваться, если опустить вниз замочки на молнии, и что кровь отстирывается только холодной водой. Кроме того, она научила Евгению считать, когда страшно: человека успокаивает счёт, и, если ты боишься спускаться вниз с крутой и шаткой лестницы, тебе нужно всего лишь считать ступеньки.

Евгения считала вслух по-русски, по-французски, по-английски — но секунды ползли как минуты, а минуты превратились в часы. Время сломалось, как часы, которые грохнули о стену, а тётя Вера почему-то всё не ехала и не ехала. У Евгении разрядился телефон — она забыла зарядить его в Москве, ей было совершенно не до этого. Хорошо, что успела позвонить в банк и попросить, чтобы заблокировали кредитки. За минуту до полной разрядки пришла безоблачная *texto* от Люс — как телеграмма из горного мира на адскую кухню. Люс писала, что в Париже дождь и она идёт сегодня ужинать к Бернару. Как странно, что где-то есть дождь и Париж.

Устав сидеть, Евгения ходила по аэропорту, поднималась в зал вылета — к ней подходили чужие люди, спрашивали, почему она плачет и не могут ли они ей чем-нибудь помочь — но Евгения не могла даже поблагодарить их за любезность.

Она одна была виновата в том, что случилось. Трижды дура. 3D.

И она ответит за это — вернёт тёте Вере всё до последнего центика.

Тёти Веры всё не было, и, когда Евгения уже совсем отчаялась, она вдруг увидела перед собой маму Юльку.

Мама была бледной и впервые в жизни выглядела, как выражаются бабушки, *на свой возраст*.

— Вперёд! — сказала мама, хватая чемодан за ручку.

— Но сейчас тётя Вера приедет!

— Мы ей позвоним. Гляди, вон Ереваныч! Юрочка, мы здесь!

Нахмуренный отчим торопливо обнял Евгению, спросил, что случилось.

— Вот сволочь, а! — выразительно сказал он, когда Евгения закончила свою скорбную повесть, очистив от сомнительных подробностей, как очищают углы от паутины. — Ничего, я его мигом найду. Всех, кого надо, на уши поставлю — авиакомпания уже в курсе. И деньги Верке вернём, не переживай. Солдат ребёнка не обидит! (Это была вторая его любимая присказка, первая — «Кто воевал, имеет право».)

Когда они выходили из аэропорта, Евгении показалось, что она видит вдали Лару и тётю Веру, но с ними был какой-то мужчина, а значит, это были никак не тётя Вера и Лара. Кроме того, глаза Евгении так распухли от слёз, что она с трудом вообще что-то видела.

В машине мама дала ей таблетку, и Евгению тут же поволкло в сон. Она прижалась к плечу Ереваныча, и тот сдержанно погладил её по макушке. Евгения спросила себя, почему она не сообразила сразу позвонить отчиму, вместо того чтобы сидеть в аэропорту, как у позорного столба?

Когда они проезжали мимо переулка Встречного, Евгения крепко спала — и видела во сне разбитое стекло, похожее на лесную паутину.

Юлька вполголоса объясняла Ереванычу, что от всей этой истории есть и несомненная польза: Евгения получила сразу несколько уроков в одной упаковке. Теперь она знает, что такое секс, понимает, на что похоже предательство, и впредь не станет доверять малознакомым людям.

— Ольга ваша дура ещё та, — невпопад ответил Ереваныч. — Нашла с кем бабло отправлять!

Оставшуюся дорогу они молчали, и только Евгения тихо постанывала во сне. Теперь ей снилось, что она снова стала ребёнком: мамины знакомые гладят её по голове, и она стоически терпит прикосновения шершавых рук и твёрдых перстней. *Какая славная девочка! И учится хорошо. Хорошо учиться – это самое главное, запомни, Евгения!*

Сама же мама Юлька всегда говорила ей в напутствие:

– Веди себя как можно хуже! – Ей не нравилось, что Евгения всегда держит себя в рамках – Юлька желала дочери *захватывающей судьбы*.

Евгения спала – и видела во сне родную квартиру в переулке Встречном, где до сих пор живёт бабушка, где в комнате на полке стоит шоколадная Эйфелева башня – всё ещё живая, хоть и покрывшаяся белёсыми разводами времени.

– ...Мы ж забыли Верке позвонить! – всплеснула руками Копипаста, когда они уже поставили машину в гараж. – И ещё, Юрочка, нас с тобой соседи завтра на свадьбу позвали. Мы ведь хотим пойти, правда?

– На свадьбу? – переспросил Ереваныч. – Может, как-нибудь в другой раз?

Глава сорок вторая, последняя

Человек всю жизнь пишет книги
ради одной страницы и пишет страницы
ради одной строки.

Хорхе Луис Борхес

Даже самая длинная дорога однажды заканчивается, как долгий день, большая книга и вечная любовь.

Лара уснула, лишь только машина выбралась на Рос-сельбан.

Вера сняла с дочери шапку и подумала: как странно, я сто лет не звонила маме просто так, узнать, как дела. Всегда ищу какие-то причины для звонка, но чаще мама сама звонит мне, пересказывает сериалы... И я уже месяц не была у неё на Ботанике — даже больше месяца, с самого Нового года!

Завтра же! Завтра же поедет, вот прямо с утра.

— Серёжа, вы завтра свободны? — осторожно спросила Стенина и внутренне зажмурилась: вдруг скажет, я в водители не нанимался?

Доктор расплылся в такой широкой улыбке, что встречный инспектор ГИБДД принял её на свой счёт.

С улыбками вообще надо быть очень осторожным — однажды, лет двадцать назад, Вере показалось, что ей улыбается один юноша, но он всего лишь гримасничал, из-за солнца. И Вера выглядела очень глупо, когда начала улыбаться ему в ответ.

— Конечно, я свободен завтра, — сказал Серёжа. — Я двое суток отдыхаю, и вы можете рассчитывать на каждый час в этих сутках.

— Так много мне не надо, — испугалась Вера. — Приедете за мной к одиннадцати?

— Скорее, к двенадцати. Сначала — в полицию, насчёт номера.

— Ах, да!

— Вы не могли бы потише разговаривать, — проворчала дочь, — здесь вообще-то люди спят.

В ответ на её слова зазвонил телефон. Копипаста.

— Ты забрала её? — крикнула в трубку Вера. — Всё в порядке? А что случилось-то? Понятно. Потом расскажешь. Хорошо, приезжайте завтра, но ближе к вечеру, потому что я у матери буду весь день.

Стенина не считала себя хорошей матерью, как, впрочем, и хорошей дочерью. Она давно вышла из возраста, чтобы кем-то себя считать, тем более — кем-то хорошим. Невозможно быть хорошей для всех, как ни старайся. Даже «Джоконда» — и та не всем нравится. Даже Евгения не могла преодолеть неприязнь Ереваныча и не догадывалась о том, что действительно чувствует к ней обожаемая тётя Вера.

Самое смешное, что Вера тоже её обожала — эту смешную тощую девчонку, которая выросла в прекрасную хрупкую женщину. Евгения расцветала медленно, незаметно — как то юное деревце в Собаьем парке, полное жизненных соков, но ещё не выпустившее ни одного листочка. *Обещание красоты*, думала, глядя на него, Вера и вспомнила Евгению: голенастый подросток, слишком крупные, «на вырост», зубы и чудесный, низкий, не подходящий лёгонькому телу голос. Кроме этого голоса в ней тогда не было ничего, что можно счесть прекрасным, — но как юное деревце, Евгения была до последней своей клеточки наполнена обещанием расцвета. «Выправилась, сделалась», — неохотно признавала даже старшая Стенина.

К тридцати, наверное, станет настоящей красавицей и, возможно, будет писать книги. Евгения решила стать писательницей ещё в пятом классе — потому что поняла, что из неё никогда не получится великий художник.

— С чего такие выводы? — спросила Вера, и Евгения, позабыв давний разговор о мечте стать художницей, стала рассуждать о том, что все её любимые художники были мужчинами. И ещё — о том, что писать рассказы интереснее, чем рисовать. В художественной школе, где Евгения отучилась три года, их оставляли наедине с гипсовыми штуками, которые не вызывали у неё никаких чувств.

— А я думаю, самое главное в искусстве, тётя Вера — это *вызывать чувства*.

Вера поёжилась, мышь аплодировала.

Пластилиновые фигуры, которые Евгения лепила в детстве, в конце концов куда-то исчезли все до одной — Стенина подозревала, что Юлька их попросту выбросила, как, впрочем, поступила со своей долей и сама Вера. Иногда фигуры ей снились — живые, запыхлённые, ростом с человека, они неуклюже толклись вокруг, пытаясь обнять Веру своими тоненькими руками, сплошь покрытыми отпечатками пальцев.

Лара выглядела рядом с будущей писательницей как мопс рядом с русской борзой. Удивительно, что они были так дружны, так преданы друг другу — «нам с Копипастой стоило бы у них поучиться», — думала Вера. Да, она очень любила Евгению — но эта любовь была отравлена завистью, как вода в колодце. Смотреть можно, пить — ни в коем случае.

— ...Хотите что-нибудь выпить? Чай, кофе? — спросила Элина Юрьевна, профессор и руководитель Веринной дипломной работы. Судя по всему, Элина Юрьевна смотрела слишком много американских фильмов и позаимствовала оттуда универсальный этикетный вопрос о выпивке, дополненный, впрочем, чисто русским, безалкогольным уточнением: — Чай зелёный, чёрный?

Вера попросила зелёный, хотя и не любила его — почему-то решила, что Элину Юрьевну порадует этот выбор. В квартире было много зелёного разных оттенков — шторы, настольная лампа, обои, ковёр. И комнатные цветы в таком количестве, что из любой точки квартиры нельзя было не наткнуться взглядом — а то и рукой, — на какой-нибудь цветущий клеродендрон. На подоконниках несли вахту пластиковые банки с рассадой — осенью им на смену придут стеклянные, с помидорами.

Стенина перевела взгляд на календарь — он висел над письменным столом Элины Юрьевны, и красное окошечко, указывающее день, сегодня никто не передвинул. Двадцатое февраля вместо двадцать первого. Вера во всех домах и конторах следила за календарями — это была маленькая слабость из тех, которыми с годами обзаводится каждый человек. (Календари — ещё ничего. Юлька, например, переворачивала туалетную бумагу в чужих гальюнах — чтобы отматывалась от рулона сверху, а не снизу.)

Пока Элина Юрьевна гремела в кухне чашками, Вера сдвинула красное окошечко к нужному квадратику.

В тот день, 21 февраля, она поставила точку в дипломной работе. Прощайте, господин Курбе! Утром Вера допечатывала *заключение*, впервые в жизни ощущая, до чего же это приятное чувство — ходить без горы на плечах! Пусть даже эта гора родила мышь и Элина Юрьевна раскритикует её сейчас вдоль и поперёк. При всей своей мягкости и обходительности, рассаде на окнах, чёрном и зелёном чае профессорша славилась отменной въедливостью. Она была строга к умным студентам и безжалостна к лентяям. И как все другие старые преподаватели, принимала дипломников дома.

— Ну давайте посмотрим, что вы там наваляли, — дружелюбно сказала Элина Юрьевна, принимая у Веры диплом с таким видом, как будто это была коробка хороших конфет. Вера отпила глоток — у чая был интенсивный привкус сена.

— Сенча, — с гордостью пояснила Элина Юрьевна. — Дочь привезла из Японии.

Собака Элины Юрьевны, старая, как изношенное пальто, положила голову на передние лапы и протяжно вздохнула. Она была породистой, но сейчас в ней не осталось ничего, кроме старости. Прожитая жизнь, до краёв полная сгрызенных косточек, пойманных бабочек, изжёванных тапок, прогулок с хозяевами, драк с другими псами, погонь за кошками, краткого и счастливого материнства — всё это отражалось в усталых глазах собаки, имени которой Вера так и не удосужилась запомнить.

Элина Юрьевна просматривала работу, откладывая в сторону лист за листом. Она читала черновик раньше, новым было только заключение и тот факт, что диплом Веры Стениной предстал наконец в законченном виде, с учётом всех профессорских замечаний. Судя по лицу Элины Юрьевны, она была довольна Вериними трудами — во время чтения лицо её стало гордым, как у скульптора, который смотрит на готовую статую и думает: неужели это сделал я?

Вера пересчитывала горшки с цветами и пила ужасный сенный чай.

Тут в дверь позвонили. Собака снялась с места тяжело, как корабль с мели, — и пошла к двери, скорее по обязанности, нежели от всей души размахивая хвостом. Вера ещё в прошлый раз заметила на хвосте проплешину — возможно, она появилась потому, что собака спала под кадкой с фикусом и часто задевала его хвостом, как будто хвост был мачете, а кадка с фикусом — джунглями.

— Дочь, — сказала Элина Юрьевна. — Простите меня, Вера, я на минуточку.

Оказалось, что дочь Элины Юрьевны привозила ей не только чай из Японии, но ещё и — значительно чаще! — внука. Шустрый мальчик, на вид года два (как всякая «взрослая» мама, Вера уже не могла определять детский возраст навскидку, — а ведь раньше угадывала даже меся-

цы), деловито прошествовал в комнату и тут же застыл, увидев незнакомую тётку.

— Яша, ну что ты стоишь, проходи! — сказал кто-то недовольным голосом, после чего в комнате появилась красиво причёсанная женщина.

— Здравствуйте! — видно было, что дочь Элины Юрьевны не любит улыбаться, и благодаря этому ей удастся избежать мимических морщин в будущем. — Мам, покорми его, а гулять не вздумайте — холодно.

— Не вздумаем, — сказала Элина Юрьевна. — Яша, помнишь, что нельзя обижать собачку Клару?

Неулыбчивая профессорская дочка вдруг оживилась, вспомнив:

— А мы чему научились-то, правда, Яша? Ну-ка покажи, где у мамы глазик?

Мальчик покорно, как дрессированный, ткнул пальцем в услужливо подставленный глаз, покрашенный по всем правилам макияжного искусства. Потом он показал глазик у себя и у бабушки — Вера в представлении не участвовала, а вот несчастная Клара (конечно, Клара!) не избежала пытки — стоило бабушке на секунду отвернуться, как Яша тут же ткнул пальцем в слезящуюся глазницу бедной псины. Собака взвыла от боли.

— Ну я же сказала, нельзя обижать собачку! — рассердилась бабушка, и Яша, секунду поразмыслив, заревел.

Дочь к тому времени уже покинула отчий дом — и Элина Юрьевна включила в соседней комнате телевизор.

— Иди, Яша, там мультики.

Малыш пошлёпал из комнаты прочь — собака, вздохнув, последовала за ним, потому что службу никто не отменял.

Элина Юрьевна вновь вернулась к диплому, и раздражённое выражение лица исчезло — она вновь выглядела гордой, как скульптор.

— Вы молодец, Вера, — сказала профессорша, и Вера от смущения дёрнулась, уронив со стола чужие бумаги.

Извиняясь — *я такая неловкая, простите, да ничего страшного*, — Стенина подняла листы. Это были экспертные заключения.

— Посмотрите, если интересно, — предложила Элина Юрьевна. Ещё бы Вере было не интересно! «Рекомендуемое решение о возможности перемещения предмета через таможенную границу», «степень редкости», «следы от старой конвертизации», «обширные выпады фрагментов орнамента» — даже будучи засорённым, пропущенным сквозь канцелярскую машину, этот специфический язык очаровывал. Вера никак не могла насытиться — читала и читала, так что Элина Юрьевна начала коситься на неё почти так же, как старушка Клара в соседней комнате косилась на малыша: вдруг ему опять взбредёт на ум «показать глазик»?

— Вы хотели бы стать экспертом? — спросила Элина Юрьевна.

— Я давно об этом думаю, — призналась Вера.

— А я давно думаю с этим завязать, уж простите меня за грубое слово, — сказала Элина Юрьевна. — Дочь уговаривает бросить работу. У нас ведь сад большой... И Яша. А цветов сколько! Теплицы! Я могу вас подготовить, Вера, хотите?

Стенина изо всех сил постаралась выразить на лице глубочайшую заинтересованность — она знала, что мимика её часто подводит. Но не в этот раз.

Вот так в один и тот же день она получила благословение на защиту диплома — и шанс стать экспертом по культурным ценностям.

Вера летела домой, не чувствуя мороза — а ведь февраль тогда стоял под стать нынешнему, даже по радио просили водителей подвозить тех, кто мёрзнет на остановках и *зависит от общественного транспорта*. Вере не было холодно — успех оказался горячим, он жёг изнутри, требовал, чтобы она его с кем-нибудь разделила. Пусть даже с первым встречным, которым оказалась мама.

Старшая Стенина в последнее время хандрила, и её, в общем, можно было понять. Столько лет вкладывать силы и деньги, да что там — всю себя, целиком, безоглядно — в один и тот же проект и не получить от него даже копейки прибыли, ни малейшей отдачи! Тут кто угодно захандрит. Как любой человек, потерпевший крушение жизненных надежд, мама пыталась анализировать ситуацию — но все эти «а что, если бы тогда» и «может, правда» лишь сильнее расстраивали её. Думать про Веруню плохо мама не могла в принципе, но с годами научилась сердиться на неё, продолжая всё так же, во всю ширь своего безразмерного сердца, любить. Сердилась — и любила. Врочала — и любила. Ругала — и любила.

Вера плохо воспитывала дочь.

Позволила Юльке сесть себе на шею — да ещё вместе с Евгенией (Евгения сидит на шее для равновесия, уныло отшучивалась Вера).

Забыла поздравить маму с профессиональным праздником — днём кадровых работников.

Купила слишком дорогой пуховик для Лары, тогда как бабушка донашивает старую шубейку, а уж бельё какое у неё — это просто срам! К доктору пойти не в чем.

Зря тратит *лучшие годы жизни* на Сарматова — он всё равно никогда на ней не женится, *это видно по глазам*. Если бы Веруня хотя бы раз посоветовалась с матерью, она уберегла бы её от многих ошибок.

Ночами, пытаясь уснуть, мама припоминала всё новые и новые дочерние грехи — считала их, как овец, а некоторые впоследствии записывала, потому что память у неё стала уже не та, что в молодости. Вере придётся ответить за всё, что она совершала, и особенно за то, чего так и не сделала — хотя от неё этого страстно ожидали.

Именно в тот февральский день, когда румяная от счастья Вера ввалилась в квартиру, впервые решив поделиться с мамой действительно важной — да ещё и отличной! — новостью, мама тоже поставила последнюю точку в своей

«работе». Она записала все Верунины промахи в тетрадь — и эта заняло шестнадцать листов с полями. Душа излилась кровью и фиолетовыми чернилами в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Мама смотрела на счастливую Веру и видела на её месте монстра, который уничтожил длинную, счастливую, так и не случившуюся жизнь. Поэтому Верин сбивчивый рассказ был встречен, мягко говоря, прохладно, словами комнатной температуры.

— Очередная идея, значит, — покивала мама. — Ну-ну.

— В каком смысле «ну-ну»? — насторожилась Вера. — Тебе не нравится, что у меня будет диплом и хорошая работа?

— Да у тебя много было хороших работ, Веруня, — развела руками старшая Стенина. — Я тебе давно говорила — ты настоящий летун. Мы таких в своё время на собраниях разбирали...

Тут, спасибо ей большое, встряла Лара:

— По частям?

— Ты о чём? — опешила бабушка.

— Ну, на собраниях вы этих летунов на части разбирали?

Взрослым здесь бы самое время посмеяться и примириться, но старшая Стенина была упрямой не меньше младшей. В тот вечер они разругались так, что Лара позвонила Калининым — жаловалась, что ей страшно и она боится, вдруг бабушка ляжет спать, а мама её зарежет.

— Откуда у тебя такие мысли, Лара? — ужаснулась Вера, когда Юлька пересказала ей дочкины слова. Лара пожалала плечами: у тебя, мамстер, было такое лицо, как у той тётки из альбома («Юдифь» неизвестной кисти).

— Взрослые дети должны жить отдельно, — пожал плечами Сарматов, когда Вера рассказала ему свою печальную историю. Радостная часть была спрятана от него, как подарок от маленького именинника — не потому, что это был подарок, совсем наоборот. Она знала, как Сарматов воспримет известие о новой работе. Вера давно стала

полноправным экспонатом его коллекции, а расставаться с экспонатами Павел Тимофеевич категорически не любил. Он ни за что её не отпустит, но Вера всё равно уйдёт — просто нужно придумать, как именно она это сделает.

Сейчас она была разочарована его реакцией — хотелось, чтобы Сарматов посочувствовал, сказал, что у него с матерью *тоже всё очень непросто*. Почему-то ждала от него женского ответа, а получила заезженный до полного облысения афоризм... Только женщины умеют вовремя рассказать о себе похожую историю, чтобы огорчённая подруга убедилась: она не одна во Вселенной, жизнь на Марсе существует и Ленка тоже терпеть не может свою мать! Зато мужчины, не владея словесной техникой, могут изменить ситуацию в корне, когда этого никто не ждёт — точнее, когда все уже давно помирились и пыхтят свою жизнь вместе до гробовой доски.

Мама смягчилась, когда Вера принесла домой диплом, вкусно пахнувший новенькой купюрой — защита прошла блестяще, к Стениной подходили потом совершенно незнакомые люди и, сверкая очками, делали столь замысловатые комплименты, что суть их ускользала, скрываясь под пеной слов. Элина Юрьевна — руки у неё были грязными, как у гравёра, потому что сельскохозяйственный сезон был в самом разгаре (цветы! теплицы! Яша!) — приняла от Стениной букет и старинную шкатулку, которую списал из своей коллекции Сарматов (за то, что была пусть и старинной, но подделкой). Профессорша передала Вере все свои контакты и уже немного жалела о том, что решила отойти от дел — новенького эксперта коллекционеры полюбили неожиданно быстро. Честно сказать, Элина Юрьевна слегка кокетничала, предлагая вместо себя малоопытного специалиста, чей диплом скрипел от новизны. Она не сомневалась, что коллекционеры и музеи начнут звонить ей день и ночь, уговаривая немедленно вернуться, — и тогда она, возможно, сделает над собой усилие, но уже, конечно, *совсем за другие деньги*. К несчастью для

Элины Юрьевны, новый эксперт по культурным ценностям В. В. Стенина творила чудеса. По городу, как вирус, пополз слухок, что эксперт Стенина не делает ошибок. Она уже определила несколько подделок, подтвердила подлинность одной ценной работы в музее, отсоветовала коллекционеру покупать «будто бы Миро» — и всё это за полтора месяца! Кроме того, успела проявить себя как добрый, сочувствующий человек — не то что эта Элина Юрьевна, сидевшая на своих принципах, как английский премьер-министр на мешке с соломой. На прошлой неделе эксперт Стенина плюнула на историческую справедливость и написала фальшивую экспертизу на плохонькую, но тем не менее ценную гравюру. Владелец был в отчаянии — он честно приобрёл работу на аукционе, но таможня не разрешала ввозить её в Россию без уплаты громадного налога. Вера видела фотоснимок гравюры — кони, сельский пейзаж. Написала, что работа не представляет собой особой ценности, и благодарный коллекционер не знал, что сказать и как отблагодарить Веру Викторовну. Говорят, что цветы она не очень-то любит?

— Спасибо за розы, Верочка, — сказала Элина Юрьевна. — Ой, тут ещё и лилии, ну прямо ар-деко! Или гробница Мадонны! Поздравляю с окончанием университета. *Теперь* вы дипломированный специалист.

Отмечали событие в Карасьеозёрском. Сарматов, разумеется, не любил Ереваныча, зато Юлька ему нравилась — и поэтому Ереваныч тоже терпеть не мог Сарматова. К тому же Павел Тимофеевич всякий раз молчал, когда следовало восхищаться — и Ереваныч чувствовал себя в его присутствии *дисконфортно*. Вот и сейчас хозяин демонстрировал гостям новую конюшню, построенную по последней французской моде: лошадки одна к одной, как игрушечные, конюх в кафтане, жокей. Для Стёпы купили пони, для Евгении белую кобылу по кличке Прэнтис, Ларе будут разрешать ездить и на пони, и на Прэнтис; впрочем, Лара не проявила интереса ни к первому,

ни ко второму предложению, и всё время на конюшне бестактно зажимала нос ладонью. Остальные гости восхищались, забыв про Верин диплом, и только Сарматов, не замечая ничего вокруг себя, гундел на ухо Юльке, что хочет купить её картины — она может запросить любые деньги в пределах разумного.

— А где они, пределы разумного? — хохотала Копипаста. — Сколько живу, никак не разберусь.

Потом, посерьёзнев, объяснила: она не сможет продать картины, потому что они подарены Ереванычу. И авторские копии делать не будет. И вообще, Паша, смотрите, какая чудесная лошадка! — На поле за конюшной маленький жокей объезжал жеребца, тёмно-коричневого, как ириска.

После ужина — десяток салатов, заливное, плов и фирменный Людин торт из черёмухи — Сарматов вдруг бренькнул ножом по бокалу.

— Я хочу выпить за Веру, — сказал он.

— Пьём, господа! — распорядился Ереваныч. Подобно председателю исполкома старой закалки, он всегда ревниво отслеживал уровень жидкости в чужих рюмках — если человек отказывался от алкоголя, с ним было что-то серьёзно «не так».

Все, кроме Веры и детей, послушно выпили. О том, что Стенина с некоторых пор не переносит алкоголь, было известно всем — но никто в точности не знал, в чём причина этой странной аллергии.

— Ты, Вера, прямо как мормон, — натужно шутил Ереваныч. Возможно, у него было много знакомых мормонов.

Все выпили, но Сарматов почему-то не садился — торчал над столом, как маяк.

— Говори, — разрешил Ереваныч. Он был сегодня в благодушном настроении, мохнатые брови шевелились гусеницами.

— Не знаю, получится ли у меня удивить Веру, но я попробую, — сказал Сарматов. На этих словах Лара с заго-

воршицким видом выбежала из комнаты, а потом появилась вновь — с упакованным в бумагу холстом.

— Верка, тебе все дарят картины! — засмеялась Юлька.

— Как попу — иконы, — поддержал Ереваныч, и Копипаста слегка дёрнулась от этих слов. Тут же, впрочем, пришла в себя и свалила всё на Людин торт — дескать, камешек в тесто попал, чуть зуб не сломала! Битва с Людой не прекращалась ни на один день.

— Ну, это, положим, не просто картина, — обиделся Сарматов. — Ты подожди пока, — он остановил Веру, которая уже нетерпеливо стаскивала обёртку с холста (это могла быть Серебрякова! Жуковский! Кустодиев!). — У меня есть для тебя ещё один подарок.

Он вынул из кармана связку ключей — и преподнёс их Вере с шутливым видом:

— Ключи от города! Точнее, от вашей новой квартиры. Точнее, не очень-то новой, но в отличном состоянии.

Ереваныч загрузил. Ему не нравились красивые жесты других мужчин в адрес чужих женщин, да ещё в его доме. Он искренне считал, что устроенная по последнему слову архитектурной моды конюшня достойна куда большего восхищения, чем восторг, выпавший на долю Сарматова. Юлька трепетала ресницами так, будто квартиру подарили лично ей. Девчонки визжали. Даже Люда, подававшая чай, цокнула языком — она бы тоже не отказалась от такого презента. Вера просто не знала, что сказать — и молча теребила ключи.

— Теперь можно и картину посмотреть, — сказал Сарматов, тщетно выискивая в Верверочкиных глазах что-нибудь похожее на вечную признательность и по-гроб-жизни-благодарность. Сам дёрнул бумагу с холста — и Стенина увидел «Девушку в берете», но не оригинал, а копию. Молчаливую подделку, сделанную, по видимости, всё тем же Славяном.

— Видишь, я всё помню, — шепнул Сарматов. Вера по-прежнему сжимала в руке ключи от подаренной квар-

тиры — ладонь взмокла от пота и будет теперь пахнуть металлом, как в детстве, когда бежишь в магазин с зажатыми в кулаке монетками. — Ты не представляешь, какого труда стоило мне найти эту картину! — вдохновенно врал он. Всё-таки у него были очень приблизительные представления о Вериных способностях.

— Погодите, погодите! — заволновалась Юлька. — Это же наш портрет!

— В каком смысле «наш»? — удивился Сарматов.

— В таком, что Верка знает, — уклончиво ответила Копипаста. — Паша, как он к вам попал?

— О, это долгая история, — сказал Сарматов таким тоном, что все поняли: эту историю никто никогда не узнает.

Ереваныч с облегчением выдохнул — бенефис Паши Сарматова его изрядно притомил. Слишком много внимания для какой-то картинки и подержанной хаты, наверняка на окраине.

— А где квартира-то? — спросил он как бы между прочим.

— На Ботанике.

...Лара упросила мать поехать в новую квартиру на следующий же день. Сарматов был занят — опять шёл по следу какой-то коллекции. Зато бабушка была в тот день свободна, как и во все прочие дни, и Вера не нашла слов, чтобы убедить её остаться дома. Вот так, тремя поколениями, они вышли из трамвая на незнакомой остановке — и Вера вновь подумала, как же всё-таки этот район с его домами-могильниками похож на колумбарий! Чем ближе они подходили к нужному дому, тем сильнее Стенина чувствовала, что уже бывала здесь раньше — и связано с этим нечто неприятное. В лифте — кнопки в виде чёрных кирпичиков, просьба «не сорить» красными трафаретными буквами и мощный запах мочи — это ощущение стало ещё сильнее и даже перебивало аммиачную вонь.

И только когда они вошли в *свою новую* квартиру, Вера поняла — это бывшее жилище Славяна. Вот здесь стояли его картины — как наказанные, лицом к стене. Вот тут рас-

полагалась двухэтажная кровать, где Славян безуспешно покушался на Верину честь. В этой кухне тогда выпивали, и Стенина глядела во все глаза на веснушчатую женщину, кормившую ребёнка грудью...

— Три комнаты! Кладовка! Лоджия! И санузел раздельный, Веруня! — Старшая Стенина бурно радовалась удаче, наконец-то повернувшейся вполоборота. — А он молодец, твой Павел, смотри-ка! Я от него не ожидала.

Лара носилась из комнаты в комнату, от её топота в пустой квартире поднялась пыль и зашумело эхо.

Вечером Вера спросила Сарматова, каким образом квартира Славяна вдруг стала его собственностью. Тот удивился:

— Я думал, ты не вспомнишь. Мы же сто лет назад у них были, и всего один раз. Не беспокойся, Верверочка, Славян всего лишь вернул мне старый долг.

— А как же дети? Жена? Где они будут жить?

— Жена давно сбежала, — махнул рукой Сарматов. — Вроде бы замуж вышла, и тот парень усыновил детей. Так тебе понравилась квартира или нет?

Вера никогда не смогла бы объяснить Сарматову, почему она не станет жить в квартире, отчётливой за долги у художника, который малевал подделки. Она с удовольствием отказалась бы от этого подарка, но летучая мышь советовала не торопиться.

— Наконец что-то путное с тобой приключилось, а ты даже порадоваться не можешь, — сокрушалась мышь. — Начни ремонт, потом решим, что делать!

— Отвали, — сказала Вера. Она давным-давно перестала церемониться с завистью, но на мышь это не действовало. За последние годы зависть превратилась в зрелое, мощное чувство, способное не только грызть душу, но и совершать поступки. Вера изо всех сил старалась не давать ей воли — мышь могла взвиться из-за любого пустяка: комплимента, сделанного кому-то другому, восторженной статьи о коллеге, пустячного выигрыша в лотерею...

Тонечка Зотова, подружка из детского сада, утверждала, что завидовать — нехорошо. Обычно она говорила эти слова, когда другие девочки обижали Веру Стенину — потому что у той были красивые куклы и блестящие туфельки без единой царапины. Тридцать пять лет назад Вера была солидарна с Тонечкой Зотовой и всячески благодарила её за коллегиальность — например, давала подержать новую куклу и делилась с ней конфетами «Гулливёр». Сейчас, встретив на своём пути такую вот Тонечку, Стенина, ни слова не говоря, спустила бы с цепи летучую мышь — и науськала бы её на эту Зотову без всякой жалости.

Вера давно забросила свои мысленные выставки — справиться бы с реальными! За год она побывала куратором нескольких экспозиций и сама была поражена тем, как ловко это у неё получается. А героинями последней мысленной выставки стали зависть и летучая мышь. «Гигена Сальпетриера» Жерико, «Зависть и милосердие» Джотто, «Триумф Геркулеса» Паоло де Маттеуса, где Истина держит старуху-зависть на цепи. У летучей мыши картин и имён — легион! Нетопырь, вампир, птица дьявола, дух спящей ведьмы и мёртвого колдуна, десмодус, ночное млекопитающее семейства рукокрылых и несчастная дочь царя Минаса, превращённая в летучую мышь за отказ участвовать в вакханалиях (бедняжка всего лишь хотела прясть, а не пьянствовать). Летучая мышь символизировала не только зависть, но ещё и тьму, смерть, несчастье, безумие — в общем, всё самое лучшее и приятное в жизни. Только Лара внесла утешающую подробность, вспомнив про своего любимого Бэтмена — но даже Бэтмену не под силу сразиться с этим полчищем.

Летучая мышь охотится в полной тьме — но никогда и ни с кем не сталкивается. Предки-славяне верили, что это — обычная полёвка, которая умудрилась сожрать священный предмет. Если она вцепится в волосы, то обязательно влезет в мозг — и тогда человек сойдёт с ума. На помощь Бэтмену спешили китайцы — у них летучая мышь

обозначала удачу, счастье, богатство и долгую жизнь. У Веры не получалось представить себе удачу в образе летучей мыши — но, как известно, она никогда не видела её близко, в упор, а значит, могла ошибаться...

В новой квартире начали ремонт, которым с наслаждением заправляла старшая Стенина. Разумеется, ей было далеко до Ереваныча, но кое в чём она ему почти не уступала. По сто раз заставляла рабочих перекладывать плитку в ванной и выравнивать полы, но при этом кормила их обедами из трёх блюд, и рабочие прочувствовали всю глубину души этой необыкновенной женщины. Квартирка получалась — загляденье!

Однажды Вера приехала сюда по маминой просьбе — нужно было расплатиться с кафельщиком, а мама ждала дома пенсию (святой день!). И столкнулась в лифте со Славяном.

— Ты как здесь? — удивился художник. Вера пролепетала что-то о маминых знакомых, но Славян был не дурак и всё понял. — Значит, тебе ушла квартира? Я даже рад. Лишь бы не Сарматычу. Ненасытный, сука!

Вера подумала, что «сука» — это обращение, но на самом деле имелся в виду всё тот же Павел Тимофеевич.

— А я зашёл посмотреть, сменили замки или нет, — признался Славян, гремя в кармане связкой ключей. — Забыл в кладовке одну работку. Выставку готовлю, знаешь, как будет называться? «Слава — Богу!»

Вера сказала, что замки сменили, но она, конечно же, пустит в квартиру бывшего хозяина — и Славян, исполненный благодарности, пошёл за нею следом. Он что-то приборматовал, как часто делают одинокие люди, нуждающиеся в общении и вынужденные поддерживать разговор с самим собой. Вообще, он резко сдал, опустился, померк — сияла одна лишь розовая, с желтоватыми пятнами плешь.

Ни в какую кладовку Славян, разумеется, не пошёл, а напрямик проследовал в кухню и долго шарил в шкафу

чике под окном — искал, по всей видимости, заначенную бутылку. Не нашёл — если даже бутылка и присутствовала когда-то в реальном мире, её уже давно оприходовали работяги. Славян не уходил, долго мялся на пороге — и Вера предложила ему денег, и те были с достоинством приняты.

Стенину не очень-то удивил этот эпизод — она всегда была готова к любым случайным встречам. Её удивляло другое — почему эти встречи происходят так редко? Жизнь не роман, где каждый герой имеет право на свою сюжетную линию, а читатель ждёт момента, когда будут развязаны все узелки и выстрелят все ружья. Увы, в жизни всё происходит иначе: счастливый случай в гробу видал важных нам людей, и мы не встречаем их годами, хотя живём в одном городе и ходим по одним и тем же улицам. Например, Вера очень хотела бы встретить Валечку, но случай зачем-то подсунул ей Славяна. Она только лишь раз видела Валечку за все эти годы — издали, в большом торговом центре. Если это был он, конечно. Кажется, рядом с ним шла девочка в очках. Дочка? Кажется, Валечка улыбнулся Вере, но всё произошло слишком уж быстро.

В квартиру на Ботанике в конце концов переехала старшая Стенина, смертельно обиженная на дочь. Мама делала ремонт в этой квартире для ненаглядной Веруни, только для неё и старалась, но Веруня сказала, что останется в переулке Встречном. *Старому человеку* пришлось сниматься с места, менять привычную окраину на неизведанную — всё кругом было чужое, магазины дорогие, соседи незнакомые (правда, в процессе ремонта старшая Стенина успела перезнакомиться со своей «площадкой» — и осталась в целом довольна)... Если бы не подруги с завода, Эльза и Мария Владимировна, старшая Стенина так и не привыкла бы к своему новому дому, но они научили её смотреть сериалы, и сериалы примирили маму с жизнью на Ботанике, да и просто — с жизнью. Точнее, с тем маленьким фрагментом, который от неё остался. Почти

в каждом сериале присутствовала неблагодарная дочь, и старшая Стенина плакала, глядя на то, какие мучения доставляют телегероини своим экранным матерям. Веруня была значительно лучше этих распутных девиц!

Павла Тимофеевича Сарматова, спору нет, не могло обрадовать, что в квартире будут жить не Вера с Ларой, а старшая Стенина. Мужчины всегда очень внимательно отслеживают судьбу своих подарков: требуют, чтобы кольцо с бриллиантом было на пальчике, машина не стояла в гараже, а шуба не пылилась в гардеробе. Сарматов *был бы* недоволен — но к тому моменту, когда ремонт завершился, никакого Сарматова в жизни Веры уже не было. Однажды в августе он просто исчез из города и страны вместе со своими коллекциями, вывозить которые начал загодя. Квартира стала его прощальным подарком — как и поддельный портрет. В квартире на Воеводина Веру ждал пакет, который вручил очередной консультант со словами: «Ну вот и всё вроде бы...» Вера нашла внутри конверта небольшую пачку долларов и письмо — Сарматов просил его понять, делал упор на то, что не может представить себе Веру где-то кроме Екатеринбурга — и поэтому не зовет её с собой, хотя очень хотел бы. Екатеринбургский аргумент показался Вере комичным. Она попробовала ущипнуть себя за душу — выяснить, что чувствует на самом деле, и неожиданно загрустила. Стенина не была счастлива с Сарматовым, но без него она стала несчастной.

Теперь она спасалась только работой. Выставки, экспертизы, с недавнего времени — лекции. Вера всё так же разговаривала с картинами, одним лишь взглядом отделяя зёрна от плевел, а оригиналы — от подделок. Ей не требовался изотопный анализ, тем более она в него и не верила. Акварели, гравюры, карандашные рисунки, холст-масло, алтарные триптихи verso и recto — много чего прошло через Верины руки.

О Сарматове она с тех пор слышала всего несколько раз — как ни странно, от Юльки. Журналисты склоня-

ли имя знаменитого коллекционера по всем падежам — на него было заведено столько уголовных дел, что хватило бы целой банде преступников. Мошенничество, махинации в сфере искусства, сознательное введение в заблуждение... Был громкий скандал с выставкой русского авангарда в Европе, когда восемьдесят процентов работ оказались подделками, причём не самого высокого качества. Была печальная история олигарха, купившего фальшивого Кандинского. И всюду мелькала тень Сарматова, выросшая со временем до демонических размеров. Славян, понимала теперь Вера, отсиживает в тюрьме сарматовские грехи...

И всё же она скучала по Сарматову — никто больше не умел так смешить её, ни с кем ей не было так легко разговаривать.

Что ж, Вера смирилась и с тем, что у неё нет таланта, и с тем, что Лара никогда не встанет вровень с Евгенией, и с тем, что на личном счастье стоит столько крестов, сколько можно увидеть лишь на старом погосте. Вера не была красивой, не стала богатой, не научилась чувствовать себя счастливой. Завершивший свою карьеру борец сумо отрезает свою косичку — вот так и Вера в конце концов отрезала от себя всякие мечты и надежды. Кстати, её светлая коса, остриженная в восемьдесят девятом году, по сей день хранится в мамином шкафу на полке с платками. В юности Вера часто развлекалась, привязывая косу к своим коротким волосам — и потом «обрывая» её где-нибудь на публике быстрым движением. Коронный номер! Интересно, Серёже такое понравилось бы?

Вера смотрела на Серёжу (что за имя для взрослого человека, в самом деле? Всё равно что «Павлик» или «Дениска»), слушала, как похрапывает на заднем сиденье её возлюбленное дитя, и думала о том, что удача, вполне возможно, выглядит так: у неё рыжие, с сильной проседью волосы, серые и цепкие, как репейник, глаза и крупные руки, поросшие красноватыми — как на стеблях бегонии —

волосками. Эти руки крепко держат руль и будут ещё крепче держать её, Веру.

— Почему вы так смотрите на руль? — спросил Серёжа. — Бойтесь? Не надо, мы с Тamarочкой не подведём.

Вера вздохнула. Вопрос о машине Тamarочке и коте Песне оставался открытым — как финал романа, который автор никак не может окончить и поэтому оставляет дверь настежь: входи кто хочет! Кожистого кота Вера не сможет полюбить ни за какие коврижки, это однозначно, а звать машину по имени — попахивает если не дурдомом, то дурвкусом. И всё равно, это мелочи, такие ничтожные мелочи...

Бог никогда не был в мелочах и деталях, ведь за ними не увидишь всей картины.

Ещё один вопрос оставался открытым настежь — Вера привыкла стесняться своего тела и считала, что в её возрасте женщины значительно лучше выглядят в одежде, нежели в именинном костюме. А вдруг она покажется Серёже уродливой? А что, если он тоже, как все, влюбится в Юльку? А как отнесётся к этому Лара — слишком уж быстро она приняла к сердцу этого доктора, не случится ли вдруг трагедии в античном духе? Бедная Лара! Никаких представлений о будущем. Лишь однажды проговорила, что будет сдавать бабушкину квартиру, после того как бабушка... ну, вы поняли. На днях дочь заявила, будто бы пишет рассказы — и Вера опасалась, что они окажутся чудовищно бездарными. Она приучила себя к мысли, что главный талант Лары — в отсутствии всяческих талантов, и даже та давняя история в Эрмитаже, когда дочь определяла картины «по запаху», увы, даже она оказалась такой же подделкой, как «шедевры» Славяна. Лара играла, Вера поверила. Мама мыла раму, Лара врала маме. Зачем? Сейчас уже не спросишь.

Как много вопросов, как мало ответов...

За пять километров от Тamarочки, подмигивающей поворотником в сторону переулка Встречный, Юлька

сидела в гостиной своего красивого дома и смотрела, как Ереваныч шурует кочергой в камине. Копипаста не хотела разглядывать свою жизнь со стороны — и не старалась увидеть прошлое как цепь событий, которые привели её в этот день, в это мягкое кресло, к этой красивой керамической чашке с глинтвейном, который так изумительно варит эта гадина Люда.

В руке Юлька держала конверт — письмо от Вадима, которое вор оставил в портфеле Евгении. Кстати говоря, довольно странный вор — не взял ни планшетник, ни паспорт. Евгения, перед тем как заснуть, пробормотала какие-то оправдания для этого негодяя — что у него, наверное, большие долги, а в душе он *очень хороший*... Ничего, завтра Юлька вправит ей мозги, а если это не подействует, в ход пойдёт оружие массового уничтожения. Верка, если захочет, сможет внушить Евгении всё, что угодно.

Юлька покрутила конверт, покосилась на Ереваныча. Он так усердно сражался с дровами, что штаны его слегка сползли, обнажив дородную поясницу, густо покрытую черными волосами, и самое начало ягодичной складки, нежной, как у младенца.

— Плохо читать чужие письма? — спросила Юлька, глядя в упор на эту складку.

— Плоховато, — признал Ереваныч. — Но если невтерпёж — давай открою. Потом заклеим, будет как новый.

В письме не было ничего особенно таинственного — Юлька даже ощутила лёгкое разочарование, но вместе с тем и довольно болезненный укол зависти: как будто зонтиком ткнули в сердце!

Вадим писал старческим, паучьим почерком — и вправду серьёзно болел. Он прощался с Верой, объяснял, что чувствует вину перед ней — потому что действительно собирался сделать для неё авторское повторение, но почему-то не смог. Он даже начинал работу, есть холст с буквами *ex-voto*, но дело застопорилось по непонятным для него причинам. «Веристический», как он мрачно

окрестил его, портрет, окончательно забуксовал и канул в Лету. «Девушка в берете» — его лучшая вещь, объяснял Вадим. Когда он умрёт, эта работа будет висеть в серьёзном музее (ещё решается, в каком), но Вадим не хочет уходить из этого мира, не завершив все дела, и поэтому посылает Вере некоторую компенсацию. И надеется, что она простит его и позволит *уйти со спокойной душой*. Вадим будет ждать ответа, он желает Вере Стениной всяческих благ, кланяется её родным и близким.

И ни слова о Юльке!

Ереваныч аккуратно заклеил конверт.

— Завтра отвезём Вере деньги, я уже всё приготовил. Только у меня к тебе большая просьба — не рассказывай ей про эту фигню в Москве. Скажем, что Евгения потеряла сумку, расстроилась, испугалась — дальше сама придумаешь, ты это хорошо умеешь. А с Евгенией я сам поговорю.

Юлька кивнула. Ереваныч был прав — Верка ни за что не примет от него деньги. Никто не любит Ереваныча, кроме неё, Юльки — на самом деле, конечно же, и она его не любит, но разве это имеет значение? Спокойствие и радость дороже всякой любви — тем более что в прошлом Юлька получала от любви одни лишь страдания. Валентин, Саша, Джон... Хорошо бы воспоминания сгорели в камине вместе с дровами, наконец-то побеждёнными кочергой Ереваныча.

Юлька не сомневалась в том, что Ереваныч, с его связями, обязательно отыщет вора — благо Евгения дала точное описание внешности. Чёрные волосы, карие глаза, небольшая бородка, на правой руке между вторым и третьим пальцами (она называла их по-музыкальному, как научили в детстве) родинка, а на пояснице — шрам, похожий на рыбий скелетик.

«Порода — доberman», — пролепетала дочь, засыпая.

Длинный февральский день уходил прочь вместе с дымом. Улетал в каминную трубу...

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Вера Стенина стояла у окна своей кухни, морозное стекло было похоже на стакан из-под кефира. Она не видела, но знала, что именно в этот момент от подъезда отъезжает машина без заднего номера. На полу в ней остались мокрые следы Вериных сапог — Серёжа поглядывал на них улыбаясь. Вера смотрела ему вслед, ничего не видя, и внутри её трепетало новое чувство. Оно только-только появилось на свет и готовилось к своему первому крику — приветствию для целого мира.

Крик этот будет громким — не хуже, чем утром кричала Евгения.

*1 января 2013–29 декабря 2014
Екатеринбург – Хоторден (Шотландия)*

Оглавление

Часть первая.....	7
Часть вторая.....	149
Часть третья.....	243
Часть четвёртая	365

Литературно-художественное издание

Матвеева Анна Александровна
ЗАВИДНОЕ ЧУВСТВО ВЕРЫ СТЕИНОЙ

Заведующая редакцией *Е. Д. Шубина*
Редактор *Г. П. Беляева*
Ответственный редактор *М. М. Полякова*
Технический редактор *Г. А. Этманова*
Корректоры *В. Л. Авдеева, Т. А. Кузьменко*
Компьютерная верстка *Л. О. Михеевой*

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 қурылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, өн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндiрген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 27.07.2015. Формат 84x108^{1/32}.
Гарнитура «NewBaskerville». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,56. Доп. тираж 2000 экз. Заказ О-2083.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала АО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

ISBN 978-5-17-090753-3



9 785170 907533 >



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
shop.ast.ru

Анна Матвеева

ЗАВИДНОЕ ЧУВСТВО ВЕРЫ СТЕНИНОЙ

Роман

Анна Матвеева — автор бестселлера «Перевал Дятлова», сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Девять девятистых» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер»), Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на английский, французский, итальянский языки.

В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты...

Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

ISBN 978-5-17-090753-3



9 785170 907533